

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

Кубань
г. Ставрополь

1971

1

1971

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 1

Январь, 1971 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Народному другу, стихотворение	3
РОМАН СОЛНЦЕВ — По ту и по эту сторону, повесть	4
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Все метет и метет за оградой, стихотворение	65
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ — Два стихотворения	66
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ: Давид Овадия — История пишется кровью...; Павел Матев — Утр; Валерий Петров — И снова небосвод похож...; Петр Караангов — Луна опять плывет по кругу... Перевела Лорина Дымова	68
Д. СЕРГЕЕВ — Возвращение, повесть	71
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Из литературного наследия, стихотворения	114
АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ: Норман Мейлер — Мертвый филиппинец. Перевела с английского Ю. Жукова; Флэннери О'Коннор — Запоздалая встреча с противником. Перевела с английского И. Гурова	119
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ПОКРОВСКИЙ, Р. ЭСЕНОВ — Живая пустыня	136
ПУБЛИЦИСТИКА	
Б. СМЕХОВ — Простота и сложность экономики	148
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
С. С. СМЕРНОВ — Месяц в Перу	160
ГАНС ЛЕБРЕХТ — Война и классовая борьба в Израиле	187
В МИРЕ ИСКУССТВА	
АНДРЕЙ НУЙКИН — Нравственное. Духовное. Идеальное	194
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Наука о литературе сегодня</i>	
Академик Н. КОНРАД — Октябрь и филологические науки	208
В. ШКЛОВСКИЙ — Идти к миллионам	219

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ВЛАДИМИР ОГНЕВ — У наших друзей. Литературное обозрение	223
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ	
БОРИС ЯРАНЦЕВ — Поучительная страница	242
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Марк Соболев. Путь поэта.— Владимир Соловьев. Проза Петрова-Водкина.— И. Крамов. Землетрясение.— Д. Лихачев. Современное об античном театре.	249
<i>Политика и наука</i>	
В. Казимирчук. Социализм, демократия, идеология.— Б. Козенко. ФБР — против Америки.— В. Парин. Кибернетика для всех.— В. Буганов. Новый труд о русских летописях.— Г. Баканурский. Христологическая проблема и факты истории.— Эр. Ханпира. Приобщение к научному знанию.	261
КОРОТКО О КНИГАХ — Ник. Смирнов.—И. С. Соколов-Микитов. У светлых истоков. ♦ О. Димин.—И. Адабашев. Мировые загадки сегодня ♦ Ф. Левин.—Александр Крон. Вечная проблема. ♦ С. Чупринин.—Ирина Малярова. Свидания. ♦ З. Ясман.— Н. Н. Жуков. Счастье творчества. ♦ В. Кантор.—Д. Урнов. Как возникла «Страна чудес». ♦ И. Хлопин.—Тур Хейердал. Приключения одной теории. ♦ И. Гитович.—Жермена де Сталь. Коринна или Италия. ♦ А. л. Осповат.—Ю. Г. Кудрявцев. Бунт или религия (О мировоззрении Ф. М. Достоевского). ♦ Б. Борисов.—Ю. Федосюк. Что означает Ваша фамилия? ♦ М. Мильчик. Ю. Красовская. Сказители Печоры. ♦ М. Рабинович.—А. Б. Салтыков. Самое близкое искусство	277
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

НАРОДНОМУ ДРУГУ

В ту самую тяжкую дату,
когда, не ослабив плеча,
из Горок несли делегаты
на станцию гроб Ильича,

когда в стороне заметенной,
когда в тишине снеговой
едва колыхались знамена,
увитые черной каймой,—

по-тихому встав до рассвета,
тулуп застегнув на груди,
в начале процессии этой
и даже чуток впереди

на розвальнях ехал морозных,
наполненных лапником впрок,
еще никакой не колхозный
окрестный один мужичок.

Он не был тогда коммунистом,
а может, и после не стал,
но бережно ельничком чистым
дорогу туда устилал.

Хотел он народному другу,
о том не умея сказать,
хоть горькую эту услугу —
хотя бы ее оказать.

Мечтал он по собственной воле
на горестном санном пути
хоть самую малую долю
в прощание это внести.

Не с тем он решил постараться,
чтоб люди заметить могли,
а чтоб в стороне не остаться
от общего горя земли.



РОМАН СОЛНЦЕВ

★

ПО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОНУ

Повесть

1

Валера повернул в сумерках тяжелое кованое кольцо, и они вошли во двор. Второе крыльцо от ворот — белое-белое, выскобленное косарем до блеска, даже неловко ногу ставить.

Валера и Аня разулись, ступили — он в носках, она босиком — на широкие доски. Дерево нагрелось за день — еще хранило тепло.

В сених звякнула дужка, загремело ведро, вышла сестренка Майка и тут же с ведрами вернулась в дом. Выбежала мать, высокая, худая, в серой кофте. Показался отец, лысый, в руке очки, штаны застегнуты так, что снизу лишняя пуговица, а сверху лишняя дырка...

Валерка вздохнул: только не плачьте... Он не мог видеть слез.

И славу богу, все незаметно как-то перешло к самовару, не тому, роскошно-красному, с латинскими буквами на крышке, что запомнился Валерке в детстве, а к новому, зеркально-белому, худенькому, похожему на спортивный кубок. Тот, трофейный, вмещал кипятку — пей с утра до вечера...

Начались, как всегда бывает, расспросы, варенье, чудесные дешевые конфеты, какие когда-то любил сын Танаевых, — граненые карамельки; потом подоспела картошка, пар до потолка, запотело зеркало на стене, потом и водка сверкнула в зеленоватой бутылке.

— Как вы летели? Хорошо летели? — выпытывала мама. И поясняя: — Сейчас же грозы, молнии сплошные...

Она боялась молний.

— Ну что ты, — терпеливо отвечал Валера, — хорошо все. А молнии — что молнии? — Он подмигнул отцу. — Там же громоотводы. На крыльях. Ударит, а молния и уходит в землю.

Мать кивала.

Отец краснел, важно складывал руки на груди, улыбался:

— Ничего не понимает... Шуток не понимает... Какой громоотвод? Я этого, товарищи, не знаю. Там же нет проволоки до земли от самолета.

Мать настораживалась:

— Да, да! Так как же, Валеричка?

— Да по радио, — улыбался сын, — по радио. Ловят молнию и передают по радио на землю, а уж тут, в радиоузле аэропорта, точно есть проволока в землю...

Мать была святая душа, верила всему, хотя учила в школе, в начальных классах, и должна была все это знать.

А отец спрашивал:

— Что же ты не пьешь? Давай вместе выпьем?

— Да хватит мне, папа.

— Ты ж в гостях!

— Да правда...

— Ему лишнего нельзя, папа,— со значением сказала Аня.

— Почему это?

— Да заведусь я,— махнул рукой Валера.

Отец развеселился.

— И хорошо! Вместе и заведемся! А то сосед вон,— он, зажмурив глаза, потряс головой,— говорит: забыл тебя сын твой. Раз в три года залетает. А мы и заведемся!

— Ну, как-нибудь потом,— взмолился Валера.

— Что ты сына спайваешь? — рассердилась мать, которая вначале не знала, чью сторону принять: сына или отца.— Тебе дай — так не остановишь! Откроется дыра — и лей в нее хоть керосин, хоть бензин!

— Ну что ты,— сконфузился отец.

Мать почувствовала, что зашла далеко, встала, поцеловала его в блестящее темя.

— Ну, не сердись, Илюша... В самом деле ему, наверное, не надо. Они все такие нервные, молодое поколение,— прямо страх! Давай с тобой выпьем — за наших молодых! У тебя сердце, у меня печень — вот нальем и выпьем! Нам можно — мы выпьем!

— Вы, мама; на него не обижайтесь...— снова сбоку сказала Аня.

Валера наблюдал за родителями. Еще год-два — и отец выйдет на пенсию. Да и мать тоже. Поседела мама, голубые букли смешно висят на висках... А была когда-то красоты отчаянной.

Валера сидел в белом нейлоне за столом трезвый, широкоплечий, скуластый, с мелкими ровными зубами, которые он, смеясь, стискивал.

Конечно, он был растроган встречей... Но он берег себя — не возвращался в детство. Им лететь дальше — в отпуск, в Москву, в другие города.

Мама достала семейный альбом, и это было ужасно. Карапуз в панамке... Бородатый мальчишка у костра, с гитарой в руках.

Аня тут же сдружилась с Майкой. Они пили чай и шептались.

— Вот с маслом — так у нас казахи пьют... Крепкий-крепкий, без сахара — грузчики на Каме... А с солью — казахи, чтоб пить не хотеть... А очень крепкий, с молоком — у нас, на Байкале... И в Хакасии тоже такой.

Время от времени мать, выбрав какой-нибудь снимок, протягивала через стол:

— Вон Валеричка на лыжах, справа...

Анечка вытягивала шею. Ложечка с вареньем скользнула у нее с края тарелки на скатерть, и Аня покраснела, подняла ложечку, облизала и жалобно посмотрела на Валеру. Тот вздохнул: терпи, мол.

Аня улыбнулась и вдруг сказала маме:

— А Валера к министру едет...

— Да? — спросил отец, складывая руки на груди.— К министру? «Ох, зачем она,— морщась, подумал Валерий,— глупенькая... Я бы это сказал к месту и красивее... А может, и вовсе не надо говорить...»

— Мы читаем во всех газетах,— продолжал важно отец,— и в «Правде» и в «Известиях», везде, о нашем Светограде. Две вырезки, где ты упоминаешься, у меня хранятся.

— Где? — почему-то спросил Валера, смеясь. Так забавно — они на полном серьезе собирают вырезки.— Тоже в альбоме?

— Нет,— обиделся отец,— на работе у меня, в сейфе.

Валера закрыл смеющееся лицо руками. Он всегда был любимым сыном в семье. И сейчас родителям очень хотелось, чтобы он был знаменитым. И весь разговор должен был подтвердить это: что у Валерочки и Анечки все прекрасно. У них новая квартира. Танаев — ведущий инженер в Светограде, на строительстве ГЭС. И пусть ему не будет стыдно за родителей: у них тоже все хорошо. В прошлом году отец получил почетную грамоту, а маме подарили вот чернильный прибор на малахитовой плите, стоит тридцать два рубля, а малахит драгоценный, никогда б не подумала... Что с ним делать? Стоит на шкафу, и пускай себе стоит! Дело же не в этом, самочувствие, слава богу, ничего... Правда, глаза вот стали подводить. И голова утром кружится, потом, правда, привыкаешь... Погода нынче славная, сев прошел в районе нормально, куры несут яйца, угощайтесь. Жаль, корову продали, когда переезжали в город, — думали, неудобно будет, а глянть — все держат...

Валерий почтительно слушал.

Конфеты — апельсиновые дольки в мармеладе, шоколадные фигурки, купленные в буфете крайисполкома перед отпуском, — мама поставила на полку. И наверное, так все это пролежит до следующего приезда — чтоб только смотрели все и восхищались. Валера слукавил:

— Испортятся. Такой сорт. Ешьте.

И мама, ахнув, но жалея, начала шуршать целлофаном.

— Скоро ГЭС-то пустите на полную мощность? — спросил отец, быстро наливая себе и сыну.

— Скоро.

— Ну, будь здоров. Аня у тебя — со свадьбы — как была девочка, так и осталась... Хорошая, — оценил отец.

— Так с одним ребеночком и будете жить до смерти? — неожиданно грубовато спросила мать. И кивнула на стену: там висели фотографии всех ее детей — Валеры, Наташки, Ольки, Майки. — Смотрите, потом поздно будет...

Валерий смутился.

— Пойду-ка воздухом подышу...

Сейчас они будут говорить о детях, о Светочке...

Он зажег лампочку в сенях, сунул ноги в ботинки отца, широкие, тяжелые, скошенные. Скрипнул дверью — во дворе стояла ночь.

Валерий постоял на крыльце, потом сошел вниз, в темноту.

Над ночным городком сияли звезды. За садами лаяли собаки. Было тепло, пахло баней, калеными кирпичами...

Зря родители переехали сюда, в этот Мензелинск, — так хорошо жилось Танаевым в Матвеевке, на родине Валерки. Она совсем недалеко отсюда, в каких-нибудь двадцати километрах. Там река и мельница на ней, с зелеными сваями, с расколотыми жерновами на берегу. Там поля, вика с овсом вперемешку, а у вики в стручке, зеленом и плоском, чуть-чуть завязались горошинки... Сейчас же конец июня. Днем стрекочут кузнечики, жужжат медленные шмели. Телята чешут лбы о дерево или горло о плетень, приятно светя полузакрытыми глазами...

А что здесь? Козы возле столбов, пыль до небес, в церкви, наверное, до сих пор стучит и лязгает РТС (раньше МТС)...

Нужно съездить в Матвеевку. Завтра или послезавтра. Потом — дальше, в Москву. Не нужно расслабляться, трех дней для дома хватит. У родителей все в порядке, оставить им рублей шестьдесят на всякие расходы и лететь дальше...

Валерий вернулся к столу, новыми глазами оглядел избу. Деревянные стены, мох, в правом углу электросчетчик работает красным язычком. Спальня отгорожена, прихожая пуста, только стоит диван с выпирающими горбами пружин, между ними затаилась пестрая кошка... Шторы, цветы, картинки.

— Спать хочешь? — спросила мать.

— Да вообще-то... Только не в спальне стели. Там — можно?

Слева к сениям была приделана веранда. Тулупы — на пол, овчина удивительна, она более упругая, чем поролон! Чистые простыни, новое ватное одеяло с этикеткой... Здесь прохладно, лучше не надо.

Валера с Аней поблагодарили маму, пожелали ей спокойной ночи и легли.

Но сон не шел. Голова по привычке начала перемалывать одни и те же мысли, и пока она не устанет — не уснешь. А мысли невеселые — о работе, о Светограде...

Валера встал, крадучись прошел в избу, к столу, нашел водку, налил себе треть стакана — больше нельзя, — заел куском мяса и вытер масляный палец о голень.

Вернулся. И дождавшись, когда зашумело в груди, расслабился и уснул.

Бережно накрыв его, потом уснула и Аня. Белые волосы ее светились в темноту, ползли во все стороны...

2

— Пусть спят, пусть спят, — невнятно говорил отец. — В дождик сладко спится...

— А я и не бужу, Илюша...

«Начинается!» — с тоскою подумал Валера, открывая глаза и слыша дробь дождя, раскаты грома. На веранде стало прохладно. «Начинается... Зло берет! Вот тебе и Матвеевка! Да что Матвеевка? Так и аэродром расквасит — не улетишь, пол-отпуска пропадет!»

Валера вскочил, глянул за белые занавески — по стеклу неслась вода. Хлестнула молния — на полу белые волосы Анечки ярко осветились. Валера погладил их, растрогался: «Какая у меня жена миленькая... спит, горя не знает...»

Валера умылся на кухне, зашел в горницу, поздоровался; папа читал газету, мама накрывала на стол.

— Кушать, кушать, — сказала она, — буди свою девочку.

— Погода... — пожаловался Валера. — Не улетим.

— Ничего, улетите... Еще не приехали — и уже погода. Вот в гости съездим, в Кал-Мурзу, в Матвеевку, к тете Шуре твоей, в Белопламенную, в Березовку то есть... Как же не показать сестре родной сына? На свадьбе она не была, да и не свадьба это — два дни, трр, на машину да в небо... Улетел — только штаны шелестят!

Мать говорила, суежилась, и видно было, что вправду она решила задержать Валеру с Аней. «Но она же деловой человек, — успокоил себя Валера. — Я ей объясню — и отпустит. Чего там».

От нечего делать он вышел на крыльцо, дождь под навес не падал.

По двору в сером брезентовом плаще медленно брел сосед, Салим Салимович. Он еле переставлял толстые старческие ноги.

— А-а, молодой человек, — заговорил он, остановившись под дождем, — рад вас видеть, молодой человек! Салям, молодой человек, все растет, все изменяется, как говорили древние философы.

Салим Салимович вздохнул, жесткий брезентовый плащ висел на нем конусом из-за внушительного живота. Из-под башлыка виднелась седая щетина бритой головы. Салим Салимович подумал и продолжил свою мысль:

— Жизнь идет, умирают бабочки, рождаются новые. В прошлый приезд вы были как девушка, простите меня. А сейчас уже... Я вижу, вы стали мужественны. Домой приехали? Правильно сделали! Правильно,

молодой человек, как вы понимаете, туган месталар — родные места,— они одни!

Салим Салимович, сопя, стал двигаться дальше, мимо крыльца Танаевых — к своему.

— Ах,— говорил он, уже не обращаясь к Валерию,— годы, вы как кони!

Гремя брезентовым коробом, Салим Салимович исчез за своей дверью.

— О чем это ты с ним? — шепотом спросила мать, выглядывая из сеней.

— Да так...— пожал плечами Валерий.

— Такая сволочь,— сказала мать.— Жизни не дает.— И еще тише продолжала: — На меня с топором шел. «Зарублю, говорит, и ничего мне не будет — справка есть...»

Валерий неловко улыбнулся.

— Почему же это он так?

— Идет, не видит ничего, и топор в руках. «Зарублю, говорит, из моего колодца воду берете...» А разве он его, колодец-то? Да и вода в нем нечистая. Я же только поливать да полы мыть... За чистой Майка ходит на колонку, к райклубу.

— Ну,— сказал Валерий, морщась,— ерунда какая-то... Да в суд подайте на него!

— Никто не будет разбирать... Он из ума выжил. У него персональная пенсия, денег много, а скучно. Вот и дурит... Ты с ним особенно не болтай, Валеричка, не надо... Такой человек черный!

«Ерунда какая-то,— подумал Валерий.— Так ведь и живут».

— Ну, ладно, давай, мама, завтракать.

Крепкий бульон, пироги, сметана, варенье, привезенные конфеты — к ним так никто и не притронулся.

— Да ешьте вы их,— сказал Валера сестре.

Та посмотрела на мать и отказалась. Мать взяла одну, откусила, зажмурилась.

— Иностранные?

— Нет, наши.

— Вот погода наладится,— сказал отец,— поедем на рыбалку.

Валерий помолчал.

— А ты что к министру,— спросил отец,— по делу? Он что, хороший мужик?

— Да не министр, представитель министерства.

— Все равно,— внушительно сказал отец.

— Хороший мужик.

Валерий вспомнил Мироманова, здоровенного суетливого мужчину, вспомнил запонки, с которыми Мироманов все время мучился. На каждом рукаве — по два голубых камушка, соединенных крупной золотой цепочкой. Звенья цепочек разгибались, рвались, и Мироманов снова сгибал желтые скобки, стискивал их зубами. Да, нужно к нему в Москве зайти — он приглашал. И чем черт не шутит... Вдруг что-то выйдет! Никто не будет Валеру осуждать.

— Хороший мужик,— повторил Валера, тоскливо глядя в окно.

Шли тучи, и никакого просвета не было. Где-то рядом ударила молния, от грома маятник часов на стене остановился и снова принялся качаться. Мать проверила, закрыты ли окна. Накинула на волосы платок. Села.

— Громко не разговаривайте,— сказала она.

Мать, худая, с еще четкими губами, смотрела перед собой. Странно — в ней текла и капля цыганской крови, но все равно она боялась грозы.

А отец у Валерки был чистокровный татарин.

— Поедем, — говорил отец, — к моей родне: рыбку половим, меду поедим.

Круглолицый наивный человек, он был тщеславен до необычайности. Как видно, теперь у него главный козырь — Валерка.

— Поедем, родню тебе покажу... Ты ведь теперь ведущий инженер, да, Валерий?

— Ну, вроде бы...

— Это хорошо, — пробормотал отец, глядя в окно, где по направлению к уборной двигалась громадная фигура соседа. — А у него нет сына и уже не будет!.. Кыер-мылтык — кривое ружье, ага.

Валерка подумал: «Чему радуется! И вообще о чем эти соседи спорят! Какие глупости у них в голове! Колодец, пенсия, деньги... О каких глупостях они думают, какой малой копеечкой пространство себе очерчивают!»

Валерий представил вдруг себя где-то выше всего этого, в каком-то поднятом и очень освещенном мире, с иными — государственными — заботами. Чтобы влиять на жизнь, делать добро, нужно все-таки чуть подняться в жизни. Вокруг много еще неразберихи, глупости. Светлые слова, на которые мало кто обратил вчера внимание, становятся весомыми и нужными, если принадлежат авторитету... Валера это понял давно.

Он слушал отца и думал: не раскисать. Детство ушло, и его не воротить. Мир уменьшился, овраги, леса и деревни приблизились друг к другу.

Когда-то Валерка был мальчиком наивным, как его теперешний отец, смешным, толстым... Очень любил смотреть, как летают птицы, как они ходят по земле, косолапые, головастые, как вдруг подпрыгивают и, неузнаваемо изменившись, мчатся в небо — серые стрелки, серые треугольнички, серые смельчаки.

Особенно Валерку поражали ласточки-касаточки с раздвоенными хвостами. Гнезда их, прилепившиеся к жердочкам в сарае, казались Валерке чудом — через две недели оттуда вылетели уже не две, а семь ласточек... На горле — рыжий галстук.

Они носились над двором, потом над всей деревней, и глаз не успевал следить за их полетом. Резко — вправо, резко — вниз, вверх, назад... Веселая игра, просто так — счастье.

— Нет же, это не просто так, — сказала однажды мама. — Они за мошками гоняются.

— За мошками? — разочарованно спросил Валерка.

— Да, за комариками и мухами... Есть-то им надо?

Непонятно почему, но этот пустяковый разговор запомнился Валерке на всю жизнь. Значит, ничего не делается просто так. Ласточки летают — ищут пропитание. Парень подходит к девушке — будут дети потом. Все делается с умыслом, во имя дела, еды, чего-то определенного.

— Ах, ерунда... — сказал Валерий, глядя в окно. — Дождь, дождь...

Отец продолжал:

— Зато рыбалка в дожди! Я руку однажды держу над водой — веришь, нет? — и тут...

Отец встал театрально от стола, утер бритое мокрое лицо и ладонь поднял над скатертью. Пальцы с желтыми ногтями дрожали.

— Веришь, нет? Вот так держу руку, и вдруг... вдруг река распаивается, как тулуп, волна туда, волна сюда... и оттуда к моей руке — подумал, что рыбешка, — щучина громадная как вылезет!.. Рот зубастый разинула — воз соломы!

— Да брось ты,— отмахнулась мать.— Опять с этой рукой. Пить меньше надо!

Отец сник, послушно сел и принялся ковырять вилкой в тарелке. Он совершенно ничего не ел...

3

Начались будничные разговоры — дождь не переставал. Мать за что-то ругала отца, а Валерка, сам не зная почему, сердился на Анечку.

Следующий день он пролежал с утра до вечера, наливаясь ядом и тоской. Проклятый дождь! Вчера мать с отцом сходили на работу, взяли отпуска. Зачем?

Пирог кончился, сегодня суп был невкусный, пересоленный.

На веранде стало влажно, поэтому Валера валялся в горнице на тахте. Разглядывал алоэ на окнах, тяжелые, с зазубринками листочки, сплошной парад алоэ — горшков двенадцать. Смотрел в потолок, на трещины, складывающиеся в дремотном сознании в лица, корабли, фигуры зверей.

«И зачем они переехали в город? — думал он.— Там отец был кем-то, здесь — мелкая сошка в райисполкоме. Тоже — «повышение»! Там корова была, Звездочка, овцы бляели, куры кудахтали. А гуси шипели, клювы тянули к прохожим... Здесь — город, недопеченный хлеб, кефир с картонными кружками в горловинах бутылок... Там, на Озерке, возле избы, метрах в двадцати, вода зеленая текла, по шелковой траве лягушки прыгали, лини и караси жили в тине... А здесь — только чашки изоляторов на столбе возле ворот да зеленые, как лягушки, отцовы зажимы для бумаг...»

Валерка в школу пошел рано, учился лучше всех, сидел на первой парте. Но хулиганил Танаев-младший невозможно: бил окна, воровал яблоки, вывешивал на чужих крышах загадочные флажки — пиратские, черные, с красными звездами и крестами... Отцу сказать стеснялись, да и неужто он сам не видит?

Любил драться, излюбленная поза — правый кулак перед собой, ноги широко расставлены. Кулак начинает кружиться, защищая живот, потом резкий ложный выпад. И счастливый смех Валерки! Так он всегда делал в минуты благодушия, хорошего настроения. И этот жест сохранился на всю жизнь.

Где-то в классе седьмом Валерка «исправился» — пошел в тимуровцы... Как-то жители Матвеевки, проснувшись, не нашли перед своими окнами ни ромашек, ни маков — все лежало перед воротами Кириковых, как гора, красно-сине-фиолетовые цветы возвышались перед кривой избой Кириковых — здесь жила Люся Кирикова, беленькая девочка с вечным ячменем на правом глазу. Деревня переполошилась, посудачили, но так никто ничего и не понял...

Потом Кириковы уехали куда-то в Белоруссию, и Валерка совсем замкнулся — ушел в книги. Еле доучился. Рвался в Сибирь.

И настоял на своем Валерка... Мать плакала, отец стучал мягким кулаком по столу — не помогло. Тогда мать гордо сообщила соседям, что сын ее едет строить ГЭС по ту сторону Урала, герой, не чета тут всяким сопливым мальчишкам, что держатся за юбку... Собрала сыну рюкзак, а прежде купила его — с блестящими ремешками, с двумя большими никелированными кольцами на концах лямок.

И укатил Валерка в далекую Сибирь...

Оттуда, из Светограда, и прислал он фотографию: стоит у костра и гитару держит. Играть он научился там. Но сам петь не любил — как-то корежила, мучила его песня. Если он пел, то так — дурачась, оттопырив

верхнюю губу, как делает человек, прежде чем чихнуть... И при этом пел голосом нарочито скрипучим, скрипуче-гундосым, каким-то карликовым: Валерке стыдно было, что вот он — поет, душу отдает красиво, сентиментальному. Пели тогда все время — и на работе и дома, — даже безо всякого вина. Когда пели хорошо, бледность покрывала Валеркины скулы — он готов был заплакать... А на фотографии Валерка получился красавцем — борода, гитара чиненая, матросская тельняшка. Все как положено.

Жили в палатках, хотя уже появились бараки.

Тогда во всех газетах мелькало: «Даешь Светоград! В тридцати километрах от Красногорска — электрический гигант! Ведется дорога — вторая Военно-Грузинская! Спиральное зеркало Светограда!» И еще. «Даешь людей! Даешь бетон!..»

С бетона все у Валеры и началось...

В то утро шел снег, было еще сумеречно, и Валерка, стуча зубами от озноба, выехал в смену. В кузов залит горячий жидкий бетон, он парит, он плещется — гони скорее да не пролей. От завода до плотины восемь километров — всего-то!

Дорога была знакома Валерке до каждой выбоинки. Она извивалась вдоль крутого берега, слева серели скалы, справа темнел обрыв, ниже — пологая отмель. Черная вода еще не замерзла, и снежинки, падая на нее, исчезали.

Асфальт был скользкий. Снег падал на ледок, на гладкую пленку гололеда. Валерка чувствовал, как неточно идет «МАЗ» на повороте, и, упреждая его юз, забирал вправо или влево. Валерка не очень-то газовал, но лихач есть лихач — как только впереди открывался белый прямой кусок дороги, нога давила на акселератор. Снег валил, лепился к стеклу, и Валерка, не видя следов своей машины, знал, как четко они черной елочкой ложатся на дорогу. Догоняй, ребята! Сашка Матанин и Толик Ворогов, два его друга, жмут за ним — не догонят!

Показался поворот — длинная узкая петля, именуемая в этих местах «тещин язык». Валерка резко затормозил и тут же понял: не нужно было! Жидкий бетон в кузове плеснуло вперед, все-таки четыре тонны, и «МАЗ» с повернутыми влево передними колесами заскользил к краю нелепо, чуть боком. Валерка — баранку вправо, чтобы «поймать» машину, но уже поздно... Дал газ — бетон перекатился назад и снова вперед, и все это длилось секунды — машина полетела под откос. Валерка не успел выскочить, прижался к баранке, чтобы не ударило... Пихты и безрезки бросились в смотровое стекло, отпрянули, завертелись.

Валерка очнулся: «МАЗ» стоит на колесах, двигатель работает. Валерка не знал, что машина перевернулась — раза четыре. Он ощутил резкую боль в скуле, текла кровь из носа. Болела правая рука. Сломана? Господи, жив. А эти...

«Парни за мной гнались... Тоже слетят! — испугался Валерка. — Слетят, слетят, слетят».

Он открыл дверь кабины, спрыгнул на землю, чуть ноги не подвернул, бросился вверх — сквозь кусты, оскальзываясь на камнях.

— Эй, стой! Стой!..

«Такой гололед, — думал Валерка, — надо же, такой гололед... И никакой тебе опилочной ловушки под дорогой... А ведь жив, а? А ребята? А кто там?..»

Понизу, у самой воды, бежали двое, размахивая руками. Одного Валерка знал — это был Олесь Гринь, прораб, маленький усатый человек, говоривший басом.

— Куда?

— Ребятам сказать... Им — там — сказать!..

Но Валерка уже увидел: машины стоят серые, длинные, в снегопаде,

стоят, не доехав ста метров до «тетиного языка». Верно, увидели, как он полетел. «Ох, ругать будут,— пронеслось в голове,— лихачество все же...» И уже зная, что ребята не попадут на опасное место, делая вид, что не понял Гриня — а тот бежал ему на помощь,— Валерка продолжал карабкаться вверх. Взмокший, с кровью на губах, он выбежал на дорсгу и, словно киногерой, поднял левую руку:

— Стойте!..

Его окружили шоферы, у Валерки тряслись колени, он сел на снег, ему сунули в руки папироску, сладкую почему-то, он отбросил ее.

Зачем он так сделал, зачем разыграл из себя героя — когда уже и не нужно было ему предупреждать друзей? Зачем? Ну, поругали бы, и ничего страшного. Так нет же! Об этом, конечно, написали в газете. Передали по радио. Хитрый Валера даже из беды своей пользу извлек..

Его положили в больницу. Он за эту неделю осунулся от стыда.

В числе многих и многих пришел навестить его Сашка Матанин, прождал часа два в коридоре, пока ему разрешили зайти к герою. Сашка, здоровяк, недавно демобилизованный, кудри во все стороны — словно овцу на голову надел! Он стихи принес, посвященные Валерке. Краснея и неловко улыбаясь, Валерка прочитал не очень грамотные стихи друга, сказал:

— Спасибо... Только ты порви их... Не достоин я.

«Не достоин» Валерка сказал на «о», как истинный волжаннин. Когда говоришь глупость или защищаешь стыдное, приходится изображать из себя простачка, деревенщину — что, мол, с меня спрашивать? Валерий еще раньше заметил, что многие ребята из молодежных газет тоже «окают»: «солома», «молоко», «комсомол», «бетонирование»... Это когда нечего сказать. А когда есть мысль и за нее не стыдно, говорят обычным, нормальным языком.

— Ну, что ты,— удивился Сашка.— Я б лежал — не встал... А ты к нам понесся... И ведь какой козырек, а?

Да, что спасло Валерку — это козырек кабины, стальная плита над ней. Спасибо конструкторам «МАЗа».

— Ну, ты лежи, поправляйся... А стихи все ж пусть читают!

Сашка все свои творения вывешивал на брезент палатки, снаружи. И о любви и о Светограде. Над Сашкой смеялись, но Сашку любили.

Навестил Валерку и Толик Ворогов. Он приехал на стройку из дальнего северного села, где, как он рассказывал, у каждой семьи — лодка, а то и две. Толик — худенький, очень тихий парень. Он принес завернутую в бумагу рыбину, она была светло-красная и прозрачная. Копченка. Толик посидел рядом, поморгал синими глазами и ушел. Валерка старался не смотреть ему в лицо.

Потом явился Олесь, прораб монтажников. Он все в Валерке понял, сказал своим оглушительным басом (Валерка съежился — в палате есть еще люди):

— Зря ты цирк разыграл... Ну, ладно. Пусть хоть мальчишки поверят. Агитация-то нужна. Случай классный. Ты крутанулся четыре раза, брат!

Маленький Олесь потрогал Валерку осторожно по плечу, по гипсовой колодке.

— Но ты — смельчак. Все равно — все хорошо. Поправляйся.

Но не ушел. Начал вдруг откровенничать:

— Великая стройка, а столько ерунды.. На днях заседали, два часа кулаками дым месили. Текучка кадров, черт ее возьми. Пишем — железный график... А рук не хватает, приходят не с руками, а с языками в рукавицах. Все любят обсуждать. А чтобы пойти и сделать — мало духу. Только Брыкин. Да еще двое-трое. Эти откровенны — не обещают лишнего. И новым мальчишкам квартир не обещают — нет их, квартир.

Я говорю: давайте сами организуем бригаду — и будут дома. Только надо парням заплатить... В коридоре все согласны. А там — за столом — начинается треп о СУ-2, о том, что надо бы «молнию» выпустить... — Олесь криво улыбнулся. — «Молнию»... Детство все это. Надо понимать. Приехали парень и девушка — надо, чтобы они?.. Надо. А для этого надо — чтобы где? Надо. А если они поженятся, то они останутся... Вся проблема! «Молния».

Он оставил конфеты. Приходили еще дружки, шоферы, приносили всякое печенье, сласти. Раньше, в прежней, здоровой жизни, Валерка, как и они, не ел такую еду. А теперь вроде бы полагалось. На тумбочке блестели целлофановые пакетики, лежали спелые яблоки.

И неожиданно Танаева посетил сам начальник стройки Брыкин с заместителем Талидзе. И в этот день Валерка был счастлив и подумал: как хорошо все вышло! Брыкин присел на минуточку возле Валеркиной койки, потер рукою багровое лицо, ласково посмотрел на Валерку и подмигнул. И Талидзе из-под полы халата вынул бутылочку коньяка, которая во мгновение ока была засунута под подушку... Коньяк — дефицит. Валерка растерялся, не знал, как благодарить — посетил сам Брыкин, да еще такой царский подарок.

— Поправляйся... — проворчал начальство и удалилось.

«Все хорошо», — подумал Валерка. Он был горд.

Но только ушел Брыкин, снова настроение его погасло. Валерка мучился — то, что он сделал, повлекло неожиданные знаки внимания; о нем даже рассказали по московскому радио. Как он бежал, окровавленный, вверх, чтобы остановить товарищей... Валерка начал получать письма.

Герой.

«Но я же знал, что так будет? — думал Валерка. — Знал или не знал? Я этого и хотел? Или это была минутная слабость — чтобы только не ругали? Или я сподличал куда более крупно? Но что я сделал? Кому я сделал плохо?..»

Он вспомнил, как он кричал и дул на снег, летящий в лицо. Щеко-чущий белый снег летел в лицо, на глаза, на губы — он ощущал его прикосновение и радовался: жив. Хоть бы постыдился дуть на снег: играть роль — так до конца!

Валерка вышел из больницы, рука зажила, срослась. И его стали приглашать на всякого рода собрания. Избрали бригадиром.

Дал себе слово Валерка: никогда, ни в какой мелочи не поступаться совестью. А вид у него первое время был убитый. Его даже спрашивали:

— Ты чего такой? Жив остался! Ребята тебе благодарны!

Валерка морщился и отворачивался. Совесть ела. «Шебутной я, несчастный человек!» Не скоро подзабыл он эту историю...

Валера слушал, как шумит дождь, и скрипел зубами:

— Проклятый Мензелинск... Теперь не вырвешься...

Автобусы, наверно, тоже не ходят — грязюка. Можно было бы добраться до Челнов, а оттуда на пароходе. На пароходе, по воде, вдыхая запах канатов. Ночью горят бакены...

А где-то там, за Уралом, — другая вода... Валерка никак не может отвязаться от своих мыслей. Он вспоминает стройку. Видит гранитные берега и поперек великой сибирской реки — каменную стену. Она высокая — сто пятьдесят метров! По ту сторону от нее — новое море, оно налито всклень, чуть что — и через край. По эту сторону — внизу в долине — крохотные машины ползают, стоит домик-пылинка — штаб стройки.

И все думает Валерка: а вдруг не выдержит плотина? Это ж какая сила давит! Через месяц вот, в августе, начнется второй паводок, примутся таять белки Южных гор... Как тогда? А если не выдержит плотина — километров на триста снесет все города и поселки... Такой вал блеснет — страшно подумать.

А почему бы не выдержать плотине? Все сделано по расчетам. И страхи смешны, как говорит заместитель начальника стройки Талидзе.

Жаль только — не весь бетон в плотине качественный. Приходится уже сейчас бурить тело плотины, загонять внутрь цемент, укреплять нутро.

Не нужно было торопиться с новациями — теперь не пришлось бы беспокоиться... Брыкин с самого начала был против «непрерывки».

Валера, вспомнив начальника стройки, рассмеялся. Он его узнал ближе потом, когда стал инженером... Замечательный человек.

Брыкин был килограммов сто двадцать весу. Гневливое его лицо блестело. Возле верхней губы, слева, как один ус Петра Первого, торчала белая щеточка на родинке. Его иногда и звали Пол-Петра.

Узнав о прозвище, Афанасий Афанасьевич не рассердился.

— Петр в Европу прорубил окно, а я на Север — форточку, паразиты вы этикие...

«Дед» терпеть не мог бумаги, он признавал память и руки. Причем на летучках, на заседаниях штаба стройки давал каждому две минуты. Изволь уложиться! Но большинство парней только что окончило институты или училось в Красногорском строительном — умели при случае и шпаргалкой воспользоваться. Готовились крохотные гармошки, а также шпаргалки, написанные сахарной водой на чистом листе. Смотришь — ничего не видно, а чуть по-иному взглянешь — блестят буквы, блестят цифры. А когда Брыкин догадался, в чем дело, парни стали записывать все на ногтях. Удивлению «деда» не было конца: ну и память у молодцов! Спотыкаясь для страховки, они тараторили в свои две минуты:

— А двенадцать дней назад было иначе — дали столько-то... а получив три «КРАЗа», получили четыреста кубов... производительность труда поднялась на семь целых двенадцать сотых процента... сегодня же уложили столько-то... по сравнению...

Потом, как-то заметив синие ногти своих молодцов, подивился их коварству и хитрости. Но любил своих «дед» — все знали. Иногда рисовался, мог телефонный разговор с центром прервать, сославшись, что к нему пришел рабочий или прораб.

Валерку он полюбил. Как ни странно, после очередной выходки Танаева.

Танаев как-то на праздник напился. Ему и раньше, когда он напивался, силы было некуда девать.

Или дайте ему мотоцикл — один уже разбил Валера возле Старого скита.. Или ружье пожалуйте! Было раз — чуть не застрелил Сашку Матанина, тот кепку бросал вверх, а Валерка из дробовика... Ружье дало осечку, Валерка быстро еще раз взвел курок и, когда кепка была уже низко, чикнул...

Но поскольку ему до сих пор было стыдно перед товарищами, Валерка все искал повода показать пример бескорыстного мужества. Чтобы никто не мог сказать или подумать, что он пытается выслужиться. Это стало у него навязчивой идеей. Чтобы видели — он себе плохо сделать хочет.

В последний раз Танаев на спор прыгнул с плотины, с той стороны, как раз над водозабором... Прыгнул, поплавал, подмигнул и в воду погрузился чуть-чуть, но ушел под пленку воды. Как не за-

тянуло? Вода в трубах ревет со скоростью реактивного, в секунду — кубов двести, не вода, а плазма... Там и поверхность воды вогнута — за плотиной сверкает такая гладко-вогнутая, — поплавал, выскочил, дрожит, смеется, зубы сжал...

Брыкин вызвал Валерку. Кричал минут пять, потом спросил:

— Зачем купался в неподобающем месте? Что хотел доказать? Ну?

Валера молчал. Что говорить — глупый поступок.

— Я тебя спрашиваю! Ну?

— Виноват.

— Га-га! Виноват! Герой вверх дырой! «Бейте меня!» Что хотел доказать?

— Испугаться захотел, тоска напала... Да и пьяный был.

— Испугался?

— Нет.

— А вдруг бы утянуло?

— А не должно... я рассчитал... Воронка ниже начинается, метра на два нужно занырнуть, чтобы это... Все научно.

— Ах ты крокодил, — удивился Брыкин. — «Все научно». Ты что же, в науку веришь? Настолько, что жизнь ей доверишь?

— Ну, — сказал Валера.

— С работы бы тебя да под суд, — мрачно процедил «дед», — да газеты шум поднимут... Господи, никуда не спрятаться! Слушай, сынок, еще раз — и выгоню! Понял?

— Понял.

— Еще не хватает, чтобы на плотине висела потом бронзовая досочка: здесь работал и погиб такой-то. Это ты, что ли, раз пьяный остался под досками, в арматуре, просил: замуруйте меня в тело плотины? А?

Валера удивился: такого с ним еще не было.

— Поклеп, — сказал, веселея, Валера. — Фольклор стройки.

— Ну и шпана! — продолжал «дед», расхаживая по кабинету.

Валера все стоял возле дверей, вернее, возле вешалки — рядом висел прозрачный дешевый плащ «деда», в углу чернели громадные резиновые сапоги.

— Сил вам некуда девать, что ли? Ведь какой гигант нами перегороден! Работай! Отдавай энергию! Еще валить да валить бетон! Еще агрегат сикось-накось... Я тебе, сукин сын, вот что придумаю. Ты у меня две смены работать будешь. Месяц по шестнадцать часов. Согласен?

— А как же!

— Молодец. Вон отсюда!

И работал. Работал Валерка по шестнадцать часов в сутки по специальному приказу Брыкина. Все Валерку жалели, а он про себя думал: легко отделался. Да и «дед» уважать будет...

Валерка тогда уже учился в Красногорском строительном. Он перешел с заочного на очный, но каждое лето приезжал в Светоград. Диплом защитил на ГЭС — словом, вернулся свой к своим.

Брыкин не то чтобы постарел, но здорово исхудал. Раньше пуговицы на его пиджаке рвались, а нынче были на месте. Танаева он встретил радостно-сердито:

— Так ты теперь строитель? Инженер?

— Так получается, Афанасий Афанасьевич.

Брыкин потрогал белую щеточку на родинке.

— Ишь ты, крокодил! Ты сколько лет на ГЭС?

— Ну, шесть. Седьмой...

— Да тебе еще тридцать лет кормить комаров у сибирских рек. чтобы оправдать такое звание! Разве справедливо — у меня такие же документы, что и у тебя! Я инженер, ты инженер. Ишь ты!

Брыкин, отдуваясь, сел за стол, трезвонили телефоны. Снял трубки и с белого и с черного — положил на стекло.

— Ангелы мои,— вдруг пасмурно кивнул он на телефоны,— чер- ный — Москва, белый — плотина... Да-а, собирались грибы на войну идти. Да-а... Как чувствуешь себя?

— Да нормально.

— Сейчас, сейчас...— пробормотал «дед», глядя на часы.— Сейчас тебя запряжем, крокодил.

И тогда-то и появился в кабинете Брыкина представитель министерства Василий Иванович Мироманов, дородный мужчина, слегка наклоненный вперед — галстук у него висел далеко от груди. Золотые цепочки запонок рвались, и Мироманов время от времени подхватывал их в ладонь, кропотливо скреплял, сжимал колечки зубами. Голубые камушки запонок блистали.

Брыкин познакомил Танаева с Миромановым и, к великому удивлению Валерки, сказал:

— Вот вам личный раб, Василий Иванович. Толковый парень, один из лучших. Только не поите водкой.

— А что? — деловито осведомился Василий Иванович.

— На баб с ходу бросается.

Валерка покраснел, «дед» захохотал, Мироманов тонко улыбнулся.

Вечером в честь приезда Мироманова открыли кафе «Ви́ра» — на дверях уже полгода висел замок,— собрали самых бородатых парней Светограда, и всех щелкал фотокорреспондент из Москвы.

Василий Иванович расспрашивал строителей про успехи, про рыбалку, про охоту и неожиданно четко говорил:

— С тобой все ясно... Ну?

И поворачивался к следующему рассказчику. Эта его манера сначала всех расхолаживала, даже обижала, потом как-то привыкли, старались не обращать внимания. Пил Василий Иванович мало, больше приносил тосты:

— За величайшую в мире ГЭС! За «непрерывку!» (Тогда Валера еще не знал, что это такое...) За ваши гранитные...— Мироманов замялся. (Что сказать хотел? Сердца? Руки?) Нашелся: — ...характеры!

Потом Василий Иванович стал посмеиваться — с явной симпатией во взгляде — над Валеркой. И всю дорогу до гостиницы спрашивал, хорошие ли здесь девушки. Вот бы сыну его да монтажницу с ГЭС! Как бы ему это в Москве помогло!.. Почему — этого решительно не мог понять Валерий.

Он и Валерию сказал:

— С тобой все ясно...— Потом спохватился, пожал двумя руками руку, засмеялся: — Совершенно устал с дороги. Прости! Итак, до завтра?

В тот первый приезд Мироманова решался вопрос: быть или не быть «непрерывке». Коротко суть дела заключалась в следующем.

В одном из НИИ решили создать фабрику-автомат, которая подавала бы бетон прямо на плотину. Не нужно гонять взад-вперед «МАЗы». К тому же бетон в кузовах остывает, расплескивается. Да и все время перебой — пока нагрузят, пока выгрузишь... А так — шла бы по конвейерной ленте масса, хочешь — остановил ее, хочешь — ускорил подачу.

Вся установка была длиною полкилометра. Что-то вроде железно-дорожного состава, поднявшегося горбом во время крушения. Сырье подавалось на левый фланг. А правый заканчивался непосредственно на рабочей площадке.

Идея хорошая, конечно. Все за автоматизацию. Но, видимо, не была отработана технология — бетон получался плохой. Из-за долгого про-

хождения по ленте он терял качество. Не продумано было вибрирование. Электротрактора тонули, вибраторы засасывались во время работы в бетон... (Сейчас есть уже иные, более совершенные идеи. Появился песчаный бетон, коллоидный цементный клей... Но это происходило года четыре назад.)

Автором проекта был Вечин. На тему «непрерывки» он защитил кандидатскую. Мироманов — докторскую. Брыкин был против «непрерывки». То, что, не отработав технологии в малых масштабах, люди сразу же рванулись к глобальным, не радовало Брыкина. Всего в плотину ушло свыше пяти миллионов кубов. Из них десятая часть — брак, продукция «непрерывки».

Брыкину было жаль плотину. Серая грудa, перегородившая великую реку, серая махина, серая полоса, едва видная в тумане, в пару незамерзающей воды, для него была ярче всех на земле полян с цветами, всех неоновых улиц мира.

Валерке однажды показалось: у старика на кисти левой руки татуировка, синий якорь. Удивившись, он пригляделся: это вздулись вены... И жаль стало «деда» — такие выпуклые голубые узлы на руке.

Получилось так, что Валерка поддержал идею «непрерывки» — поддерживал по горячке, не зная сути дела. «Шебутной я, несчастный я человек!..» А потом отказаться от своих слов не позволяла гордость, поэтому он и при «деде» защищал ее. И «дед» не обозлился на Валерку — догадывался, что тот еще мало знает...

Валерка понял со временем: метод несовершенен.

А теперь он надеялся лишь на одно: что Мироманов даст ему — лично Валерию Танаеву — новую стройку. Ведь многое зависит от Мироманова. Он так и сказал в один из своих приездов:

— Вам бы, Танаев, самому, знаете, строить... Даст бог, когда-нибудь, не в столь отдаленные времена...

И значительно кивнул.

Не мог же знать Валерка, что Мироманов лжет, что ложь для него — дело обычное. Как еда, как дыхание. И что он принадлежит к кругу людей, ценящих друг друга по тому, кто циничней и красней соврет...

Никто не укорял Валерку — его право, за что стоять. Может, правда, идея добрая. Но Валерка уж знал: нет!

И теперь он, нынче летом, хотел зайти в Москве к Мироманову, зайти, когда «непрерывка» уже провалилась, когда выданный ею бетон печат цементом... Зайти и попросить, чтобы Мироманов перебросил Валерку от стыда подальше на другую ГЭС, там Валерка показал бы, на что он способен!

Уезжать ему надо из Светограда.

Нет, к Валерке отношение прежнее: он член всяких комитетов, всегда в президиуме, работа идет успешно, «дед» любит... Казалось бы, что еще? Но нет, муторно на душе.

Было раз, сидел он с ребятами, болтали о том о сем, Валерка сказал Олеся Гриню, как-то механически получилось:

— С тобой все ясно...

Того словно кипятком обдало.

— Ну, брат, даешь, — только и молвил Олесь. И почти с ненавистью глянул на Валерку. — У Мироманова подхватил?

Валерка покраснел, начал извиняться:

— Черт знает как вышло... я не нарочно, Олесь... Хожу с этим типом, и, верно, прилипло...

Сашка Матанин хохотал минут десять, Толик грустно побрел спать. Нет, что-то нарушилось в компании.

Дурак ты, Валерка, дурак, и вся гордость твоя — глупая, и нужно было — как только понял, что из яичной скорлупы хотят спутник сделать, из глины свечку слепить, нужно было отказаться... И люди бы поняли и простили.

...Дождь, кажется, прекратился. Гром утих, в избе посветлело. Валерка вскочил, выбежал во двор.

Дождь не шел, но курился в воздухе, дым стлался по двору — сладкий, крепкий, пахло пресными мелкими огурцами, сырой овчиной. Сосед возился в садике, дергал сорняк. Он сопел, тяжело нагибался, вразвалку, словно в водолазном костюме, бродил возле кустиков, вытирал брезентовым рукавом лоб. Башлык мотался на спине, бритая седая голова исходила паром.

— А-а, молодой человек, — обрадовался сосед, подошел к забору, — как спали, молодой человек?

— Хорошо.

Валера медленно побрел по двору.

— Хорошо, когда хорошо, — охотно заговорил сосед, — мне вот уже двадцать лет не спится, все вспоминаю свою жизнь. Героическая жизнь была, молнией подпоясывался! А что сейчас? Что я сейчас? Аппарат для перерабатывания пищи. Не спорьте, молодой человек, это так!

Сосед засмеялся и, не закрывая рта, отвел подбородок влево, потом вправо. Задумался.

— К великому сожалению, молодой человек, это так... Пенсионный возраст — что делать? От великого до смешного один шаг. И мы этот шаг сделали. Кому я теперь нужен? Даже жене своей не нужен... Вы, новое поколение, сами с усами, сами командуете.

Валерий пожал плечами. В избу идти не хотелось. С деревьев сыпалась вода, тополь возле ихнего сарая сверкал листьями.

— А что вы дергаете? — вежливо спросил Валерка.

— Сорняк, — ответил Салим Салимович.

Он снова засопел, нагибаясь — мешал живот, — и принялся быстро вытягивать травинки.

— Сорняк, сорняк, — бормотал он, — один сорняк — ночь, другой сорняк — день, так и жизнь уходит... Зло берет, как глупо устроена старость... Два сорняка — ночь, три сорняка — день. Мне дочь цветов привезла, вот посеял, которые цветы, которые сорняк — не знаю... Но догадываюсь!

— А вдруг не то нарвете?

— Не-ет... догадываюсь... красивое оставляю, уродливое рву...

— А как сказка насчет гадкого утенка? — негромко спросил Валера. Но Салим Салимович, верно, такой сказки не знал.

— Догадываюсь... Два сорняка — день, три сорняка — ночь... У меня чутье... У каждого свой секрет, молодой человек. Даже у кошки, молодой человек, свой секрет — как лазить на крышу... Вот вы инженер, большой человек. Знает ли любой рабочий то, что знаете вы? Есть же у вас свои секреты?

— Конечно.

Салим Салимович поднял руку с толстым кривым пальцем, привыкшим указывать, умно улыбнулся, проникновенно — даже чуть приседая — сказал:

— Вот именно, молодой человек! Кто-то скажет: несправедливо! Кто-то скажет: жестоко! Ну и пусть. Но истина известна не многим, и этим не многим трудно. Им в лицо светят прожектора, а в спину подчас плюют, на груди — медали, на спине — вода... Не нужно, молодой чело-

век, мелочиться. У вас призвание — будьте выше своей наследственности. Я уважаю вашего отца, но он... — Салим Салимович словно попробовал кислую ягоду, повозил языком во рту, — ...но он мягкий, нежный человек... У начальства концентрация знаний и прав.

Валерке неожиданно понравились рассуждения соседа. Не то чтобы понравились, но как-то заинтересовали: ведь принадлежат они человеку явно не глупому. С Валерки они снимали часть вины: ведь никто не знает его мучений, что он думал и что он думает о «непрерывке», о Миromanове. Может, правда, это их дело — его и Миromanова? Может, правда, это дело людей, стоящих выше каких-то частных, керосинок, водки, тараканов?..

— Но ведь можно сказать людям обо всем — и они все поймут?..

— Э, не-е, молодой джентльмен! Не-е! Поймут ли? Да и поймут — что будут делать? Советовать? И все испортят! Не может, дорогой мой, каждый решать дела государства! Вот пригласи меня в обком партии — может быть, что-то и дельное скажу. Опыт есть опыт! Но и я уже отстал — иные детали в работе, иные повороты... Сорняк — ночь, сорняк — день... Но этого твой папа никогда не поймет... Кхм, я вижу — вы птица большого полета, друг мой. И не нужно стесняться...

Салим Салимович рассуждал, и это было смешно, а Валерий в который раз вспоминал Миromanова. Как нес ему апельсины по Светограду.

Апельсины были роскошные, тяжелые, пупырчатая кожура извергла эфир: зажги спичку — пламя до небес! Оранжевые, да что оранжевые — раскаленные, чудовищные в своей тяжести и огромности, они мотались возле колена в авоське из нейлоновых лесок. Нужно бы их в газету завернуть... Поздно. Прохожие спрашивали:

— Где продают?

— Да не здесь... — отворачивался Валерка.

Апельсины из далекой южной страны должны были вылежать какое-то время — карантин, — но Валера упрямил знакомых девушек дать ему два килограмма, он и принес их Миromanову.

Как медные шары, они оттягивали руку. Они постыдно сверкали на весь город. Прохожие удивлялись:

— Уже апельсины? Где?

— Да не здесь... — мрачнел Валерка.

Проклятый Миromanов! Вчера дал понять, что весьма страдает от похмелья, и единственное, что его всегда спасает — цитрусовые...

Валерий вошел в двести первый номер. Миromanов сидел, брился. На столе на зеленом стекле лежали подтяжки, бумажник, подшивка местной газеты, несколько бумаг со скрепками. Миromanов поблагодарил за апельсины — они ему в Москве надоели — и спросил, надувая щеку и вода электробритвой, когда бывают шишки.

— Какие? — удивился Валерка.

— А на кедрах.

— А-а... Летом. В августе. Вам прислать? В Москву?

— М-м, — неясно ответил Миromanов.

Валерий вышел в коридор, пальцы остро пахли апельсинами. Валерий поправил ворот черного свитера, замкнул на «молнию» куртку, подмигнул проходившему мимо знакомому экономисту из Ленинграда и, по привычке крутанув перед животом рукою, сделал ложный выпад, рассмеялся, разжал кулак... А-а, ничего! Потом нахмурился, вернулся в номер-люкс.

Миromanов был уже весел, чист, доброжелателен.

— С тобой все ясно... — важно сказал он, показывая на кресло, — будешь здесь личным моим представителем! Чуть что не так — звони

лично мне! Вот мои телефоны. Вам, Танаев, самому бы перекрывать реки... Думаю, что со временем... — И он со значением кивнул.

И они пошли по стройке. Мироманов торопится облезать всю стройку и сфотографироваться на самой труднодоступной высоте... За ним — смущающийся и злой Валерка. Тогда еще только-только начиналась «непрерывка»...

— Начальству необходимо иметь какие-то секреты,— заключил Салим Салимович, постоял, не закрывая рта. Задумался.— Это я хорошо знаю. Вот так, молодой человек...

Валерий, постояв для приличия еще минутку, зашел в дом.

— А он не такой уж дурак... — сказал Валера, кивнув на стену.

Мать всполошилась, узкой ладошкой прикоснулась ко лбу сына.

— Он óхмурит кого угодно! Ты его слушай, слушай!.. — с испугом шепотом заговорила она.— Философ! Он велел перед самым твоим приездом — видишь, тополь за окном? — велел сучья срубить: наше окно закрывали от солнца... А теперь на кухне духота, холера его возьми!

— Ну-ну,— смутился Валерка.— Ну, ладно.

Мать прищурилась, внимательно посмотрела на сына.

— Ты теперь большой человек... Ты знай, он будет к тебе приставать. И не ходи в этой мятой рубашке! — вдруг закричала мать.— Ходи в новой и в костюме ходи! И туфли обувай — пусть видит! Хорошие, вон те, иностранные. А то все попрекает, попрекает... Беднота-вшивота, ты бы послушал, что он нам говорит!..

— Ну, ладно, мама... Ну, надену. Но ведь дождь! Чего я туфли-то?

— Я вымою! Я, мать, вымою. Не твоя забота. А ты ходи как нужно. Пусть видит. А то говорит: уехал сын в Сибирь, туда только жуликов раньше ссылали, теперь там сплошные жулики. Пусть видит...

Валерий закрыл лицо, ему было стыдно.

— Мам, оставим этот разговор... Ну, елки-палки, мама, ну, ладно...

А дождь не переставал... От скуки и тревоги Валерий забрел в сарай. Там на нарах лежали два старых тулупа, старые книжки, желтые, слипшиеся, с латинским алфавитом, на татарском языке. В углу висели серые шинельки, синяя фуражка, зеленая фуражка, хомут, с потолка свисали в прозрачных мешочках-трубочках копчености, листы древнего табака — отец уже не курил, табак был желт, как страницы корана...

Валерий полежал на нарах, слушая шелест воды. Длинный день все еще продолжался.

Аня, светлая, покорная, как дымок, выплыла из-за двери.

— Валерка-Валерка, здесь «ВЭФ-двенадцать» продают! И никто не берет! Вот люди! Вот дыра!..

А ночью, встав попить, Валерка услышал плач матери, ее прерывающийся шепот:

— Он совсем чужой стал... совсем чужой... Немило ему здесь, Илюша...

Валерку потом прошибло! Он на цыпочках вернулся к постели, сел, обнял руками колени... И пожалел ее, и иными глазами вдруг посмотрел на себя: «Я ведь слабый был, я мог умереть, и она пятнадцать лет жила — для меня... Я болел scarlatinой — она рассказывала,— и нужно было молоко. А-а, я попросил молока... И она выклянчила у соседей молоко (тогда коровы еще не было), ей дали стакан молока, и я отпил немного, и она разбавила водой, и снова я пил, и она снова разбавляла. Но я ничего этого, конечно, не замечал. Пятнадцать лет жизни...»

Утром Валерка пошел в магазин (это через дом) и купил матери за сорок рублей коричневые лакированные туфли, платок с золотыми стручками и шампанского принес. Мать заплакала. Шампанское оставили на вечер, а обнова тут же была примерена.

— Ай, где же мне эти туфли носить? А ну-ка, мой старый, посмотри, как я теперь в них? Не найти ли мне нового мужа?..

Мать накрыла седые волосы новым платком и, в туфельках ставшая еще выше и худей, прошла по дому. Потом поцеловала сына, негромко сказала:

— Зря ты тратишься... Куда мне? Поздно уж такое носить. Ай, да ладно!..

В тот день мама объявила:

— Топим баню. Вечером — баня.

И отец с сыном решили сходить за пивом. Надели плащи, обули резиновые сапоги, взяли бидон. Мать приказала: не пить, самое большее — по две кружки на каждого. А уж вечером, после баньки, со всеми вместе...

По дороге отец говорил сыну:

— У нас такие улицы... Ты уж ничего... Дожди сейчас и нужны... Хлебá-то кто поить будет?

В пивной народу было немного — человек двенадцать. Отец вынул из кармана две серебряные рыбешки, подмигнул сыну, разломил свою пополам. Каждый содрал кожицу, прозрачную, сухую, и потянулся к кружке. Пиво с воблюю хорошо, особенно если вобла не слишком соленая, а так — в самую меру. И если не вялая, а жесткая, как ножик.

— Молодец, — бормотал Танаев-старший, отпивая пиво и рассматривая на свет кружку, — приехал, молодец. А мне вот скоро на пенсию. Что делать буду? Ума не приложу.

Валерка не знал, что посоветовать.

— А этот сосед? — спросил он. — Он кто?

— Сосед? Салим? — заволновался отец, оглянулся. — Знаешь... — Он оглянулся еще раз и, поймав взгляд буфетчика, обрадовался: — Эй, давай еще, пав-то-рить!.. Знаешь, он хороший был когда-то мужик... Мы с ним тут вместе раскулачивали всякую контру, вместе учились... А сейчас, видишь, живем — как кошка с собакой! Он очень плохой человек, — заключил отец и приник к кружке. Вены на его шее вздулись, седина на висках серебрилась, как та же вобла; лысина отсвечивала. Старик совсем... «И это мой отец? Как странно!»

Валерий осторожно притронулся к руке отца. «Отец. Как странно!»

— Что, еще возьмем? — обрадовался Танаев-старший. Видно, пить ему приходилось теперь редко. А тут сын приехал — как не отдохнуть? Старуха простит, куда не денется.

— Давай, — согласился сын и достал деньги. Неожиданно смутился. — Вот, папа... всякий случай, мне неудобно, ты здесь хозяин... Бери сколько хочешь...

— Знаешь, — вдруг сказал отец, — тебе, верно, смешно, но за всем этим серьезно стоит... У нас все врозь с Салимом — весь город знает, — огород пополам, и плетень между нами выше любого плетня в Татарии, сарай поделен, две уборных... Я специально квартиру не беру, мне предлагали с удобствами, — не беру, и все! Еще подумает, что трушу. Нет! Пусть он уходит, а я не уйду. Он меня всю жизнь обвиняет в мягкости, в буржуазности... И это он?! Я не уйду. Я этого не понимаю. Вот я тебе расскажу. Хочешь? — спросил отец, оглядываясь и снова поворачиваясь к своему красивому сыну в дорогом костюме. — Ах, как жизнь быстро уходит, сынок! Вот держу кружку, а она убегает... Давно ли ты ходил под столом, гусиным перышком ноги щекотал гостям? Помню... А теперь — человек! А я был обормотом, обормотом и остался... — заключил отец.

И Валерка скользнул глазами по его красной выцветшей рубашке с кривыми пуговками, уменьшившимися от стирок.

— Рассказывай,— глухо сказал Валерий. (Все равно расскажет. Так пусть начнет побыстрей.) — Расскажи.

— Я тебе о нас с Салимом... Ты же ничего обо мне не знаешь...

4

Отец, конечно, не поведал и десятой доли того, что мог рассказать. Да и не нужно. Зачем? Не нужно привязывать сына к прошлому. Пусть верит, что все всегда было таким, как сегодня.

Жизнь у Ильяса вышла пестрой, как осенний лес.

Родился и вырос он в деревушке Кал-Мурза, раньше она называлась Хан-Мурза, предполагалось, что в ней живут ханы и мурзы—видно, кто-то нарочно так назвал нищую деревню. Кто был богат в Кал-Мурзе, так это мельник — имел мельницу на двенадцати камнях, содержал медресе (школу) и кормил собак салом. Возле мельницы на берегу Ика все деревья были белые, как березы, и там лакомились: лизали стволы мальчишки и козы. Мучная пыль невкусная — потом болели животы... А сам мельник Ибрагим ходил с толстой палкой и все время чихал. Ему кланялись.

Ильяс родился в огромной и бедной семье. Отец и брат отца имели одну лошадь, одну корову и три овцы. Изба была вдавлена в землю, и между окон, что выходили на улицу, белели вкопанные в землю подпорки. По ним ползали божьи коровки и черные тараканы. Брат отца считался хорошим садоводом, но никаких цветов Ильяс не запомнил — только множество мешочков, в них семена — похожие на крестики, на капли, на маленькие сморщенные головы, на сережки...

В 1917 году умер отец Ильяса, мать вышла замуж — в третий раз — за крестьянина из Суук-Су (деревня Ледяной Ключ), брат уехал на юг: там заработки, шахты. Ильяс остался с бабушкой. Как отец умер? Плохо умер. Его убило воротами. В сентябре дули ветры, и ворота однажды открылись.

— Никак к нам гости,— сказал отец и на ходу нагнулся к жерди, которой запирались ворота.

А тяжелые крылья ветром потащило обратно, они захлопнулись, ударили отца по голове, и он упал. И потом его зарыли на кладбище, где очень много птиц.

Ильяс подобрал жердь, которую хотел поднять отец, отнес ее в луга к пастухам и свег на костре. Жердь горела медленно, и в пламени ее возникали синие и желтые лица со страшными ртами — духи, черти... Ильяс плакал и показывал пальцем: вон дунгыз — свинья, атбашы — лошадиная голова, жен — черт...

Бабушка Шаргия, черная, маленькая, как коза, стирала белье мулле Абдрахману. Собирала ягоды, лечила больных, принимала роды. Все уважали ее, мимо дома ходили тихо. Если кто шумел, ругался или пел на улице, бабушка выбегала и посошком била — даже взрослых.

В 1920 году она отвела внука в медресе. Мулле сказала:

— Учите! Кости — мне, мясо — вам (лупите сколько хотите)...

В медресе занималось человек тридцать. Там же ели и спали.

Ильяс учился хорошо. В знак отличия иной раз он должен был идти перед строем шакирдов — мальчишек — и бить правой рукой по лицу двоичников. (А если Ильяс отказывался, то мулла бил его самого.) Ильяс вечно ходил с кровью на верхней губе, но отношения с муллой от этого не ухудшались, все равно мулла ставил всем Ильяса в пример.

Ильяс очень любил музыку и всегда что-нибудь высвистывал, и бабушка за это несколько раз его наказывала.

— Ангрá! — кричала она. — Дурень! Разве можно свистеть дома? Разве можно? Пожар будет! Не свисти! Пой, а не свисти! Пожар будет, голод будет!

Но петь мальчишка стеснялся, хотя голос имел звонкий, базарный...

В 1923 году открылась начальная (уже советская) школа, и Ильяс пошел в школу.

О Ленине он впервые услышал от Авзала, только что вернувшегося с гражданской войны родственника. Рослый, с горбатым носом, он умел делать все: играть на гармонии, обкатывать жеребцов, удить крупную рыбу... Он походил два дня по зимней Кал-Мурзе и посватался к соседке Ильяса, Мавдухе-фельдшернице. Сыграл свадьбу — сам на свадьбе наяривал на тальянке, сам плясал, сам больше всех пил и ел, тарелку с собранными по кругу деньгами отдал нищему Хисаму... Вдруг заплакал Авзал и сказал, что сегодня умер Ленин.

— Вы не знаете, неграмотные вы люди, какой это был человек! Я его на фронтах войны встречал, — говорил Авзал, глотая слезы.

Он рванул ворот — и пуговицы полетели, женщины нагнулись и бросились подбирать, потом передали жене.

— Это был человек выше меня, умнее всех нас, и когда он шел, радуга горела над землей...

И все горевали, качали головами и цокали языками — действительно, все слышали о Ленине, все слышали: он землю дал крестьянам, был хороший человек — жил на Волге, рядом... Как же не знать про Ленина? Ай, как жалко.

Неужели Авзал видел Ленина? Он и трезвый потом не раз говорил, что видел Ленина на митинге в Петрограде, перед отправкой на фронт.

— Но не может он быть высоким, — возражал Ситдик-турок, черный, с длинным носом, — я знаю — он маленького роста. Может, ты видел Держинского? Он с усами был?

— Да, с усами, но и с бородой, — объяснял Авзал. — Понял? Это Ленин был, а не Держинский.

— А у Держинского тоже борода.

— У Держинского борода есть, но у Ленина — особая. Я тебе не хочу объяснять какая...

С 1923 года по 1928-й Ильяс работал у кулака Заки. Заки жил с двумя женами, напоминал гусака с ощипанной шеей. Очень осмотрительный был человек. Прежде чем ногу поставить, посмотрит — не гвоздь ли лежит: есть гвозди, очень похожие на дождевых червей. Берег обувь, берег одежду. Но для молодой своей жены, Нурии, ничего не жалел — покупал одеколон, городские леденцы на палочке.

Однажды Нурия угостила таким розовым петушком Ильяса, когда он удостоился быть ее почтальоном.

Он отнес от нее записку кузнецу Хасану. У Хасана в глазах горели угли, он мрачно посмеивался, когда читал записку Нурии. Хасан провел рукой по поясу, подмигнул Ильясу:

— Ни слова, джигит!

Достал из деревянного ящика с медной скобой женское платье, напялил на себя, еще раз подмигнул Ильясу:

— Учись, джигит.

И пошел огородами среди высоких подсолнухов, которые, раскалясь на солнце, потрескивали, осыпались золотой окалиной, словно и их ковал кузнец Хасан, — тяжелые меднолистые диски...

Нурия ждала Хасана в бане. Кто-то заметил это и доложил Заки: мол, так и так, дурак, беги смотри. Тот, ясное дело, не поверил, но вместе с доносчиками потащился к бане, в огород, обходя лужи, оглядываясь и вздыхая. Жена оказалась хитрее — заподозрила неладное, выгнала кузнеца, переулком вернулась домой и принялась за намаз.

Мужики пришли в баню — никого. Заки — домой, а молодая жена молится. Досталось Заки снятое молоко.

Звали эту хитрюгу Нурию «чибер кыз» — «красивая девушка». Ах, Заки, Заки, дурак он был, Заки, да не совсем... Придет время — увидите...

А как сложилась судьба Ильяса? В 1928 году его приняли в комсомол. Он и Салим организовали в Кал-Мурзе комсомольскую ячейку, сагитировали поступить в нее еще шестерых ребятишек, сплошь бедноту — цыпки на ногах, уголь от печеной картошки на зубах. Ильяс был секретарем, Салим помощником. Этот опухший от голода мальчишка с большим животом тогда еще не умел пламенно говорить, но помогал Ильясу как мог.

Нужно было распространить заем стоимостью от рубля двадцати пяти копеек до десяти рублей — всего на четыреста рублей. Но что могли сделать один коммунист и восемь комсомольцев? Собрали тридцать рублей... Мулла смехом объявил, что мечеть скоро упадет и пужны деньги на ремонт мечети,— за час-другой бабки нанесли ему последние, кровные, и набралось двести целковых! Это был вызов силам революции!

Ильяс с Салимом сидели в избе Ильяса, рассуждали.

— Я считаю, нужно устроить облаву,— говорил Салим.— Попро- сить в комитете наганы, ночью обойти самых злостных срывщиков!

— А разве есть такое распоряжение? — возражал Ильяс.— Так нельзя. Мы же так всех распугаем.

— Да, распугаешь их,— мрачно отвечал Салим.— Террор — вот что необходимо!

Ему нравилось слово «террор» — три «р»!

Ильяс оглядывался. В темные теплые ночи пропадали люди, скот, в темные теплые ночи творились самые странные дела. То загорится дом активиста, а дверь снаружи на замке или ремнем завязана — попробуй выскочи! Только локтями или табуреткой руши окно, пока не поздно...

А то вдруг посреди села, на улице, утром человека находят — мать родная не узнает!

— Что врагов бояться? — горячился Салим.— Наша власть!

За перегородкой принималась ворчать бабушка Шаргия. Ильяс и Салим затихали и убирали руки со стола. Бабушка уже год как не могла умереть, а решила твердо: умереть пора. Ей снился сон. И она многозначительно о нем не рассказывала... А сейчас она ворчала на внуков:

— Век стояла земля, век стоять будет. И ничего вы, сопливые мальчишки, не измените на ней. Какие батыры сложили головы — и все равно нет счастья и не будет!

Бабушка радовалась, конечно, что земля теперь ничья, что школу открыли, но боялась: придет возмездие. А придет оно на железных конях, и будут сидеть в седлах люди с бровями мохнатыми, с длинными красными зубами. Она пророчествовала, ребятишки смеялись и ежились...

А тут катились по Татарию летние грозы, ливни продавливали крыши сараюшек, поворачивали баньки, молнии палили от горизонта до горизонта... И говорила бабушка, что есть такая деревня — далеко до нее. километров сто,— называется Кара Сыер (Черная Корова), русские произносят: Карасырово. И счастливы же там живут! Черные коровы бродят у них по лугам, стада в тысячу голов, у каждой коровы — вымя розовое, круглое, а глаза — как у человека, человечески глаза. Молоко от черной коровы тушит молнию. Больше ничто не тушит молнию: ни вода,

ни песок. Русские называют свою деревню еще так: Березовка. Там много берез, и у них тоже человеческие глаза на белой коре...

Бабушка умерла осенью — на крыльце лежали желтые листья, по крышам сушились черные листы кока, прессованного татарского варенья, кричали птицы, собираясь на юг. Бабушка умерла, молясь аллаху на шерстяном пестром одеяле, даже колен не разогнула — повалилась набок и умерла. Коричневые четки на черной нитке зажаты в кулаке. «Счастливая...» — решили все старухи Кал-Мурзы. Бабушка всегда верила в судьбу: человек — песчинка, судьба — молния. И нет счастья, а если есть оно — так далеко, что сто пар сапог нужно купить, чтобы дойти... Бабушка наверняка попала в жьмох — рай.

А кто-то говорил: от горя бабушка Шаргия умерла — внук-то в комсомол записался! Курить будет, мочиться у заборов будет.

В Мензелинске открыли школу крестьянской молодежи, и Ильяс поступил учиться. Салим экзамены завалил и остался в Кал-Мурзе. Но не суждено было оторваться Ильясу от родных мест — стал он уполномоченным по заготовке хлеба. И борьбе с кулаками...

Летом 1930 года урожай был отменный. Но не хватало его государству. К тому времени Ильяс исполнял обязанности еще и начальника ЛК — «легкой кавалерии» РК ВЛКСМ. «Легкая кавалерия» выпускала стенгазеты, ставила спектакли. ЛК все боялись! Пьесы обычно разыгрывались в пожарках, народ сидел на арбах и телегах. Ребята обматывались тряпками, изображали кулаков, причем не вообще кулаков, а своих: муллу Абдрахмана, Заки, Мулланура. У Ильяса все время чесался подбородок — от приклеиваемых бород... Здесь и начинается самая яркая и самая трудная полоса в жизни Ильяса Хасановича Танаева. Да и в жизни Салима. К 1930 году он уже председатель сельсовета Кал-Мурзы — человек в широких брюках, ситцевой черной рубашке.

Но тут отдельный разговор...

Если собрание считало, что крестьянин — кулак, то у него забирали землю, лошадей, инвентарь, дом, а самого высылали в Сибирь... Ильяс лично раскулачил девятерых.

Вот однажды Ильяс, Салим и еще два члена комиссии по раскулачиванию пришли к Заки. До сих пор не трогали, все как-то жалели: жена изменяет, несчастный человек...

Заки сидел на лавке в углу, уныло глядя под ноги.

На столе чернел кусок хлеба и стояла кружка с жидким чаем. В избе и сенях было пусто. В сарае тоже. Одни веники и оглобли.

Члены комиссии переглянулись.

— Ну, что, Заки? — спросил Ильяс, пряча улыбку. — Где твой хлеб?

— Юк-юк, — быстро заговорил Заки, вставая и снова садясь, — все отдал, все съели жены, небо их разрази! Как начнут есть, так хруст стоит, кости и те съели... Один я одинешенек остался! В сливе одно семечко? Вот так же и я одинок и беден! Берите — последний кусок перед вами. — И Заки кивнул на стол.

Ильяс вздохнул и выжидательно посмотрел на спутников. Член сельсовета Фатиха, двоюродная сестра Ильяса, скуластенькая молодайка, показывая пальцем на небо, закричала:

— Там — алла, а здесь теперь я! Говори, где хлеб спрятал?

— Ты, женщина, — вдруг пренебрежительно скорчился Заки, — разве я тебе разрешал войти ко мне, а?

— Советская власть разрешила! А насчет разрешения молчи уж! Тоже мне, мужчина!

— А что? — Лицо и худая шея Заки пошли пятнами. Он нервный был человек.

— А ничего! Где хлеб? Мы к тебе не разговаривать пришли!

— Ой-ой, тише,— попросил Салим, краснея,— ты, девушка, все-таки тише. Он и так устал от вашего брата...

— А я раньше вас всех советскую власть принял,— неожиданно объявил Заки. Он улыбался и тяжело дышал.— Вот. У меня две жены. А у вас и по одной нет.

Никто ничего не понял.

— При чем тут власть? — спросил Ильяс.

— При коммунизме все будут под одним общим одеялом спать. И у каждого будет сколько хочешь женщин. Общие будут. Я первый это в наших местах понял. А вы меня ругаете! А вы знаете, как мне это было тяжело? Я передовой человек, и я столько горя испытал...

Фатиха начала хохотать, убежала в сени.

— А вы меня ругаете, не доверяете мне... Я ваш! Я теперь такой же бедный, как и вы! Если вы найдете хоть один лишний гвоздик у меня, можете на этом гвоздике меня повесить! Если вы найдете хоть одну горсть у меня, можете это зерно мне в глаза насыпать! Если вы найдете,— продолжал жаловаться и угрожать Заки,— найдете хоть одну курицу, я возьму ее в жены и буду жить с ней — позор на мою седую голову!..

— Ну-ну,— смутился Ильяс,— чего ты, Заки, так кричишь. Так кричать, Заки, вовсе не нужно. Нам нужен хлеб, и ты его нам дашь.

— Откуда?! — Заки поднял руки.— Вы в собрания играете, речи произносите, а я землю с детства обрабатываю, под моими ногтями она вот — синяя! — И Заки показал руки.— Умру, ножом будете ковырять — не вычистите. Не из чужих же ногтей я ее туда натолкал!

— Ты нас еще укорять? — Салим замахнулся и подскочил к Заки.— Мироед, шкура! Да мы тебя!

— Стой,— негромко сказал Ильяс. Он сел на табуретку перед Заки, табуретка имела дырку в виде полумесяца на сиденье — удобно держать ее.— Стойте, товарищи.

Ильяс подумал: «Ведь в самом деле не чужой человек. И в конце концов не полный бездельник. Богат — да, но сам он тоже всю жизнь работал. Скупердай, конечно, скупее нет...» И не жалость, а брезгливость почувствовал Ильяс.

— Но, черт возьми, так нельзя. Так мы совсем раскиснем.

Ильяс достал наган и, морщась, выстрелил в потолок. Заки рухнул на пол, схватился руками за голову.

— Алла!.. — захрипел он.— Все скажу!.. Во дворе у Салима, под телегой...

— Что?! — налился кровью Салим.— Во дворе у меня?

— Да! Прости, Салим-абый!.. — унижался Заки, седой кулак, перед восемнадцатилетним мальчишкой.— У тебя, у тебя, ночью зарыл...

Конечно, никому не пришло бы в голову искать зерно во дворе Салима.

У крыльца председателя сельсовета стояла старая телега, под ней ни соломинки, ни зернышка.

— Не может быть,— недоверчиво пробормотал Салим,— вот змея, как же он умудрился-то?

— Алла, не убивайте,— кланялся Заки,— ночью зарыл, в дождь... Не убивайте... Я виноват, и больше никто не виноват. Это я закопал! Сам. Вот дайте лопату, я покажу, как это было.

Заки дали лопату, в сторону откатили телегу. День был ясный, осенний, теплый. Паутинки, светясь, летели над плетнем. На улице торчали мальчишки, смотрели.

Заки, вздыхая, нажал галошей на лопату. Минут через десять показались мешки. Да, зерна было навалом...

— Ух, шкура! — захрипел Салим. — Расстрелять тебя мало!
— Но я же показал! Ничего не утаил. Вот он, хлеб, смотрите!..

И Заки заторопился, развязал мешок, сунул худые, в желтых пятнах руки и поднял в ковшике ладоней тусклое золото — каждое зернышко чистое, тяжелое, с разрезом повдоль.

— Я же все отдаю... — плачущим голосом говорил Заки.

Ильяс перевел дыхание, пшеницы тут было достаточно. Он сказал Салиму:

— Пусть живет... Может быть, еще перевоспитается...

— А что люди подумают! — кричал Салим. — Подумают, что я... что он со мной... Никогда, никогда такого!.. Уй, змея! Я бы тебя!..

Заки отскочил от Салима.

— Дайте мне, дайте бумагу, чтобы никто меня не трогал! Я же все отдал... Дайте мне бумагу с печатью!

Комиссия пообещала Заки бумагу, тут подкатили комсомольцы на подводе и хлеб вывезли.

А на следующий день в сельсовете был такой разговор.

— Конечно, теперь ты будешь думать, что тут я неспроста замешан? Правда ведь?

— Ну что ты, туган — родной, ну что ты!

— Нет! — Салим встал и поднял руку, выставив указательный палец: научился у секретаря волостного комитета Анисимова Петьки. — Основания для этого есть! Ведь подумать только... враг, кулак, хоронит хлеб во дворе председателя сельского Совета! И тот не слышит ночью скрипа ворот, не слышит зловонного дыхания врага, стука лопаты, шума земли... Кто не подумает, что враг с председателем не в сговоре? Я бы подумал. И теперь ты будешь думать так обо мне. И я знаю, если что со мной плохое случится, то в этом будешь виноват ты, потому что ты мне не веришь.

— Да верю я... Да разразит меня молния!..

— Не разразит, — сказал Салим, разглядывая черноволосого неуверенного друга своего. — Не веришь, Ильяс, и будешь теперь за мной следить. И если что — покажешь на меня... И буду я, отверженный, идти один по жизни, и никто из моих друзей руки мне не подаст — еще бы! Крапива будет хлестать мне ноги, шмели черные в ушах моих гнезда совьют, а руки мои будут опущены, и ты будешь с презрением смотреть на меня с балкона...

— С какого балкона? — изумился Ильяс. — Что ты говоришь?!

— Я знаю, что говорю, — продолжал Салим, — я в книжках читал, и я знаю — так и будет! Ни одному слову не будете верить.

— Салим, — испугался Ильяс. — Что с тобой? Ну кто же на тебя подумает? Ты же наш, бедняк.

— А перебежчики? Они есть, и не нужно о них забывать! Ты — интеллигенция, а я тут, на месте, все вижу...

— Так ты сам на себя наговариваешь.

— Потому что знаю — ты так думаешь. Салим не дурак. И дурак тот, кто думает, что Салим дурак...

Ильяс засмеялся, хлопнул друга по плечу. Тот долго еще городил всякую чушь. Ну, конечно, Ильяс не мог подумать на Салима.

Но на следующую ночь случилось вот что. Прибежала старая жена Заки (молодая бросила его, уехала к родным), толстая добрая женщина:

— Ой, беда, Заки убили!

Схватив наган, Ильяс бросился к избе Заки.

Возле ворот в сумерках стояли две-три вездесущие старушки, в избе горела двенадцатилинейная — богатая — лампа Заки. Пахло йодом, марганцовкой.

Сам хозяин лежал на кухне на широких нарах. Синяя рубашка, сатиновая, новая, была разорвана. На белом бинте — возле сердца — красное пятнышко. На коленях — грязь, солома.

Фельдшер Мавдуха шепотом объяснила, что ничего страшного, пуля прошла насквозь, едва задела, крови потеряно не много... Сама она сейчас идет на Верхнюю улицу — там у механика умирает девочка: отравление...

Аккуратно сложив беленький халат в сумку, Мавдуха ушла.

— Что с тобой, Заки? — спросил Ильяс. Он осторожно прикоснулся к плечу раненого.

— Убили, — прошептал Заки.

— Нет-нет, — сказал Ильяс, — нет, товарищ, ты будешь жить.

— Убили, — прошептал Заки, — твой дружок Салим мстит, он ведь зна-ал... зна-ал...

— Ну-ну, — сказал Ильяс. В голове у него снова стало горячо. Он потрогал голову. Он Заки не верил. Перед ним лежал классовый враг и наговаривал на лучшего его друга.

— Ну-ну, — угрожающе повторил Ильяс.

— Ох, мне все равно!.. — прошептал Заки. Он видел: вошли и стали поодаль старушки, соседи. Заки принялся стонать, сучить ногами. — Милые, мусульмане, дайте хоть спокойно умереть...

Старушки заворчали.

— Прости, — сказал Ильяс, — прости...

Он вышел в сени, закурил самосад. Курить Ильяс стал недавно и еще кашлял. Самосад пьянил, ноги через минуту делались чурбанами, затем в них начинала звенеть горячая вода, они слабели, а горло горело... Но потом наступало успокоение.

Ильяс вернулся, чиркнул спичкой о край нар, поднял над головой:

— Посмотрели? А теперь идите!

Люди вышли.

Ильяс потрогал руку Заки — горячая. Неужели умрет? Он прикрутил фитиль в лампе, попросил комсомольца Гани покараулить у ворот, никого не впускать.

Ильяс сел на табуретку у изголовья Заки.

— Слушай, Заки-ака... — спросил он тихо, — скажи мне еще раз, правда ли то, что ты мне говорил?

Заки открыл глаза, с ненавистью посмотрел на парнишку.

— Не знаю, чего еще ты хочешь от меня, дай попить.

Ильяс встал, пошел — нигде нет воды. Насвистывая, заглянул в чулан, принес кастрюлю катыку, розового, настоящего на свекле, — это вроде русской ряженки, — холодного, чудесного, сам бы попробовал, да как-то неловко, не время...

— Не бойся, я уже не умру, — сказал Заки.

— Ты все расскажешь.

— Никогда. Ты все равно не поверишь и убьешь меня.

— Вот как?

Ильясу стало скверно. Нет, не может быть. Ну, хорошо.

— Скажи лишь одно — кто стрелял?

— Салим.

— Как ты узнал об этом? Как все вышло?

— Я ходил на речку, ставил на ночь перемет... жизнь совсем худая пошла, сам видишь... иду вверх, мимо огорода муллы, виноват, теперь мимо огорода Фатихи... Темно, слышу — кошка мяукает... под ногами... я нагнул... и тут на меня сзади! Я слабый, сам видишь, я тут же упал, и он упал. Я вскочил и побежал, и тут мне в спину... Салим стрелял, я слышал, как он кашлял, вставая...

— Я тебе не верю,— сказал Ильяс.

— Друг друга покрываете? — съязвил Заки.— И вы такие же?..

— Послушай,— Ильяс окончательно разозлился,— ты что, действительно думаешь, что в твоё жабье сердце стрелял Салим?

— Да,— прошептал Заки. Он устало отвернулся к стене...

Ильяс вышел во двор, у ворот блуждала красная точка сигарки.

— Гани, сбегай за Салимом!

— А я здесь,— отозвался Салим. Он сидел в темноте на бревнах и, может быть, даже слышал разговор Ильяса с Заки.

— А почему ты здесь?

— Пришел, хотел с этой шкурой...

— Нет, кто тебя звал? — рассердился Ильяс.— А ты, Гани, я же тебе приказал!

— Ты мне не доверяешь? — понял Салим.— Я же тебе говорил — этим и кончится. Наши классовые враги умеют действовать.

Ильяс не знал, что сказать. Его мучило другое.

— Ты стрелял в Заки?

— Честно?

— Да.

Салим молчал.

— Ну, говори же,— с надеждой в голосе спросил Ильяс, он подошел ближе к Салиму, грузному, здоровому, от которого исходил запах сыра и пота.— Скажи что-нибудь. Я же тебе верю...

— Не веришь,— сказал Салим и поднял палец,— не веришь, и жизнь моя погублена! И я знаю, кого теперь в этом винить. Близорукие — о, близорукие! — никакие очки толщиной в пряник не помогут, если душа близорука... Никакие собаки не отыщут след, если след врага перейден другом. Не веришь! Ни маменьки, ни папеньки у меня, только ветер революции и ее стальные клинки меня баюкали, ее седла были мне подушками. Их, Ильяс, кончена жизнь, друг мой, без веры...

Салим кинул на землю кепку. Сел на бревно и заплакал.

— Друг мой,— забормотал Ильяс,— ты будешь великим поэтом...

Ему очень понравились слова Салима. Но он был уполномоченным по борьбе с кулачеством и должен был выяснить, что же, собственно, произошло.

— Салим, идем вместе поговорим с Заки,— предложил Ильяс,— я ни одному его слову не верю, я верю только тебе. Но он говорит, что стрелял ты. Может быть, он спутал тебя с кем-то? Надо вспомнить, кто на тебя похож...

Салим, не вставая, всхлипывал.

— Я не могу лгать,— сказал он, сокрушенно крутя головой,— когда Татарстан в опасности, я не могу лгать! Пусть мой язык отсохнет и станет гребенкой, стрелял я. И еще раз стрелял бы, если бы мог! Делай со мной что хочешь! Классовая ненависть меня заставила! Он нарочно в моем дворе зарыл свой хлеб, чтобы мой авторитет подорвать...

Салим замолчал. Далеко залаял пес. Красная размякшая луна всходила над рекой, над лугами, над урёмой, зелено-дымчатой в ночи. Гани топтался у ворот, не решаясь уйти.

— Иди, Гани,— разрешил Ильяс.— Губы зашей.

Гани кивнул и скрипнул калиткой.

Друзья зашли в избу. Заки бредил, пел, возле него сидела жена, мокрое полотенце лежало на лбу.

Жена поила его каким-то отваром малины с медом и травы с черными стружьями. В избе еще сильнее пахло марганцовкой, на столе белела тарелка с ярко-малиновой водой, лежали три пустые яичные скорлупы...

Ильяс и Салим посидели возле Заки, и когда дыхание его стало спокойней и жена закутала его в одеяло и перенесла на кровать в спальню, Ильяс и Салим решились спросить у него:

— Заки-ака, стрелял Салим. Зачем он это делал, как ты думаешь?

Заки не хотел отвечать. Ильяс взял лампу и повел ею, чтобы внимательнее всмотреться в узкое козлиное лицо Заки. Когда он нес лампу, со стен, шурша, опадали тараканы — сыпались, как дождь... И когда Ильяс и Салим уходили, они старались не вслушиваться в свои шаги... Без красивой жены совсем опустили Заки.

Так и осталась эта история неясной для Кал-Мурзы — почему Заки наговаривал на Салима; все равно ведь никто не поверит, тем более уполномоченный Танаев!

Салима товарищи простили, благо что Заки выжил и потом исчез из Мензелинского района.

Но с тех пор Ильяс часто, прежде чем что-нибудь сказать, думал: как бы не обидеть Салима... Салим стал недоверчивым, он считал, что ему не доверяют.

Ему, конечно, доверяли.

5

И тогда Ильяс влюбился...

С ним вместе в Мензелинском сельхозтехникуме училась Роза Амутбаева, кругленькая, с синими — неожиданными для мусульманки — глазами. Глаза синие, с черными точками вокруг зрачков. Она была башкирка. Вместо «ч» говорила «с»: так у башкир принято... Но потом привыкла к чисто татарскому произношению. Памятью обладала удивительной: все запоминала. Из нее вышел бы хороший зоотехник или агроном. Знала, как какие травы называются...

На собраниях Ильяс встречался с ней, краснел, ерошил волосы и вздыхал. Ах, если бы он умел говорить, как Салим!

Он писал ей записки, касающиеся вопросов политечебы, марксизма-ленинизма или погоды. Чтобы загадочней получалось, писал по-русски. Он уже знал русский.

«Нравится ли вам погода?» — выводил Ильяс красным карандашом (выдали секретарям), стараясь так, чтобы буквы были стройнее.

«Мне очень нравится», — отвечала она, и было не ясно, что нравится, погода или Ильяс. В такую игру они играли всю зиму 1934/35 года.

Учебники заворачивали в газеты, тетрадей не хватало, и во время занятий писали на газетах или в тетрадях дважды — сначала карандашом, потом чернилами. Так что на записки отрывались узкие драгоценные клочки...

«Как вы относитесь к Бакунину?» — спрашивал Ильяс, замирая от затаенной мысли написать что-нибудь нежное.

«Плохо отношусь», — отвечала Роза. — Он анархист, черное знамя».

«Правильно», — писал Ильяс. — У нас одна платформа».

«А у платформы четыре колеса», — начинала шутить Роза.

«Почему?» — недоумевал Ильяс. Он не знал, что платформами еще называются железнодорожные площадки на колесах. Он никогда не видел поезд. А Роза видела.

«Потому что два колеса плюс два колеса будет четыре».

«А одна хорошая девушка плюс один тоже хороший парень кем могут быть?»

«Не пишите глупостей».

«Мы раскулачим всех кулаков, построим царство социализма. И можно с вами встретиться вечером возле общежития?»

«Построим. Нельзя».

Метели мели белые, в окнах тряпье намокало и костенело, в комнатах общежития висели бутылки на веревочках — по веревочкам с окон стекала вода... Придя с занятий, Ильяс сидел возле печи — до потолка в желтых разводах — и прислонялся спиной к кирпичам. Печь тут же обжигала, и тогда Ильяс, посапывая от удовольствия, от счастья, чуть отодвигался, и между спиной и печью оставалось крохотное расстояние, щекочущее острым жаром тело, и когда парень засыпал, он приваливался к печи — и с криком просыпался, и в крохотные кусочки сна снилась ему Роза Амутбаева. Волосы у нее блестели, глаза блестели и голые локти тоже — на них золотился пушок... Ерунда какая-то!

Когда на каникулы Ильяс снова приехал в Кал-Мурзу, он не утерпел, рассказал Салиму о Розе.

Салим был уже не тот мальчишка с крохами гречки или бородавками на пальцах. Его все признавали за умного человека, и он еще больше пыхтел, выпячивая грудь и задумываясь. Теперь Салим уже был Салим Салимович, руки белые, чистые, стрижен наголо и на затылке видно два бугра. Салим долго поил друга чаем, принес меда с пчелиными крылышками и лапками (как рыболовные крючки) в прозрачном куске — отобрано у кулака Мулланура, лежит с осени в амбаре Мулланура, под надзором Фатихи.

— С девушкой надо быть уверенным, как с классовым врагом, — хотел Салим, — иначе она почувствует твою неуверенность и ей станет стыдно. И начнет думать. А когда женщина начинает думать, у куриц вылупляются из яиц индюки. — И прищурившись, продолжал: — А зачем ты у меня спрашиваешь? Неужели ты мне все-таки доверяешь?

Ильясу становилось стыдно. Он попал в странную зависимость от Салима — а должно было быть, верно, наоборот. После истории с хлебом Заки везде приходилось теперь защищать Салима, даже когда тот был не прав: самоуправствовал, упрямылся, не подчинялся центру... Несколько писем, в которых его крестьяне ругали, Ильяс самолично сжег. Да ведь и верно: на всех не угодишь!

А Салим продолжал:

— Жениться тебе, мой друг, рано. Но объясниться с девушкой нужно. А то скоро закончишь техникум, а ей, говоришь, еще два года? Отобьют! Легче женщину отбить, чем ручку у чашки... Эх, заканчивай скорее свой техникум и приезжай — именно здесь делаются дела, здесь сгусток борьбы... Ты мне был бы полезен здесь!..

Так ничего и не решив, Ильяс вернулся в город.

Ильяс и Роза, оба в огромных латаных-перелатаных валенках, он в фуфайке с ремнем, она в пальто, бродили по улицам Мензелинска, шли мимо кирпичного здания библиотеки, мимо магазина — к дамбе, к Мензелинке. Речки не видно — только горы снега, курится метель...

Ильяс кричал Розе:

— Как хорошо! Да?

— Да, — отвечала она.

Однажды, совершенно ошалев, он взял ее под руку, она вырвалась и со словами:

— Ильяс-абый, не трогай! Не трогай, дядя Ильяс! — побежала.

— Какой я тебе дядя? — прошептал Ильяс, догнал ее и начал стыдить: — Ты при советской власти живешь, Роза! И если я тебя старше на три года, я никакой тебе не дядя, а просто товарищ, друг. Да? Ты должна быть выше меня, а не я. Да?

— Да, Ильяс-абый.

Темная девушка.

Роза опустила глаза, и они медленно пошли дальше. Вдруг она улыбнулась:

- Ты такой страшный был, как негр! Когда за мной бежал.
- А где ты видела негров?
- В кино.
- А я такой загорелый,— похвастал Ильяс.

Роза сняла варежку и прикоснулась к щеке Ильяса — потерла быстро-быстро. Потом задышала на руку, надела варежку.

— А я думала: грязь...

Ильяс покраснел.

— Нет, конечно,— сказал он.— Как могла ты так подумать?

Роза почему-то испугалась.

— Ой, я не думала тебя обидеть, Ильяс-абый!..

— Тьфу, шайтан,— сказал Ильяс,— что ты извиняешься? Ты же пошутила...

— Да, конечно, я пошутила!.. Так мне мама всегда делала.

И вовсе замолчала Роза, и молчала все два часа, пока они гуляли по заснеженному городку. Посвистывали голые ветки деревьев, гудело в трубах, возле моста они наткнулись на волчьи следы — Ильяс утверждал, что не может ошибиться: следы волка! Широкие, смелые, надо же, куда забрел! Потом Ильяс читал вслух стихи Такташа — недавно напечатали в центральной газете. Там особенно хорошо было про мулл:

Муллаларны кинап китармен!

(Пройду и побью по дороге всех священников!)

Роза опускала голову и улыбалась...

На следующий день, придя из техникума, Ильяс побежал к знакомым — помыться в бане. Все вспоминал, как Роза терла его щеку. И вернувшись, еще мокрый, красный, оделся погеплее, стоя выпил с ребятами чаю и вылетел на улицу — опаздывал на свидание. И в тот вечер он простыл, явился с температурой, с помутневшими глазами.

Но наутро пошел в техникум и просидел весь день, как положено.

В перерыв к нему подсел Вася Барминов, член комитета комсомола, показал письмо и закрыл левый глаз, что означало: секрет!

— «Легкая кавалерия» перехватила,— сказал он шепотом,— прочти и верни. Контрреволюцией пахнет!

С трудом что-либо соображая, Ильяс прочел письмо. Письмо было Розе Амутбаевой. Письмо было от отца Розы Амутбаевой, из Башкирии.

«Родная дочь моя,— писал он,— веди себя осторожно, не говори глупостей. Из всей нашей родни ты одна осталась, милая, родненькая моя, звезда моя, глаз мой единственный. Береги себя, ничего не рассказывай обо мне, о своем детстве, говори, что всегда жила бедно, носила одно и то же платье, одни и те же тапки, потому что голова на плечах одна, скворец мой, солнышко мое... Я живу неплохо, пиши по этому адресу, Ахметбаеву Назибу...»

В груди у Ильяса заворчалось что-то горячее, он еще раз перечитал письмо, еще раз — и понял, что Роза скрывает истину об отце и себе, что они не иначе как кулаки, что отец прячется в Башкирии и даже фамилии у них разные...

— Да,— сказал он,— я прочитал, Вася.

Вася еще раз закрыл левый глаз и провел пальцем по шее. Он был ловким парнишкой — мог перемахнуть через любой забор, ходить на руках, стоять на голове. Его в тридцать пятом нашли в канаве неподалеку от деревни Аю полумертвого, с ведром, надетым на голову...

— Вася,— сказал Ильяс. Его мутило, он задышался. Он любил Розу и боялся за нее.— Вася, но она-то при чем? Она наш товарищ...

Вася пристально смотрел на Ильяса, все о чем-то думая. Он, конечно, знал о дружбе Ильяса с Розой.

— Ну, Вася? Конечно, давайте как нужно... Но она хороший товарищ... конечно, если...

— Я тебя, кажется, понимаю... Давай последим за ней. Не будем пока трогать. Идет?

— Идет! — вздохнул Ильяс, надеясь, что как-нибудь все обойдется. С кем посоветоваться? Потом Ильяс еще три дня проходил с температурой, а потом два дня лежал. Роза его не навестила — что-то почувствовала? (Письмо к ней, заклеив, положили на подоконник в коридоре, куда обычно клалась письма.)

Как только Ильясу стало лучше, он поехал в Кал-Мурзу к Салиму — посоветоваться.

Ильяс все рассказал Салиму.

— Как?! Она еще на свободе? — закричал Салим и начал ругать Ильяса, сыпя сравнениями, обычными в татарском разговоре. — Эх ты, сундук глупости, мешок разгильдяйства! Как ты можешь спокойно ходить по земле, когда около тебя ходит враг? Как под тобой земля не прогибается, как возле тебя дома не горят?

— Ой, что ты говоришь, — испугался Ильяс, — она же простая девушка, совсем простая, у нее нос широкий... Ну, может быть, у нее отец бай, ну и что? Его надо раскулачить, а она-то при чем? Как ее спасти, вот что ты мне посоветуй... Салим, ну, скажи мне, Салим... туган, она удивительная девушка... Ты бы видел, в каких она валенках ходит, Салим... Она плакала от холода...

— Маскировка, — отметил Салим. — Враг цвет кожи своей изменит, если ему нужно! — Он приоткрыл рот, отвел челюсть вправо, потом влево. Думал.

— Салим...

Салим думал. Потом отошел и сказал, исподлобья глядя на Ильяса:

— Ты — кандидат в члены партии. Тебя вот-вот примут в партию. А могут не принять! Я не понимаю, как ты можешь медлить? Если об этом узнают?

Салим, заложив руки за спину, потупился. Ильяс похолодел. Уж не Салим ли расскажет?

— Нет-нет, — улыбнулся Салим, — я тебя не предаю, я знаю — ты наш человек. Но разве я один живу около тебя, разве я один видел тебя с Розой? Весь кантон говорит о вас... И твой долг, твой, Ильяс, личный долг — обезопасить наше общество от бая и его дочки, голубой крови... Мы, — закричал вдруг Салим, наливаясь краской и размахивая пальцем над собой, — мы нищие ходили, а они в розовых тазах ноги мыли, одеколонидами друг на друга лили... Ненавижу, ненавижу, расстрелять их всех! — И тихим голосом: — Они над мамой моей издевались, когда она пришла к мулле подаяния просить... Он плюнул на кусок хлеба и только после этого кинул ей! Я не стал этот хлеб есть. Съела мама и умерла, ты помнишь мою маму, она умерла! Слюна муллы оказалась ядовитее змеиного яда, запомни! Эти люди, — снова закричал Салим, и Ильяс, съездившись, слушал его, — каждую каплю пота пашу переливают в золото! Заказывают из золота себе посуду, отливают из золота зубы, ты знаешь это? Из золота ногти себе вставляют! — И успокоившись, добавил, глядя мимо Ильяса: — Дорогой мой друг, я за тебя боюсь... Может и на тебя пасть подозрение... И не поможет никакая биография... Амутбаева — баева, слышишь? — может, нарочно с тобой встречается? Тебе такая мысль не приходила в голову?

Конечно, такая мысль никогда Ильясу не приходила в голову.

— Ты никогда не думал, что она маскируется дружбой с тобой? Она нарочно с тобой встречается! А у нее там, в Башкирии, есть джигит, имеющий тысячу лошадей, сундуки жемчугов закопанных! И тебя она презирает, Ильяс... Ты мне рассказывал, как она пальцем тебе щеку потерла... Она смеялась над тобой! Ты не понял? Она издевалась, что ты такой грязный, неумытый, неотесанный. «Негр»,— сказала она. И ты ничего не понял! Да, мы негры! Ну, теперь-то ты все понимаешь?

В глазах у Ильяса темнело. Да, теперь он все понимал.

Он вернулся в Мензелинск, и члены «легкой кавалерии» написали письмо в ГПУ, в тот город, откуда пришло письмо отца Розы.

Там, видно, тут же отца взяли, потому что через дней двенадцать пришла в Мензелинск телеграмма, и Роза Амутбаева, она же Ахметбаева, была исключена из техникума, из комсомола и увезена в Башкирию, на очную ставку с отцом, крупным, очевидно, контрреволюционером...

Ильяс проболел до весны, и, когда прилетели скворцы, запахло мокрыми ветрами, он понял: нет Розы и никогда больше не будет...

И еще понял Ильяс, что любит ее и что никогда нигде уже не найдет.

Если даже найдет, она не простит ему. Да и где она сейчас?

Салим долго еще при встрече спрашивал его:

— Жалеешь, туган? На меня сердисься?

Ильяс готов был убить Салима, он ненавидел Салима и почему-то теперь его боялся... А Розы нет... А она называла его «абый» и глаза опускала синие. Говорят, у башкир чаще синие глаза встречаются, чем у татар. Такие глаза — синие, с черными мелкими точками по синим кругам...

Что ты натворил, Ильяс? Простишь ли ты себя когда-нибудь, Ильяс?..

6

Весной Ильяс сменил валенки на обмотки, снял ушанку и уехал в село Матвеевку, неподалеку от Кал-Мурзы. Это было русское село длиною километра четыре. Преподавал в школе химию и биологию...

Здесь, в Матвеевке, и познакомился Ильяс Хасанович Танаев с Антониной Андреевной Дудкиной, своей будущей женой, матерью Валерки, Наташи, Ольги и Майки... Тогда это была бойкая девчонка, артистка в «легкой кавалерии», с синенькими бегающими глазами, худая, как палка. Она все время что-то напевала. Ильяс увидел ее глаза, вспомнил Розу, и как-то вышло — поженились!

Родня Антонины жила в Березовке, да кто родня? Сестра Шура с мужем и свекром — и больше никого! Тоже одна-одинешенька Тоня, сиротинушка. Подивились родственнички: за татарина идет, а потом посмотрели вокруг — да в половине деревень народ перемешался...

В Кал-Мурзе старухи, подружки покойной бабушки Шаргини, злобно шипели:

— Маржя¹, она будет водку пить, курить, позорить тебя...

— Я тоже буду,— смеялся Ильяс.

— Тьфу,— говорили старушки и бормотали молитвы, перебирая дешевые четки, составленные из рыбьих позвонков, желтых и в горячую погоду липких.

Но никогда Ильяс не пожалел, что встретил Тоню. А она вышла замуж — как алтыншла: хороший человек, известный, ученый. С деньгами. Собой недурен. А уж потом поняла и золотое сердце

¹ Маржя — искаженное Маруся, иными словами — русская.

Ильяса, и вечную боль его из-за несправедливости и глупости на земле...

В начале войны Ильяс стал политработником, попал в Ижевск — совсем рядом от родных мест...

Однажды шел он по городу.

И вдруг — в самом центре — навстречу ему в широком зеленом халате — Заки! На голове тубетейка, шитая серебряной ниткой. Во рту золотой зуб мелькает. Из-под халата видны узкие тапочки.

— Ай, туган! Исáнме, сáвме? Жив ли, здоров ли? — спросил Заки, увидев его. — Ты ли это, Ильяс?

— Я, — сказал Ильяс, удивленно останавливаясь.

— Рад, рад, — засмеялся Заки, разглядывая Ильяса. — Пойдем, хоть накормлю. Идем, я незлопамятный...

И Заки повел Ильяса к себе в гости. Дом у него в Ижевске был большой, поменьше, правда, чем в Кал-Мурзе, но тоже пятистенник, с рогами оленя на воротах.

Жена, рябая, толстая, та, что отхаживала Заки после ранения, удивленно зацокала языком.

— Встречай гостя, — важно сказал Заки. — Мы не злопамятны и должны накормить земляка. Садись, кунак, сейчас мы тебя накормим. Что такой худой? Что, по пустыням Африки гулял?

(Почти угадал Заки — не одну сотню верст прошел Ильяс по пескам Монголии... И вот в середине войны пришел к Заки.)

— Ай, гулял, наверно, гулял! Держи, кунак...

Жена Заки положила на колени Ильяса полотенце, расшитое цветами, и начала ставить на стол всякую еду: картошку, сметану, мясо, очпочмаки — пироги. чак-чак — клецки в меду, катык и прочее... Ильяс как зачарованный смотрел на стол — он давно не ел деревенскую еду, а такую и не видел! Заки, наблюдательный человек, оценил его поведение по-своему.

— Я не сержусь на тебя, — сказал он, потом поднял ладони ко лбу, вздохнул и продолжал: — Я не сержусь... В памяти моей нет обиды на тебя...

Ильяс ждал, что будет дальше.

Хозяева сели напротив, Заки сказал жене:

— Это тот самый, что не дал меня расстрелять Салиму. Еще был совсем мальчишка, да он и не похож на тех голодранцев... У него бабушка — помнишь? — бабушка Шаргия корань наизусть знала! Ее сам Абдрахман уважал. Поэтому Ильяс нам ровня. Кушай, дорогой, кушай, акыллым¹, не брезгуй! Вот водочки выпей.

Ильяс ел и помалкивал. Он выпил рюмку.

Хозяева на стол поставили к чаю еще и городской еды: сыру, колбасы... У Ильяса от удивления глаза лезли на лоб.

Заки сам тоже выпил, стал подбородок себе поглаживать, словно бы у него там борода росла, а не три волоска...

— Ай, пойдем, я тебе покажу, как мы живем, — сказал он самодовольно. — Умные люди жили, будут жить сто лет. Идем, смотри!

И Заки достал из-под халата, из шаровар, ключи, открыл чулан.

Здесь было полутемно, но все видно: вдоль стены стояли белые мешки с мукой. Два тюка громоздились в углу, Заки пнул ногой — рассыпалось, скрипнуло что-то в тюках.

— Сахар. Вот как я живу!

Потом Заки повел Ильяса в амбар. Там в погребе темнела кадка с медом и сохли телесно-золотые сомы и караси. Над погребом с жердочек свисали сети, по краям аккуратные грузила и поплавки.

¹ А к ы л л ы м — умный, послушный.

Потом Заки повел Ильяса в хлев — там жевала жвачку корова, в углу лежал теленок, чудно сверкал черным глазом. Хрюкали черные чушки, прижимая розовые пятики к сетке.

— Ненавижу свинью,— сказал брезгливо Заки,— но это на продажу... Вот так я живу... И еще кое-что есть — в другом месте... Аллагашыкер¹!

— Да,— пробормотал Ильяс,— хорошо живешь.

Он погрузился, не знал, как быть. Очень уж не хотелось возвращать прошлое, но Ильяс понимал, что Заки — спекулянт. С другой стороны, Заки доверился Ильясу как земляку, накормил его, угостил...

Заки и эту грусть Ильяса оценил по-своему и сказал:

— Когда освободишься, приходи ко мне. Найдем тебе жену, как-нибудь помогу... Будешь мне помощник. Как думаешь?

Ильяс пожал плечами.

— Спасибо,— сказал он,— мне еще не скоро...

Заки и жена нагрузили Ильяса, дали на дорогу кусок сыра, каравай хлеба, колбасы, сушеной рыбы, и Ильяс побрел к себе в часть. Весь вечер он думал, как быть. Он понял, конечно, что все богатство Заки — награбленное. Идет война, гибнут люди, горят города, а тут такое...

«Нет,— решил Ильяс,— так нельзя. Он сволочь, и нужно с ним поступить по законам военного времени!»

Он отдал еду товарищам, сказал: конфисковано у спекулянта — и вернулся в город. Зашел в милицию и попросил сотрудников пригласить для беседы Заки. Адрес такой-то...

Когда Заки вошел в милицию, Ильяс сидел и играл в шахматы с начальником милиции.

Через Заки удалось раскрыть шайку преступников — они перепродавали государственное добро, среди них были завскладами и пекари Ижевска... Так закончилась история двоеженца Заки...

Когда Заки уводили после последнего допроса, он обернулся и закричал:

— А все-таки Салим знал!

Ильяс поморщился и закурил.

— Какой Салим? — поинтересовался начальник милиции, промокшая куском мела протокол.

— Длинная история,— ответил Ильяс.

«Вот сволочь,— думал Ильяс о Заки.— Все помнит и мстит. Но не буду я думать о нем, и Салим может быть спокоен. Враги всегда стараются нас разобщить, и клевета — их оружие...»

А что было дальше?

Дальше война кончилась. Ильяс вернулся в Матвеевку, работал секретарем райкома, а когда район укрупнили — попал в райисполком, в Мензелинск... Там уже хозяйничал Салим Салимович, он тоже воевал, но, контуженный, с половины войны вернулся. К приезду в Мензелинск Ильяса он был первым секретарем райкома...

Тяжело пришлось Ильясу! Но тут отдельный разговор. Как-нибудь в следующий раз... Можете представить — такие два разных характера. Все было: кукуруза и травополье... Салим Салимович никому не давал думать, возразить, поправить... Его на два года раньше положенного отправили на пенсию: стал заговариваться, в гневе терял голову, наломал дров...

И теперь, на пенсии, все мстил он Ильясу за его мягкотелость... Последние годы Ильяс Хасанович что-то много пил и из колхоза и райкома на повышение вроде бы шел, да не вышел... И за два-три года

¹ Аллагашыкер — слава богу.

все к этому привыкли, о его заслугах вроде бы забыли... Он и сам не напоминал о них, не лез на любом собрании в президиум, как Салим,— даже если заседали пионеры, даже если еще президиум не избирали...

В Мензелинске ему все время вспоминалась Роза, особенно зимой, и он пил. Господи, да разве в заслугах дело? В совести, говарищи! Вот сын — он утрет нос Салиму. Он будет большим человеком. Ведь правда, Валерий? И при этом жабры твои не станут жестяными — останешься человеком, добрым человеком останешься, сын?..

7

Две женщины сидели дома и ждали своих мужей.

Аня и Антонина Андреевна сидели друг перед другом за столом и разговаривали. Перед Аней белел пустой стакан из-под молока, мать все отхлебывала свой остывший чай, начертавший две коричневые окружности внутри чашки.

— Доченька, как живете-то хоть? — в сотый раз спрашивала мать. — Хорошо? Как Валеричка себя ведет?

— Он хороший, мама,— отвечала Аня, и глаза у нее становились сонно-счастливыми, и мать тоже светлела, поддаваясь ее ласковости и детскости.— Хороший, мама,— повторяла Аня,— не пьет, он же в партию в прошлом году вступил... Теперь он твердый везде... И его очень ценят.

— Это слава богу,— говорила мать, думая о своем.— Пусть твердый... Не то что мой...

— А что, разве Ильяс Хасанович?..

Мать встряхивала седыми кудрями.

— Он — золото человек... Никогда никого не обидел... Но Валерий, наверно, в меня? — Мать засмеялась.— Он тебя любит?

— Да.

— А что у него там было?..— грубовато спросила мать.— Я все не решалась спросить... До тебя у него что было?

Аня вздохнула.

— Мам, она такая несчастная и так любит Валерку.

— Кто она?

— Зовут ее Женя. Такая светленькая и живая очень... ну, как мальчишка...

— И что же?

— У них была любовь. Еще в институте Валерка учился. А она школу закончила. У нее же ребенок от него...

— Да?! — Мать этого не знала. Она взволновалась, встала, обогнула стол, обняла жесткой рукой Аню.— Да?!

Анечка повела опущенными голубенькими глазыньками по полу, вздохнула. Ладонской погладила край платья на колене.

— Ребенок... Сейчас уже сколько ему? Пять лет...

— А мне ничего не сказал! Ну, жучок. — И в лице ее было, как ни странно, восхищение.— И как же ребеночка зовут?

— Настя.

— Ты видела ее?

— Не-ет...

— Понимаю,— сказала мать, выпрямляясь и садясь на место.— Понимаю. Вы свою-то, Светочку, бабушке оставили?

— Да.

— Здорова девочка-то?

— Здорова, мама. Уже на ножки встает,— засветилась Аня,— держится за что-нибудь и идет... Осенью пойдет, наверно.

— Могли бы и привезти, показать,— заметила Антонина Андреевна.— Она белая, черная?

— Да не знаю...— замялась Аня,— скорее рыженькая, темная, может быть, на вас похожа будет...

Мать развеселилась, хотя и почувствовала явную лезть.

— Ну-ну, сразу же и на меня... На Валеричку бы походила, и ладно.

— А как же,— рассудительно сказала Аня.— На него! И ни на кого больше.

— Да я не о том,— ответила мать.— Понимаю. Так как же теперь Женя?..— тихо спросила она.— Они встречаются?

— Нет,— ответила уверенно Аня.— Я точно знаю, что нет.

— А как же она? — настойчиво спрашивала мать.

— Она замуж вышла — вот уже года два...

— Замуж? За кого?

— Да там же, в Красногорске, парень один хороший... Еще со школы ее знал, любил, наверно. Федя Быстражицкий.

— Какая хорошая фамилия,— почему-то заметила мать.— У меня знаешь какая — Дудкина.

— Знаю.

— Смешная фамилия... Откуда она? Музыканты, что ли, мои прадеды были? Бродячая семья... Просвистели, продудели счастье, лопухие... А он любит Настю?

— Кто, Федя? Души не чаает!

— Нет, Валеричка, любит ее? Дочку?

— Не знаю...— растерянно сказала Аня.— А Женька такая несчастная...

— А что он не женился на ней? Когда тебя-то еще не знал?..

— Не знаю...

— Мне бы посмотреть на нее,— сказала мать — Я бы сразу поняла...

Аня между тем знала, что Валерка Женьку очень любил и она была предана ему, как зверек. Родители Женьки к Валерии относились с юмором.

— Вон твой Ромео,— говорили они дочери утром,— любуйся!

И она видела Валеру спящим в клумбе против их дома. Как раз возле парка стоял их дом, росли цветы, змеились резиновые шланги, и торчали палочки с дощечками: «Запрещается». И когда Валерка с Женей ссорились, он, напившись, ложился спать в клумбу. По щеке у него ползали божьи коровки. Дитя природы!.. Но он не был хулиганом, он был влюбленным.

...Но потом с Валеркой стало твориться непонятное. Он начал избегать Женьку, ссориться с ней, ругать за то, что она свистит, щелкает языком и при этом подмигивает,— то, чему он сам ее учил, его раздражало. И когда она забеременела, сказал, что женится, помирился с родителями, пожил месяц у нее в комнате, потом вдруг исчез и появился через три месяца, осенью. Женька, увидев его, поняла: все.

Она разругалась с родителями... Родила девочку, год потеряла, после этого поступила в институт и потом вышла замуж за летчика Федю.

У Ани было такое же лицо, овальное, как у Женьки губы крупные, только вот у Женьки на щеке, возле виска, несколько родинок, а у Ани их нет... И еще Аня не умела свистеть, подмигивать, но она переняла многие привычки той — она познакомилась с ней как-то незаметно от Валерия.

Пусть будет Валерке лучше!

Она жалела Женьку, даже как-то написала ей письмо — уже когда Светочка родилась... Но та не ответила.

Валерка ни единым словом не вспоминал Женю. И за это Аня была ему благодарна.

Она ему напоминала Женю, но более облагороженную, что ли. Верно, он струсил тогда. Ему показалось, что Женька — тот же мальчишка, и никогда не сможет стать царственной, красивой. Все эти ужимки, свистение, подмигивание... Но она стала другой. Аня с Валерой видели ее однажды в ТЮЗе — она была с летчиком своим и даже не взглянула на них. И слава богу...

— Нет, они не встречаются,— сказала Аня.— Я точно знаю.

Мать вздохнула.

— Вот прохиндей... Ой, хулиган! — Усмехнулась.— И откуда в нем это? Ах, мужчины, мужчины... Никто их не поймет.

Мать смущенно смеялась. И тут же переставала, недоверчиво глядела на Аню. Ничего еще не понимает Аня.

Аня жмурилась, ей нравилось здесь — здесь все было Валеркино...

...Валера с отцом вернулись домой поздно. Отец шел пьяненький, важно заложив за спину руки вместе с бидоном — и пиво расплескивалось.

Валера все думал о том, что услышал от отца. Особенно его поразила рассказ о Розе Амутбаевой...

Валера с отцом обходили лужи, ступали в только что промятую ребристую колею. В сумерках вода мерцала, светилось несколько свежих, белых досок в заборе Дома культуры. В ожидании кинофильма толпилась молодежь.

Отец остановился на минуту — встретил знакомого. Началось: «Салям алейкум!» — «Алейкум ассалям!» Валера отошел в сторону и уловил кусочек забавного разговора.

Стояли друг перед другом двое и курили. Он, явно приезжий, — в сером дорогом плаще, в кепи, высокий парень. Она — маленькая, в болонье, с полузакрытыми глазами. Она, торопясь, глядя в сторону, говорила:

— Это мой интим... мое внутреннее «я»... Чуть собачья! Кроме Фрейда, атомной бомбы и секса — все чуть собачья... Мое внутреннее «я»... Знаешь, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...

Парень шурился и старался не улыбаться.

Валера подумал: «Не везет мужику... Господи, а если такая умная жена? Нет, к черту цивилизацию! Поеду в Кал-Мурзу. Там поля, в знойный день коровы стоят в реке. Забыть обо всем: о плотинах, атомных бомбах, о Мироманове и себе самом! «Мое внутреннее «я!»...»

Валера взял под руку отца, и они потащились дальше.

Анечка, простая, светлая Анечка встретила Валеру словами:

— Ну где ты пропадаешь? Я так соскучилась!

Обвила его шею белыми мягкими руками. На столе, под полотенцами, стыли пироги.

— Дети, в баню,— сказала мать.— Быстро!..

Валерка, как во сне, мылся в жаркой бане, вернулся с Анечкой распаренный, хватил с мамой водки (а, была не была — ничего не наторю!) и развеселился-разозлился, включил радиолу, стал с Аней и мамой танцевать. Потом поставил «Клен ты мой опавший», потом татарские песни: «Гузэлем», «Нига, нига» на слова Такташа — с детства знал и любил этот романс, и своим гундосым, скрипучим голосом стал подпевать... Мать напугалась:

— Что это ты делаешь? Зачем так поешь?

А он, дурашливо изменив лицо, скрипел карликовым голосом золотые слова, чуть не плакал и при этом словно издевался, да не издевался — все-таки пел... Но это он знал только сам. Да еще Анечка.

Мать испуганно показала на стену:

— Тише — сосед... Напишет на нас...

— А что? — громко спросил Валерий. — Мы что, воруем?

И включил музыку на полную громкость. Пусть слушает! Просвещается! Валерка вспомнил, как в детстве приезжали к ним Дудкины — тетя Шура с дядей Сережей и дедушкой. Дедушка смешной был: все репродуктор настенный включал на полную катушку.

— Пусть громче говорит! Раз плочено — пусть громче и говорит.

— Мама, жив дедушка? В Березовке-то?

— А-а, жив, — удивилась мать. — Ты что вспомнил?

Валера и сам не знал, почему вдруг вспомнил дедушку. Он вспомнил еще: приезжали гости отца из Кал-Мурзы, из Мензелинска, привозили детей, почти ровесников Валерки. Одного пузана из Аю отец называл Трактор. Вот интересно, сменили ему потом имя или нет?

Наутро Танаев-старший, Валерка, мать и Аня поехали в Кал-Мурзу. Отец обещал через два дня свозить их в Матвеевку...

8

Кал-Мурза — деревушечка в сорок дворов. Здесь даже колодца нет, воду берут из речки. Берега песчаные, треугольные следы гусиных лап.

В десяти — двадцати метрах от воды — наклоненные от старости плетни, буйно растет крапива, бурьян, а за оградой — конопля, малина. Но основная земля отдана картошке...

С трех сторон Кал-Мурзу окружают поля: кукуруза, свекла, а дальше — рожь... А на той стороне реки — луга, озера с камышами, урема, старица посверкивает километрах в пяти, а еще дальше — угодня колхоза «Свет Ленина», там синий лес — бор сосновый начинается...

Когда приехали Танаевы в деревню, выдался первый после многодневных дождей зной. Кузнечики, стрекозы, комары, жучки, пчелы, осы — все жужжало, прыгало, скакало вокруг, и Аня только синенькие глаза медленно переводила то в правую, то в левую сторону: вдруг укусят...

«ГАЗ-69» остановили возле избенки, на бугре. Из ворот вышел сухой, астматически дышащий дядя. Когда-то Валерка его видел. Это был муж Фатихи-апа, звали его Галим, а если точнее — Ахмет-Галим.

— Приехал, — прохрипел он насмешливо, оглядывая отца, пожимая ему руку, потом повернувшись к остальным: — О, Тоня-апа!

В груди у него хрипело и тенькало, как в плохих часах.

Мать с достоинством поздоровалась, сказала по-татарски: «Исанме, тузаме» — живы ли, здоровы ли, — и Галим, радуясь, обнял ее. Коля, шофер исполкома, отдал честь и укатил в Мензелинск. Отец обещал позвонить если что.

Фатиха-апа вышла в платке, в галошах на босу ногу, в только что надетом, еще не утюженном платье, импортном, со львами и щитами. Очень узкие, но ярко-черные глаза ее моргали. По татарской привычке прикрыла рот рукою, указательным и большим пальцем провела по губам, сжимая руку в кулак...

Племянника она разве что мальчиком крохотным видела, а об Ане только слышала. Она поцеловала Аню, сказала:

— Какая девочка белая! Она, наверно, спит на мешках с мукой...

Ане перевели, она засмушалась. Фатиха-апа сказала по-русски:

— Я говорю по-русски медленно, я скажу слово — курица яйцо снесет. Правильно говорю?

— Правильно, — улыбнулась мать, обнимая Аню за плечи.

— Если правильно сказала — значит, сегодня два солнца взойдут.

Гости вошли в дом. Это была настоящая татарская изба. Как обычно, она разделена на две половины: в первой — печь и широкие нары,

здесь стряпают и спят старухи, во второй комнате — стол, стулья, диван, слева за ширмой спит хозяин. Вот и все. Зеркало посредине, между окнами. Изба стоит боком к улице. Правое окно выходит на улицу. Левое — во двор, оно за ширмой светит на кровать. Зеркало новое, справа от него висит в рамочке картинка, на ней нарисована от руки красная мечеть и крупно написаны по-арабски изречения из корана. Что-то вроде иконы, только на татарский лад...

Муж и жена, уже старики, на колхозной пенсии, у них есть огород, корова, куры, овца, гуси.

На столе самовар, чашки фарфоровые, бутылка водки. Очень в избе жарко — печь топили, густо и горячо пахнет свежим хлебом. Много мух, садятся на руки. С потолка свисает желтая липкая лента, на подоконнике тарелка с водой и серым листочком, на котором «череп и кости» — яд для мух...

У Ани закружилась голова, она вышла на крыльцо и села на ступенях. Теплый ветер дул в лицо.

— Ах,— говорила Фатиха,— зачем же ты, старый осел, не позвонил, не написал, как же я теперь буду на твоих гостей смотреть, срам — грязь такая!

— Ничего, пусть видят, как живут простые люди,— ответил отец,— не сахарные, ничего им не будет... Только вот мух развела действительно много.

— Мухи что мухи,— тараторила Фатиха, бегая по избе и протирая стулья и лавки,— ты бы знал, сколько у меня нынче тараканов, и все с желтыми чемоданчиками на хвостах,— не иначе быть войне!

— Глупая женщина,— сказал, сипя, Галим,— делай свое дело и закрой рот, глупая женщина.

— Он муж ее.— пояснил отец,— но она родня нам, потому что мужем ее раньше был мой дядя.

— Так они не родня? — удивился Валера. Он плохо знал всех этих родственников отца.

Тот никогда его в Кал-Мурзу не возил, и Валера мало кого из рода Танаевых знал. Да и пока учился в школе — до того ли ему было?

— Нет, они родня,— сказал отец,— но формально не родня, понимаешь?

— Это с ней ты раскулачивал? — спросил, смеясь, Валера.

— Да,— отец оживился, розовея от удовольствия,— с ней.

Они вышли на крыльцо, к Ане.

— Вот за плетнем дом, большой, видишь? Это дом Заки.— Отец засмеялся.— Ну, дела,— сказал он.— Красивая была жена у него.

Фатиха-апа вымыла полы, поставила вариться суп, сбегала в магазин, Галим неторопливо сходил за водой с одним ведром — через огород, и гости умылись после дороги. Полотенца Фатиха-апа достала чистые, вафельные, очень жесткие, с бумажечками на уголках. Здесь все было новое...

— Идемте, я вам покажу наши места,— торжественно сказал отец, и они вышли задами к речке.

Мать осталась помогать Фатихе-апе.

Был знойный полдень. В переулке среди крапивы кричал гусак, привязанный веревочкой к плетню — чтобы его семья далеко не уходила; гусенята и гусыня покрикивали где-то в траве. Вдоль яра мелькали стрижи.

Мостик через речку был узкий, для телег и мотоциклов: машина здесь не пройдет. Мостик был из ивняка, соломы, и, когда по мосту шли люди, всякая золотая труха летела в воду, и там мелькали сорожки и уклейки.

Вдоль берега, на той стороне, росли странные лопухи, колючие,

ядовито-зеленые. Росли они плотно — звездчатые, дымчатые; иголки этой диковинной травы были настолько тонки, что казалось — ступаешь по туману. Что за трава? Валерий спросил у отца.

— Хорошая трава, — ответил отец, давая ее своими растоптанными красными ботинками и снимая с щиколоток мохнатенькие зеленые колечки, — когда-то мы по ней босиком бегали на спор. Знаешь, как ноги горели? Потом шел по Германии — вспомнил...

«Странно, — подумал Валерий, — у него здесь детство прошло, а у меня словно и не было его, но ведь и у меня оно тоже было... И какое! Но мы приехали к отцу... А он словно прощается со всем этим. А я-то чего здесь?»

Отец шел легко, поднимал веточки, сучки — для будущего костра. Впереди, возле воды, лежали и катались по песку кони, здесь был загон — высокий двор из плетневых стен, пахло острым потом лошадей, кизячным дымом. Мотая мордами, стояли в синем мешке дыма две лошади и жеребенок. Жеребенок заржал, и его отнесло в сторону — такой он еще был худенький, легкий!

Над лугами прошел реактивный самолет. Глядя на его белый след, отец сунул руки в карманы брюк и вздохнул. Стоял. Все ждали.

— Вот здесь будем рыбачить, — объявил он, когда подошли к яру, к кустам ежевики и тальника, дальше начинались крутые берега, и там — метрах в ста — вода была как сморщенная фольга, шумела разобранная плотина и гнила та самая мельница... — Здесь — тихо.

Под обрывом шла песчаная коса, на повороте она резко прерывалась, и там дальше темнела глубь, желтели три кувшинки.

Галим все хихикал, сипел и, улучив момент, сказал:

— Тут травили рыбу двое из города, знаешь, борной кислотой хлеб мочили... Я надел твою фуражку, помнишь, в пятьдесят шестом оставил, и отнял у них бредень, удочки, все забрал. Рады были, что отпустил... Придем — покажу. Я плохо стал чувствовать себя, как узнал, что сюда повадились браконьеры. Теперь перестали. Я стал себя лучше чувствовать. — И Галим рассмеялся, погладил Аню по русой голове.

— Нинди матур¹, — сказал он, обращаясь к Валерке. — Ты татарский-то знаешь?

— Немножко, — ответил хмуро Валерий. Черт с ней, с этой южной экзотикой. И с Ригой. Пусть так и будет.

— Не забывай. Ты наполовину татарин — значит, хотя бы половину слов должен знать, — сказал отец, разуваясь и садясь на берегу.

— Наши места — самые красивые... — пробормотал Галим. — И откуда наши дети таких жен достают... Заки заплатил бы тысячу рублей, а?

— Заки дурак, — сказал отец.

Гости вернулись в избу, на столе было угощение чисто деревенское: масло с капельками белой пахты, сметана — возьмешь ложку — округлый след не запомнится, блестяще-белый, так и будет стоять, блины, красное масло в блюдечке — с перышком для мазания, катык в большой миске и в тарелках лапша. у каждого — ножка или крылышко курицы. Мух нет, чистота, очень сильно пахнет одеколоном. Постаралась Фатиха, молодец.

Галим полез под кровать, достал бутылку водки, налил всем без исключения, хотя Аня в ужасе поднимала брови, шевелила пальчиками.

— Ильяс, спасибо, что приехал, — сказал Галим, подняв стакан, — спасибо, что привез свою несравненную хозяйку, которую мы уважаем искренне, и спасибо, что наши молодые гости не погнушались, приеха-

¹ Нинди матур — какая красивая.

ли, алла бирса — бог даст,— не в последний раз, думаю, что здесь им понравится, здесь лучше, чем любой Кавказ! Сейчас начнется самый сенокос, заготовка дровишек, и Валерьян мне поможет...

— Что ты говоришь? — заворчала Фатиха, толкая его ногой под столом.— Ты можешь говорить как надо?

— Я говорю все как надо,— обиделся Галим,— выпьем эту пиалу и будем здоровы. Я говорю все как надо,— быстро сказал он по-татарски, не поворачивая головы,— и ты, карчык¹, не суй свой зуб в мое мясо. Слышишь?

— Вай, ангра кеше — глупый человек,— обиделась Фатиха,— как знаешь.— Она замахала руками, словно пугая-гоня домой неразумных утят или цыплят: — Ешьте, все съешьте!

Галим налил снова и снова встал.

— Я вам вот что расскажу,— сказал он,— вы ешьте и слушайте...

— Ты сам ешь,— заметила мать,— ты же опьянеешь, Галим.

— Я? Сейчас расскажу. Я вам мой сон расскажу...

— Опять,— всплеснула руками Фатиха,— у-у, не попался ты мне раньше, я бы из тебя эту дурь выбила!..

— Иду я по пустыне,— торжественно продолжал Галим, не обращая внимания на Фатиху,— пустыня — ну, никого нет, только песчинки. И вижу — сидит старик, белая борода, и рядом кувшин с водой. А мне хочется пить. Тогда я говорю: «Бабай, дай попить...» А он говорит: «Отгадай загадку, тогда дам. А не отгадаешь — голову тебе отрежу...» Неужели, думаю, я, мусульманин, погибну — не отгадаю? «Давай», говорю. Бабай мне и говорит: «Кто это — все видит и молчит, ему все говорят и не видят». Отвечаю: «Бог». «Правильно,— говорит бабай.— На, пей!» Я поднимаю кувшин, пью и вижу — там кровь... Соленая, совсем нельзя пить.

— Ой,— прошептала Аня.

— Я говорю: «Зачем ты меня обманул, бабай?» А он: «Раз ты отпил крови, ты теперь будешь мой и никогда не умрешь». — «А что я должен делать?» — «О,— говорит бабай,— увидишь». И махнул рукой. И я увидел — далеко-далеко аулы и города пустые, так видно хорошо, что смотрю — валяются люди, кошки и никого нет. А в воде в реках отражаются лица. «Это твои братья,— смеется бабай.— Ты тоже не имеешь своего лица. Ты — воздух. Но отражение у тебя есть». Я подошел к озеру — увидел себя. Поднял руку перед собой — не увидел. «Ты будешь мне служить,— сказал бабай.— Я — сам бог». Тут я упал на колени. «Накажи меня, недостойного,— сказал я,— только зачем ты убил столько народа? Убей лучше меня, у меня жизнь не удалась, жена меня обижает (Фатиха, молчи и не пинайся!), убей меня, но не убей народ...» Бог тут рассмеялся и говорит: «На, пей!» Я взял кувшин — там была вода. Я выпил — и проснулся. Я скоро умру,— сипло дыша, сказал Галим.— И давайте за это выпьем.

— Фрейдизм,— сказала Аня.

— Сколько раз,— вдруг разозлился Валерка,— сколько раз я тебя просил: не произноси красивых слов рядом со мной!

— Чего злишься? — удивилась Аня, тихо поднимая глаза. Она переложила ложечку с места на место.— Не буду больше.

— Ну, хорошо,— смягчился Валера.— Прости меня...

Все выпили и принялись за еду. Потом Галим налил еще по одной и запел тоскливую песню «Шахта» — о молодом татарине, о заработках, о темных и сырых шахтах Ростовской области... Не закончил и ушел, извинившись, на крыльцо. Потом видно было в окно, как он закинул на плечо деревянную игрушечную болванку-винтовку. Сутулясь

¹ Карчык — старуха.

и что-то бормоча, потащился через мостик на тот берег... Так и будет он там, сказала Фатиха-апа, гулять возле озер в камышах, пока не протрезвеет, лежать в траве и смотреть на облака... А зачем деревянная винтовка? А нет настоящей. И не все ли равно — стальная или кленовая: стрелять Галим не любит. А так — дети смеются, взрослые недоумевают — ему и хорошо.

Фатиха-апа снова начала угощать:

— Аня, пей! Зачем не хочешь?

— Не могу я... жарко...

— Да выпей, — неожиданно сказал Валерка.

Аня удивилась и подняла стаканчик...

К вечеру разомлевших гостей положили спать. Валеру и Аню — на сеновал, среди сена, пахучей и еще неломкой кошенины...

9

Валера проснулся очень рано — от сочно-красного света, горевшего у самой его головы. Это поднималось солнце и, проникнув на сеновал, осветило один скат, — и Валерка лежал сейчас под наклонным скатом, как под красным огромным крылом какой-то птицы. Веточки, солома, травинки — все было красного цвета, и рука, которую Валерка поднял, осветилась этим праздничным сиянием. И понял Валерка: утро, солнце только что взошло, и, верно, еще часа три — полчетвертого. Аня спала. Они лежали на тулупах, под стеганым одеялом, и за шиворот летел сухой сор, и что-то в сене потрескивало — может быть, ползали всякие жучки.

Рядом, внизу, надрывалась курица, все квохтала и квохтала, словно работала какая-то скрипучая машина.

Валерка лежал и слушал. В деревушке было еще тихо. Где-то скрипнула калитка, заговорили негромко две женщины. Понять, о чем они говорили, было невозможно — они говорили очень быстро и негромко.

Потом и они смолкли. Заорал петух, и солнце, казалось, стало еще раскаленнее.

Внизу вскочили, захрустели жвачкой овцы. Валерка вылез из-под одеяла, выглянул в окошко, оно было без стекол, и увидел во дворе двух овец с ярко-желтыми наглыми глазами, с темными полосками поперек глаз.

Валерка оделся, укутал Аню, сел у окошка, задумался...

Странно, это его родня — хоть какая-то, но родня. Эта Кал-Мурза, эти крестьяне. эти луга за рекой.

Ему почему-то снова вспомнился Светоград и стопятидесятиметровой высоты плотина — над мелкими соснами, над домиками Светограда. И почти каждую ночь ему кажется, что плотина медленно ползет, как кусок меда или вара, изгибается и опрокидывается. Он снова представил уже утренним, зябким умом, трезво — такое же утро там, на великой сибирской реке, на новоявленном море, золотой крупный песок, золотые скалы, золотые жерди, заборы, ларьки, зонтики — люди у сибирского моря уже сейчас лежат, отдыхают, впрочем, сейчас там уже восемь утра и солнышко жарит... И плавают на резиновых утках и лебедях детишки в полосатых розовых трусиках, качаются на волнах пароходы, катера, «казанки», «душегубки», все, что там смеется, качается, дымит, вся праздничная, теплая жизнь, которой никогда не было на угрюмой ледяной реке сибирской, — все это поднято на громадную высоту. Валерка чувствует эту тяжесть физически, он все время ощущает бетонную высоту, как будто стоит у ее подножия — у подножия горы, за вершиной которой иная, высокая страна, с праздничными людьми и

новыми поселками по берегам... А тут из-под плотины идет черная, холодная донная вода, и руку сунешь — руку сведет: такая вода холодная...

Он все время под плотинной, с этой стороны... Проклятая «непрерывка»... Брыкин был прав: лучше подвозить по старинке, пусть медленнее — надежнее! Теперь же ребята бурят и загоняют внутрь тела плотины цемент, все время вслушиваются, как там...

Валерка в этом не виноват. Но он тоже мог быть против — тогда, когда дело только заваривалось... Или нет, виноват Валерка! Кто же еще виноват, как не он? Даже не подумав, поддержал Мироманова...

И часто видится ему еще такое: перед ним телефон, нужно срочно позвонить, нужно дозвониться до города, до людей... Но Валерка не помнит, какая цифра — выход в город. Он не помнит, он берет в руки телефон, он придвигает его, плоский, черный, с отколотым уголком и видными в щелочке алыми и зелеными проводками, снимает трубку — гудок. Набирает «ноль» — тишина. Набирает «один» — тишина. Кладет трубку — гудок. Набирает «один» — тишина. Снова набирает «два»... «три»... Ни гудка! Что же это такое? Может быть, «семьдесят пять»? Где-то в каком-то ОКБ он видел такой выходной шифр. Нет! Не получается! А плотина гнется, ползет, это чувствует Валерий, она медленно движется, и там перекликаются протяжными криками, заунывными свистками краны. Они ворочают металлическими башенками-головами, они обречены, у их подножия поблескивает сталь рельсов. Что же делать? Валерка снова подбегает к телефону, он кричит в пустую трубку: «Откликнитесь!» Трубка молчит. Валерка набирает цифры наугад — как же так вышло, что он забыл выход в город? Телефон молчит...

Валерка всматривался в луга, в синий дальний лес. И видел он еще себя за ним, за синим этим валом, верхом на каком-то дереве, с авоськой, полной крупных оранжевых апельсинов...

Валерка снова попытался уснуть — куда там.

Все куры переполошились, перебежали с места на место, кудахтали, может быть, они привыкли нести яйца на сеновале, а тут теперь люди и они не найдут себе убежища?

Во дворе курчавые овцы теснились у ворот. Вышла Фатиха-апа, выгнала их — вдоль улицы уже бежали, блея и спотыкаясь, овцы... Позади шел мальчишка с кнутом, с сеткой книг за плечом.

Корову не было слышно: ее, видно, выпустили еще до того, как Валера проснулся. Как он не услышал?

Валера смотрел теперь направо — овцы сбежали по переулку к воде, пометались и заструились по мостику. И потом медленно посеменяли в луга...

На мостике сидели мальчишки, удили рыбу. Валерка решил сходить, поговорить с ними. Он осторожно спустился по деревянной лестнице вниз, в хлев, — лестница была грязная, в засохшем навозе, в соломинках. Валерка по камням выскочил во двор и, открыв заднюю калитку, через огород спустился к Ику.

Здесь росла мощная крапива, пахло аптекарской ромашкой, песок далее был еще мокрым, твердым; ошипанные овцами прутья были ярко-белы, лежали там и сям.

— Исенемесез, малайлар, — сказал Валера. — Здравствуйте, ребяташки.

— Исенс... — ответили они, почему-то вставая.

Один был черный, как угорь, у другого мордашка была в веснушках или оспинках, и он все время смеялся. Валерка хотел что-то еще добавить, но все не мог связать те несколько слов, что он знал. И по-русски осведомился:

— Клюет?

— Немножко,— ответил черный. И наклонившись, поднял свесившийся с моста кукан — на нем сверкнули несколько уклеек. А рыжий, глядя на Валерку, снова засмеялся. И Валерка, сам не зная почему, почувствовал себя уязвленным. Чего смеется, сопляк?

Помолчали.

Валера все стоял и смотрел на рыжего мальчишку, в его черные глаза — такие же, как у Валеры. У Насти, у доченьки его первой, наверное, такие же. Странно видеть людей с твоими глазами. Странно — когда-нибудь Валерка пойдет по городу и встретит юную женщину с его, Валеркиными, глазами. Когда-нибудь Валера зайдет в кино или магазин, будет заниматься в библиотеке или просто без дела шляться по синему снегу и увидит, что у незнакомой женщины его глаза. Такие же темные, четкие, чуть цыганские... Валера понял вдруг, что эта боязнь в нем с годами растет. Что скажет Валера той женщине? Что она скажет? Узнает ли его? А как встретятся Настенька и Светочка?

Когда Женька вышла замуж за своего летчика, Валерка вдруг заметался. Он напялил черный лохматый свитер, в котором когда-то прельщал Женьку, нарочно не застегнул куртку и подстерег Женю возле дома.

Скрипел снег под ее каблуками, резко, крепко — на весь город. Валера вышел из-за дерева.

Женя остановилась. Спросила спокойно:

— Что тебе нужно?

Валера прищурился, скрипнул зубами. Жаль, что так получилось — скрипнул, она может подумать, что он нарочно, хочет напугать или разжалобить.

— Ну, чего ты, чего? — спокойно спросила Женя. Может быть, даже участливо.

Валера не знал, что сказать.

— Так ты это серьезно — за него?

Она пристально смотрела ему в лицо — не в глаза, а в лицо — и ласково улыбалась, смотрела, словно ничто не мучило ее.

— А? Ну скажи что-нибудь, Женя. А?

— А ты как думаешь — замуж зачем выходят? В кино ходить?

Повернулась и пошла. Валерка схватил ее за рукав — она дернулась, и что-то в рукаве ее треснуло. А это уж совсем было нехорошо.

— Просто,— пробормотал Валерка, трогая меховой рукав ее шубки ладонью, глядя его, — я не хотел... Женя, я же... ты знаешь, я вот узнать, может, не так все, а? Женя, а может... Тоска такая, ничего не могу понять. Я же не сволочь, ты знаешь. Хочешь, я спать останусь здесь — на снегу, на клумбе, как раньше? Хочешь, замерзну? А?

— Мне нужно идти. Пусти меня.

— Женя...

— Не нужно, Валера. Ничего не осталось.

И ушла Женя.

Сейчас стоял он возле реки детства и все не мог отойти от смешливых мальчишек. И чего они смеются? А чего им не смеяться? Интересно, если с малолетства в глаза ребенку смотрит другой папа, меняются ли глаза у малыша? Бред какой-то, конечно, не меняются! Не могут же черные стать синими!

— Ну, вы рыбачьте,— сказал Валера,— я просто так...

И чтобы не мешать ребятам — а домой идти не хотелось, пусть еще спят,— он перешел по мостику на ту сторону и побрел к месту, где вчера договорились рыбачить. Он шел мимо конского загона, уже пустого; мимо звездчатой колючей травы; сняв ботинки, ступал босыми ногами, судорожно подобрал пальцы — холодно,— по мягким листьям подорожника, разлинованного повдоль листа, как дощатая лодочка.

Дышалось свежо.

Валерка побежал. Он вдруг забыл, кто он и что он. Он, как в детстве, крутил перед собой кулаком и делал ложные выпады на незримых противников, неся по мокрой траве, перевернулся несколько раз на руках. Татуировка на левой руке — якорь и буквы «В» и «Е», Валера и Евгения, — проступила ярко. И он, как в детстве когда-то, сунул пальцы в рот и засвистел.

Свист быстро потерялся. День с гулом нарастал, росинки уменьшались на глазах, тени подбирались под травинки, и ожил летающий и чирикающий мир лугов.

Подбежав к песчаной косе, Валера увидел отца. Тот сидел на корточках, держа на весу удилище, и не слышал, как подошел Валерка. Повернул растроганное лицо, расплывшееся от всяких мыслей.

— Доброе утро, папа.

— Доброе... Что не спишь?

— Да так, ерунда всякая...

Валерка сел над ним, на край обрыва. Над водой летали и взмывали вверх стрижи. На светлой воде, маслянисто-гладкой, качался поплавок — зеленая круглая камышинка, стянутая леской на притонувшем кончике.

— Клюет?

— Да, товарищ, — важно ответил отец и показал на ведро.

Валерка прыгнул на песок, приподнял лопухи и заглянул. В ведре стояли недвижно темные тени и лишь время от времени менялись местами.

— Ух ты! — сказал Валерий. — Молодец.

Отец достал из кармана платок, завязал на кончиках узлы и напялил на свою розовую лысину.

— Закурить бы, — отметил Валера. — Хорошо бы сейчас!

Он бросил курить года два назад.

— Ты ведь тоже не куришь?

— Бросил, — кивнул отец, — четыре года не курю... Прекрасно, товарищи. Но зато как я курил! А? Вспомни! Я курил по две пачки в день — и не что-нибудь, а «примы», «авроры»!..

— А я! Я знаешь как курил — вот по лестнице бегу вверх и курю. Тоже все жег — и «солнце», и «шипку», и «аврору» твою тоже! А в детстве, в школе, мох курили... Кисло так. Ты, верно, мох-то и не курил!

— Н-ну! Это что?.. Тебе бы с мое... Вот в Монголии, помню...

Отец прищурился — поплавок повело и бросило.

— Да-а, — сказал Валерка. — Ты тоже много курил... А ты сейчас вспоминаешь, наверно, всякое-разное?

Отец несколько удивился.

— Да. Конечно. А что?

— Ну и как? Как, папа, вспоминать — тяжело, светло? Как?

Отец покосился на сына, положил удилище на берег. Они поднялись на яр, отец принялся разводить костер. Валера механически помогал ему — подтаскивал сухие сучья из уремы, принес валежину, всю в муравьях. Отец муравьев сдул, долго дул, старательно — один пополз по его руке, и тень муравья была золотисто-желтая.

— Советь моя чиста. Я же тебе рассказывал все о себе, — глухо сказал отец. — Я все сделал, как требовало время, и даже лишнего, может быть... А тебе-то какие мысли душу травят?

— Мне-то? — Валера пожал плечами. — Черт его знает... Вот ты вспоминаешь свою жизнь, и я тоже вспоминаю. И Салим, верно, вспоминает... Вам-то есть что вспомнить — исторически все уже отделено.

— Каждая минута исторически отделена, — торопливо сказал отец. — И у вас тоже.

— Нет, что у нас?.. А впрочем, кто знает. Но чего это мы-то, люди под тридцать лет, уже свою жизнь вспоминаем?.. Я вот знаю, все мои друзья размышляют: как прожита жизнь... А ведь в тридцать только начало, может быть?.. Мы с вас пример берем,— рассмеялся Валерий.— Вы подводите итоги — мы тоже.

— Ну и как? Тяжело? — участливо, уже более внимательно прислушиваясь к сыну, спросил Ильяс.

— Тяжело. Все как-то не так... А потом...—Валерий не договорил.— Нет, не подумай, что я стал пессимистом. Я не раскаялся. Ты же знаешь, я сам уехал в Сибирь, сам поехал строить Светоград. Там и учился, и женился, и стал тем, кто я есть. Мы жили в палатках, наша палатка в музее в Москве, если хочешь знать. На ее тройных стенках, внутри, портреты Ленина... Как начинался Светоград, наехала орава — тысячи две, потом около двадцати... А сейчас осталась, может, одна десятая из тех, первых. Тот запал ушел, или люди стали серьезней, и ребенок рождается — и ему уже хочется ванны, хорошего «гастронома»... Не знаю. Но я не разуверился,— повторил Валера.— Я знаю, романтика не только у кóстра, с гитарой... Она может быть и в цифрах, в риске.

Он помолчал, глядя на далекий синий лес. Там висели коршуны, дрожало марево. День будет жаркий.

— Ну и что дальше? Все, значит, хорошо.

— Нет,— поморщился Валерий.— Я не могу тебе объяснить. Что-то все равно не так. Слова красивые, верные. А вот, бывает, делаю я что-то не так.

Отец запалил костер, вытер слезы.

— Ну, ладно,— сказал он, хлопая сына по плечу,— у тебя все еще впереди. Если и ошибся где, то хоть успеешь исправиться.

— Если ошибся — ну, нет!.. Ошибки могут быть такие, что не исправишь. Мы все настолько добрые и хорошие, что скажут нам: вот так делайте — и мы делаем вот так. А потом попробуй миллион тонн камня перенести на другое место. Сейчас ошибка человека может погубить весь мир. Слишком сильными стали люди...

— Это да,— сказал отец,— да. Давай чайку выпьем.

Они повесили ведро с водой на колышки, рыбу сложили в тени, накрыли лопухами. Под щепками было сухо — черви ушли вглубь. Наверно, ожидается долгий зной.

— Вам трудно,— согласился отец.— Я это знаю. Но вам не нужно в дряни копаться. Мы это уже сделали. Мы при лампах керосиновых жили... Да, ты еще застал. Помнишь?

— Конечно,— ответил Валерий.— В классе восьмом только и загорелся электросвет.

— Вот,— вдруг сказал отец,— а теперь ты заведешь крупнейшей в мире ГЭС?

— Ну и что? — не понял Валерий.— Хочешь сказать, какой прогресс?

— Нет, хочу сказать — на твою жизнь пришелся уже исторический кусок. На твою личную жизнь.

— Ну и что?

— Тебе уже есть о чем вспоминать, что сравнивать...

— Ах, не о том ты говоришь, папа,— с досадой отмахнулся Валерий.— Не люблю я сравнивать. «В сравнении с тринадцатым годом». Это же естественно — что жизнь лучше. Она везде лучше, что скрывать. Я думаю о душе человека... Она-то та же осталась? Или не та? Об этом ты можешь судить, ты. Я пока не могу. Когда я лампу керосиновую видел, у меня была еще не душа, а сметана.

— Ну-ну,— сказал отец.— Ты зря так.

Подумал.

— Конечно, изменилась,— сказал он.— Исчезла хотя бы безрассудность. С которой мы шли голодные и босые — к победе. Теперь люди осмотрительнее. Но ведь и сам говоришь: люди сильнее. Значит, под ноги надо смотреть. Одно дело — едет мотоцикл. Другое дело — танк.

— А не забудем, какими были вы, даже не вы — те, кто брал Зимний.

— Это в крови народа,— сказал отец,— это никуда не уйдет! Мы первые сделали в мире это — как же мы можем забыть свои истоки?

Когда Валерка окончил институт, и потерял Женьку, и снова вернулся в Светоград, он еще больше поразился — были уже совсем другие ребята. Тоже, наверно, хорошие — но не те. И тогда подумал Валерка: легче начинать, труднее продолжать, методически наращивать — тут уже нет костров, первых знакомств, новизны, загадочности, а есть смены, бетон, график, выговора...

Компания Валерки разваливалась. Как только Танаев проводил Мироманова в Москву (во второй или третий раз), он почувствовал это.

И не только в Валерке было дело.

Сашка Матанин писал стихи, нарочито глуповатые, тоже на «о», в них он рычал, стучал кулаком себя в грудь, говорил: «Я робочий, я простой!» И все это с неясной улыбкой всепонимания брали московские и местные корреспонденты радио и телевидения, стихи Сашки звучали в эфире.

— Зачем ты так? — спросил Валерка.— Ты же можешь серьезнее работать? Не в поддавки? Зачем ты?

— Я пишу, как думаю! — рубил ладонью Матанин.— Я так думаю.— И задираю нос, и хохотал.— А сам? Помидоры в следующий раз купи министру, помидоры...

— Так разве я для себя? — скрипел зубами Валерка.— Мне ничего не нужно! «Дед» продал меня в рабство — я и вкальваю.

— Иностранцам фотографии дари. С видами ГЭС. Конфеты покупай.

— Ну, с тобой все ясно... — отворачивался злой Валерка.

— Вот-вот,— обрадованно ловил его на слове Сашка.— А я пишу — как хочу.

— Ну и пиши! Пушкин!

— Я же тебя не обзываю...

Толик Ворогов молчал, читал лежа книжку. Когда все спорили, он говорил мало — все тер кулаком синие глаза. Лишь однажды спросил у Валеры:

— А зачем эта «непрерывка» нужна? Пока ее работать заставят как надо, сколько времени уйдет...

Валера объяснил:

— В мире сплошная механизация. На заводах посмотрел бы! Ленты транспортеров, счетные машины, кнопки — сиди нажимаю. И деталь за деталью.

— Но ГЭС-то одна? Ее одну и делать надо...

— Дурацкая логика,— обрезал Валера.

А третий его дружок, Олесь, поддерживал Валеру в разговорах, но сам тоже вел себя, как Сашка Матанин, только потоньше. Все знали, как Олесь приехал: должна была играть его свадьба на родине, на Украине, и, узнав, что невеста не хочет ехать в Сибирь, в последнюю минуту Олесь отменил свадьбу и уехал один... Он, верно, любил свою Ганну — писал ей длинные письма, заказные, под номерами, получал квитанции и показывал друзьям...

— Отец Ганны не может мне простить, что свадьбу расстроил, и все письма перехватывает... А ежели заказные, то ей лично в руки приносят? Ведь так?

И все успокаивали:

— Да, так. В руки.

Хотя каждый знал, что заказные идут так же, как и простые, и так же теряются... Но в последние годы Олесь всю свою биографию — вместе с историей сорванной свадьбы — отдал журналистам... И загорелся молодежный сыр-бор: правильно или неправильно поступил Олесь? В местной газете спорили восьмиклассники и студенты, воины и ткачихи... Олесю, наверно, это нравилось: его все жалели, ему шли письма — по десять штук в день... И среди них попадались конверты с фотографиями молодых симпатичных девчонок, желавших приехать на ГЭС и познакомиться с Олесем. Одно письмо пришло даже с Чукотки! Девушек шесть уже работало на ГЭС — из числа тех, что писали Олесю... Валерий не мог понять: зачем Олесь так делает, зачем ему шумиха вокруг своего больного и единственного — вокруг своей любви, тоски, ожидания? Ганна ему не отвечала, а он все ждал — придет. И все гадали: придет или нет?.. Вот что творилось с Олесем Гринем, известным человеком на ГЭС, теперь старшим прорабом на стройке.

Валерка спросил у него:

— Олесь, ты-то зачем этот цирк устроил? Зачем тебе это? Ты же умнее, крепче, Олесь. Не нужно этого! Уж я-то знаю, как потом каяться будешь...

— А, брось! — ответил тот. — Это все мелочи. Чесотка. Не в этом беда, хлопец.

Он, широко раскрывая глаза, кашлянул. Они шли по Светограду, мимо сосен и стеклянных кубиков — новых магазинов, по железным виадукам и старым деревянным лестницам. Олесь смотрел по сторонам и молчал.

У Валерки осталось ощущение, что он чего-то не заметил, очень серьезного, в Олесе. В чем-то Олесь сломался. В чем? Валерка до сих пор не понял.

Валерке он сказал:

— Я уеду на другую — начинать поеду...

Неужели тоже уедет?

Хмуро пошевелил усами и вдруг обнял Валерку, всхлипнул. Сентиментальный человек, украинец...

— ...Ты прав, нам трудно, — сказал. Валерка отцу. — Мне трудно. Я бы сейчас, кажется, полжизни отдал — очутиться в вашем времени, в твоём времени.

— Ой, не говори, — засмеялся отец. — Вши, тиф, из-за каждого угла обрез — не сладко. Ошибаешься.

— Но зато ясно было?.. Вот, ты знаешь, во рту есть маленький язычок, сверху висит... Когда человек хочет что-то сказать, мучится, этот язычок шевелится, этот, а не большой. Большой шевельнется — могут услышать, и не так понять, и голова с плеч... Так что толку, когда маленький язычок шевелится? Кто слышит? Муравьи? Кто? А чтобы все-таки влиять на ход событий, нужно иметь силу, авторитет... А для этого нужен характер — железо? А где его взять? Всем ли его хватает?

— Железо, — задумчиво протянул отец. — Да-а... Тут я ничего тебе не могу сказать... Похвастать нечем... У тебя что-нибудь случилось? — спросил отец. Помолчал, положил руку Валерке на голову.

Валерка терпеть не мог, когда ему клали теплую ладонь на темя — начинала кружиться голова. Валерка словно бы слабел, как на операционном столе. Но он не пошевелился — боялся обидеть отца.

— Ну, ничего, сын. Имей мужество вернуться на исходные позиции.

Валерка лег у костра на живот. Вокруг скакали кузнечики, зеленые, с желтыми полосками, — кобылки. На них берет голавль. А червей — точно! — нет, под всеми щепками сухо; быть погоде.

— Наши идут, — прищурился отец. — Несут завтрак. И чай подоспел.

Но были и грозы — за час, за два заволакивало небо, темнела вода в реке, темнели календари в избах, зеркала, и вдруг обрушивался ливень, пропарывал речку до горизонта, пускал по песку оловянные ручейки...

В гостях мама боялась грозы меньше. Конечно, на голову набрасывала платок, то же делала Фатиха-апа, и они сидели тише мыши у краешка стола, переживали, когда отгрохочет.

Репродуктор перед грозой хрипел, его выключали. А дырочки розетки Фатиха-апа хлебом залепляла, чтобы оттуда не вылетел синий шар. Помогало.

Но снова светлело, снова нагревался день, и через час становилось душно дышать, и только что загомонившие птицы затихали.

Валерка за эту неделю загорел — рыбачил, стоя в лодке, и у него заболели икры, лопатки, мускулы — от перегрева. Анечка подставляла солнышку только ноги — они стали розовые, особенно коленки.

Как-то вечером Галим спросил у Валерки:

— Туган, ты умеешь топором работать?

— Умею. В детстве когда-то колол дрова.

— Рему будем рубить. Завтра.

Вечером пошли в кино, настояла мать: отпуск проходит, а в кино до сих пор не были... В клубе встретили неожиданно соседа, Салима Салимовича, — он сидел на первом ряду, близоруко моргая, окруженный местной родней, руками опирался на костыль. Одет Салим Салимович был в широкий шерстяной костюм, бритое лицо казалось добрым и грустным, губы выпячены в раздумье. Увидев Танаевых, закричал, заржал на сучковатой скамье.

— Здравствуйте, дорогие соседи, — сказал он. — Здравствуйте, молодой человек! Как — нравится деревня? Не заедают тараканы?

— Нет, все нормально, — ответил Валерий.

— Главное, молодой человек, — громко заговорил Салим Салимович, и, пока киномеханик перематывал первую часть, все вокруг слушали его и кивали, — главное, не забывать родные места... Кто забудет родину свою, у того слабеет шея. Запомните, молодой человек! — И Салим Салимович поднял руку с указательным пальцем, и киномеханик тут включил аппарат, и, восприняв это как должное, Салим Салимович устоял на экран.

Отец в продолжение всего разговора презрительно глядел в сторону, мать невозмутимо разглядывала стены, плакаты.

Дома обсудили разговор с Салимом.

— Ты держись с ним важнее, — сказала мать. — Ты сам начальство. И зачем он приехал? Сидел бы дома, слон африканский!

— Да что — отдыхать приехал, — добродушно сказал Галим, — у него тут родня, сама знаешь... Погода наладилась — он и приехал. Чего удивляться?

— Он нарочно приехал, — сжимая темный кулачок, говорила мать, — чтобы отравить нам отдых... У, колонна дерьма, несчастье души моей!! (Она научилась чисто татарским выражениям. Валера улыбался.)

Утром Галим разбудил Валерку и Аню — она попросила, чтобы и ее непременно позвали, — и они, подняв топоры, взяв еды, пошли на тот берег...

Дорога вела мимо озер, сквозь кусты смородины и ежевики. Посредине пойменных этих лугов стояли горы, подмытые со всех сторон, крутые холмы, по склонам на них росли деревья, а верхушки были ровные — хоть сажай самолет. Когда-то они принадлежали берегу, а потом

Ик выточил новое русло и продолжал весной обрезать берега; получились такие горы...

Трава росла густая, трилистник, трава-мурава, метелочки, щавель — все буйно цвело, кустилось, душило друг друга, можно было лечь, и спина не коснулась бы земли — так густо росла трава!

Валерий нес на плече тяжелый острый топор. Ручка ближе к лезвию, там, где обычно что-то вроде кадыка на топорнице, была выщерблена, состояла из сухих планочек, щепочек. Можно было представить долгую жизнь топора — им, верно, колотили и так и этак, и обухом, и лезвием, и лезвием с вывертом. (Когда нужно колоть дрова, то можно заносить лезвие, бьют с вывертом, мгновенно при ударе поворачивая топорнице...) Валера в детстве колот дрова. Особенно хорошо зимой — дрова морозные, звонкие, бело-розовые. Рукавицы на снегу дышат, как собаки, — пар идет! Полешки разлетаются до сеней, до ворот...

Но здесь предстояло рубить тальник — урёму, так ее называют, или рему, тонкие прутья причеья...

— Мы немножко ворует, — смеясь, объяснил Галим. — Нынче председатель не дал нам дров, и приходится самим их брать. Вот когда Ильяс был начальник, было хорошо. Он справедливый человек.

Посмеиваясь, Галим достал из мешка рашпиль и брусок.

Оказывается, уже пришли на место.

Кусты смородины, бурьян, ежевичные колючки сменялись зелеными зарослями тальника. Где-то рядом крикали утки.

Валера смотрел, как Галим точит свой топорик, маленький, похожий на древнетатарское оружие из музея, с загнутыми краями жала. Галим провел бруском по траве — влажной, тяжелой, хорошей — и снова принялся править лезвие.

Потом взялся за дело Валера. Он волновался и вряд ли мог бы себе объяснить, почему волнуется. Хотелось показать Галиму, что он — крестьянский сын, тоже не чернила в жилах. Или Анечку удивить сноровкой? Сейчас он начнет, прижимая правой ногою тальник, ботинком ступая на голубые и зеленые прутья, тюкать нанкось, возле самых корней. И будет идти дальше и дальше, углубляясь в рему, высокую, с листочками, серебряными с одной стороны и зелеными с другой.

Галим пошел первым, за ним справа Валера. Тальник оказался гибким, сильным, он выскальзывал из-под ботинка. Хорошо еще — ботинки надел Валера с рифленой подошвой. Топор тоже не слушался Валеру — он бил то поперек ствола и отпрыгивал, не прорезав древесины, то скользил по дереву, снимая зеленую ниточку. Валера торопился — Галим ушел вперед, словно его унес транспортер, хотя Галим работал почти флегматично, покряхтывая, утирая нос.

— Валерка! — кричала, идя сбоку с сумкой, Аня. — Валеричка, ногу не порежь.

— Ничего... — свистел тот сквозь зубы. — Ничего, буду, если что, шестипалый, в цирке будешь показывать... Н-ничего!

С него лил пот, он уже плохо видел перед собой, но приноровился, топор бил возле самой ступни — метко и сочно. Набрякли глаза — все время смотришь, пригнувшись, вниз. За спиной оставалась косо срезанная стерня тальника, и Анечке приходилось идти следом, высоко поднимая ноги.

У Валеры заныли плечи, он вдруг ощутил, как движутся у него в плечах мускулы, и это ощущение было щекотным и приятным. Галим, глядя на Валеру, кашлял и смеялся.

Потом они носили лозины ближе к тропе. Потом пили молоко, оно тут же во рту закисло — жарко. Но все равно было вкусно — с хлебом молоко.

— А если пилить, — объяснял Галим, — это не у нас, а вон там, в

лесу, нужно брать низко, возле самой земли пилить... У самых умных воров пила белая — трется о землю. Тогда пня нет, остается белое пятно, понимаешь? Остается луна, а ты раз-раз — и ногой ее замазал! Лесники с лошадей слезать не любят.

Валера знал по детству, а сейчас вспомнил: тальник — дерево бедное. Тепла от него — как от спички. Высохнет прут — легче ваты. Но если нарубить больше — зимовать можно. Благо что он в этих местах растет всюду, и непостижимо быстро. Нынче вырубил — на будущий год к осени новая стена поднялась! Они ж родня — ветла, ива, краснотал... Воткни в сырую землю палку — через два дня зеленые уши выставит. Да что воткни — плетни зеленеют в деревнях!

— Помню,— сказал Валера,— у кого-то из бригадиров в Матвеевке тарантас пустил корни, еле отодрали. В дождь лежал во дворе без колес, это еще когда папа...

— Ай,— поморщился Галим,— у бездельника и «Чайка» корни пустит с болтиками...

Аня смеялась.

Потом они еще рубили тальник. Потом — в самый напек — легли под кустами поспать.

Вдали по тропке проскочил мальчишка на мотоцикле — рубашонка пузырем! Только синий дым за ним долго не развеивался...

Аня гладила волосы Валерке и смотрела, как вдалеке, над бором, кружат коршуны.

К вечеру снова работали и носили дрова в кучу, на траву. Валерка лежал на земле, на красноватом ягоднике, и слушал, как гудит спина, гудит сама земля, чешутся мозоли на пальцах. словно приклеили что-то к пальцам — не согнуть в кулак... Валерка счастливо щурился.

Так было на следующий день и на третий.

Из подмятых одуванчиков текло молоко.

— А как все это увезем? — спросил Валера у Галима.

— Ты тут покараулишь, а я с лошастью вечером приду...

Работали и отдыхали. Валерке странно-радостно было, хотя, казалось бы, что хорошего. Здесь он вовсе не был инженером — был парнем, здоровым, с солью во всех излучинах тела, он потихоньку матерился, хохотал, боролся с Галимом. Он словно мстил себе, Мироманову, «непрерывке!» Он пытался себя осудить, и у него ничего не получалось. Дров у Галима нет. Здесь — на кочках — вряд ли будет колхоз рубить. Ни за что пропадает рема. Но, с другой стороны, нельзя. Нельзя. Есть такое слово. Может быть, Валера такой здесь? А на своей земле, на ГЭС, он бы не мог быть таким?.. Кто бы объяснил? А надо...

Анечка придумывала всякие загадки.

— Отгадай составное слово: первая часть — мужское имя, вторая — дерево, вместе — город.

— Севастополь,— лениво отвечал Валерка.— А вот ты угадай. Первая часть слова — пресмыкающееся, вторая — показание барометра, все вместе — мое теперешнее состояние. А?

Аня бормотала, сопоставляла, прикидывала... Не получается.

— Ну, скажи!..— Она травинкой начала ему щекотать щеку.— Валерка, ну-ну.— И ножкой дернула, лежа в траве.— Пожалуйста. «Уж» и «ясно». Вместе — «ужясно». А?

И они начали баловаться, кататься по земле...

— Значит, ты здесь оставайся, а я с лошастью вернусь,— сказал Галим.— Хорошо?

— Хорошо,— ответил Валера.— Хорошо,— подмигнул Валера.— Только быстрее. И Аню заberi.

Небо медленно гасло — огню небесному гореть еще часа два. Валерка лежал, снимая с себя зеленых лесных клопов, гусениц, прислу-

шиваясь к шорохам — он боялся змей. И почему-то вспомнились опять ребята: Саша Маганин, Олесь, Толька... Что же произошло? Когда Валерке стало совсем тяжело, он пришел к Виктору Савостину, отличному парню, которого ребята упросили стать секретарем комитета ВЛКСМ стройки. Дело в том, что раньше был секретарем и снова хотел стать Илюшка Чухов, русский легкомысленный парнишка. Илюшке нравилось, что его снимают в кино. Прищурившись, чуть моргая белесыми ресницами, медовым голосом он нес ахиною — и красные бобины магнитофонов не могли больше покраснеть, крутили себе, записывали... Ребята решили: хватит. Стройка знаменитая. Секретарем пусть будет Витька Савостин, инженер, умница. Ему сказали так:

— Витька, ничего не делай... Только согласись... Мы сами будем за тебя делать работу... Только согласись. Пусть тебя фотографируют, описывают, приглашают на встречи с иностранцами, а только не Илюшку... Ты выдержишь — просим тебя, давай, а?

Витька поудивлялся, согласился.

Вот к нему и пришел однажды Валерка.

Жил Савостин в однокомнатной квартире на Школьной улице, на третьей ступени многоступенчатого Светограда, под мощными соснами. В комнатке — книги от потолка до полу, радиоло, пластинки. Валерка снял пальто, в кулак подул, прошел к столу. Виктор тоже — еще только пришел с работы.

— Рад видеть... Садись. Я сейчас. Ты ужинал?

— Не хочу. Спасибо, — сказал Валерка. Аня, наверно, ждет — куда запропастился. Подождет.

Он начал смотреть по сторонам: на полке пластинок много. Вот не думал.

— А ты что, фонотеку собираешь?

— Фонотеку? — отозвался из кухни Витя. — Ну что ты. Так, несколько банок, для души. Там банка одна есть, ничего, Коган пиликает — слушать не могу, хорошо!

Валерка усмехнулся: «Банка, банки... А я вот петь не умею».

— У тебя много их, я вижу...

— Много? Не-е.

Витя появился с чайником, с сахарницей. Высоченный, что называется мачта, он неловко повел в сторону колени, сел на стул. Ему и стол был низок. Лысеющий, но еще молодой, с невзрачным лицом, он все подмечал, все знал. Играл протачка, но да ведь кто не играет? Поэтому Валерка сразу же в лоб спросил:

— Что мне делать теперь? С этой дурацкой идеей прогорели, как жетса.

— А то делать, — сразу же ответил Витька, словно речь шла так, о ерунде, о выпивке или покупке. — Признаться откровенно. Или — оставить так, само забудется, само покажет. Может, даже лучше — оставить. Время все покажет.

Валерка пил крепчайший чай, а Витька крутил свои пластинки.

О деле больше не говорили.

Днем Валерка видел Брыкина — мельком, в коридоре управления. «Дед» кивнул Танаеву и, поморщившись, начал осторожно, двумя пальцами растирать левую руку выше локтя, прямо поверх пиджачного рукава... «Что это он делает?» — подумал торопливо Валерка и так и не понял.

Но весь день Брыкин не выходил из головы. Заннаясь делом, мотаясь по стройке, Валера все вспоминал сумрачный коридор, хмурого, тяжелого Брыкина, растирающего двумя пальцами руку. И только сейчас, вечером, понял: он укол себе делал, старик, укол...

— Витя, — спросил он, — а что — у «деда» сердце барахлит?

Витя кивнул.

— Не все знают. А ты почему решил?

Валера рассказал.

— Ну, видно, совсем ему плохо, если кто-то заметил!.. Он же любит сравнивать себя с дубом. «Я, говорит, еще три ГЭС построю!» А у самого в кабинете полный набор «скорой помощи».

— Ему бы полечиться,— пробормотал Валера.— А?

— Полечиться?— вдруг переспросил Витя. Мотнул головой.— А вся эта хреновина с цементом? Да и река у нас нестабильная. Каждый паводок — чепе.— И уже более спокойным голосом, на шутовском языке добавил: — Ну, ты сам знаешь-понимаешь, сам знаешь. Всяко бывает. А, чего там! Давай послушаем!

Самое главное, Валерка почувствовал: Витя его не отталкивает, и ему стало легче.

А теперь он лежал здесь...

Ни малейшей связанности в теле — оно расковано и что-то с ним делается: ребрам щекотно, как хорошо внутри... Звезды загораются, гаснут облака.

Послышался скрип телеги в сумраке, стук копыт коня и разговор. Шло несколько человек.

Поднявшись, Валерий увидел отца, Галима и Салима Салимовича. Позади них вел мотоцикл тот самый мальчик.

«Вот новость,— подумал Валерий,— что это они вместе?»

Люди подошли в темноте, остановились. Галим крикнул:

— Вставай, Валериан, давай грузи.

— Нет, вы не будете грузить,— заговорил Салим Салимович,— это преступление!

Он, еле передвигая толстые ноги, загородил собою стожок. Отец молчал, бродил в стороне, ударяя сорванным стебельком по коленям. Мальчишка пытался завести мотоцикл, мотоцикл чихал, выпускал синий дым и не заводился.

— Стыдно сказать, чем вы занимаетесь,— говорил Салим Салимович,— думаю, дай-ка проверю, куда пошли... Они воруют колхозные дрова!.. Систематически. Ай-ай, нехорошо.

— Послушай,— тихо сказал из-за спины отец,— ты же знаешь, нынче им Трофимов совсем не дал... Они на пенсии, а дрова дали только тем, кто работает.

— Я говорил вам, Ильяс Хасанович, что нельзя так рассуждать. Мы люди ответственные, и если мы будем позволять себе такое, что будет делать простой народ?.. Вы понимаете, что это преступление?

Отец замахал руками:

— Галим, поворачивай, чего стоишь? Давай все миром кончим, и все... Я схожу к Трофимову, может быть, мне он не откажет...

— Не пойду я,— ответил Галим.— Зачем мы с твоим сыном работали, старались, нарубили прутиков четыре охапки — здесь все равно никто не стал бы рубить: одни кочки, гнилье, теперь ты говоришь: оставь... А это, Салим, не твое дело, ты приехал отдохнуть — отдыхай, а в наши дела не лезь!

— Как не лезь? — возмутился Салим Салимович.— Это моя земля, кунак. Ты здесь пришлый, ты из Суук-Су, а я здесь кровь проливал...

— Я не спорю, Салим-ака,— мягко сказал Галим,— при вас порядку было больше.— польстил он Салиму, и тот неожиданно согласился.

— Да, ты прав.— Он зашагал шумно мимо людей, взад и вперед, заложил руки за спину.— Но эти дрова ты не возьмешь. Или об этом я доложу в райотдел милиции, и тебе будет плохо.

— Ну, хорошо,— покорно сказал Галим,— я завтра зарезу овец —

им все равно нечего грызть. И замажу на крыше печную трубу — пусть садятся птички. Хорошо, Салим-ака.

— Что ты говоришь? — возмутился отец. — Как можно — овец? Не будь дураком, делай свое дело... Я потом все Трофимову объясню...

— Мальчишка! — вдруг закричал Салим Салимович на отца Валерки, и между губами его возникла и лопнула белая пленка. — Зачем ты суешься, мальчишка? Сколько раз в жизни я тебя учил достоинству!.. С кем ты якшаешься?.. Ты же член партии! Ты что, хочешь на пенсии хлеб сухой грызть? Я тебе это устрою!..

— Он ни при чем, — строго сказал Галим, — он ничего не знал. Это я. Я и буду сухой кусок грызть... Бала, помогай.

Они стали переключивать на арбу тальник, теплый, обвялый, шурша, роняя серые и серебряные листики на ноги. Снова удивительно запахло земляникой, клейкими стебельками, цветочным сором.

— А-а, — закричал Салим, — пошли, пошли, Анвар! — И ударил мальчишка по затылку, и тот, заплакав, потащил свой «Кировец» по тропе. Салим Салимович шел, переваливаясь, рассуждая сам с собой, оставив в сторону руку с указательным пальцем...

Глядя вслед плачущему мальчишке, Валера снова вспомнил Настеньку. Неужели и ее вот так — в затылок — будет кто-то ударять? А он, Валера, знать ничего не будет. Неужели вот так же — двумя жесткими пальцами, указательным и средним, согнутыми крюком, будет кто-то тыкать Настеньку в затылок, в золотые завитушки? И она будет плакать, и слезы закроют ее — Валеркины — глаза. А он, Валерка, даже не почувствует вдалеке ничего, ну, может, соринка залетит в глаз, и то, может, повезет, не залетит...

Валерка приложил кулак к горлу, перевел дух.

Отец Валерки подошел к Галиму, обнял его.

— Он меня обозвал мальчишкой... — сказал он, стараясь улыбнуться. Вынул платок еще с завязанными узелками по углам, потер им щеку, глаза. — А! — И махнув рукой, побрел в сторону деревни.

Следом покатила телега, поскрипывая, шумя, когда она задевала зелеными ветками кусты. Дрова благополучно довели, никто из встретившихся людей ничего не сказал. Раскидали во дворе сушиться. А спросят, где рубили, Галим найдет что сказать.

Лошадь Галим отвел другу-конюху, пришел, похлопал Танаева-старшего по плечу:

— Не расстраивайся... — Тот вечером сидел на крыльце.

Но Ильяс уже был пьяноват, глупо улыбался и играл на гармошке старинные песни.

Пришла мать из кино с Анечкой, удивилась:

— В честь чего это?

Ничего не поняла и ушла спать...

А отец все играл, по-мальчишески улыбался, а рядом сидел Галим, хрипел, громко дышал, оглядывал двор, белый при луне — белые прутья ивняка, ошкуренные овцами, белый цинковый таз у забора, ведро, жерди...

И очень долго не мог уснуть Валерка.

11

На следующее утро мать сказала сыну:

— Пошли в Березовку... Пусть отец отлеживается — ему сегодня что-то нездоровится. Только не пейте тут без меня, братишки!

Галим развел руками.

Мать, Аня и Валерий вышли на берег, отвязали лодку Галима, одновесельную плоскодонку, брякнули цепочкой, плеснуло волной о борт —

и погнал ее Валерий против течения, мимо Кал-Мурзы, мимо кладбища с полумесяцами на шестах, мимо жестяных звезд и звезд с полумесяцами, мимо высокого яра, по отражениям ветел, по облакам и солнцу.

Вода билась в борта, и эта дрожь клонила в сон.

По совету Галима Валерий взял моток веревки, и когда доплыли до Беляевки и начался пережат, Валерий, закатав штаны, вышел из лодки, перекинул конец веревки через плечо и побрел, наклонясь, как бурлак, по песку, по берегу...

Женщины в лодке разговаривали, а он шел и думал о своем.

Когда-то в этих местах он бегал босиком, чудил, не вылезал из воды по шесть — двенадцать часов... А вот теперь отец семейства тащит против течения лодку с двумя женщинами — матерью своей и матерью дочки своей, Анечкой... Под деревянным звонким днищем скользит слоями вода, ходят темные сомы с усами и щуки, как породистые жеребцы с яблоками; качаются недоросшие до поверхности белые лилии, вдоль лодки нескончаемо бурлит вода, и тугое бурление, звук преодолеваемой воды, передается плечу Валерия.

Он шел и видел — река изгибается, и берега ее снова расходятся, как ворота, и гуси белые ковыляют по траве-мураве, гогочут, пронзительно кричат, задрав клювы, и лошади пьют с берега, и мальчишки тонкими голосами просят:

— Чмори... чмори... Пейте, буланы, пейте...

Здесь уже пошли русские села: Беляевка, Илларионовка и Матвеевка... Валера помнил, как матвеевские парни ходили гулять к соседям под древние ветлы, к шумной воде у мельниц со старыми, полузарытыми в почву серыми жерновами, похожими на гигантских белых червей... Тогда их тут был целый каскад — несколько водяных мельниц лесенкой располагались по реке... Гул висел, шум, брызги, рыба играла в предплотинном зеркале, стояла против течения внизу, у мохнатых зеленых свай. Вошло великое множество птиц. На озерах, около мельниц, только и раздавалось фрр, фрр — чирки, селезни сине-зеленые, дикие гуси — кто только не нырял в гладкой масляной воде!..

Валерий тянул лодку, он шел босиком, и песок накалялся — солнце поднималось все выше и выше. Валерий попросил у женщин шляпу: пекло голову.

В речушке по живот стояли пестрые коровы, и в воде отражалось их розовое вымя... Коровы отошли, дали дорогу, хотя Валерий забрел поглубже, чтобы их не беспокоить...

Потом к самому берегу подошла рожь, застрекотали кузнечики, замелькали птицы и показалось на высоком берегу село Матвеевка с церковью без креста, длинное, сиротливое.

— Ни в коем случае! — крикнула мать. — Вперед! Вперед, товарищи!

Она не хотела, чтобы Валера заходил в Матвеевку. Зря они уехали оттуда — вот в чем она была уверена! Не хватило Ильесу выдержки. Не нужно было соглашаться на повышение. Нужно было жить здесь и делать дело, за которое его уважали, он же золото человек: ползарплаты своей раздавал на чекушки калымщикам, чтобы только крыши и наличники у людей светились краской. Так ведь дерево меньше гниет — отец на свои деньги года три подряд красил окна и заборы Матвеевки... (На свои редко кто хотел.) Над отцом смеялись, а потом, когда уехал, поняли... Ну да что теперь?

Когда-то здесь был районный центр, а теперь — Антонина Андреевна знала — ямы из-под бывших хороших домов. В ямах играют кошки, лежат деревянные автоматы мальчишек, перегоревшие лампочки от карманных фонариков...

Валерий понимал, почему мать не хочет заходить сюда... Узвлен-

ная гордость, нежелание слышать ахи знакомых... Валера тащил лодку мимо своего детства, мимо глинистого берега, в котором дырки стрижей, тащил и видел лишь траву-мураву, какая везде в России, и не видел школы своей, школьного участка, мичуринских яблонь, которые он когда-то сажал с друзьями. Да полно, выжили ль они, эти яблони...

Вот овраг — там колодец, Валерий помнит; вот мост, вот Ключик — так называлась протока из озера в речку, но протоки уже нет, и деревянные домики Озерки торчат над песчаным бугром. Вон в той избе — а где эта изба, да ее тоже нет, снесли? — в общем, вон там жили одно время Танаевы, пока им не дали богатый дом наверху, в центре... Растут лопухи, побуревшие на солнце, изогнувшиеся по краям, — они словно велосипедные сиденья. Как носились когда-то на велосипедах мальчишки по пыльным дорогам!..

Матвеевка осталась позади, и вот закрыли ее березки, и начались поля.

И показалась Березовка, она на высоком берегу, с лодкой трудно к ней подойти... Валера подтянул плоскодонку к отмели, женщины вышли, и Валера заволок лодку на сушь. Обмотал цепь вокруг коряги, замкнул для видимости замок (кто возьмет?).

Мать оживилась, смотрела по сторонам.

— Сейчас мы пойдем к тете Шуре, моей сестре... — пояснила она Ане. — Здесь живет...

Они медленно подходили со стороны поля, вошли в ворота — словно деревня запиралась. Верно, из-за скотины.

Березовка пестрела среди синих холмов, сама на синем холме. Река сюда не доходила: шла за уремой, за озерами, верстах в шести. Поэтому у Березовки были глубокие колодцы и скрипел на околице ветряк.

Мать поправила на голове газовый платок, обернулась.

— Ты здесь родилась, мама? — спросил сын.

— Нет. Хотя в паспорте записана она, Березовка... Вот, Анечка, моя родина, — сказала мать, и лицо ее странно потемнело, кровь прилила к щекам. — Здесь маму я похоронила, здесь отца не дождалась...

Седая, худая, жилистая, мать шла быстрым шагом, Аня и Валера едва поспевали за ней.

Березовка горела множество раз. Так уж она была расположена — на высоком месте, и в июне — июле, как только начинались грозы, первые же молнии подпаливали ее. В тридцатом году, когда Тоне было тринадцать лет, сгорел весь верхний порядок, тот, что у самого поля... А ниже, с ветлами и тополями, горели году в тридцать четвертом. От околицы до околицы... Там вон и изба Дудкиных стояла, теперь на ее месте пустырь. Дудкиным срубили новую избу, на краю оврага, через четыре избы.

Тоня помнила, как накатились тучи, мать уже больная была, желтая, как стихло все над дереvушкой, как молились все, задернув окна и обратившись к образам. А ризы образов, серебряная фольга от заводного дорогого чая, посвечивали слабо-фиолетовым и неожиданно красноватым светом.

Ударили молнии, точно ломал кто над самым ухом лучину, и, едва поспевая за ними, загремели громы, и никто уже не помнил, каким ударом зажгло деревню. Дождя не было, так, шлепнулись две-три капли на стекло, чиркнули — отскочили, и вдруг ветер поднялся, и завывали собаки, заревели коровы, закричали дети... Сухое пламя — страшно смотреть — охватило сразу домов пять в том конце, что возле Алешкина колодца. И дым повалил, и толпы побежали... Тонина мама схватила за руки своих дочерей, пинком открыла дверь и выбежала, завлекла их в огород и там посадила на землю среди картошки, среди зеленых тонких подсолнухов...

— Сидите и молитесь,— прошептала она,— сидите и не вставайте. И — сама убежала в избу спасать добро. А добра-то — тряпки да посуда. Она закидала все в погреб, из сеней — в клетки и в погреб, в погреб сама по сырým скользящим ступеням сверзилась, ногу расшибла, но молча, никого не зовя, выкарабкалась и побежала посмотреть — на месте ли дети, потом охнула, вернулась в избу — а до Дудкиных еще огонь не дошел,— сняла иконы, завернула в кофту свою шерстяную, отнесла в огород, детям отдала, пальцем пригрозила — сидеть и не потеть свертки, и убежала смотреть, что горит и где горит...

По деревне тянуло черным дымом, слышались плач, крики, и никто не знал, тушит ли кто, и где пожарники, и есть ли кто из них дома... Тогда была пора сенокоса, и многие мужики ночевали в лугах.

— Корову, черную корову! — кричали старухи.

В этих местах до сих пор живет поверье, что молоко черной коровы гасит молнию — и вот вели через деревню от выгона, из-за двух верст, коров десять, они упиралась, рыли рогами землю, как быки, и не давались, и, как назло, ни у одной не было молока. Или напуганы были?..

Сгорел весь порядок, тридцать изб, и не скоро деревня поправилась. Государство, конечно, помогло, соседи помогли: сегодня ты, а завтра, глядишь, я окажусь в несчастье...

После пожара дети поднимали с земли кусочки плавленого стекла, много было красивого стекла — с цветными узорами на поверхности.

Детишки смотрели сквозь это стекло, и таким сказочным представал мир через зеленоватые и розовые стекляшки.

— Это у молнии младшая дочь — она жалеет людей и рисует детям в утешение что в голову придет... То радугу, то круг, то цветы, а то флаги разные...

Тоня помнила те стекляшки. Еще находили дробь — на месте вилки или ножа.

Многие уезжали, говорили:

— Не можем здесь жить больше, богом проклятое место, пойдём искать добра: наш дом — колесо, наша крыша — оглобли...

И раскатились по сторонам телеги, разъехались погорельцы. Издалека приезжали другие люди, тоже на арбах, в обгорелых фуфайках, вымазанные сажей, — не мылись, не чистились, чтоб пожалели люди добрые, помогли чем могли... И были люди, на этом сострадании руки гревшие, погорельцы-умельцы, которым понравилась такая житуха: ничего не делать, по Руси идти с котомкой, ехать на телеге — глядишь, за полмесяца да наберешь на житье... Давали все: самовары, одежонку, деньги, хлеб, посуду... Даже кур, гусей, поросят, разжалобясь, выносили, особенно если рядом с лошадкой брели босые, оборванные детишки, кривили губы, и кланялись во все стороны, и дули в губные гармошки.

Как-то вечером возле новой избы Дудкиных остановились странники. Мать лежала в лихорадке. В избу вошел багровый дяденька в сапогах, с усами и, размазывая слезы, поклонился иконам.

— И никого-то, ничего-то у нас не осталось... только детки несмышленные да черные вороны в небеси...

Тоня заплакала, метнулась к матери. Мать вдруг усмехнулась и приказала:

— А ну-ка, доченька, подай ему мою кофту... Почему же не помочь горемыкам? Мне она все одно уже не понадобится...

Дочери и соседка стали увещевать маму, успокаивать, уговаривать, если уж хочет, дать что-нибудь другое. Но мать настояла:

— Я здесь хозяйка... Отдайте ему.

Вошедший стоял, низко опустив голову, и покорно ждал, и Тоня

увидела, как мимо ног его прошмыгнула кошка и он ее проводил внимательным пьяным, смеющимся взглядом.

Дяденька взял кофту, оценивающе огладил ее, растрогался, словно бы и начал кланяться, кланяться, задом открывая дверь, и вышел...

Дети ревели, мать сухо смеялась.

— Ему счастья она не принесет... Кто им такую кофту даст?.. Неуж они, даже не глядя, пропыют ее? Не-ет, они помучаются... помучаются...

Мать была в жару.

Потом, в ночь на воскресенье, мать умерла... Тоня помнит, как хоронили ее.

И остались детки. Шурочка в тридцать третьем, семнадцати лет, замуж вышла за хорошего парня, родила ему четырех сыновей, семья была у них — табун коней, одно ржание и веселие. Жаль только, муж рано умер. И теперь вековала Шура вдвоем с его отцом, со свекром своим, глуховатым «деденькой», все дети разъехались — кто в армии, кто женился да в городе устроился.

Так и жила Березовка под локтями молний. Над этими холмами всегда останавливались грозы. Слава богу, синие холмы дальше становились зелеными, сменялись лесом смешанным, а дальше шел бор, и дерево было — новые избы рубить.

А сегодня мать видела: над каждым домом громоотвод, к каждому дому подведено электричество, радио...

— Вот родина моя. Ты тетю Шуру-то помнишь хоть, Валеричка? — дрогнувшим голосом сказала мать.

— Помню,— кивнул сын.

Она приезжала в Матвеевку, когда он в пятом классе учился. Отец тогда был начальником милиции, и Валерка бегал в большой фуражке и требовал, чтобы тетя Шура ему честь отдавала. Она поднимала большие белые руки к вискам. А Валерка требовал, чтобы только одну руку. Тетя Шура хохотала, шлепала его по попе, что очень оскорбляло Валерку...

— Помню,— сказал Валерка.

— А если б в тридцать девятом я не вышла замуж за твоего отца, я бы здесь и жила...— сказала мать, оглядываясь на тихую деревушку, на ту сторону улицы — метрах в трехстах.— А ну да ладно... Он хороший человек. Не то что я! Эй, кто есть дома? — звонко спросила мать.

Встретил гостей «деденька», расправил бороду.

— Те-те-те,— сказал он, кланясь и отступая за порог.— Это кого же мне бог-то послал? Это же Тоненька-Тоненька — мокрые глазки? Шура, ну-кошь, иди сюды, кто тут приехал? Целый табор, ну-ка выйди...

Вышла сестра Шура.

— Ой,— тонко завизжала она, сама смеясь своему визгу и бросаясь по-молодому к госте.— Появилась!

— Появились — не запылились,— усмехнулась гостья.— Этих узнаешь?

— Никак Валера? — ахнула хозяйка.— Ба, да он у тебя красивый, чернобровый, совсем в тебя... А это кто же? Анечка-пламечко! На свадьбу-те тогда не успели... Уж так вышло, ах ты господи... Все бегом да бегом... По-современному, конечно.

Мать сама начала распоряжаться:

— Идите умойтесь, сейчас чай будем пить...

У «деденьки» синие глаза слезились. Он радовался.

— Да, да ведь... И то это...

Изба была в пять окон, справа печь, слева лежанка, в левом углу иконы, стол справа — в углу,— загородка, там чуланчик, посуда, еда, над дверью полати. По полу ползали два белых котенка.

Слева, над окном, возле стола висело радио. Т- самое, которое «деденька» всегда включал на полную катушку: раз заплачено — пусть играет.

— Ну что? — спросил Валерка. — Говорит?

— Да что-то спортилось, — засмутился «деденька». — Динамик, по-ди. Не принимает. Я уж и молока туда наливал...

— Зачем?!

— А вдруг-те поможет?

Валерка хохотал.

Тетя Шура носилась по избе: то забудет хлеб, то потеряет ножик... И радовалась она всему: уронила кусочек сахару, подняла, обрадованно осмотрела его — и в рот положила!.. Она, наверно, не умела быть злой. Она обнимала мать, щекотала ее, смеялась, сама визжала, трясла плечами, потом, роняя картофелинки из чугунок, шла шаркающим шагом по избе к столу...

— Как у вас нынче? — спрашивала мать сестру.

— Да ничё... Ходим помаленьку. На Петров день была гроза, думала: опять убьет. Нет, пронесло...

Помолчали.

Валерка посмотрел на дедушку, на широкую его бороду, как у Толстого. Борода большущая, а сам «деденька» маленький, скуластый, с яркими глазами. «Деденька» ждал, что и к нему обратятся.

— Дедушка, как жизнь-то? — спросил Валера.

— Хорошие нынче хлеба, — прокричал «деденька». — На руку ложатся. Удержим ли?

Валерка вспомнил свои миллионы тонн воды, поднятые в небо, и вздохнул.

Он снял со стены репродуктор; в нем было полно паутины. Валера ножиком раздвинул паутину, увидел: порван волосок от потенциометра. Кое-как соединил. Включил — передавали музыку.

Валера вышел на крыльцо, во двор. Изба имела два крыльца, два входа — с улицы и со двора. На дворе тихо, прохладно. В клетях сухие шпикши сосновы, для самовара. Старый хомут с изрезанной кожей. Ни коровы, конечно, у этих стариков, ни овец. Куры есть — Валера нашел три перышка. И по мелкой дробе на земле догадался: держат и козу. Тишина какая...

На деревянных старых досках Валерка просидел минут десять, достал спички, начал по привычке мять их в руке, потом две или три поломанных спички выкинул, коробок сунул в карман и подумал: «Ну, что дальше? Может быть, когда-нибудь купить дом в деревне и жить, пить молоко, ходить по траве росной, копать землю, сад разбить. А?»

Хлеба нынче — тяжелые даже для «деденьки», хотя и жизнь у него уже вся, но все еще важно: урожай хороший. Это хлебное море ему тоже давит на плечи, он ощущает его вес. А уж если это золотое хлынет, да не вовремя... Волна пойдет далеко-далеко.

Господи, как все связано...

И вдруг Валерка вспомнил, что спички поломанные запали в щель крыльца. Они, конечно, там не загорятся сами по себе, но все равно как-то тревожно, места себе не найдешь, пока оттуда их не вынешь... Валерка опустил на колени, стал заглядывать под крыльцо. Там желтели рейки, дрова, какие-то сети. Как раз для огня...

— Что ты там ищешь? — спросил «деденька», выйдя и подняв к глазам руку, тяжелую, как клешня. — Деньги обронил? Копейку?

— Да так... — устыдился вдруг своих страхов Валера. Он сел снова на крыльцо, обхватил лицо ладонями.

«Деденька» сел рядом и, пригравшись, уснул. Надо же — уснул!

Валерка удивился, зашел в избу — все спали. «Как они могут спать?» — подумал он. Видно, напились, наелись, наговорились. Шура и мама лежали на полу, на белой тряпице, Анечка на кровати — все торжественно спали, а на улице потрескивал зной и, может быть, собирались где-нибудь за тридцать земель грозы...

Валерка пожал плечами и снова вернулся на крыльцо. И сидел так часа два, пока не проснулся «деденька», не зевнул, не замахал руками:

— Это что ж такое, девки? Где девки?

— Спят, — ответил Валера.

— Не заблудятся?

— Спят, говорю.

— А, тогда не заблудятся!.. — пробормотал «деденька», потер синие глаза свои и снова уснул, опустив бороду промеж ног...

12

Накормленные, напоенные, гости вернулись вечером на лодке по течению в Кал-Мурзу.

Ночью пошел снова дождь, били молнии, и река освещалась от берега до берега, и белые гуси на ней казались черными.

На следующий день отец взял Валеру с собой в Беляевку.

— Попросим за Галима, — решительно сказал он. — Трофимова я еще по ВПШ знаю. Поможет.

Им повезло: с утра Трофимов сидел в правлении. Это был длинный, нескладный мужчина, с тяжелым же, нескладным лицом. О нем в районе говорили: Трофимов — землемер. Любил ходить пешком. Бывало не раз, все двадцать шесть километров вдоль своих деревень пройдет...

Только отец поздоровался с ним и Трофимов со словами: «Всегда рад видеть вас, Ильяс Хасанович», — показал на стулья, как в кабинет вошел Салим Салимович по-хозяйски, пошучивая с секретаршей, с бухгалтерами.

Увидев Танаевых, он замялся.

— Ничего, я и при нем! — нахмурился отец и начал рассказывать про Галима, что, во-первых, это инвалид второй группы, во-вторых, у них никого нет, единственная дочь где-то в Узбекистане, замужем... Нужно было им помочь, зима все-таки, корова все-таки, овцы...

Тут отца прервал Салим и, подняв палец, рассказал о рубке дров за озером.

Наступила тишина. Отец не оправдывался. Трофимов за все время и слова не сказал. Он молча выслушал Салима, курил папиросы и, морщась, тушил их о тяжелую мраморную пепельницу.

— Я думал: он сюда покаяться пришел, — сказал Салим, — а он — просить за того жулика!

Он придумывал, что бы такое красивое завернуть. Но тут Трофимов извиняюще кашлянул, обнял Ильяса Хасановича длинной своей рукою, показал с мученической миной на график на стене: тяжело, мол, — и единственное, что Валера услышал, почтительно вытягивая шею:

— Когда в море шторм, на берегу много умных... Так, Илюша!

Салим посидел с достоинством, с достоинством встал и ушел. Трофимов больше ничего не сказал. Конечно, он не станет наказывать Галима, конечно, он постарается выделить им что-нибудь...

«Когда в море шторм, на берегу много умных». Как потом узнал Валера, Трофимов служил в море. Если б знал Валера, о чем еще думал Трофимов. Он вспоминал море и говорил в эти дни себе: ты — как на подводной лодке. Тебе плохо? Чтобы тебе помогли, ты все-таки сначала поднимись на поверхность. Должен подняться сам. Тогда и помогут...

Хороший человек... Мало говорит.

Ехали домой на машине Трофимова — забрали и мать в Кал-Мурзе и покатали через поля ржи и пшеницы в Мензелинск. Казалось бы, что за земля — овраги, овраги без конца, на дне оврага сосна или береза — сползла вместе с землей во время дождей, а на буграх расщепленные черные деревья, и даже столб один, телеграфный, с него свисают провода, на кончиках, где обрыв, они спеклись в большие капли... Поля, рожь, рожь, вика с овсом, в плоских стручках вики завязались горошины. И по спине Валеры шел озноб счастья, холодок, словно позвонок его, с шишечками, был тоже вроде вон того стручка вики...

Отец ехал, уже успел немножко выпить и несколько самодовольно откидывался, но голова его уставала держаться так надменно, и тогда он клал ее на плечо набок и начинал смущенно улыбаться...

Они ехали, и вспомнил Валера, как загорелся когда-то в Матвеевке электрический свет. Движок работал поначалу до одиннадцати — он, перед тем как погаснуть на ночь, три раза моргал. В эти минуты хозяйки торопились управиться с делами по дому, бегали, убирали посуду, а Валерка, сжав зубы, старался прочитать еще хотя бы страниц десять из Жюль Верна.

Тогда в колхозе всем поставили двадцатипяти- и пятидесятиваттные лампочки. А Танаев-старший себе повесил в избе, в главной комнате, трехсотваттную, от кинопроектора, длинную такую, как огурец.

Валерка помнил режущий синий огонь этой лампочки — в окна ложилась белая дорожка километра на полтора с ярко-голубыми тенями... На ней лежали, жмурясь, собаки.

Лампочка причиняла неудобства: читать при ней не было никакой возможности, болели глаза, сидеть и есть тоже плохо, никакого покою — вдруг разлетится. Но отец, Ильяс Хасанович, уперся на своем:

— Хочу, чтоб висела!

И мама, и Валерка, и сестры старались вечером, когда загоралась длинная штука, в ту комнату не заходить. Отец, шурясь, сидел довольный под ней, шуршал газетой, розовый, с намечавшейся плешинной, и время от времени звонил по телефону — крутил ручку... На подоконнике стояли две батарейки, и если свести близко проводки и лизнуть, то ой как бьет... На батарейках нарисованы красные молнии.

И еще вспомнил Валерка, как ездил он после девятого класса с отцом куда-то по отцовым делам. Возвращались поздно. Была ночь, но трава была видна до любого стебелька — так светил полный месяц.

Они проезжали деревни в тишине, лишь взлает пес и тут же замолкнет; серебряные крыши разбегались и текли назад; серебряные жерди, скворечники, ворота, доска, забытая на улице, — все блестело в росе, все было ясно той ночью...

Отец курил сигару — он тогда только что пристрастился к сигарам, может быть, потому, что так важнее, солиднее. Курил, кашлял, выворачивался, тонким голоском докашливая, слезу утирал с лица, но снова затягивался коричневой палочкой, старательно просасывая ее, плотную и крепкую. Отец курил, развалясь на правом сиденье «виллиса», и указательным пальцем правой руки несколько высокомерно и смешно показывал Кольке-шоферу, какой дорогой ехать, а дорог, и правда, здесь великое множество... Рука эта, широкая, в желтых волосках, лежала на покатомотчике возле стекла, и короткий обкуренный палец ходил вправо-влево... А сигару отец неловко держал левой рукой, роняя длинные малиновые искры на брюки, и они долго не гасли, лежа на его коленях. И Коля косился на них: рядом бензобак...

И чего вспомнилась та ночь?

Давно это было. Постарел отец. Лампочки в доме держит обыкновенные. И пальцем не показывает дорогу.

Вдали ходили грозы.

— Это какой район? — спрашивала мать шофера. — Муслимовский?

Валерка неожиданно обнял ее и закрыл глаза. «Надо б сказать о спичке...» — почему-то подумал Валера. И снова устыдился — не загорится же она! Это у него от мамы — боязнь огня? А может, падо бы сказать? Пусть вытащат?

Боже, как ему было жалко мать и отца, смешных и хороших людей... Они сейчас торжествовали победу над Салимом, но им вместе жить, и кто знает, не ударит ли тот как-нибудь лопатой отца или мать?.. У него ведь, может, и справка есть, что он ненормальный...

Возле светлой рощицы остановились — отцу нужно было отлучиться на минуту. Валерка тоже вылез из машины, походил вокруг нее, подошел к беленькой, корявой у своего основания березке и вдруг обнял ее. Что-то с ним делалось... На руке осталась царапинка и белая полоска — след мела, след бересты.

Приблизился отец, пряча глаза, несколько смущенно сказал:

— Вот и все, сынок... Тебе, наверно, не понравилось... Или ничего? Ничего, говоришь? Да-а... Вот, ничего не произошло, только нам теперь на пять лет жизни хватит с Салимом разговорю... Жизни мне не даст...

Валерка хотел что-то сказать, сказать... но ничего не сказал, только обнял отца, и на щеке долго было влажно от потного лба отца.

Нет, не поедет Валерка к Мироманову. Не завезет ему привет от светоградцев. Не попросится на другую ГЭС. А вернется на исходные позиции. Он не хочет иметь секреты от Толика Ворогова, от Витьки Савостина. От всех.

Мать в дороге пела:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

И висела над дорогой рожь, она висела по всей стране — золотой груз неисчислимой тяжести, и кто-то чувствовал его вес так же чутко, как Валера вес своего моря.

Через месяц — второй паводок, таяние южных «белков».

Когда самолет повернул на восток, вставало солнце, и внизу остались маленькие мама и папа, и на папе лучший костюм его, несколько медалей и орденов, и на маме голубое платье, укороченное по глупости: теперь мама стесняется... И остались они, и вокруг них кружились грозы. Когда самолет поднялся, Валерка покрутил возле живота кулаком. и ткнул вперед, и рассмеялся...

Ведь не кончена же еще его жизнь? Все будет хорошо!

Утреннее солнце светило вдоль оси самолета «АН-24», и видны были в иллюминатор нашлепки, заклепки на двигателе, круглые, они оранжево светились, и было видно, чем скреплены двигатели, а сами двигатели не видны — вокруг молоко, туман... Только силуэты двигателей и ярко-малиновые круглые заклепки, которыми все скреплено.

Но не важно... Главное, все сшито и не развалится. Главное, что летим.

Анечка гладила рукою Валеркину руку, и сонно-счастливые ее глаза жмурились. Ей очень-очень понравилось и в Кал-Мурзе и в Березовке.

Красноярск.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ВСЕ МЕТЕТ И МЕТЕТ ЗА ОГРАДОЙ

В. Щ.

Вся в снегу под окном сосна.
Где-то глухо собаки лают.
Ничего, ничего, кроме сна,
в поздний час я тебе не желаю.

Пусть ничто не тревожит! Влей,
влей в глаза мою тихую радость.
Снежной пылью со снежных полей
все метет и метет за оградой.

Дай коснуться твоей головы,
тронуть пальцами умные брови.
В мягких шорохах снеговых
спит завьюженное Подмосковье.

Есть и в непогоды зарука,
если вместе с тобою мы.
Спи спокойно, шумит не вьюга —
лебединые крылья зимы.



ЕДЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

..*

Что такое отава?
Вторая трава.
Это — чудо рождения
После покоса.
После гибели —
Жизнь,
Что извечно права,
И ответ на сомненья твои
И вопросы.

Это — праздник надежды твоей,
Что жива
И не бросит тебя
До поры ледостава...
Отгорают кусты,
Облетает листва,
Но невянушей зеленью
Светит отава.

..*

«...Родись счастливой!»
Я и родилась...
Так и слышу,
Ни с кем о том не спору.
— Счастливая! — я слышу всякий раз.
Так и живу —
От горя и до горя...

Так и живу —
Не жизнь, а благодать!..
И жизнь свою я мерой счастья мерю.
Могу ли ближних разочаровать
И подорвать их детское доверье?..

Хоть жизнь и расползается по шву
Порой — всё вкривь и вкось,
И тьма и холод,—
Счастливая!..
Что ж, так я и живу,
Для радости отыскиваю повод...

Не потому, чтоб подтвердить молву
И оправдать предназначенье свыше,—
Я счастлива — во сне и наяву —
Воистину — когда твой голос слышу.



ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

ДАВИД ОВАДИЯ

★

История пишется кровью...

История всегда писалась кровью...

Я думал, это фраза — и не более.
Но плакал я от горя и от боли,
но пуля злобно надо мной визжала,
и кровь друзей мне сердце обжигала.

И я поверил тем словам суровым,
когда мы падали и поднимались снова,
когда мы шли в жестокий бой кровавый
во имя жизни, правды — а не славы.

Когда историю писали кровью.

ПАВЕЛ МАТЕВ

★

Утро

Невидимых ветров прикосновение
меня разбудит раннею порой,
чтоб тысячи таинственных волнений
сегодня снова встретились со мной.

Ночь августа — темна и безмятежна —
ушла, дождями звездными звеня.
И темнота в моей квартире тесной
сменяется холодным светом дня.

Что ждет меня?
Не суетное слово,
не вереница медленных минут.
Я на планете взрывы слышу снова.
Горит земля.
И люди в бой идут.

Вьетнам.
Там умирает в джунглях воин.
В его глазах моя мечта горит.

Я снова в осень возвращаюсь.
Шум тополей угасших слышен,
и горизонт, как нитка, рвется.
Вокруг меня все грустью дышит,
и грусть,
как дым,
ко мне крадется.

Сентябрь немой печалью полон
о быстром лете легкокрылом.
...Дарило лето стрелы молний
и травы горькие дарило.

Сентябрь, сентябрь
несет меня
в свои распахнутые дали.
Так ветер носит семена
над реками и городами.

Горят, как на морозе, щеки
у девушек, идущих мимо.
...Придет зима,
и снег глубокий,
и музыка,
и треск камина...

Но чувствую в своей печали
я молодых ростков дыханье!
...И близкий холод предвещают
холмов далеких очертанья.

Перевела Лорина Дымова.



Д. СЕРГЕЕВ

★

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Повесть

Расходы на путешествие в один конец составили шесть копеек — цена автобусного билета в нашем городе. Я выбрал будний день и спокойные часы, когда не бывает давки. Доехал до центральной площади. Тополинный пух реял в знойном воздухе, взмывал из-под колес легковых автомобилей. Я пересек сквер. От Ангары дохнуло прохладой. Дырчатые железные ступени старого костела напомнили время, когда я мимоходом вбегал на них, чтобы услышать приглушенный глубокий звон, и раскаленный металл обжигал мои босые пятки.

Здесь проходило мое детство...

Зиму и лето мы провели на захудалом приiske в Марининской тайге. Небогатую золотonosную россыпь быстро отработали, глухому поселку в окружении непригодных земель угрожало запустение. Как раз нагрянули вербовщики. Отец подался на новый прииск. Мать осталась с нами — мне восемь лет, Витьке пять — в небольшом селе близ опустевшего прииска: прожить лето с семьею в деревне было дешевле. Вскоре пришло известие от отца. Он сообщал, что заработки ожидаются хорошие, снабжение на приiske налажено, с жильем устроился.

Осенью мы пустились в дорогу. Прииск Счастливый находился в стороне от никому неведомой станции Ужур на железнодорожной ветке Ачинск — Абакан. В осеннюю распутицу сообщение с прииском прерывалось. Нам предстояло ожидать, когда ударят морозы, скуют горную речку и болотные топи. Но судьба смилостивилась: санный поезд вышел со станции до наступления зимы. Это был вынужденный рейс: на приiske, отрезанном от дорог, кончилось продовольствие, надо было спешно завозить муку и консервы.

Громоздкие сани с полозьями из цельных бревен, груженные ящиками и мешками, волочил по непролазной хляби гусеничный трактор, который и сам едва не увязал в трясине. Мы с Витькой, закутанные в одеяла и ватники, сидели поверх воза, восхищенно таращили глаза на сланцевые гребни и притихшую оголенную тайгу. Озабоченное лицо матери то и дело склонялось над нами. Ее страшили щетинистые горы в верховье порожистой речки.

У подножия горы лепились бревенчатые домишки с примыкающими к ним дровяниками и сениями. Ровного места в долине хватило только на то, чтобы поставить школу да один барак для холостяков. Мы занимали половину пятистенной избы; отец заплатил за нее сто двадцать рублей. Каменистый взем начинался сразу за глухой стеной нашего дома, обращенной к сопке. По ливневой выбоине отец спускал на ве-

ревке срубленные наверху лиственницы и сосны. Половину жилья отнимала широченная русская печь, за зиму она пожирала прорву дров. Высокая поленница в два ряда огораживала наши сени дополнительным забором. Все приисковые домишки срублены были наскоро, кое-как. Не было расчета строить основательно: никто не знал, долго ли просуществует новый прииск. Название Счастливый ни к чему не обязывало: россыпь могла быстро иссякнуть. Зимние бураны обрушивались на плохо проконопаченные стены. Ветер стегал в одном направлении, вдоль ущелья. У каждого дома наметало сугробы вровень со скатом крыши. Наши сени и поленница оказались погребенными под тугими пластами снега. Отец прорубил в сугробе узкий коридор. Нарочно сделал его двумя кривулинами, чтобы в них терялась сила ветра.

Однажды отец посулил Витьке выстругать из полена большого коня, на котором можно было бы скакать верхом вокруг печки. И у меня тоже спросил, чего я хочу. У многих мальчишек я видел самодельные коньки — деревянные колодки, подбитые полозом из стального прута. Меня уверяли, что на них можно кататься не хуже, чем на снегурках. Настоящих коньков никто не догадывался завезти в приисковую лавку.

— Будут тебе коньки, — обещал отец.

Назавтра он принес две толстые березовые чурки. Их шероховатые срезы приятно было трогать руками. Стылое дерево хранило в себе уличный холод, накопленный в первые дни зимы. Древесина начала оттаивать, и в нашей избе запахло лесною свежестью. Витька залез верхом на чурбак и вообразил себя кавалеристом, размахивая над головою лучиной вместо шашки.

И теперь, много лет спустя, я хорошо помню эту сцену.

Отец, не раздевшись, в новом ватнике, только без шапки, сидел на скамье, привалившись спиной к жаркому боку печки. На лбу у него выступила испарина, мокрая прядь седеющих волос прилипла к виску. Слышно, как он дышит — тяжело, со свистом и хрипом в горле. Прищурив глаза, серьезно, без улыбки смотрит попеременно то на меня, то на Витьку.

Мне хочется подойти к нему, но я не насмеливаюсь, жду, когда он сам помянет меня.

До этого мы почти все время жили с ним врозь: каждый год отец уезжал куда-нибудь на отдаленный рудник или прииск, на заработки. Домой от него приходили одни денежные переводы. Писем мы не получали: отец не умел писать.

Он так и не подозревал меня в тот вечер. Откинув голову, долго сидел неподвижно с зажмуренными глазами, изредка вытирая рукавом телогрейки пот с лица.

Ни обещанного Витьке коня, ни коньков он так и не сделал. Березовые заготовки вскоре пошли на дрова.

Отец захворал в начале зимы и долго крепился, продолжал ходить в шахту. Потом не смог. Удалось добиться направления в Томск — по слухам, там были самые лучшие врачи. Вернулся он немного подлеченный и еще две недели спускался в забой. Затем слег снова. Сосновый самодельный топчан со скрещенными тесовыми ногами стал для него больничной койкой. Изредка отца навещал фельдшер, прописывал горчичники и аспирин.

Подозреваю, что других средств в приисковой аптечке не было, разве что касторка.

Ни горчичники, ни аспирин не помогали. Отец заболел горняцкой болезнью, от которой не вылечивают и теперь. Название болезни я узнал много позднее — силикоз.

Предчувствие неотвратимой беды и сознание вины перед всеми нами мучили его. Ведь это по его настоянию мы оставили насиженный угол

в Иркутске — не бог весть какую, но все же квартиру — и пустились в путь. Отец всю жизнь провел на рудниках и шахтах, пытаясь киркою и лопатой обеспечить безбедное будущее своей семье.

На одном месте подолгу он не засиживался. Легко, на веру принимал щедрые посулы вербовочных плакатов и объявлений. Как все романтики, он был доверчив и перасчетлив.

И только болезнь сделала его рассудительным. Он представлял себе, каково будет матери одной с двумя малолетними на руках в этой сугробной глуши, где заработать деньги на пропитание можно лишь собственным горбом и мозолями. Уже вскоре после того, как он захворал, матери пришлось пойти уборщицей в приисковую контору. Денег, какие платили отцу по больничному листу, хватало выкупить продукты в кооперативе, но для тех, кто не работал, паек отпускаясь по другой норме.

Теперь отец пытался развлечь нас. Подзывал к себе и начинал рассказывать про давние случаи из своей жизни или расспрашивал нас про наши мальчишеские дела. Мы отчужденно молчали.

Налаживать дружбу с нами было поздно. Мы с Витькой так и не привыкли к отцу. Теперь, когда он лежал беспомощный и нуждался в уходе, нам было скучно возле него. К тому же мы боялись отца, боялись его острого взгляда, щетинистых бровей, изможденного лица, поседевших колючих усов...

Подошел май. Сугроб вокруг дома осел, из него выставились остатки поленницы и каменные горбы. Эти нападавшие сверху глыбы поразили меня еще осенью. Засыпая в первую ночь, я с ужасом думал, что будет с нами, если хоть один валун придавит избу. Зимой их было не видно, и я позабыл про них, а теперь они снова напомнили о себе. В середине дня из-под осыпи начал сочиться ручей.

Тянуть дальше, надеясь, что отцу полегчает и он сможет ходить в шахту, было бессмысленно. Решили возвращаться в Иркутск. Зачем нужно было непременно ехать в Иркутск? Пристанища у нас не было нигде. В этом смысле все города были для нас одинаковы. К тому же Красноярск и Томск находились ближе. Но для матери выбора не могло быть — Иркутск был ее родиной. Моей и Витькиной родиной тоже. Мы ликовали.

Знакомые и соседи пришли проститься и помогли уложить наши пожитки. С прииска мы выехали на санях, а через десять километров лошадей перепрягли в телеги. Да и то последнюю версту перед займкою коням пришлось тащить через силу: санные полозья буровили по грязи.

Помню, как изумились мы с братишкой, увидав зеленую траву и подснежники. Даже отец, когда его перетаскивали с воза на воз, оживился, глядя на свежую зелень. И только у матери не было времени порадоваться.

Поклажи у нас было немного, вся уместилась на одну телегу — с полдюжины узлов и ящик. В старенький, обитый черной жестью сундук был запрятан куль с крупчаткой — все наше богатство. Куль мукн удалось скопить за зиму. снабжение на прииске было неплохим. Впоследствии эта мука выручила нас.

На станции пришлось нанимать носильщиков. Самой неудобной кладью было костенеющее тело отца. С ним едва управлялись двое. Отец измученно улыбался своими мертвеющими губами. По этой улыбке многие решали — не жилец, и говорили об этом вслух, кто сочувствуя матери, кто осуждая ее, что пустилась в дорогу с полупокойником и детьми.

К Иркутску поезд приближался на рассвете. Вещи были уложены, увязаны и вытащены в проход. Отец лежал на нижней полке, безучастный к нашим восторгам, даже скорое окончание дороги не обрадовало его. Мы прильнули к окну. Вид на город открывался при подходе поезда

к железнодорожному мосту. Поздние строения, высоковольтные опоры и подъемные краны у затонов не заслоняли тогда набережной — взгляд охватывал все пространство от понтонного моста до куполов бывшего Знаменского монастыря.

Нынешний высотный очерк города делают телевизионная вышка и заводские трубы. Тогда эту роль выполняли церкви и колокольни. Навстречу поезду сквозь блеклый обвод рассвета четко смотрели десятки куполов с неразличимыми еще крестами. Можно было узнать грузный массив нового собора, слева от него Спасскую церковь и Старый собор. Между ними в небо тонким острием вонзался шпиль польского костела. Позади сквозь рассветную дымку тускнели купола других церквей, стоявших вдаль от набережной. По одинокой трубе можно было угадать место Кубатовской бани на берегу. Ее стену утяжеляли кирпичные распоры, они делали ее похожей на рavelин.

Нынешнего моста на бетонных опорах тогда не было. Настил из плаха лежал на разводных понтонах. Из окна поезда невозможно было разглядеть неподвижные устои моста у противоположного берега — загруженные камнями ряжи из лиственниц.

Остатки старых мостовых быков можно и теперь увидеть в прозрачной воде.

Если бы мы подъезжали днем, позади Старого собора в бывшей архиерейской усадьбе должна была виднеться крыша двухэтажного деревянного дома.

С этим домом связано начало моей жизни: там осталась квартира, откуда два года назад наша семья отправилась в странствие и куда теперь стремилась мать, думая найти помощь и временный приют у своих давних друзей и соседей.

* * *

Мне всегда представлялось, что, повернув за угол, я застану на прежнем месте точно такую же дремотную окраину, какую этот квартал был в начале тридцатых годов. Я почти не ошибся: на коротком отрезке перед бывшею Семинарской улицей не встретилось ни одного прохожего. Я готов был уже проникнуться чувством умиления, на которое давно настраивал себя.

С Ангары потянуло прохладой и влагой. Свежесть этого воздуха памятна мне с детства. Только запах теперь стал другим.

Интересно, почему запахи, которые запомнились в детстве, всегда вызывают волнение?

На углу пришлось ждать, когда разрядится движение. Разномастные грузовики мчались один за другим — тупорылые и неуклюжие, с гроыхающими порожними прицепами. Из-под тяжелых баллонов постреливало крошками асфальта, несло бензином и размягченным на жаре гудроном.

Вот эта-то примесь паров битума и делала незнакомым воздух набережной.

Раньше на этой улице тоже шел грузовой поток — по булыжникам цокали подковы, скрежетали колесные ободья, разило конским потом и теплым навозом. Позади конных обозов воробьиные стаи накидывались на дармовой корм. Теперь после грузовиков воробьям поживиться нечем.

Пока я стоял на углу, возникшее было чувство умиления растворилось бесследно. Я успел разглядеть, как изменилось все вокруг. Пожалуй, кроме блеклого неба да церковных куполов, ничего не сохранилось. Да и купола были уже не те. Когда-то их посшибали. Реставрировать взялись недавно и занимались этим небрежно. Приделали фальшивые купола из крашеной жести, вместо крестов поставили шпили, тоже обшитые жостью.

* * *

В то давнее майское утро тридцать первого года между Старым собором и Спасскою церковью простирался пустырь. Сюда сходились две улицы. От каждой из них накатанные тележные следы вели к воротам в бывшую архиерейскую усадьбу. Остальная часть пустыря зарастала травой и бурьяном, по ночам сюда тайком сваливали мусор, всюду были раскиданы обломки кирпича и битое стекло. После сильных дождей почва раскисла, лошади по брюхо увязали в грязи.

Пустырь имел форму усеченного треугольника, который суживался в направлении берега. Острие угла отрезалось рекою. Здесь на береговом откосе стояла арка, сложенная из камня и кирпича. Ее построили в прошлом веке в честь наследника престола, который намеревался посетить Иркутск.

Извозчичья пролетка, осевшая под тяжестью груза, не бойко катилась по дороге, умягченной слоем пыли. Не представляя себе, каким чудом уместилось на ней все наше добро. Отца поместили сверху узлов. Мать неловко сидела на возвысах, упираясь в облучок. Витька дремал у нее на коленях. Лошаденка едва трусила. Кучер жалеючи только страдал ее вожжами, покручивая их над головой.

Я устроился на запятках. Вначале мать не соглашалась, боялась за меня, но кучер убедил ее, что я никуда не денусь, и для страховки пристегнул меня ремнем. Ремень этот не стеснял свободы, я мог вертеться во все стороны.

Створы ворот с чугунными узорами были распахнуты внутрь. С тех пор, как громадный каменный дом и другие постройки, некогда принадлежавшие епархии, были отобраны под жилье и конторы, движение во дворе стало чересчур оживленным — отворять и затворять ворота каждый раз было некому. Днем перед конторскими окнами скапливались извозчики. Начальники учреждений и курьеры с деловыми бумагами надолго исчезали в глухих переходах мрачного здания. Извозчики в ожидании дремали на козлах.

Днем из подвалов выползала детвора. В ограде становилось тесно.

Позади каменного находился двухэтажный деревянный дом. Семья Жердиных жила в нем.

Сейчас в обоих домах была тишина, тень от домов распласталась по всему двору. Низкое солнце озаряло две главные башни Старого собора и купола поменьше над церковными приделами. На выпуклую заднюю стену собора, обращенную во двор, падала тень от ветвистой, голый еще лиственницы и кустов волчьей ягоды. Необъятная пустота между церковью и обоими домами до краев была наполнена прохладой и свежестью. Солнечные лучи наискось пронизывали эту пустоту. Я уловил позабытые запахи родного места — мое сердечко сжалось от радостного предчувствия.

Нас с Витькой окружили пацаны. Наши рассказы про диковинный прииск вызвали интерес, но вряд ли нам верили. Исхлестанная свирепыми ветрами теснина, каменные отроги в вышине и нагромождения глыб на склонах самому мне в то солнечное утро казались невероятными.

— Сережа, Витя! — позвала нас тетя Зина.

Несколько женщин молчаливо толпилось возле заднего крыльца. Мы прошли мимо.

Отец лежал на сундуке, в котором находился куль крупчатки. Ложе было коротким ему, под ноги поставили табурет. Солнечный свет падал на неподвижные ступни, выглядывающие из-под редкого покрывала. По необычному молчанию людей, собравшихся в комнате, я догадался, что позвали нас не зря. Отец не пошевелился, когда мы с братом приблизились к изголовью. Глубоко запавшие глаза его были за-

крыты, в дряблых складках на щеках высохали две крупные капли. Эти медленно таявшие слезы больше всего поразили меня: я не подозревал, что отец тоже способен плакать.

— Бедные сиротинки,— прошелестел над ухом старушечий голос, рука бабы Нюши опустилась на мою голову.

Окно было распахнуто, в него лился теплый воздух, пахнущий рекой и клейковиной недавно полопавшихся тополиных почек. Разносились ребячьи крики.

Пришел врач. В коридоре засуетились. Послышался сердитый шепот тети Зины:

— Куда вешаешь! Другого места не нашла?

Непутевая Катька собиралась повесить докторский плащ на семейную вешалку рядом с детскими пальтишками и ватными фуфайками.

Никто еще не решался сказать доктору правду. Было неловко, что побеспокоили напрасно.

В общей суматохе до нас никому не было дела, мы с Витькой незаметно улизнули на улицу.

— Что там? — поинтересовался Васька, мой давний закадычный друг, старший сын Жердиных.

— Ничего. Папка умер.

Мы схватились бороться. Роса на траве уже высохла. Ближний извозчик с высоты козел лепиво наблюдал за нашим состязанием и попеременно давал советы то одному, то другому:

— Ногой подсекай, ногой, растяпа!

Из дому вышел доктор, держа перекинутый через руку плащ. Пролетка слегка осела под ним. Кучер шелкнул бичом.

* * *

Про нас с Витькою позабыли. Мать занялась хлопотами, побежала заказывать гроб, могилу, доставать какие-то справки... Мы присели на нижней ступеньке крыльца. Подошло обеденное время, из раскрытых окошек доносился запах пищи.

Вскоре Жердины пообедали, за столом освободилось место.

— Сережа, Витя! — не выходя из дому, крикнула тетя Зина.

Когда мы проходили через общую кухню, жердинская соседка Антонина Сергеевна торопливо сунула нам с братом по лепешке.

С этого дня началась наша безотцовщина.

* * *

Витьку на кладбище не взяли, хотя он все утро хныкал.

Провожающих набралось немного; кроме Жердиных, пришли несколько грузчиков из «Золототранса», знавших отца. Все они жили в нашем дворе. Позади свежего ряда могил начинался мелкий лесок. На отцовской могиле мужики на поминки распили бутылку водки, собрались уходить и хватились нас. Нам обоим досталось по легкому подзатыльнику от Васькиного отца.

* * *

Мать ухватилась за первую подвернувшуюся работу — уборщицей в инвалидном доме. Ходить было далеко, на другую сторону Ангары, через два моста, понтонный и железнодорожный, — автобусов в нашем городе тогда не было. Поднималась она чуть свет — мы еще спали, а возвращалась с дежурства к ночи. Нас с Витькою оставляла на попечение бабы Нюши.

— Зато зимою по льду напрямик близко будет. А может быть, пощется что-нибудь лучше, — утешала себя мать.

Главное, что заботило ее, — найти угол для всех нас. Получить

жилье, работая в инвалидном доме, было невозможно. Но и выбора у матери тоже не было — иначе останешься без хлебных карточек.

Пока деваться нам было некуда, мы надолго остались на квартире у Жердиных, в двух комнатах четверо взрослых и шестеро ребятни. К зиме ожидалось прибавление: тетя Зина ходила с животом.

Мы с Витькою спали на том самом сундуке, в котором везли крупчатку и на котором в день приезда умер отец. Только теперь муку пересыпали в ларь, сундук выставили в коридор, в него сложили зимнюю одежду. Мы устраивались на нем валетом, головами в разные стороны. Во сне Витька лягался и вскрикивал, скатывался на пол и стягивал с меня одеяло. Вообще ночью по жердинской квартире ходить нужно было с осторожностью, легко было наступить на кого-нибудь в самом неожиданном месте. Из жердинских ребятшек лишь младшая Нинка спала на кровати, в ногах у родителей. Остальным стелили на полу.

Вторую, меньшую, комнатку занимала баба Ньюша и наша мать. Баба Ньюша много лет жила у Жердиных в услужении. По очереди вынырнула всех пятерых, начиная с Катьки. За прошедшие тринадцать лет она очень одряхлела, и теперь проку от нее было немного. Но не прогонять же из дому старуху. В меру своих сил она помогала — прибирала, иногда готовила обед. Она была и приживалкой и прислужгой. Работы ей хватало, весь день была чем-нибудь занята. Однако усердие бабы Ньюши не искупало главного ее порока, служившего причиной постоянных раздоров между нею и тетей Зиной. Дело в том, что в нашей квартире баба Ньюша оставалась единственным мрачным пятном — была верующей. В углу над изголовьем ее кровати висела икона, иногда горела лампада. Нам с Витькой со своего сундука в коридоре среди ночи виден был тусклый свет, который пробивался в дверную щель. Покладистая во всем остальном, старуха ревностно оберегала свой религиозный уголок: Кроме иконы и лампадки, остальное ее добро помещалось в самодельной укладке — жестяной банке из-под монпансье.

На удобный угол, который занимала старуха, зарилась Катька.

— Помрет баба Ньюша, буду спать на ее кровати. Ей уже пора, и так зажились. Чует мое сердце — быть в нашем доме по осени покойнику.

Катькино предсказание сбылось наполовину: смерть на самом деле навестила наш дом, но умерла не баба Ньюша, а Яков Жердин, Катькин отец. Он работал на товарной станции, и его придавило сошедшею с рельсов вагонеткой. Четверо жердинских ребят остались сиротами. Пятая, Октябринка, родилась, когда отца уже не было в живых.

* * *

Однажды мы с Витькою побывали в инвалидном доме. Мать соблазнила нас рыбалкой, сказала, что около дома есть хороший пруд. Накануне мы приготовили удилица, накопили червей. Весь день мечтали о предстоящей ухе. Другие ребята даже завидовали нам.

Половину пути мы проехали на подводе. Утром из конного парка на товарную станцию тянулись обозы порожняка. Они всегда шли одною дорогой, по Семинарской улице, мимо нашего двора.

Увы, нас ждало разочарование: в пруду, про который говорила мать, водились одни лягушки. День показался нам нескончаемо долгим, мы изнывали от скуки. Старики и старушки замучили нас одними и теми же вопросами. Все почему-то жалели нас.

Болото, где стоял инвалидный дом, теперь давно застроено. Трясину забутовали галькой и шлаком. Вряд ли кто сейчас сможет показать точно место, где находился этот дом.

Вторично заманить нас туда мать уже не могла.

По вечерам мы с Витькою ждали ее, сидя на крылечке. Сумерки

медленно густели вокруг нашего дома. В непривычной тишине опустевшего двора разносились чьи-то шаги. У Витьки слух был лучше моего: шаги матери он узнавал и тогда, когда она еще шла через пустырь. Он первым срывался с крыльца и, не пугаясь темноты, бежал навстречу ей.

Обыкновенно мать кормила нас болтушкой из толокна. Ничего другого на скорую руку приготовить было нельзя. Никто, кроме нас троих, в этот час не сидел за кухонным столом.

Хлебные карточки мать прикрепила в магазине неподалеку от инвалидного дома, чтобы можно было выкупать паек попутно.

Смутно припоминаю эти первые в моей жизни карточки с разноцветными полосами по диагонали. Цвет этих полос означал многое — по ним различали категорию снабжения. Самая высокая норма была тем, кто работал на заводе. Матери на день давали пятьсот граммов хлеба, нам с Витькой по триста. Кроме хлеба, всем отпускали по килограмму крупы на месяц. Детям еще полагались карточки на сахар — пятьсот граммов в месяц. Но сахару мы не видели: карточки редко когда удавалось отovarить.

Куль крупчатки, привезенный с прииска, расходовали понемногу. Мать сберегала его на черный день, не очень веря разговорам, будто к зиме снабжение наладится.

* * *

Между колокольней и Старым собором уцелела древняя стена. Сквозь слой штукатурки в ней проглядывала большая брешь, кое-как заделанная кирпичами. Должно быть, проломлена она была в довоенную пору, когда в церкви помещалось заводское общежитие.

В основании собора и колокольни уложен серый песчаник — его добывали из каменоломни на окраине Иркутска. От времени наружный слой каменных плит сильно износился и частью рассыпался в песок.

Следы разрушения заметны были и в пору моего детства. Колокольня уже и тогда была в плачевном состоянии: пустующая, без колоколов, с ветхими лестницами и балками внутри. Даже глядеть в ее купол снизу было жутко — он представлялся колодцем, нацеленным ввысь. По карнизу на стыке четверика с восьмериком кирпичи искрошились, образовалась почва. Туда заносило семена — кусты полыни и низкая трава на высоте опоясывали башню.

Новая заводская ограда из редких чугунных прутьев не вплоть примыкала к церковной стене. Подножие колокольни было теперь чуть ли не на метр ниже уровня заводского двора, залитого асфальтом. Здесь, на стыке, обнажался великолепный разрез поздних наслоений. В нем хорошо было видно, что внизу под асфальтом скрыт мощный пласт строительного мусора и шлака.

Там же была погребена земля, на которой, возможно, сохранились отпечатки босых ребячьих ног. Одним из босоногих мальчишек, чьи следы могли отпечататься на земле, захороненной под асфальтом и толщей мусора, был я...

* * *

Короткие штанишки на мне держатся на перекрещенных ляжках, за пояс заткнута рогатка. Вместе с другими пацанами я крадучись ползу по траве.

Вблизи церкви над запущенными, старыми могилами разрослись непроглядные кусты волчьей ягоды. За ними можно разместить целое войско. Над головами легонько покачивается разлапистая лиственница, ее корни ощущают колышут почву, старое дерево не то скрипит, не то вздыхает. Сквозь густую хвою цедится ласковый воздух лета, настоящий горьким ядом полыни, смолою древесной коры, гнилью ошелушившейся и замшевшей церковной стены и множеством других неопределимых запахов.

Мы затаились в рывине, надежно укрытые стеной крапивы, и наблюдаем за перемещениями во вражеском стане. Несколько стрекоз кружатся над нами. На верху собора, у самого купола, гомонят стрижи. Их стремительные тела просверкивают в вышине.

— Опять твой шкилет увязался! — слышу над ухом шепот нашего атамана Ритки. — Все испортит.

Оглядываюсь: Витька, выследив нас, крадется за кустами. Сейчас он заползет в поповскую картошку — его могут увидеть камнедомские и догадаются, где мы.

Витька приобрел дурную привычку всюду таскаться за мною. Ох и влетит ему сейчас!

Брат заметил меня, но удрать не смог. Я настиг его у крыльца. Бить по Витькиной костлявой спине не безопасно — можно отшибить ладошку. За худобу его и прозвали Шкилетом.

— Будешь еще? Будешь?!

Неужели он не понимает, что может испортить весь продуманный план? Не хочет же он нам вреда. Почему он никак не поймет, что его место среди мелюзги, с большими ему делать нечего. Витька хлюпает носом и ревет.

Возвращаюсь к ребятам со скользким чувством исполненного долга и подавленным раскаянием: мне чуточку жаль Витьку. Боюсь, не навредил ли ему. От взрослых я слышал: нельзя сильно бить маленьких.

Но размышлять об этом некогда. Нас заметили, в нашу сторону летят камни. Мы стойко обороняемся. Еще накануне натаскали с берега в крапиву кучу гальки. Долго мы не продержимся — нас меньше. К тому же в тылу что-то недоброе замышляют поповичи.

Приходится отступать. Ритка прикрывает наш отход.

Ритка была по крайней мере лет на пять старше любого из нас. Быть под ее началом никому не было зазорно. Боевой и задиристый нрав толкал Ритку в общество мальчишек. Мирным играм в скакалку и классы она предпочитала наши партизанские драки. Учитель ее во многом была схожа с нашей — она тоже росла сиротою. Мать умерла давно, отцу Ритка стала обузой. Девочку воспитывала тетка.

Вообще в нашем дворе почему-то многие вырастали без отцов.

Для нас Ритка была единственной заступницей. Связываться с ней избегали даже мальчишки старше ее: победа над девчонкой большой славы не сулила, зато поражение могло надолго покрыть позором.

В ненастные дни Ритка собирала нас в своей кладовке. Там в сумраке под шум дождя рассказывала она страшные истории. Еще она любила вспоминать своего отца. По ее словам, он был самый красивый мужчина и очень-очень несчастный.

— Мужчина-гусар! — почему-то называла она его.

* * *

Появляться на рынке одному с медяком, зажатым в кулаке, опасно. Возле торговых рядов постоянно ошивалась шпана. Парни постарше держались неприметно, в сторонке, издали выцеливая добычу. Мелкота-шкеты шныряли между торговками, тащили все, что подвернется. На них не нарывайся — и деньги отнимут, и по шее наkostenяляют.

Об этом я знал. Но пятак, раздобытый накануне, жег мою ладошку, и я рискнул. До малого рынка от нас недалеко, он был в том месте, где теперь стоит цирк. Время было позднее, рынок почти опустел. Ничего подозрительного я не заметил. Шпана, наверно, уже отсюда смылась.

Меня привлекли пучки моркови с увядшей ботвою, желтые репы,

темно-фиолетовые стручки бобов, кучками разложенные на холстине и мешках, постеленных прямо на земле.

— Восемь копеек! — Женщина неохотно назвала цену, подозрительно окидывая меня взглядом.

За много часов на жаре ей осточертели бесстыжие голодранцы.

— У меня только пять. — Я разжал перед нею потный кулак.

Торговка стала покладистой.

— Во что сыпать?

Я подставил кепчонку.

Теперь нужно сматываться скорее. Я горстями запихивал свое богатство за пазуху — так надежней. Влажный холодок щекотал мое тело. Мысленно я уже раздирал ногтями сочную мякоть стручков, выуживал продолговатые, плоские зерна, крепкие и гладкие, словно речные камешки.

И тут я увидел чумазую, ухмыляющуюся рожу Пашки Шпинявого. Мерзкий холодок прополз по моей спине. Я панически огляделся. Если бы Пашка был один, тогда бы еще можно было постоять за себя — Шпинявый был ненамного старше меня.

Но вдоль неровного ряда между торговками в нашу сторону приближались двое пацанов. Руки в карманы, босые ноги нарочито вяло шаркают по земле. Позади Пашки, прислонясь к столбу в выразительно безразличной позе, стоял еще один шкет в длинных штанах — этот был явно старше нас с Пашкой. Большим ногтем босой ноги он чертил на пыли замысловатую фигуру.

Плакали мои бобы — ни одного стручка не оставят, гады.

Можно было, конечно, заплакать, громко запросить помощи: «Тетька, помогите!» Но такого исхода не допускала моя мальчишеская гордость.

Шпинявый, продолжая ухмыляться, поманил меня пальцем. Похоже, он по лицу прочитал мое отчаяние и наслаждался им. Я машинально продолжал запихивать бобы за пазуху.

— Бобов купил? Вкусные, — участливо улыбнулся Пашка.

— Угу, — промямлил я и покосился на приближающихся пацанов.

— Ух, какие толстые! — восхитился Пашка, протягивая руку к моей кепке: там осталось несколько стручков.

— Хочешь, Паша, возьми, — противным голосом предложил я. — У меня еще есть. — Я запустил руку под рубаху и набрал горсть.

Паша сделал вид, будто поверил в мою щедрость.

— Ого! Сколько их у тебя.

Шкет у столба перестал рисовать по пыли и прислушался к нашему разговору. На Пашкином лице, закопченном от солнца и грязи, по-негритянски светились зубы. Неожиданно он перестал улыбаться и свирепо поглядел на меня.

— А ну, вытряхивай все, падла! — Он потянулся рукой, чтобы выдернуть полу моей рубашки из-под трусов.

— Шпинявый! — крикнул я и торопливо напялил кепку на голову. Последний стручок скользнул по щеке и упал на землю.

Пашка сжал кулаки, но отпрянул от меня. Видно, ему не очень хотелось связываться со мной в одиночку, он ждал, когда подойдут те двое.

Мускулы моих ног натянулись, и я решил попытаться бежать, пока Пашка растерялся. Я оглянулся: теперь позади были уже не двое, а трое. Одного из них я узнал — это был прозванный Щепой Генка Нелюдов из каменного дома в нашем дворе. Я и до этого знал, что Генка промышляет в одной компании со Шпинявым, но никак не думал, что он рискнет отбирать у своих. Встреча была неожиданной и для Щепы: узнав меня, он юркнул за чью-то спину. В отдалении мелькнула фигура старшего брата Щепы. Должно быть, оттого, что узкие щелки Колькиных глаз всегда

были прищурены и лицо выглядело опухшим, будто спросонья, старшего Нелюдова прозвали Хомяком. Мы боялись его. Он был крут и жесток на расправу: ему ничего не стоило спустить с любого из нас штаны и посадить на крапиву или до смерти напугать, угрожая столкнуть в Ангару.

Колька тоже узнал меня и направился в нашу сторону. Все ждали его. Ясно — он тут у них главный заводила.

— Чего разбузились, огольцы? — спросил он.

— Да вот, — Пашка кивнул на меня, — бобов пожалел.

Хомяк легонько шелкнул Пашку по носу.

— Не бойся, огольцы пошутили, — успокоил он меня. — Чеши домой.

Только мамке не вздумай жаловаться.

Я ликовал. Неожиданное избавление вернуло мне бодрость.

— Легавым никогда не был, — сказал я.

Хомяк поощрительно подмигнул мне. Я направился к выходу.

— А за Шпинявого еще получишь по сопатке, — посулил мне вдгонку Пашка.

Эта угроза немного охладила меня: свое обещание Шпинявый сумеет выполнить. Долгое время после этого я старательно избегал встреч с Пашкой. Он обычно никогда не бывал один.

Сейчас этот давний страх казался забавным. Теперь-то я знал, что ничего страшного не случилось, хотя мне и досталось от Пашкиных дружков — расквасили нос и подбили глаз.

Увы, это было не самое горшее из того, что предстояло мне пережить в будущем. Теперь я мог снисходительно улыбаться, вспоминая детские страхи босоногого шпингалета в коротких штанишках на скрещенных лямках, — я знал его судьбу на тридцать восемь лет вперед.

Бреду вдоль ограды, разглядывая паутину травы — она всюду, где в зазорах меж выщербленными кирпичами образовывалась хотя бы щепотка почвы. Две верхние ступени с паперти расташены, должно быть, еще в пору, когда церковь была отдана под заводское общежитие и местный комендант пытался перекроить на свой вкус неприспособленное под жилье здание собора. Пять нижних ступеней сохранились. Каменные плиты сильно изношены: многие поколения прихожан протоптали на них заметные вмятины. Теперь камни крошатся сами по себе от смены жары и стужи.

В часы праздничных служб здесь было тесно от нищих. Их пестрые лохмотья заполняли паперть, оставляя проход только в центре. Из сумрака притвора несло спертым воздухом и запахом ладана. Пустота, замкнутая под недостижимо высоким церковным сводом, почти ощутило ложилась на мои плечи. Мерцали свечи, в отдалении золотились оклады икон и неразлично тускнели на иконостасе лики Христа и богоматери. Непрестанное шарканье и шорохи не мешали звучать печальному пению хора. Я пробирался ближе к алтарю. Раззолоченная поповская риза колыхалась сама по себе — под нею не заметно было движений тела. Из-под тяжелой юбки показывались носки сапог. Сочетание рясы, похожей на женское платье, и мужских сапог больше всего поражало меня.

Всего несколько раз побывал я в церкви. Из нашего дома одного только Нику Брызгалова заставляли молиться. В церковные праздники его наряжали в коричневый вельветовый костюм и белую рубашку с отложным воротником. Ника становился неузнаваем. Ни за что не подумаешь, что в другое время он бывал вместе с нами. Мать давала ему немного мелких денег — раздать нищим и поставить перед иконою свечку. Мы не отрываясь наблюдали, как разодетый Ника проходил через строй нищих, раздаривая копейки.

* * *

За пять копеек можно было купить липучку. Ею торговал китаец Ваня-Ходя. Свой переносный лоток он устанавливал на углу Ивановской и Семинарской улиц. (Ивановская была к этому времени переименована, но все называли ее по-старому.) Дольки пузырчатой, невесомой липучки лежали ровными рядами. Маленькая порция стоила пять копеек, побольше — десять. А самая большая, о какой можно было только мечтать, — двугривенный. За одну воскресную службу Ника просаживал в церкви не меньше пяти копеек. За год можно скопить столько, что хватило бы закупить у Вани-Ходи весь дневной товар.

Наши расчеты были убедительны, и Ника соблазнился. Расплата наступила в тот же вечер. Через форточку на улице был слышен Никин голос:

— Мамочка! Ой-ой! Не буду больше, не буду!

У взрослых, кто был в это время во дворе, мнения разошлись: одни осуждали расправу Никиной матери, другие защищали ее.

Два дня после этого Ника был мрачен, избегал встречаться с нами. В его душе накапливалась злость и зрела месть.

— Пойдем бить окна в церкви, — предложил он.

До этого Ника никогда не участвовал в налетах на церковь. Никино решение хотя и удивило меня, однако показалось справедливым. Рубцы от ремня сделали Нику безбожником. Никина мать явно пересердствовала.

Две поповские семьи жили в каменном флигельке, позади церкви. Между домом и церковью был небольшой пролет кирпичной ограды и ворота. Большей частью они бывали заперты. Их распахивали только в пасху, когда совершали крестный ход. В будни открытой оставалась калитка. Через нее жильцы из нашего дома ходили за водой, женщины в тазах носили на реку полоскать белье.

Кроме главного входа с площади, в собор вела еще одна дверь. Попам не нужно было выходить из двора, огибать церковную ограду — они попадали в храм через эту дверь. Я видел громадный ключ, который поп извлек из-под своей черной рясы, чтобы отомкнуть взрезной замок.

Никина затея была связана с риском. Вначале нужно было разведать, не подкарауливают ли нас в кустах, не спрятались ли кто-нибудь за водосточной трубой. Мы отправились по тропе, которая вела мимо флигеля в калитку. Свою рогатку я сунул под рубаху. В другое время мы пробегали по этой дорожке по многу раз за день, не задумываясь и ничего не замечая. Сейчас все стало достойным внимания. На вскопанной полоске земли рядом с тропой поднялись зеленые картофельные побеги. Их недавно окучили. Раньше здесь не было огорода и росла трава. Нынешней весной поповичи всей семьей вскопали участок и засадили картошкой. Мы уже давно мечтали о том времени, когда ее можно будет начинать подкапывать.

Из поповского флигеля постоянно разносились запахи пищи. Особенно часто пахло рыбой, жаренной на подсолнечном масле, луком, тертой редькой и квасом. Сейчас улавливался соблазнительный аромат ванили и пережженного сахара. К нему примешивался горьковатый дымок сосновых шишек. Во дворике напротив открытого окна клокотал самовар. Вышла попадья с чайником в руке. Она нацедила в него кипятку и поставила сверху на самоварную трубу.

Время бить окна мы выбрали удачно. Нужно только дожидаться, когда попадья отнесет самовар в дом и поповская семья рассядется за столом.

Ника тихонько подтолкнул меня.

— Разобьем чайник, — прошептал он.

Мы забрались в кусты. Попасть из рогатки в чайник было не просто. Камни только отбивали кусочки наружной штукатурки на стене флигеля. Мы слишком торопились — боялись, что выйдет попадья и унесет самовар вместе с чайником.

Но попадья не появлялась, вышли двое поповичей, видимо, брат с сестрою — одинаково белокурые и тонколицые.

Камень, пущенный из Никиной рогатки, скользнул по самовару. Медное пузо отозвалось глухим звоном. Мальчишка наострил лицо и догадливо уставился на кусты, за которыми мы притаились. Он наклонился и показал девочке рукой на дверь. Она спряталась за нею — выглядывал один нос да белый бантик в волосах. Обломок кирпича прошуршал в ветках над нашими головами. Мальчишка снова наклонился.

— Бежим! — прошептал Ника.

Ничего другого нам и не оставалось. Девочка, наверно, уже нажаловалась отцу, и сейчас выбежит поп.

Я положил в кожаную середку кругляш и натянул рогатку. Мальчишкина голова поднялась над штакетником, в обеих руках у него было по камню. Я наспех прицелился. Раздался глухой удар. Ника во все лопатки удирал к дому, я ненадолго замешкался в ветвистой чаще. Девчоночий визг полоснул меня — от внезапного страха онемели ноги. Белобрысая макушка поповича окрасилась кровью. Девочка бросилась к нему. Она разглядела меня и, крича что-то неразборчивое, бессмысленное, показывала рукой в мою сторону.

Мы с Никою спрятались на чердаке и просидели дотемна.

С утра я бродил по двору, издали поглядывая на флигель. Мне казалось странным, что там не происходит ничего особенного. Я ждал — вот-вот на легковой пролетке к церковным воротам прикатит самый знаменитый доктор и попадья с расстроенным лицом выбежит его встречать. Но за окнами поповского домика сохранялось необъяснимое и пугающее спокойствие.

Вскоре на улицу вышли поповичи. Среди них был и мальчик с повязанной головой. Девочки по очереди прыгали через скакалку, мальчишки сидели на лавочке, переговаривались. Бинты были ослепительными и придавали мальчишке мужественный вид. Девочка, встряхивая огромными бантами, подходила к нему и что-то спрашивала. Мальчишка снисходительно улыбался ей. Втайне я завидовал ему: мне хотелось быть на его месте, сидеть под окошком флигеля с повязанною головой и делать вид, будто мне безразлично участие девочки с белыми бантами в волосах.

Мы с Никой надолго оставили в покое церковные окна и поповичей.

Ника научился утаивать копейки, предназначенные нищим, так что мать ни о чем не догадывалась. Сам он не покупал липучку, отдавал медяки кому-нибудь другому, чтобы купили. Съедал не на виду, а в укромном месте. Руки и губы после этого отмывал в ангарской воде.

Возможно, мать и подозревала его, но изловить Нику на месте преступления ей не удавалось.

То, что нищие потеряли часть своего дохода, было справедливо. В детстве я ненавидел и презирал нищих. В то время их было множество. Они не только осаждали церковную паперть — попрошайничали под окнами, сидели на тротуарах, поджав под себя босые ноги; их постоянно трясло и лихорадило, даже в теплую погоду, нудными, тягучими голосами они вымаливали милостыню:

— Подайте, Христа ради.

— Пожалейте убогого.

Возле главных ворот в наш двор, где с началом рабочего дня беспрестанно сновали конторские люди с коленкоровыми сумками и скоросшивателями под мышкой, в тени забора устраивался один и тот же оборванец. Его скрюченная фигура, кепка, брошенная наземь, в которой напоказ лежало несколько монет, были так же привычны, как облупившаяся кирпичная арка над калиткою. Деревянные костыли он подкладывал под себя. Он мог сидеть на них, не вставая, весь день. Медяки в его кепке прибавлялись медленно, большинство служащих прощмыгивало через калитку, не замедляя шага.

Все же находились такие, кто подавал. Нас это выводило из себя: мы с Ваською знали, какой он калека.

Зауток между колокольной и церковной оградой, скрытый от конторских окон, бродячие собаки облюбовали для своих надобностей. С этой же целью в укромное место завертывал нищий, когда ему становилось невтерпеж. В пазу между кирпичами, откуда выкрошился цемент, мы прятали медяки, которые изредка у нас случались. Дома надежного места не было: Катька имела скверную привычку шарить по нашим карманам, когда мы спали.

Мы увлеклись и не слышали, когда окаянный нищий приковылял в наше убежище на своих костылях. Васька только что отколупнул мох из щели и выкатил на ладошку два медяка — наше общее богатство.

— Деньги! — неожиданно услышали мы голос.

Кудлатая голова нищего нависла над нами, глаза уставились на монеты. Бежать было некуда.

— Мои деньги, — заявил нищий.

От страха мы не посмели кричать. Уронив один костыль, нищий схватил пятерней Васькину руку. Тот не успел сунуть монеты за щеку.

— Воришки, — злобно прошипел нищий.

Васька скорчился от боли и разжал пальцы — медяки перекечевали в карман нищего.

План мести мы обдумали в тот же вечер. На другой день много часов подряд просидели в пустующей башне колокольни, поджидая своего обидчика. Расчет был правильным: в обед он приковылял сюда. Он отложил костыли и начал расстегивать ремень.

Мы переглянулись и одновременно выскочили из засады. Схватили по костылю — и пустились наутек.

В своем замысле мы не учли одного — оказывается, нищий вовсе не нуждался в костылях: они были у него для видимости.

Он настиг нас в несколько прыжков. Расправа была скорой и запомнилась надолго: жесткие пальцы нищего едва не выкрутили нам уши. Мнимый калека возвращался на свое место победителем, держа под мышкою оба костыля.

Неизвестно от кого об этой истории узнала баба Ньюша. Любуясь опухшим Васькиным ухом, она позлорадствовала:

— Заработал, разбойник. Не так еще надо было нажечь. Выдумали — обижать убогого.

* * *

Мы посмотрели самодеятельный спектакль. Больших клубов тогда не было, дневное представление давали в золототрансовской конторе. Сцены не было — занавесом отделили часть комнаты. Скамеек в зрительном зале не хватило всем — устроились прямо на полу, вплотную к занавесу.

Спектакль я помню смутно. События происходили, кажется, в Италии. В пьесе участвовали революционеры и тюремщики, были заговоры и пытки...

Кольнущийся занавес скрывал от нас последние мгновения, когда смелый карбонарий, только что бежавший из застенка, и его невеста с радостными возгласами кинулись в объятия друг другу.

Я бы и вовсе позабыл этот спектакль, как забыл многое другое, если бы не Ритка.

Она собирала нас в своей кладовке. Мы рассаживались кто куда — на чурбаки, на перевернутый вверх дном дырявый таз, на сломанные козлы. И без того тесную кладовку с одной стороны занимала поленица колотых дров, с другой — всевозможная рухлядь, на гвозде висела оцинкованная ванна.

От напряжения по спине бегали мурашки. Кто-нибудь не выдерживал длинной паузы, подсказывал Ритке очередную реплику. Но она не нуждалась в подсказках. Ритка повторяла нам весь спектакль — одна изображала всех действующих лиц.

В конце она подносила к виску заряженный пистолет.

— Остановись! Не стреляй! — вскрикивал вбежавший карбонарий.

Пустая ванна на стене дровяника заглушенным звоном отзывалась на отчаянный Риткин возглас.

— Предатели не имеют права на жизнь, — мужественно возражала героиня.

— Тебя обманули — ты никого не предала!

— О, милый! — выдыхала Ритка и роняла пистолет.

Мы ликовали и требовали повторить хотя бы самый конец. Одна Катька сохраняла поразительную трезвость.

— Все равно у них там все ненастоящее. Убивают друг дружку, а потом встают и кланяются. Артисты, — с презрением заключила она.

Мы злились на нее, хотя сознавали, что она права: на сцене всегда убивали понарошке.

Катька и про кино говорила, что там ничему нельзя верить. Если показывают пароход, так он из картона и не сам плывет, а его тянут за шпагат. Но мы не соглашались.

— Такой большой пароход из картона не сделаешь.

Печатные рекламы, наклеенные на круглые афишные будки, зазывали на новые фильмы: «Скорый № 2», «Ледолом», «Старый завод», «Черный циклон»... Многие фильмы были только для взрослых, и нас не пускали. Из детских картин в памяти зацепилось всего одно название — «Федькина правда». Кажется, в этой картине и был тот злополучный пароход, про который Катька заявила, что он картонный.

Лучше всего запомнился эпизод, связанный с едою.

В далеком городе жили двое мальчишек, один из буржуйской семьи, другой из бедной. Первый страдал от обжорства, второй никогда не бывал сытым.

— Наверно, ребенок болен. Он ничего не ел — отказался от шестого блюда, — сообщала няня родителям барчонка.

Едва эта надпись возникла на экране, зрительный зал взрывался от хохота и визга.

Вот если бы Катька сказала, что не бывает обедов из шести блюд, с нею бы никто не спорил.

В центре города открылся сказочный магазин. Нас с Ваською приворожил окорок, выставленный в витрине. Мы долго глотали слюни, глядя на него через стекло. Рядом толкались другие, незнакомые ребята. От окорока невозможно было оторвать глаз.

Очереди у двери в магазин не было. Никто не цыкнул на нас, когда мы прошмыгнули внутрь. Здесь и вовсе можно было изойти слюною:

полки ломились от еды. Тут были и колбасы, и окорока, и масло, и сыры, и пряники, и конфеты... Броские этикетки на консервных банках сводили с ума.

Очереди не было и у прилавка. Чинная старушка в черном платке держала в руке пачку чая и внимательно пересчитывала гирьки, которые уравнивали на весах несколько кусков рафинаду. Других покупателей, кроме нас, в продуктовом отделе не было. Острый Васькин локоть пребольно вонзился в мои ребра:

— Гляди!

Этикетки с ценами на колбасу, сахар, масло, консервы вывешены были явно для обмана — не могло быть, чтобы все эти богатства стоили копейки.

Мы неслись домой не переводя духу.

— Ма!.. Новый магазин! Все есть. Без очереди... Сахар, колбаса... Окорок вот такой! — выпалил Васька, не отдышавшись.

У тети Зины от смеху на глазах выступили слезы.

— Так там же все на золото продают,— объяснила Катька.

Одна только баба Нюша поинтересовалась, сколько стоит пачка чая.

* * *

Катьке, видимо, было ясно, почему в торгсине есть все и стоит дешево. Но что означает звучное слово «торгсин» — не знала и сама Катька. Оно так и осталось для нас нерасшифрованным, загадочным. Впрочем, тогда и другие магазины назывались непонятно: ЦРК, ЗРК. Но торгсин звучало совсем иначе и сильнее тревожило.

Самой большою нашей мечтой было очистить торгсиновскую витрину. Но это намерение осталось невыполненным: опыта грабить у нас не было никакого.

Катька подсказала нам другую мысль:

— Нужно украсть золото.

— Где его украдешь?

Она посмотрела на нас свысока, будто ей доподлинно было известно, где прячут золото.

Катька зазвала нас в темный чулан. В ее глазах сверкали бесовские огоньки.

— Из чистого золота? — почти задохнувшись от восторга, спросил Васька.

— Из самого чистого,— заверила Катька.

— И на него дадут окорок?

— Три окорока, десять! Все, сколько у них есть. На малюсенькое колечко вон сколько можно всего набрать — полприлавка, а в нем сколько таких колечков!

Катька раскрыла нам секрет: оказывается, кресты на куполах старого собора отлиты из золота.

— Вы хоть одну лапу от него отпилите — три года сыты будем.

Не поверить ей было невозможно. Втроем мы обсудили, где спрячем золото и как будем расходовать его — понемногу, чтобы нас не заподозрили. Катька обещала достать маленькую пилку, которой можно распилить любой металл.

— А золото в десять раз мягче.

Пилку она в самом деле раздобыла. Оставались пустяки — ночью забраться на верх церковной маковки и распилить крест.

Неизвестно, чем бы окончилась наша сумасбродная затея, не помешай нам Ритка: Катька не удержалась и проболталась ей.

— Умнее ничего не придумали! Попы не дураки, чтобы из золота кресты ставить. Их без вас бы стащили.

Последний довод отрезвил нас: в самом деле, будь кресты из золота, их бы давно украли.

* * *

Нам вообще жестоко не везло: ни один из наших проектов не был осуществлен.

На выщербленной стене под окнами золототрансовской конторы повесили плакат. Два большущих остроухих кролика дружно грызли сочную морковь.

«Одна пара кроликов за три года может дать потомство 2000 кроликов.

По вкусу и питательности кроличье мясо превосходит говядину.

Кролик нужен пятилетке!»

Цифры ошеломляли. Кролики, грызущие морковь, снились во сне. Я видел наш двор, наводненный длинноухими зверьками. Они прыгали повсюду: позади каменного дома, позади церкви, в кладовках и на чердаках. Стоило только протянуть руку, поймать зверька за длинные уши — и у нас на столе будет мясо, которое по вкусу и питательности превосходит говядину. Овчинка стоила выделки. Всего-то нужно завести одну пару кроликов — через три года их наплодится две тысячи!

К нашему удивлению, взрослые не проявили восторга, дать денег на покупку первой пары кроликов отказались наотрез.

— Будем каждый день есть мясо, — убеждал Васька.

— Раньше твои кролики нас самих съедят. Кормить чем будете?

Долгое время мы жили под впечатлением невероятного числа — 2000. Плакат кто-то содрал со стены, но цифры засели в уме.

* * *

В те годы вообще была особая любовь к большим числам.

Помню бесконечный обоз, запрудивший Семинарскую улицу. Впереди вышагивал здоровенный гнедой битюг. Он шел, будто не замечая груженной телеги, в которую был впряжен. Поверх дуги полоскалось алое полотнище.

«Даешь чугуны в счет 10 000 тонн по плану!»

На могучей лошадиной груди, на холке, на крупе — всюду блестели надраенные медные бляхи. В гриву были заплетены разноцветные ленты. Возчики шагали возле подвод неторопливо. Телеги казались пустыми: на каждой лежало всего по нескольку чугунных болванок. Лязг колесных ободьев и цокот лошадиных копыт сопровождали это праздничное шествие. Густой от поднятой пыли воздух пах свежим навозом.

Орава любопытных мальчишек увязалась за конным обозом. С восхищением глазели мы на гривастых, украшенных лентами вороных, карих и серых битюгов, степенно вышагивающих посередине улицы. На время позабылась даже вражда с камнедомскими — мы все смешались в общей ребячьей массе, счастливой и возбужденной. Особенно ликовали те из нас, чьи отцы шагали в составе обоза. Да и всех нас распирало от гордости, словно мы сами помогали лошадям тащить груженные подводы на товарную станцию.

Первый конь ступил на мост, подковы застучали по деревянному настилу. Мы остановились на берегу. Никто не хотел расходиться.

Свистки паровоза, который маневрировал у вокзала на Глазковской стороне, зычно разносились над Ангарою. Куцый дымок, отстав от паровой трубы, медленно чах в прозрачном воздухе.

Мы дождались, когда задняя подвода миновала последний понтон и скрылась за поворотом.

Интересно, зачем понадобилось так много чугуна? Мы не в состоянии были представить себе, сколько это будет — десять миллионов тонн. Наверно, подводы с этим чугуном могли бы сплошь запрудить все улицы Иркутска.

— Подумаешь Иркутск — в Москве не хватит улиц.

Насчет Москвы Катька, пожалуй, приврала — она и в Иркутске не везде была и не могла знать, где именно кончается город.

В спор вмешалась тетя Зина:

— Не для этого чугуны выплавляют, чтобы в Москве улицы перекрывать. Его не в Москву и повезут — в разные города, на заводы — трактора и машины делать.

Собственно, это было всего лишь вступлением к разговору между взрослыми за ужином. Ваське, когда он попытался сказать слово, тетя Зина погрозила пальцем. Катька и та прищипнула на него — она любила строить из себя большую.

Чугун и сталь, трактор и домна, пятилетка и обороноспособность были столь же привычными словами за нашим столом, как слова «самовар» и «заварка». Об этом же напоминали рисунки на тарелках и блюдах: на них были изображены либо заводские корпуса, либо домна, либо трактор и комбайн, идущие по полю. Только старинный фарфоровый бокал — собственность бабы Ньюши — украшали голубенькие незабудки.

* * *

В каменном доме на втором этаже открыли столовую. Обеды готовили для работающих в «Золототрансе». Почти все мужики, жившие в нашем дворе, заняты были подвозкою грузов на товарные склады. Риткина тетка и та кем-то работала в складской конторе.

Тетя Зина, до этого служившая посыльной на телеграфе, перешла работать в столовую. Дела у Жердиных сразу пошли на поправку: столовая для них оказалась сущим кладом. Сама тетя Зина была сыта возле котла, а свою порцию приносила домой. Катька приходила помогать матери мыть посуду, чистить картошку, так что и ей тоже перепало — миска супа или порция каши с подсолнечным маслом.

Вечером, возвратившись из столовой, тетя Зина устраивала себе короткий отдых.

— Теперь хоть немного вздохнуть можно, — блаженствуя и млея после вечернего чая, говорила она. На ее лице появлялась покойная улыбка. Казалось, еще немного — и она уснет за столом. Но тетя Зина не позволяла себе нежиться подолгу. — Кончай шабашить!

Работы у них с Катькою было невпроворот. С утра до ночи на кухонной плите кипело и прело в тазах и ванне. Запах распаренного белья и мыла пропитал каждую щелку в нашей квартире. Тетя Зина с Катькой перестирывали горы чужого белья — пластались с ним до ночи. Без этого приработка Жердины ни за что не смогли бы сводить концы с концами.

Катька таскала ведрами на коромысле воду с Ангары. Васька и Вовка попеременно отбывали очередь, сторожа развешанные на веревках наволочки и простыни. Коромыслом Катька натирала мозоли на ключицах и подолгу не могла заснуть от боли.

После того, как тетя Зина перешла в столовую, Катькина участь немного облегчилась: теперь можно было приносить горячую воду из большого кухонного титана. Втрое ближе чем с Ангары. К тому же меньше приходилось шуровать плиту — выходила экономия на дровах.

* * *

Получать обед ходил Васька. Мне было любопытно своими глазами увидеть столовую, надышаться сытными запахами, поэтому я несколько раз поднимался вверх с Ваською. У двери сидела дежурная, следила, чтобы никто не вынес из столовой посуды. Стояли два ящика: в одном — мытые ложки, в другом — грязные. Каждый, кто выходил, на

виду у дежурной должен был опустить в ящик ложку. Она была вместо пропуска.

Ваське чистая ложка не нужна — он брал из ящика, где лежат грязные. Дежурной безразлично, обедал Васька или не обедал, — на выходе предъяви ложку. Я оставался ждать на лестничной площадке. Грузчики в широченных шароварах проходили мимо. И всякий раз, когда открывалась дверь, меня обдавало запахом столовского супа; я сглатывал слюну и крепче стискивал лестничные перила.

Васька ногой распахивал дверь. В одной руке у него судок, накрытый алюминиевой миской, в другой — грязная ложка. Он показал ее дежурной и метнул в ящик — слышно было, как она звякнула.

По лестнице мы мчались наперегонки. Внизу, воровато оглядевшись, Васька показал мне спрятанную в рукаве ложку.

— Я ей вместо ложки ржавый гвоздь бросил, — похвастался он.

Ликовал он напрасно. В тот же вечер ему крепко досталось от матери. Увидев столовскую ложку, тетя Зина переполошилась. Васька сознался в воровстве. Злосчастную ложку, дождавшись темноты, Катька зашвырнула подальше в Ангару, чтобы и духу ее не было.

— Увидят у нас, подумают, мы воруем.

Несмотря на строгую пропускную систему, посуду из столовой ухитрялись растаскивать — каждый день чего-нибудь недосчитывались.

На другой день мы напрасно пытались разглядеть на дне реки алюминиевую ложку — Катька постаралась закинуть ее далеко от берега.

Васька уверял: если осушить Ангару, со дна можно собирать уйму полезных вещей, не говоря уже о деньгах.

— Знаешь, сколько в нее одних медяков и серебрушек набросано!

Я верил ему. Но осушить Ангару было не в наших силах. Несметные богатства на ее дне до сих пор лежат нетронутыми.

* * *

В подсобном хозяйстве конного парка забили корову: у нее пропало молоко. Часть мяса отдали в столовую. Мясные обеды готовили только для ударников производства. Супы, которые приносил из столовой Васька, были по-прежнему постными. Тетя Зина негодовала:

— Откуда в столовой станешь ударницей? Если бы я на стройке работала или на погрузке — другое дело.

Вдвоем с Катькою они придумали хитроумный план. Урвать немного мяса от общего котла было не сложно, главное — вынести его из столовой. Вот тут-то и понадобилась Катькина помощь. К тому, что девочка постоянно ходит в столовую за горячей водой, во дворе привыкли — не обратят внимания. Если мясо просто положить в ведро, кто-нибудь встретится и увидит. Ведро, накрытые сверху, вызовут подозрение. Решили так: Катька нарвет во дворе крапивы, под крапиву спрячет мясо и залетит кипятком. Если кто встретится, Катька объяснит: пареная крапива нужна бабе Нюше накладывать на большую поясницу.

Замысел был превосходный, но бабу Нюшу в это дело впутали напрасно — после пожалели.

Полутемную лестницу Катька миновала благополучно, никого не встретив. Ведерная дужка резала оттянутые пальцы. Катьке пришлось менять руку и останавливаться. В это время черт пригнал Коломейчиху. Катька так и рассказывала:

— Гляжу — Коломейчиху черт гонит.

Наверно, и в самом деле не обошлось без черта: от коломейцевской старухи было не так-то просто отделаться. Ей бы только поговорить. Первым делом сунула в ведро свой вороний клюв. Катька обмерла. Но,

видно, у Коломейчихи нюх отшибло, да и запах крапивы перебивал мясной.

— Кому это ты крапиву?

— Бабе Нюше на поясницу. У нее сильно ломит — подняться не может, — как затверженный урок, выложила Катька.

Коломейчихе этого только и нужно. Все средства от болей в пояснице были известны ей наперечет.

— Да кто ж это подсказал ей? Разве по осени крапива? Ее в начале лета надо нарвать, тогда крапива. Сейчас одни дудки да колючки. На троицу надо срывать. Так и скажи ей. А и не надо, не говори — вечером сама загляну. То-то думаю: чего это Нюра давно не навещается?

Запах разопревшего мяса явственно почудился Катьке, она схватила ведро и припустилась бежать. Коломейчиха вдогонку что-то наказывала ей.

Катька радовалась, что легко отделалась от старухи, но тетю Зину рассказ встревожил не на шутку. Бабу Нюшу необходимо было приготовить к встрече с Коломейчихой. Если она ляпнет, что богу не жалуются. Коломейчиха смекнет, что дело неладное, завтра же разнесет о своих подозрениях по всему двору.

Разговор с бабой Нюшей состоялся в ее комнате. По-видимому, тетя Зина думала, что их голоса не будут слышны через стену. Вначале разговаривали шепотом, потом тетя Зина первая начала поднимать голос:

— Я, Нюра, тебе о деле говорю. При чем бог? Бога твоего не задеваю.

— А при том: сама согрешила, а меня подбиваешь солгать.

— Согрешила, согрешила! — рассердилась тетя Зина. — В святые хочешь попасть? Ради кого согрешила? Пятеро на руках. Не вспомнить, когда последний раз мясо пробовали. Был бы твой бог, допустил разве такое, чтобы дети с голоду пухли?

— О боге вспомнила, бог виноват стал! Сама же в безбожницы записалась. Может, рассчитывала, безбожникам на карточки прибавят? Вот у них, кто тебя от церкви отвадил, и спрашивай мяса — пусть они и кормят твоих пятерых. Раньше-то, при боге, сыты были.

— Кто сыт, а кто и нет.

— Зато теперь все голодные — не обидно.

— Ну, это не наше с тобой дело обсуждать. Есть люди поумнее.

— Чего ж они, умники, о твоих не заботятся?

— О каждом в отдельности думать — никакой головы не хватит.

— Так для кого же тогда новую жизнь собираетесь делать, если не для каждого?

— Для всех. Посмотришь вот, как заживем лет через пять.

— Другой кому через пять-то лет показывай — не доживу.

— Все бы работали, как нужно, не через пять — раньше зажили бы.

Привыкли по старинке.

— Какое уж по старинке.

— Ну, хорошо. Чего это мы в сторону заспорили. Согласна: бог не виноват — сама наплодила ораву, винить некого. Я ведь тебя не украсть, не убить подбиваю. Скажешь: просила, мол, крапивы напарить. Не убудет от тебя, а меня выручишь. Раньше ведь ни в чем я не была замешана. Вот как на духу. Для себя ни крошки бы не взяла — пропади пропадом ихнее мясо. Думаю: ребята-то чем виноваты? Пусть хоть раз поедят. Все равно другие тащат. Не я, так Верка косоглазая утянет для ухажеров своих. Так чем для ее кобелей пойдет, пусть дети наедятся. Страшно: что теперь обо мне скажут?

— Безбожница, а самой стыдно! — торжествовала баба Нюша. — В бога не веришь, откуда стыд? Раз не веришь, так и стыдиться нечего.

— Людей стыдно.

— Ты от него отступилась, а он помнит, не оставил тебя. Стыдом о себе напомнил. Радоваться тебе надо — стыд пробудился, — продолжала баба Ньюша свое.

— Да-да, стыдно! — почти выкрикнула тетя Зина. — Только не бога — людей! Бог, если и есть, — далеко, а с людьми в одном дворе жить.

— Так ведь люди-то не знают еще ничего, а тебе уже стыдно. Щеки вон — тнки и лопнут. Нет, Зинка, не с твоей совестью в безбожницах ходить. Шла бы в церковь.

Нужно было выручать тетю Зину из беды. Мы решили подкараулить Коломейчиху, когда она направится в наш дом, и чем-нибудь отвлечь ее, чтобы позабыла, куда шла. Сказать, например, что к берегу пристала баржа, в которой везут живых верблюдов. Или нет — верблюдами ее не завлечь, — лучше сказать, что на берегу под церковными окнами расположился цыганский табор. Уж на цыган-то она захочет посмотреть. Пока сообразит, что ее одурачили, забудет про бабу Ньюшу.

И все-таки мы проморгали старуху. Не сводили глаз с каменного дома — Коломейчиха жила там, — а нагрязнула она с другой стороны, из поповского флигелька.

Коломейчиха пришла вовремя, баба Ньюша как раз напарила свежий чай, и они надолго устроились за кухонным столом. Мы вертелись тут же и осторожно прислушивались к разговору. У кухонной плиты суетилась соседка, готовила ужин к приходу мужа с работы. Катька примостилась в углу, на лавке. У нее все было готово, но она не начинала стирку — тоже боялась упустить, когда Коломейчиха задаст бабе Ньюше каверзный вопрос про крапиву. Тетя Зина с раздумяемыми щеками мрачно поглядывала на бабу Ньюшу, которая как ни в чем не бывало пошвыркивала из блюдечка настоящий чай. По ее лицу никогда нельзя было угадать, что у нее на уме. Сморщенные тонкие губы всегда образовывали одинаковую складку. Складка могла быть предвестием и доброй улыбки, и гнева, заранее понять это было невозможно. В другое время тетя Зина давно бы прикрикнула на нас:

— Вы чего под ногами мешаетесь? Марш на улицу!

Сейчас ей было не до нас. У нее и шея, и спина, и руки, и оголенные плечи сплошь покрылись багровыми пятнами.

Вначале разговор шел стороной.

— К матушке Никулине, к попадье, ходила, ладану просила — зубы измучили. Ладаном только и спасаюсь.

В ответ баба Ньюша сочувственно покачала головой.

— Слышала, милочка, говорят: Тихвинский собор взрывать будут.

— Господь не допустит!

— Господь не допустит, — вздохнула Коломейчиха.

В другое время тетя Зина непременно вступила бы в спор, а сейчас будто и не слышала ничего. Я уже думал, Коломейчиха забыла про крапиву, но не тут-то было.

— Что у тебя с поясницей? — вспомнила она.

Катька застыла с открытым ртом, неловко, на отлете держа перед собою мокрые руки. Выше локтей на них висели мыльные хлопья. В затанном свете прозрачные пузыри вспыхивали разноцветными огоньками. Пена медленно таяла, и крохотные огоньки на Катькиных руках гасли один за другим. С лица тети Зины схлынули алые пятна, пересохшие губы помертвели. Мне показалось — время ненадолго остановилось.

Голос бабы Ньюши раздался спустя вечность.

— Да вот, среди ночи вчера будто укололо,— пожаловалась она. Голос у нее переменялся, сделался страдальческим, рука легла на поясницу, и сама баба Ньюша будто переломилась от боли.

— Ай-яй-яй! — посочувствовала Коломейчиха.— Говорила тебе: добегаешься в одном платьице. Куда уж нам с молодыми равняться.

Лицо тети Зины оттаяло, на оживших губах обозначилась смущенная улыбка. Баба Ньюша нарочно избегала встречаться с нею взглядом. Она совсем вошла в свою роль:

— То кольнет, то отпустит. Потом снова скрутит — сердце обомрет. Думаю: отмучилась.

Тетя Зина отпустила Катьку:

— Отдохни. Нароботалась сегодня.

Под мощными руками тети Зины мокрое белье хлюпало и трещало на железных ребрах стиральной доски. Баба Ньюша долго еще расписывала Коломейчихе про боли и колотье в пояснице.

* * *

Событие было не пустяковым, и разговор на кухне, даже и после того как выпроводили Коломейчиху, долго не затихал. Баба Ньюша, правда, ушла спать, но к этому времени с работы возвратилась наша мать. Она воспользовалась тем, что плита была горячей, сварила картошку и накормила нас. Большой кухонный стол, добела скобленный ножом, был любимым местом вечерних сборищ в нашей квартире — места за ним хватало всем.

— Ой, Поля, ты и не знаешь, как она выручила меня сегодня,— в который раз начинала рассказывать тетя Зина, обращаясь к нашей матери.— Беду отвела. В чем другом — в воровстве никто из Жердиных не был замешан. Сколько на Нюру злилась из-за иконы — боялась, что с работы невзначай нагрянут, увидят. После разговору не оберешься: «Одну старуху не можете перевоспитать». А тут, не поверишь, все ей простила.

— Что с нее спросишь, Зина. Я и то уже привыкла к этой иконе. Ночью разбужусь — она перед глазами. Пускай висит, если она ей утешение дает.

— Да чего уж там. Сами давно ли в церковь перестали ходить,— сказала тетя Зина.

— Я пораньше тебя,— напомнила мать.— Как раз он родился,— кивнула она на меня,— не знала сама: крестить или не крестить. Ты же толкала меня: «Сноси в церковь, окрести — хуже не будет».

Тетя Зина рассмеялась. Я навострил уши: оказывается, дело касалось и меня.

Хорошо, что этого не слышала Катька — она так умаялась, что давно спала. Она бы уж постаралась, растрезвонила по двору:

— А Серьга-то крещеный!

К тому времени, когда я родился, мать уже перестала верить в бога. Но на нее насели знакомые и даже вовсе посторонние. Уговорили мать.

Получалось, что Никина тетка, живущая где-то на окраине, изредка навещавшая свою родню, была моей крестной. То-то она всякий раз, когда появлялась в нашем доме, непременно разыскивала меня:

— Взглянуть бы на него хоть одним глазком.

Я и прежде избегал ее, а теперь и вовсе постараюсь не попадаться ей на глаза.

В истории, которую я услышал за кухонным столом, меня утешало только одно: я не был на церковном причастии. Как я понял из разговора взрослых, это делало меня не полностью крещенным. Но все равно лучше, чтобы во дворе ничего не узнали, а то пацаны задразнят.

* * *

В конце августа Ритке исполнилось четырнадцать лет, и тетка подарила ей свои туфли. Сама она уже давно из-за мозолей носила мягкие чевяки и унты. Туфли были совсем еще целые, пришлось только подбить каблуки. В тот же вечер Ритка принесла к нам обнову — похвастаться перед Катькой. Туфли по очереди примеряли все: и Катька, и тетя Зина; баба Нюша и та попыталась всунуть ноги в туфли.

Ритку словно подменили. На другой день вдвоем с Катькой они заперлись в чулане и долго секретничали. Катька выглянула из двери, таинственным шепотом приказала:

— Посмотрите, не видать ли тети Веры?

Потом вышла Ритка. Ее невозможно было узнать. Мы и не подозревали, что с помощью тюбика губной помады, украденного Катькой у матери, зубного порошка и черного карандаша из рисовального набора можно так преобразиться. Теткины туфли, белая отутюженная кофта и темно-синяя юбка довершали перемену. Риткино лицо, скованное слоем краски, потеряло способность улыбаться. Из-под жгучих бровей испуганно и удивленно смотрели большие глаза. Ритка крадучись вышла из дому, рысцой прошмыгнула в калитку на задах церкви — здесь меньше было риску нарваться на тетку.

В тот день камнедомские ребята навязали нам драку. Никогда раньше не терпели мы такого сокрушительного разгрома. Камнедомские до самого вечера не давали нам высунуть носа во двор. Сняли осаду, когда самим надоело держать нас взаперти.

Будь с нами Ритка, такого позора не произошло бы. В этот раз не поддерживала нас и Катька. Она вообще не была любительницей мальчишеских драк, была трусиха, но прежде помогала нам, подражая Ритке.

Поздно вечером, подавленные, собрались мы на поленнице, пристроенной возле кладовок. Торжествующий Щепа в окружении своих сидел на каменной скамейке под окнами конторы «Золототранса». Нас разделяла громадная пустота двора.

Камнедомские дразнили нас. А нам нечем было крыть — приходилось отмалчиваться. Камнедомских было вдвое больше, чем нас. Мы могли рассчитывать только на будущее, когда к нам снова вернется Ритка.

Видно, надежды наши были напрасными. Вскоре появилась Ритка и на виду у всей вражеской армии пересекла двор. Она должна была слышать, как камнедомцы нас поносят. Но она как будто ничего не слышала. До нас ей тоже не было дела, мы для нее перестали существовать.

Она даже не вытерла краску с губ и бровей. Наверное, позабыла про нее. Ее лицо вновь обрело свойство улыбаться, но эта улыбка не имела ничего общего с улыбкой прежней Ритки — нашей атаманши.

Васька наклонился и поднял с земли камень. Рита, почуввав недоброе, оглянулась. Васька замахнулся и приготовился улепетывать. Связываться с Риткой было небезопасно. Мы ожидали, что она кинется на Ваську, но вместо этого бесстрашная Ритка сама пустилась наутек. Только крикнула:

— Посмей вот у меня, посмей!

Несколько камней одновременно полетели ей вслед. Ритка спаслась от нас бегством.

Мы разошлись по домам в скорбном молчании.

* * *

Была ранняя осень. Лиственница в церковной ограде едва начала желтеть. Гроздья волчьей ягоды ядовито полыхали среди побуревшей листвы. На берегу перед церковью разгружали сено. Его привозили на

баржах с низовой Ангары. Прессованные тюки, перетянутые проволокой, складывали в высоченные штабеля. Горы сена совсем отгородили от нас берег, остался только узкий проход, чтобы можно было ходить на реку. Баржи несколько дней стояли у берега. Стальные тросы, причаленные за вкопанные сваи, удерживали их, напором течения выстурило канаты.

Мы с Васькой содрали проволочную оплетку с одной связки сена и, спрятавшись на заднем крыльце церкви, решали, на что ее можно употребить. Здесь было укромное место, видеть нас могли только из поповского флигеля. Одурающий запах полыни, которая росла в ограде, смешивался с лекарственным настоем пырея, душицы и луговых цветов — ими пахли растрепанные тюки сена.

Нам почудился Риткин голос.

Мы вскарабкались на ограду. По тротуару со стороны Ленинской улицы бежала Ритка. За нею гналась орава пацанов во главе с Хомяком. Они свистели и улюлюкали. Вслед Ритке летели камни. Вступить за Ритку было некому: взрослых на набережной не было.

Ритка уже достигла было спасительной калитки, но внезапно споткнулась и во весь рост растянулась на тротуаре. Ее подвели туфли — каблук засел между гнилыми лежнями настила, который не обновлялся со времен, когда по нему ходили еще семинаристы. Колька настиг ее первый и, торжествуя окончательную победу, далеко отбросил свалившуюся с Риткиной ноги туфлю. Остальные пацаны держались в отдалении. Колени у Ритки были ободраны в кровь. Ей хотелось заплакать, но она крепилась. Колька изловчился, сдернул с Ритки вторую туфлю и зашвырнул в другую сторону.

Ритка вскочила на ноги и влепила Хомяку пощечину. Сама зажмурилась от страха. Колька ударил ее кулаком — у Риты качнулась голова.

— Дурак! Дурак! Дурак! — мгновенной очередью выпалила она.

Хомяк бил ее по щекам, и она даже не защищалась. Продолжала твердить:

— Дурак! Дурак! Дурак!

— Сама дура. Сама дура. Сама дура, — в такт пощечинам приговаривал Колька.

Наблюдать равнодушно, как избивают нашего недавнего атамана, мы не могли и перевалились через забор. Ни Рита, ни Колька не обратили на нас никакого внимания.

— Перестань! — Я замахнулся на Хомяка камнем.

Колькины пальцы клещами перехватили мое запястье — я выронил камень. От боли потемнело в глазах. Меня выручил Васька — он хрястнул Хомяка обломком кирпича между лопаток. Колька кинулся за ним. Васька шмыгнул в калитку, но вместо того, чтобы бежать к дому, повернул в сторону церкви — хотел по водосточной трубе залезть на крышу. Хомяк поймал его за голую пятку и сдернул со стены, как козявку. Зажав Васькину голову между коленями, начал остервенело лупить его. Васька захлебывался от крика. Колька бил, не щадя своих ладошек.

— Подлец! Отпусти! Сейчас же отпусти!

Накрашенный Риткин рот перекосило от гнева. На стиснутый кулак она намотала конец проволоки, которую мы бросили возле ограды. Страх чуть не выворотил Колькины глазищи из впадин. Он оставил Ваську и пустился бежать. Проволочная плеть просвистела над ним.

— Я тебе покажу, как маленьких бить!

Похоже, Хомяк летел по воздуху — подошвы его ботинок едва успевали сверкать.

Рита отшвырнула завизжавшую проволоку. Вокруг ее руки красными полосами горели следы оплетки.

— Я тебе покажу, как маленьких бить! — еще раз негромко пригрозила она вслед исчезнувшему Кольке.

Орава пацанов, которые недавно преследовали Ритку, бесследно растаяла.

Слезы высыхали на Васькиных щеках.

Я сбегал за ворота и отыскал Ритины туфли.

Тогда Рита неожиданно заплакала, судорожно всхлипывая и глотая слезы. Мы растерянно молчали и старались не глядеть на своего пачущего атамана.

— Он больно тебя ударил? — спросил Васька.

— Славные вы мои мальчишки.

Рита сгребла нас обоих в охапку и по очереди начала чмокать в щеки. Мы брыкались и старались увернуться от ее накрашенных губ. Потом она опустила нас на землю и стала вытряхивать из туфель песок и камешки.

— Вчера тебя не было — камнедомские раздолбали нас, — пожаловался Васька. — Ты больше не будешь с нами?

— Буду! Обязательно буду.

Из рукава кофты Рита достала осколок зеркала, завернутый в носовой платок. Долго, придирчиво разглядывала свое лицо. Послюнявила платок и со злостью начала вытирать краску.

К дому она шла босиком, держа туфли в руке. Спустя час Рита снова появилась во дворе. На ней было ее старенькое платье и мальчишеские ботинки с истлевшими союзками.

Мы отомстили за вчерашнее поражение. Хомяк не вязывался в сражение, только подсказывал своему Щепе и презрительно ухмылялся, наблюдая за Риткой. Сама она никого не тронула, но отважно лезла под камни, которые летели в нашу сторону. Наверно, поэтому ее и боялись.

* * *

Незаметно я обогнул запущенный храм. Просвирная, стоявшая на углу, почти вросла в землю. Вдоль набережной была проложена асфальтированная колея. Берег укрепили насыпью из галечника.

Когда-то здесь был глинистый обрыв. По нему наискось были протоптаны спуски. По ним ходили за водой с ведрами и коромыслами. В старину правый берег реки был укреплен частоколом из толстых свай. Они оберегали городскую сторону от размыва. В пору моего детства защитная дамба еще существовала и назначение свое выполняла. Столбики, правда, большей частью были затоплены, но в прозрачной воде их хорошо было видно — они сплошь обросли густой зеленью, которая делала их осклизлыми.

Прежде на набережной стоял каменный флигелек, в нем жили попovich. За ним тянулась побеленная кирпичная ограда, заросшая травой.

Теперь здесь не было ни ограды, ни поповского флигеля. Позади Старого собора, фасадом к Ангаре, стоял пятиэтажный дом. Судя по виду, его построили в середине пятидесятых годов. Тогда еще не пришли к постной симметрии домов-коробок с балкончиками. Впрочем, дом этот сравнительно с другими, которые ставили в одно время с ним, украшен был скупой, без крикливости. Но и сама эта скупость была заимствованной: на противоположном углу квартала сохранился давний корпус семинарии — с его фасада и взята форма окон и пилястры.

У пятиэтажного дома было еще одно назначение — он прикрывал собою уродливые тылы хлебозавода с множеством труб самого разного охвата, торчащих над крышами цехов, выпирающих из окон.

Я постоял на берегу, не решаясь идти дальше — боялся увидеть пустоту на месте деревянного дома, который был здесь в тридцатых годах,

последний раз я видел его лет шесть-семь назад. Дряхлый бревенчатый остов уже тогда подпирали столбы, северная стена почти сгнила и угрожала развалиться. Тогда я подумал, что старому дому недолго осталось ждать очереди на слом.

Но я ошибся — двухэтажный дом был на своем месте. Его подновили, убрали подпорки, обшили тесом и покрасили.

Мне приходилось напрягать не столько память, сколько воображение, чтобы мысленно увидеть свой старый двор. Неужели и длинный ряд кладовок, и крапивный пустырь, и заросли бузины, и полоса вскопанной поповичами земли — весь прежний мир размещался на крохотном пятачке, где сейчас был разбит сквер, детская площадка и притулились несколько гаражей для легковых автомобилей?

Заднее крылечко у второго прируба к двухэтажному дому показалось мне совсем низким — тридцать восемь лет назад его ступени были много выше нынешних. Витька, даже когда сидел на нижней, едва доставал ногами земли.

* * *

Той осенью мне повезло: на медицинском осмотре в школе у меня определили острое малокровие и я получил назначение на дополнительный обед при детской поликлинике. Она находилась неподалеку от телеграфа на бывшей Баснинской улице. Обеды были из трех блюд: суп, каша и компот или же борщ, каша и молочный кисель. Кормили бесплатно и к тому же сверх карточной нормы. Плохо было одно — всего давали понемногу, не досыта.

Смена, в которую я попал, ела в два часа. В столовую я мчался сразу после уроков. Первое время, пока держалось тепло, за мной увязывался Витька. Я боялся опоздать и всегда приходил задолго до своего часа: за столами еще сидела первая очередь.

Мы с братом устраивались под окнами. По запаху, который шел из форточки, можно было определить, что было на обед. Вскоре возле столовой собиралась вся наша смена. Вот уж где были чистые шкилеты!

Витька оставался ждать меня под окнами. Я все время помнил о нем — о том, что он сидит на каменной приступочке и запахи овсяного супа и пшенной каши терзают его. Я запихивал в карман половину хлебной пайки и старался забыть про нее. Мучительнее всего было ждать, пока разнесут первое, — поневоле начинал по крошке отщипывать из кармана.

Посредине просторной комнаты стояли два длинных тесовых стола, накрытых клеенкой, по обе стороны столов такие же длинные скамьи. Не знаю, сколько нас помещалось в одну смену — наверно, человек по тридцать за каждым столом.

Когда я выходил, ко мне тут же кидался Витька. Я вытаскивал из кармана кусок хлеба — все, что удавалось сберечь от обеда. Чтобы не растерять крошек, Витька сразу запихивал его в рот. Мы шли домой, и Витька расспрашивал меня, что давали на обед. Он говорил с набитым ртом, нельзя было разобрать ни слова, но я все равно догадывался.

— Суп с макаронами и пшенная каша, — отвечал я на невразумительное Витькино мычание.

— Мо-ого аши? — выпытывал Витька.

— Полная поварешка.

— С е-хом? — Витькины глазищи сверкали от восторга.

— С верхом, — увлеченно врал я.

— А-сло а-ло?

— Большущая ложка масла.

Витька выпучивал глаза. Я показывал ему, каких несуществующих

размеров была ложка; которой зачерпывали масло. Такой же огромной в моем рассказе оказывалась и поварешка, и тарелка, и чашка, в которую наливали кисель... А макароны в супе были толщиной в руку.

И мы оба верили всему этому.

Потом наступили жестокие морозы. Витьке пришлось оставаться дома: в своих опорах и реденьком ватнике он мог бы окоченеть под окнами столовой.

* * *

Не знаю, через кооператив или через наших шефов, но в школу поступила детская обувь. Вначале распределяли ее между классами. Нашему перепало две пары ботинок с галошами и одни ичиги. Делить их созвали родительское собрание. Оно затянулось до полуночи. Прежде всего решили не давать в одни руки и ботинки и галоши: слишком жирно будет. Можно обеспечить двоих — одному ботинки, другому галоши. Главный спор возник, когда нужно было определить, кто из класса нуждается больше других. Самых неимущих было шесть человек. Остальные были обеспечены лучше, о них должны позаботиться родители.

Я стал обладателем новых галош. Ичиги достались Ваське Жердину. Получалось, что наша квартира обогатилась больше всех. У Жердиных была одна пара стоптанных и на три ряда подшитых валенок. Они остались еще с той поры, когда в доме жив был Васькин отец. Это были его валенки. Теперь их посменно носили Катька с тетей Зиной. Другой теплой обуви в доме не водилось, так что ичиги пришлось очень даже кстати. Правда, вначале Васька на них и глядеть не хотел.

— Скажут — чалдон.

Но когда дело дошло до морозов, Васька оказался в выигрыше. Мои ботинки, привезенные еще с прииска, даже с новыми галошами грели мало. А в ичиги можно было намотать несколько пар портянок. Пока я бежал до школы, пальцы успевали окоченеть, казалось, стукни невзначай по ноге — и отломятся. Васька не отставал от меня: ичиги ичигами, а одежонка на нем была не жарче решета, как говорила баба Нюша. В школу и из школы мы неслись с ним наперегонки.

В ту зиму я усвоил одну простую истину: чтобы ноги быстрее отошли, нужно разуться, сразу как попадаешь в тепло, а не отогревать их в обуви. Впрочем, открытие это я сделал не сам, мне подсказала его Ритка.

Зиму она пробегала в тех же ботинках, какие носила летом. Может быть, поэтому и повадилась каждый вечер в нашу квартиру. Для этого нужно было всего лишь перебежать из одних сеней в другие — не обмо-розишься.

Была и еще одна причина, почему вечерами чаще всего собирались у Жердиных, — отсюда никто не прогонял, как у других. В квартире собственный рев и гвалт никогда не умолкал, так что чуточку больше или меньше шума — заметно не было. Разве что баба Нюша поворчит немного, если она не в духе:

— Опять насорили.

Да и то напрасно. Ритка всегда помогала прибрать: подметала и даже мыла полы.

Ритка ходила в седьмой класс, а по-прежнему водилась с нами. Катька всего-то в пятый перешла, а нос задирала, как будто была уже взрослая. Она даже Ритку осуждала, правда, за глаза:

— Дылда. Ей скоро замуж, а она с мелюзгой возится.

Катька взяла привычку на нас покрикивать, но мы не обращали на нее внимания, права командовать нами за ней не признавали. Ей приходилось обращаться за помощью к Ритке:

— Уйми своих партизан — посуду перебьют.

Ритку мы слушались. Без нее мы обалдели бы от скуки. Она затевала игры, в которых участвовали все, даже Нинка, хотя той не было еще и пяти лет.

* * *

До середины января никакие морозы не могли сковать Ангару. По черной воде долго плыла шуга, полз туман. Кромка ледяного припая медленно продвигалась от берега. Мы старались не прозевать ледостав, каждый вечер выбегали на Ангару послушать, как, наползая одна на другую, хрустят и стучаются льдины.

И все же самого интересного мы не видели. Ангара стала ночью. Утром тумана не было, в прозрачном воздухе отчетливо виден был другой берег и дальние горы. На реке в загадочном беспорядке громоздились застывшие торосы.

Из-за них зимою на Ангаре негде было кататься на коньках. Меньше всего торосов было напротив триумфальной арки. В конце зимы, когда немного потеплело, мы расчистили там площадку, устроили каток. Лед на Ангаре держался до апреля. На берегу давно уже чернели проталины, а на реке можно было кататься.

Делать это было опасно: теплые сточные воды из Курбатовской бани пропарили к этому времени лед, он стал ненадежным и тонким, прогибался и жутко постреливал. Но риск только повышал удовольствие. Можно было вдосталь накататься до будущей зимы.

Ника не разогнался как следует — лед под ним треснул и проломился. Никин вопль, казалось, врезался в мозг, минуя барабанные перепонки. Поверх льда торчала одна его голова и руки в вязаных варежках. Смотреть в ошалевшие Никины глаза было непереносимо. Варежку с одной руки смыло водой — она еще не набухла и плавала тут же поверху. Пальцы Ники скользили по льду — ему удалось вцепиться в трещину, это и спасло его. От страха он не мог кричать, только смотрел на нас. Мы оторопели.

Не окажись поблизости Риты, это купание могло стать для Ники последним. Только она одна не потеряла головы.

— Доску!

Мы сразу поняли ее. На берегу возле сточного канала неизвестно для какой надобности с осени был свален тес. Доски накрепко смерзлись друг с другом. Не представляю себе, как нам удалось отдрать одну из них и спихнуть под обрыв. Но проделали мы это мгновенно. Рита по льду направила нижний конец плахи в сторону, где виднелась Никина голова.

Вода наплывом выхлестывала из пролома, заливала побелевшие Никины пальцы. Рита, двигая перед собой доску, ползла на выручку. Лед со стоном потрескивал под нею.

Ника хотел ухватиться за конец доски, но пальцы соскользнули. Рита быстрым толчком, распластавшись на льду, подкатилась к полынье, успела схватить рукав Никиной куртки, когда вода уже накрыла его с головой.

Потом оба они долго отдыхали наверху, лежа поперек доски. Вода разливалась поверх льда все шире, мелкие волны заплескивались на тесину.

Рита пропустила Нику вперед и помогала ему ползти, подталкивая сзади. Он бессмысленно улыбался и шурился от слепящего весеннего

света, отраженного ноздреватым льдом. Ватная куртка на плечах и спине оледенела и скоробилась. У берега мы подхватили его под руки и затащили на откос.

Рита второй раз поползла к месту, где из-под льда kloкотала темная вода. Никина варежка приморозилась, выхлестывавшие из пролома волны не смыли ее. Рите удалось спасти и варежку.

Вода стекала с Никиных штанов, валенки были пропитаны ею. Без нашей помощи он не мог сделать ни шагу. Он не переставая смеялся взахлеб, и слезы катились из его глаз. Кто-то притащил санки. Мы насильно усадили на них Нику и впряглись всей оравой.

Из ограды навстречу нашему ликующему поезду высыпала толпа кричащих женщин. Они были одеты наспех, кто во что. Во главе женщин была Никина мать с растрепанными волосами, с разгоряченным лицом — ее оторвали от кухонной плиты. Ничего хорошего встреча с нею не сулила нам — все кинулись врассыпную. Остались Рита и Ника.

Первая затрещина досталась Рите. После этого тетя Вера принялась за Нику. Он хныкал и показывал матери замерзшую варежку:

— Мамочка, у меня же все целое. Мамочка, у меня же все целое.

Тетя Вера наконец одумалась, сграбастала Нику в охапку и пустилась бежать к дому.

Женщины разошлись по домам.

Рита пальцами щупала свою щеку, на которой все еще горел след незаслуженной пощечины.

— Больно?

— А-а, ерунда. Дура она заполошная.

Ритке попало еще и дома от ее тетки. Мы не могли понять, за что ее били.

Позицию взрослых объяснила тетя Зина:

— Поделом. Этакая кобыла не могла наподдать вам, чтобы не лезли на лед.

* * *

В тридцать втором году Первое мая совпало с пасхой.

Утром во дворе под окнами каменного дома начала выстраиваться колонна демонстрантов.

Ждали сигнала городской сирены — он должен оповестить о начале демонстрации.

Всюду атели банты, косынки и флажки. Мы не отставали от других: к нашим рубашкам пришиты были матерчатые звездочки.

Из ворот вывалились неорганизованной толпой и вновь начали разбираться порядно на пустыре. Колонна двинулась к площади не напрямую, а в обход по Ивановской улице. Мы бежали вслед за демонстрантами по тротуарам. На площадь нас не пустили, мы только издали видели трибуну, обитую красной материей, и людей, стоящих наверху.

Во двор въехали два грузовика. По углам кузовов были укреплены флажки, над шоферской кабиной трепыхались ленты.

Те, кто подогадливей, сообразили, что на машинах будут катать детвору.

Грузовик, в который попали мы с Витькой, вышел из ворот первым. К площади нас не повезли, машина завернула на Семинарскую улицу.

К такой скорости я еще не привык. Невозможно было уследить, как мимо проносились знакомые деревянные домишки. Они и не казались теперь знакомыми. Только что проехали нашу школу, я не заметил

даже, стояла ли на своем месте водокачка, как мы очутились на другой улице. Слева мелькал зубчатый частокот дощатого забора. Сверху нам было видно, что прячется позади него огромный котлован, тесовые сараи и кирпичные штабеля. На этом месте должны построить заводской клуб. Под колесами протарахтел старенький мост — и начались улицы, где ни Витька, ни я ни разу не бывали. В голове все перемешалось, я уже не соображал, где мы едем. И вдруг возник длинный кирпичный забор и в конце за ним купол колокольни, тогда я не понял, что мы возвращались на свой двор.

Из кузова не хотелось вылезать, но нас дожидались те, кто не попал в первую очередь.

Праздничные подарки должны были раздавать в столовой. Накануне тетя Зина и Катька далеко за полночь клеили бумажные пакеты из старых ученических тетрадей и газет. Нужно было заготовить больше ста пакетов. Обычно, если было что срочное и нетяжелое, им помогала баба Ньюша. На этот раз она отказалась — пошла в церковь на пасхальную службу. Нам так и не удалось выпытать у тети Зины, что будет в пакетах. На наши вопросы она только отшучивалась:

— По живому кролику положат. Хватайте сразу за уши, чтобы не убежал.

Она была настроена по-праздничному весело, все время пересмеивалась с Катькой.

Оказывается, подарки были заготовлены не строго по списку, а с небольшим запасом, чтобы не было обиженных.

Очередь запрудила лестницу. Нижние не знали, что делается наверху, от нетерпения сильнее нажимали. Нам удалось пробиться до середины нижнего марша. Снизу напирала беспокойная орда пацанов, двигаться вперед не позволяла плотная живая стена счастливиц, успевших попасть сюда раньше нас. Витька намертво вцепился в мою руку своими косявыми пальцами. Выстоять давку нам было не впервой — у нас уже был накоплен в этом немалый опыт.

Долго мы находились в неизвестности. Ясно было только одно — голова очереди уперлась в запертую дверь, поэтому мы и не двигаемся вперед. Потом сверху пошла упругая волна, осадившая нас назад.

— Тихо, огольцы, не все сразу, — раздался неожиданно голос Хомяка.

Интересно: он-то чего ради здесь командует? Только его и не хватало.

Наверху толпа пацанов с лестничной площадки хлынула в открытую дверь. Нас с Витькой сразу взнесло до середины второго марша лестницы. Наконец Хомяку удалось остановить лавину и захлопнуть дверь.

Хомяк был явно наделен полномочиями распоряжаться и следить за порядком. Прежде чем запускать следующую партию, он сам протиснулся через дверь на лестничную площадку. Скомандовал:

— Пацаны! Выстроились по одному — в затылок. Эй, там! Очистили лестницу!

Ему пришлось самому выстраивать всех и расталкивать. Потом он выпустил из столовой первую ватагу ребят, получивших подарки. Они цепочкой двинулись вниз, оттеснив нас от лестничных перил. Каждый нес бумажный пакет. Кто-то в нетерпении жевал и щелкал орехами. Запахло мятными пряниками.

Мы попали в столовую на третий заход. Позади оставалось не так уж много народу — внизу лестница совсем очистилась. Конечно,

нам бы нужно было выждать, подойти после всех, как советовала тетя Зина.

Подарки выдавали из окошка раздаточной. Хомяк, придавив список к стене, карандашом отчекривал метки напротив фамилии ребят, получивших подарок. Одним глазом косил на очередь, другим отыскивал фамилию на листке.

Нас с Витькой не могло быть в этом списке, и Хомяк, конечно, не ошибется. И хоть мысленно я представлял, чем должна закончиться наша попытка — Хомяк за щкирку вытурит нас из столовой, — уходить из очереди подобру-поздорову раньше времени не хотелось. Я старался не глядеть на Кольку. Только чем это могло нам помочь?

Тут же вертелся пронырливый Щепя.

Щепя первый заметил меня и что-то шепнул брату. Тот вскользь взглянул на нас и опять занялся списком.

Окошко раздаточной было рядом. Я видел озабоченное лицо тети Зины, которая подавала подарки в протянутые ребячьи руки. Меня подтолкнули сзади. Газетная бумага ломко захрустела в моих ладонях. Я ожидал, что Хомяк вырвет пакет из рук, но вместо этого он отпихнул меня от кухонной стойки.

— Не задерживайся. Подумал — и проваливай!

Мне почудилось, будто Колька подмигнул мне своим подслеповатым глазом. Вслед за мною из очереди выжали Витьку. Он сграбастал пакет обеими руками. В давке Витьку крепко помяли: рубашка наполовину вылезла поверх штанишек, матерчатая звездочка на груди болталась на последней нитке.

Все ребята — и наши и камнедомские — собрались у заднего крыльца церкви, расселись на проросших прошлогодней травой каменных ступенях. Шел оживленный торг: обменивали орехи на пряники, пряники на конфеты... Карманы Никиной куртки были оттопырены — по случаю пасхи его мать расщедрилась и подарила ему полдюжины крашенных яиц. Половину из них он променял на орехи и конфеты.

В наших пакетах тоже лежало по вареному яйцу, и они тоже были покрашены. Только у Ники они были красивыми и разноцветными: зелеными, голубыми, желтыми и пестрыми, а наши одного цвета — густо-бордовые. Краска пропитала скорлупу, окрасила даже внутреннюю пленку и белок. Ника затеял игру биться яйчками: чье окажется крепче, тот победил. Пока я раздумывал, стоит ли испытывать судьбу, появился Щепя.

Как это я, балда, не сообразил, что нам с Витькой лучше всего было держаться подальше. Теперь-то я понял, что там, в столовой, не ошибся — Колька Хомяк в самом деле подмигнул мне. Щепя пришел получить от нас свою долю. Я раскрыл перед ним пакет и похолодел от ожидания. Я не знал точно, сколько с меня причитается. Щепя запустил обе руки внутрь пакета. Взял яйцо, пряник и горсть орехов. Рассовал все это в карманы и потянулся к Витькиному подарку.

Но Витька с отчаянной силой вцепился в бумажный пакет:

— Не дам!

Витька такой, что не уступит. Драки со Щепю теперь не избежать. Я отдал свой пакет Ваське, освободил руки. Но драться в тот день нам не пришлось.

Когда в столовой закончили раздавать подарки, появился Хомяк. Витька втянул голову в плечи. Сейчас его мог лупить кто угодно, он все равно не выпустит пакета — будет реветь и кусаться.

Хомяк щелкал орехами и через плечо небрежно выплевывал шелуху. На нем были длинные брюки с широкими штанинами, которые

по низу немного забахромилась. Хомяк явно фасонил перед нами, нарочно волочил ногу так, что сзади поднималась пыль.

Щепа сразу пожаловался:

— Шкилет зажался.

Я думал, Колька сграбастает Витьку и отберет весь пакет целиком. Тут уж я ничего не смогу поделывать. Нашей заступницы, Ритки, близости не было видно.

— Оставь его, не связывайся,— решил Хомяк, махнув на Витьку рукой.

— Подавись, хлоба! В другой раз фигу получишь,— пообещал Щепа.

Несколько дней спустя на общем собрании тете Зине объявили выговор «за проявленную политическую близорукость», за то, что она очутилась «на поводу у церковников». Эти слова запомнила Катька. Пока в столовой шло собрание, она сидела на кухне, вместо матери чистила на утро картошку. Сквозь дощатую перегородку ей было слышно все.

— Хотела приятное сделать. Помню, сколько у самой было радости в детстве, когда мне дарили крашеные яйца. Дня два бережешь, не ешь — любишься,— оправдывалась тетя Зина.

Под конец она признала, что допустила ошибку, но выговор ей все равно дали и обещали написать о ней заметку в стенную газету.

Вечером того же дня квартиру Жердиных навестили трое активистов из «Золототранса» — две женщины и мужчина. Хотя в руках у мужчины был портфель и одет он был в синие галифе и армейскую гимнастерку, старшим оказался не он. Женщину, которая возглавляла комиссию, я видел и раньше, она часто появлялась у нас. Я запомнил ее по синей кофте с засученными рукавами, стремительной походке и озабоченному лицу.

— Здравствуйте, товарищ Жердина. Пришли обследовать, как живете,— выпалила она.

Похоже было, что тетя Зина немного растерялась, поспешно начала убирать со скамейки приготовленное для стирки белье.

— Смотрите,— сказала она.

Все трое прошли в комнаты, поинтересовались, сколько человек где живет. Вопросы задавала только старшая, мужчина с портфелем и вторая женщина молча сопровождали ее.

Заглянули в комнату к бабе Нюше, покачали головами, увидав икону с лампадкой.

— Что с нее взять — старый человек. Да и никому не мешает,— оправдывалась тетя Зина.

— Примиренчество — вот как это называется,— сказала женщина, и мужчина в галифе кивком согласился с нею.— Только не за этим мы пришли сейчас. Сколько в семье детей?

— Пятеро.

— Старшему сколько?

— Девочка у меня старшая — двенадцать ей.

— Помощников не скоро дождешься.

Собственно, расспрашивать больше было нечего, смотреть тоже — коридор и две комнаты, нового не прибавилось. Мужчина что-то записал себе на заметку, положил в портфель и ушел. А женщина не ушла, осталась побеседовать с тетей Зиной по душам. В комнате вдруг рас-

кричалась Октябрька, и разговаривать стало невозможно. Тетя Зина и женщина ушли на кухню, Катька осталась укачивать девочку.

— Послушай, о чем говорить будут,—шепотом приказала мне Катька,— потом расскажешь.

— Как жить думаешь дальше? — глядя в лицо тете Зине, с места в карьер спросила женщина.— Пятерых не поднимешь. На мужика не рассчитывай — кто тебя с ними возьмет.

— Так что же, в петлю мне? — улыбнулась тетя Зина.

— В петлю? — переспросила женщина, наморщив лоб. Потом, глядя на тетю Зину, тоже рассмеялась.— Нет, насчет петли не выйдет,—погрозила она пальцем.— Грамотная?

— Расписываться умею.

— Вот тебе мой совет — поступай-ка ты на стройку, на завод. Руки сама знаешь как нужны. Походишь в подсобных, а потом сама освоишь дело — специальность будет.

— Так я же не сложа руки сижу — работаю.

— Мыть посуду да чистить картошку без тебя найдутся. Ты вперед заглядывай: учиться надо, специальность осваивать.

— Я разве против? Только куда я от них, за собой поташу?

— Не сразу, а поможем. Ты молодая, здоровая, к работе не привыкать. Самой будет лучше — и заработок, и карточки первой категории, и к общему делу примкнешь.

— Подумаю.

— Думай, да недолго раздумывай. Решай. А теперь о собрании,—круто повернула она разговор на другое.— Обиделась. Может, мы и переборщили с тобой. Выговор переживешь. Свою ошибку пойми. Ты им радости хочешь, а мы нет? Да разве же в крашенных яйцах счастье — в новой жизни, которую сообщаем начинаем. Трудно приходится, это верно. Переживем и поднимем. Не для себя — для них же строим.

Катька ходила по коридорчику, укачивала Октябрьку, а сама вся наострилась, слушала разговор, не очень полагалась на меня — пойму ли я все как надо.

Баба Ньюша явилась совсем некстати — это было видно по тому, как недовольно нахмурилась тетя Зина. Старуха возвратилась из церкви: на ней был черный платок и ее лучшее платье.

Поняла все с одного взгляда и женщина.

— Проходите,— сказала она.

Баба Ньюша присела на лавку и, поджав губы, взглянула на женщину.

— Молитвами не насытишься. Это только в церковных баснях одним хлебом толпу можно накормить,—говорила женщина, не глядя на бабу Ньюшу.— Вот ты, Жердина, говоришь, верующей была, а радостей от этого много имела? Тебя расписываться и то советская власть научила, а не попы. А деги твои уже в школу ходят. Вот и сображай, откуда свет идет. Нас-то с тобою он, может быть, только стороной заденет — для них строим.— Она показала на стриженные головы Витьки и младшего Васькиного брата, которые прилепились возле стола с разинутыми ртами.— И завод и клуб — все для них. Сама выбирай, с кем тебе в ногу шагать.

— Давно уже выбрала,— сказала тетя Зина.

— Права я или не права? — Всем корпусом вдруг обернулась женщина к бабе Ньюше.

Старуха поднялась и молча направилась в свою комнату. У двери остановилась.

— Свет и радости от бога,— сказала она.— Сколько кому нужно, столько и отпускает.

Баба Ньюша плотно притворила за собой дверь.

— Вот, слыхала? А кому сколько отпускалось, сама знаешь. Не очень-то он был щедр для нашего брата.— Женщина тоже встала.— Ты, Жердина, подумай. Хорошенько подумай,— еще раз напомнила она тете Зине на прощанье.

Много вечеров подряд Жердины всей семьей обсуждали, переходить тете Зине на другую работу или оставаться на прежней. Прошел слух, что к зиме столовую могут закрыть. Куда тогда?

Большой набор рабочих шел на строительстве клуба при метзаводе. Главным козырем в пользу нового места были карточки первой категории.

— У них в кооперативе все отоваривают. Даже молоко на детей дают. И уголь в первую очередь. И на одежду скорее можно ордера добиться.

В конце концов эти соображения перевесили: тетя Зина уволилась из столовой, поступила работать на строительство — подносить кирпичи.

Мать тоже не раз поговаривала, что работа в инвалидном доме никаких выгод не дает.

— Главное, жилья вовек не получишь.

Как-то вечером она пришла с работы и сказала:

— Ну, Зина, кажется, выходила я себе место. Последний месяц в инвалидном доме отмажусь.

Оказывается, в конном парке скоро нужен будет человек, чтобы подвозить горячие обеды возчикам, которые работают на товарной станции.

— Обещают квартиру там же, при конном дворе. Не сразу, правда, к осени. Ну да больше терпели — подождем.

Нас с Витькой это известие не обрадовало: переезжать куда-то из жердинской квартиры нам не хотелось. Мы и понять не могли: разве здесь плохо?

* * *

Два последних урока в школе отменили. Вся наша смена высыпала во двор. Выстроились в шеренги, долго выравнивались и пересчитывались. Наше возбуждение нарастало, хотя нам еще не объявили, для чего строят. Остались даже те, кто собирался удрать: вначале нужно было узнать, что будет. Появились горнисты и барабанщики. На них были белые рубашки и галстуки. Вид у них был торжественный и неприступный. Они-то, наверно, знали, что происходит, но молчали.

Нас повели на Тихвинскую площадь. Позади растянувшегося строя двигалась подвода, груженная лопатами. Они беспрестанно брнчали, заглушая барабан и горны.

На площадь уже были привезены и свалены возами тополиные ростки. Нам поручили вырыть ямки и посадить жидкие и ломкие прутья. Пришли не одни мы — вокруг площади стояли и огряды из других школ

Нашему классу достался угол площади, обращенный к костелу.

Ростки были такими хилыми и тонкими, что затея эта представлялась мне напрасной. Однако лопату я взял и стал копать землю вместе с другими ребятами.

К моему удивлению, летом почти все саженцы принялись и зазеленели. Лишь немногие из них зачахли.

* * *

В ожидании карточек первой категории Жердиным пришлось потуже затянуть ремни. Отпал и приработок — стирка. На работе тетя Зина изматывалась, приходила усталая, а Катьке хватало дел помогать бабе Нюше по дому. Всех заказчиков, которых обстирывали Жердины, забрала Ритка: ей хотелось заработать к зиме на валенки.

Ревунью Октябринку никак не могли отвадить от материной груди. Хлебную тюрю в тряпочке она хотя и сосала, но все равно исходила от крика, требовала молока. В обед Катька таскала ее на стройку к матери. Иногда они так и оставались там до вечера.

Выкупать хлеб по карточкам должен был Васька. Мы частенько ходили с ним вместе. Магазин был недалеко от стройки, где работала Васькина мать.

Выстаивать бесконечную очередь одному было мучительно, Васька звал меня с собой. Тетя Зина позволяла нам съедать небольшие привески. Васька по-честному делился со мною. Потом мы пошли на стройку

Конный обоз растянулся вдоль квартала. Разморенные жарою кони едва плелись посредине улицы. Чалый ломовик размеренно переступал ногами. Копыта неслышно пухали по мягкому слою пыли. Усатый мужик, с головы до ног будто обсыпанный мукою, сидел не шелохнувшись на телеге и не трогал вожжей. На остальных подводах через одну в таком же дремотном оцепенении сидели другие возчики.

Это везли кирпичи на стройку.

Мы с Васькой обогнали обоз. Катька издали увидела нас, крикнула матери — та с напарницею, обе в одинаково по самый лоб повязанных косынках, тащили наверх по деревянным сходням носилки с раствором. Октябринка беззаботно дрыхнула у Катьки на руках.

— Опять стрескали! — накинулась на Ваську сестра.

— Не было большого довеска — малюсенький, — уверял Васька. — Спроси у Серьги.

— А то он правду скажет, твой Серьга, дождайся.

Я помалкивал. По правде сказать, довесок, который достался нам, не стоил Катькиного гнева. Да и напустилась она на брата скорее просто для порядку. Проснулась Октябринка, и Катька начала укачивать ее на руках. Нужно было усыпить ее прежде, чем она разревется. Для острастки Катька молчаливо зыркнула на Ваську и ушла в тень. Здесь двое малышей строили башню из песка, приготовленного для раствора. Острая макушка башни все время рассыпалась, и они начинали строить заново. В тени настила сидела девочка постарше, лет пяти, и, подражая Катьке, убаюкивала лысую куклу. Рядом на кирпичах лежал незаконченный венок из одуванчиков.

— Кать... Кать... — время от времени ныла девочка.

— Ох ты, мое горюшко, — говорила Катька, закатывая глаза. — Доплетай сама, я тебе показала.

— Не выходит.

— Учись. Тоже мне, развели детский сад, — обращаясь за сочувствием к нам, пожаловалась Катька. — Наплодят, а я отдувайся.

Многие детные женщины, которые работали на стройке, приводили с собою ребятешек. Катьке приходилось шефствовать над безнадзорной мелюзгою.

Обоз с кирпичом завернул на стройку. Душное облако, медленно оседая, расплылось по захламленной ограде. Накаленный воздух першил в горле.

Усатый возчик спрыгнул с телеги.

— Эй, отчаянные, шабашить пора! — задрал голову кверху, крикнул он.

— Спасибо — напомнил, — отозвалась сверху напарница тети Зины.

Подводы заполнили всю ограду. Видно, никому не хотелось начинать разгрузку в этом пекле: возчики собрались в тень на перекур. На лесах работа тоже остановилась. Женщины достали узелки с едою. Малыши бросили недостроенную башню. Октябринка, будто только и ждала этого, разревелась во всю мочь.

Тетя Зина взяла ее у Катьки и отвернулась от мужиков к незаконченной кирпичной стене будущего клуба.

Усатый возчик оказался неумным: все время приставал к женщинам с шутками и сам хохотал больше всех.

Видимо, была какая-то непонятная связь между словами, какие выкрикивал он, и тем, что делала тетя Зина. Остальные женщины и мужики попеременно поглядывали на них обоих. Катька с неприязнью и подозрительностью косилась на хорохористого мужика.

Должно быть, у Катьки были серьезные основания не доверять усатому: ей было известно много больше, чем нам.

Вскоре дядя Кеша — так звали усатого возчика — поселился у Жердиных. За полтора месяца, которые он прожил в одной квартире с нами, мы все возненавидели его. Он был капризным и раздражительным. Возвратясь с работы, заставлял Ваську стягивать с себя сапоги, босиком садился к столу и в одиночку съедал свой обед. Баба Ньюша готовила ему отдельно из его пайка. Закуривал и ложился на постель. Засыпал с папиросою в руке. При нем все ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. Если кто будил его, дядя Кеша швырял в нарушителя сапогом. Рука у него была точная, он никогда не промахивался.

— Ну, мамка, ну, мамка, — как-то даже не по-взрослому, по-старушечьи сетовала Катька, осуждая тетю Зину. — Мало ей пятерых ртов, шестого захотела. Кормить небось самой придется. Усатый, что ли, станет — дождайся.

На этот раз ее пророчество сбылось. Вскоре дядя Кеша навсегда исчез из дому, а через несколько месяцев тете Зине пришлось оставить стройку — подыскивать посильную для беременной работу.

* * *

Старый каменный дом сгорел в тридцать третьем году. Пожара я не видел: мы к тому времени переехали на другую квартиру, в конный парк, — но я хорошо представлял себе это зрелище. Огонь со стоном вырывался из окон, все гудело и трещало. Гаснущие искры кружились в вышине. Стрижи с пронзительным криком пытались защитить свои гнущие гнезда и падали наземь с обожженными перьями. Пожарная команда сражалась с огнем. Деревянный дом отстояли, не дали перекинуться огню. Жертв не было. Сгорели конторские бумаги на втором этаже да рваные тюфяки и сосновые топчаны, обжитые клопами и тараканами в заселенных подвалах.

После пожара опаленный остов долго возвышался посреди затихшего двора. Спустя год или два на месте каменного дома начали строить хлебозавод. Тогда же из-за нехватки жилья приспособили под общежитие Старый собор. Служба в нем прекратилась еще до этого.

Сейчас уже невозможно припомнить всех перемен, происходивших в этом квартале. Помню — мы еще жили у Жердиных, — наш дом отгородили забором. Дощатые зубья торчали перед самыми окнами. Позади забора возвели склады. Они простояли до самой войны и служили еще в войну. Сейчас от них не осталось и следа.

Не сохранилось в памяти, когда убрали арку и Московские ворота. Помню только, как взрывали большой собор на Тихвинской площади..

* * *

Соборную церковь взрывали летом. В ближних домах окна закрыли ставнями, позаклеивали газетами, чтобы не вышибло ударной волной. На перекрестках улиц, ведущих к собору, дежурили постовые, никого не пускали.

Про то, что церковь готовятся взрывать, слухи ходили давно. Мы едва дождались этого дня.

Почти все пацаны из нашего двора прятались под аркою на берегу Ангары. Милиционеру надоело прогонять нас, он удовлетворился тем, что мы не лезли ближе.

На паперти Старого собора толпились старухи и нищие, должно быть, со всего города. В смутении и ужасе смотрели они на пятиглавую громаду соборной церкви. С берега виден был весь собор, не было видно только одного купола на фронтальной стороне. Над церковью уже поставились — в ней давно не справляли служб, — наверху центрального купола зияли щели окон, в них кое-где посверкивали обломки разбитых стекол. И все же собор выглядел несокрушимой машиной. Коричневый цвет придавал ему мрачный вид, утяжелял стены.

Обеспокоенные стрижи кружились над своими гнездами — ими были сплошь облеплены карнизы и выступы куполов. Воздух оглашался их криками.

Народ на паперти Старого собора прибывал. В полумраке притвора маячила золоченая риза. Видимо, и сам поп томился ожиданием.

Ухнул первый взрыв. Хлесткая волна прокатилась над Ангарой. Густое облако взметнулось над центральным куполом. Пыль еще не осела, когда снова дважды гроыхнуло. Запах пороховой гари и кирпичного крошева принесло к берегу. Пыль опустилась, видна стала искореженная взрывами громоздкая туша церкви. Непривычно, дико было смотреть на обезглавленный, лишенный куполов собор. Черные клубы то застилали, то обнажали кирпичную кладку, оголенную от штукатурки и извести. Стены собора будто кровоточили. Из пыльного хаоса слышались отчаянные крики птиц.

— Конец света! — вопил на паперти старик, колотя тяжелой палкой по каменным плитам. Всклопоченная борода тряслась, из-под бровей сверкали маленькие круглые глаза.

* * *

— Конец света пришел!

Лицо бабы Ньюши помрачнело, взгляд стал тяжелым и неподвижным. Если бы не тетя Зина, она обварила бы себе руки, когда нацеживала кипяток из самовара.

— Не пугай — пуганые. Не конец света, а начало, — осадил ее тетя Зина.

— Хорошенькое начало.

Баба Ньюша придвинула к себе чашку с блюдцем и надолго окостенела.

— Начало, — заверила тетя Зина. — Что это с тобою: сидишь, словно не живая?

— Слягу я, не переживу.

— Переживешь. Придумали сами себе: конец света. Не света конец, а темноты.

Нинка добаловалась — уронила на пол эмалированное блюдо. Баба Нюша хлестнула ее по рукам, та надулась и полезла под стол.

— В перерыв приходил лектор. Молодой такой, бойкий, — рассказывала тетя Зина. — Бабы его вопросами закидали, он от нас, как от мух, отбивался. Скажет слово — всех рассмешит.

— Чем веселиться, подумала бы лучше о них. — Баба Нюша показала на ребяташек.

— А то не о них думаем? Для себя строим? Для них и будет. Для кого же? Посмотришь еще, как заживем.

— Давно обещаешь — когда исполнится? Может, когда завод свой постронте?

— И завод тоже. С него, может, и начнется новая жизнь.

— Началось уже. Собор кому помешал? В него люди ходили, утешение было.

— В клуб будут ходить. К зиме достроим. Кирпичи от собора на клуб и пойдут.

— Не переживу я, — снова пожаловалась баба Нюша. У нее в самом деле тряслись руки, и, когда она подносила ко рту блюдечко, горячий чай расплескивался ей на колени, но она даже не замечала этого.

* * *

Вскоре она слегла всерьез. Несколько дней не показывалась из своей комнатки. Одна Катька не управлялась в доме, тем более что половину дня она проводила с Октябринкою.

На этот раз нам с Васькой выпало нелегкое задание — вымыть полы. Я заполз с мокрою тряпкой под большую жердинскую кровать, как раз когда тетя Зина вошла в комнатку к бабе Нюше. Через дверь, которая никогда не открывалась — по обе стороны от нее стояли кровати, — мне хорошо был слышен весь разговор.

— Может, доктора позвать? — спросила тетя Зина.

— Чего уж, — тусклым голосом ответила старуха. — Доктор мне годов не убавит. Ты вот послушай, Зинка. — Баба Нюша перешла на быстрый и горячий шепот: — Тут у меня маленько сохранилось — золотой один, серьги да колечко... Серьги — пустяк: дутыши. А золотой — червонное золото, монетное. На похороны берегу. Смотри, чтобы крест на могилке был как положено.

— Да мне-то что. Крест так крест, — пообещала тетя Зина.

— Оградку бы еще, — жалобно просила баба Нюша, — оградку и кустик. Рябинку бы посадить.

— Тебе не все равно, что там после будет? Да ладно, ладно. Поставим оградку.

— Смотри, Зинка, греха не возьми на душу. Крест непременно чтобы был.

— За попом-то посылать, что ли?

— Тебе уж и не терпится, — укорила баба Нюша. — Придет время — скажу.

— Измучилась я, — пожаловалась тетя Зина.

* * *

— Дура мамка будет, если послушается. Золото — на оградку. За чем ей оградка? В торгсине можно и колбасы и масла купить или куль муки — на всю зиму хватит, — прикидывала Катька. — Скорее бы уже попа звала!

Посылать за попом не понадобилось: вскоре баба Ньюша поднялась на ноги.

Катька попыталась сама найти золотые вещи среди старухино добра. Нам с Васькой она призналась:

— Все обшарила — нигде. Руки только об иголки наколола. У-у, чертова ведьма!

Следы Катькиного обыска баба Ньюша обнаружила в тот же день.

— Все как есть перебуторили — рылись, — нажаловалась она тете Зине.

— Потерялось что-нибудь?

— Нет вроде. Гребешка вот только не найду.

Жесткий взгляд тети Зины заставил Катьку съежиться.

— Не брала! Ей-богу, не брала, — клялась Катька, но тетя Зина уже искала в угловике старый отцовский ремень.

Гребешок Катька возвратила, но от выволочки это ее не спасло. Под горячую руку досталось Ваське и мне.

— Без вас тут не обошлось, — рассудила тетя Зина.

* * *

Взорванный собор упорно сопротивлялся истреблению. Кирпичи в его стенах так крепко были связаны раствором, что их легче было разломить, чем отделить друг от друга. Груды обломков и ни на что не годного лома долгие еще возвышались на этом месте. Мелкая крошка и кирпичный бой пошли на бутровку площади.

Соборная ограда пустовала недолго, скоро в ней появились дощатые времянки и навесы. Во двор заезжали грузовики. Машины простаивали там всю ночь. Должно быть, это был летний гараж. Мы с Васькой приохотились кататься на порожних машинах. Поджидали грузовик, выходивший из ворот, и заскакивали в кузов, пока он еще не набрал скорость. Пожалуй, это было самое увлекательное и рискованное занятие. Шоферы не больно-то потакали нашей забаве. Если машина внезапно начинала тормозить, лучше было выпрыгивать и бежать без оглядки.

Перед понтонным мостом или же перед мостом через Ушаковку мы обычно соскакивали с грузовика — зависело это от того, куда направлялась машина. Назад возвращались пешком или же подкарауливали обратную машину.

Однажды мы попали в беду: зазевались и выпрыгнули из кузова уже посреди двора, в окружении шоферов и мужиков, работающих на разборке битого кирпича. Нам надрали уши, потом заперли в пустой сарай. Помню запах бензина, кирпичной и цементной пыли, проникавший в щели, чувство своей вины и голод, мучивший нас почему-то много сильнее, чем в дни, когда мы были на свободе.

* * *

В городе начались эпидемии. Занятия в школах прервались. Наш двор пострадал особенно сильно, в первую очередь камнедомские — в тесных, забитых подвалах там свирепствовали брюшник и скарлатина. Вначале похоронили Щепу, а вскоре снесли еще двоих.

К нам приехал врач и сестра делать прививки. Они расположились в кухне, поставили на плите свой кипятильник со шприцами и иголками. До этого мне делали только прививку от оспы. Этот укол оказался намного больнее. Иголку вогнали под лопатку, и после этого там сразу одеревенело, тупая ноющая боль не отпускала до самого вечера. Нику мать уложила даже в постель, ставила ему на голову холодные компрессы.

Только и уколы не спасли всех. Тиф и скарлатина пришли к нам. У Витьки поднялась температура, его начало знобить. Он стал плаксивым. Вечером даже от еды отказался. Мать встревожилась и утром не пошла на работу. Я заглядывал в бабы-нюшину комнату, где положили Витьку. Он не узнавал меня. Ему ни до кого не было дела. Накануне я крепко поколотил его, и теперь меня грызло раскаяние: не отшиб ли я Витьке печенки? Может быть, он от этого и слег в постель?

Вечером приехал врач, осмотрел Витьку. Утром его увезли в больницу.

В тот же день загундосила Нинка — у нее тоже поднялась температура. Снова кинулись за врачом. Он признал не тиф, а истощение.

— Нужно усиленное питание.

— Может, каких-нибудь порошков пропишете,— упрашивала тетя Зина.

Доктор был неумолим:

— Лекарства не помогут.

Катька мобилизовала нас с Васькой перекапывать на второй ряд поповскую картошку. Земля сверху промерзла и с трудом поддавалась нашим усилиям. Мы добыли всего несколько замерзших картофелин. Они не пропали — тетя Зина добавила их в суп. Но вряд ли эта добавка могла спасти Нинку от истощения.

Неожиданная выручка пришла от бабы Ньюши. Никто на нее не рассчитывал. Утром она отдала тете Зине золотое кольцо и серьги.

* * *

В торгсин отправились чуть ли не всем семейством. Васька звал меня, но я не пошел: подумают, что увязался специально, чтобы выключить подачку. Втайне я надеялся, что тетя Зина и так не позабудет меня — уж самый тонюсенький кружок колбасы да отрежет.

Однако ни колбасы, ни печенья, ни конфет, как я рассчитывал, не взяли — купили муки, немного сахара и масла.

Васька рассказал мне, как они вчетвером ходили от прилавка к прилавку, смотрели подряд на все цены и облизывались. Васька и Вовка канючили:

— Мам, купи колбасы.

— Один пряничек.

Наконец тетя Зина выбила в кассе чек за муку и сахар. Немного масла взяли для Нинки.

Так мне и не пришлось попробовать торгсиновской колбасы.

* * *

Ритка принесла показать купленные на барахолке валенки. Обнова была что надо! Никакой мороз не был теперь страшен Ритке. Валенки, правда, были изрядно ношенные, подошва подшита кожей, и задники тоже поставлены из кожи. Но валенки были выбраны с запасом на вырост, внутрь можно было подкладывать войлочную стельку. От зависти у Катьки изменился голос:

— Ты просто счастливая, Ритка, самая счастливая!

По Риткиному лицу было видно, как ей не терпится, чтобы поскорее выпал на дворе первый снег и можно было пофорсить в обновке.

Но снегу Ритка так и не дождалась: первые в ее жизни валенки остались ненадеванными.

Ритку увезли в ту же больницу, где лежал Витька, и умерли они в один день.

* * *

В конном парке нам выделили подводку. На нее поставили два детских гроба, один побольше, другой совсем маленький. От них пахло сосновой стружкой.

Последние дни той осени больше были похожи на весну. Днем сильно припекало, и сухие травы источали горький аромат. На телеге нас сидело четверо: неразговорчивый возчик, Риткина тетка и мы с матерью. Когда выехали из двора, на подводку запрыгнул еще один мужик, которого раньше я никогда не видел. Он сопровождал нас до самой больницы и за все время произнес не больше трех слов.

Позднее я узнал, что это был Риткин отец. Он нисколько не походил на того гусара-мужчину, про которого часто вспоминала Ритка.

Выехали на булыжную мостовую. От тряски телегу лихорадило, гробики подскакивали, и пустота внутри них отзывалась тихим гулом. Точно такой звук издавали Витькины ребра, когда я поддавал ему тумачи. Удивительно, что меня до сих пор не изобличили, никто не считает меня виновным в Витькиной смерти. Сознание своей вины грызло меня. Я укорял себя, что жалел для него несчастную пайку хлеба — половину и то не всегда выносил из столовой. Может быть, тогда он не был бы таким тощим и легче перенес бы мои колотушки.

Чистое небо было, как никогда, высоким, прозрачный купол охватывал весь город и окрестные горы, которые виднелись поразительно четко: на гребне можно было различить каждое дерево по отдельности. Старые тополя по обочинам улицы обметены были не чисто, потерявшие желтизну жухлые листья болтались на голых ветках обвислыми мочками. В тени мягко голубели нерастаявшие клинья выпавшего ночью снега. Из-под него вытаивал палый лист. Позади высокого забора на улице протянулись ветви рябины. Тяжелые гроздья сочно атели на фоне дощатого ската крыши. Может быть, впервые я ощутил, как беспределен мир и как мало места в нем занимает наш двор.

Смутные чувства тревожили меня, я старался сильнее разбередить в себе жалость к Витьке — до сдавленных слез мучился и наслаждался этой незатихающей болью.

* * *

На этот раз семью Жердиных беда обошла стороной: Нинка вскоре поднялась на ноги. Понемногу все пришло в прежнее равновесие. Шестого рта на руки тети Зины не прибавилось — она приняла меры. Она освоила штукатурное дело и работала в тепле. Ее мечтой стало научиться на мастера.

— На сколько еще меня хватит тяжести ворочать? Лет на десять, — прикидывала она. — А жить надо больше, чтобы всех поднять.

Но для этого, кроме навыка и природной смекалки, нужно было постичь грамоту — придется самой наряды закрывать и в схемах на чертежах разбираться. Она записалась на вечерние курсы ликбеза при заводе. И хотя вырваться на занятия ей удавалось не всякий раз, учение у нее продвигалось успешно. Читать она научилась быстро. Хуже было с письмом — буквы у нее выходили не чище Нинкиных каракулей. Но тетя Зина не унывала:

— Кому надо, разберет.

Баба Нюша совсем сдала. Единственное, с чем она еще справлялась — развлекала Октябринку.

— Выучу, чтобы горшок за собой убирала, — и на покой уйду, — обещала она.

Вскоре для меня настал тягостный день. Матери на новой работе дали комнату в коммунальной квартире, и за нами прислали подводку. Васька провожал меня до рабочедомского моста.

Стужа сковала землю, колеса телеги громыхали по застывшей грязи, словно по камням. Мы проехали мимо школы. Расставаться с ней мне так же не хотелось, как с жердинской квартирой и нашим двором. Я не представлял себе другой школы и других ребят. Другое дело, если бы нас перевели учиться вместе с Васькой.

Мы миновали знакомую стройку, где работала тетя Зина. Позади извилистого забора поднялся кирпичный остов будущего клуба. Основные работы велись уже внутри здания.

Дальше начались заводские корпуса. Сам завод тогда тоже еще только строился и обновлялся. Сквозь высокие решетчатые окна старого литейного цеха виднелся сполохи пламени, слышался деловой лязг и грохот работающего завода. Здесь и выплавлялся металл, про который тетя Зина сказала однажды:

— Из него все можно выковать. Это — наш металл.

Завод остался позади, дальше шли края, еще не изученные мною.

* * *

На этом кончилась пора моего детства, связанная со старым двором на берегу Ангары.

Тогда мы с Васькой Жердиным не знали еще всех испытаний, какие выпадут нам, и расставание казалось бедою, хуже которой трудно придумать.

С войны он не возвратился, как не возвратились многие из наших сверстников. Мне не пришлось увидеться с ним, когда мы оба стали взрослыми. Мы бы, наверно, посмеялись над тем, какие грустные были у нас лица, когда мы прощались с ним возле деревянного моста через Ушаковку.

На фронте побывал и младший Васькин брат, Витькин одногодок. Его взяли перед самым концом войны. Он к этому времени выучился на токаря и работал на машиностроительном заводе. Ему повезло: он вернулся целым и невредимым.

* * *

Фанерная досочка, прибитая на запертых воротах у старой церкви, гласила: «Реставрацию храма Богоявления ведет СМУ... прораб... бригадир...»

Неожиданным для меня было название церкви: в пору моего детства про нее все говорили: Старый собор — в отличие от нового, который стоял на площади.

К автобусной остановке я возвращался той же дорогой, мимо хлебозавода и Спасской церкви. Перед заводскою оградой на прежнем пустыре теперь посажены деревья и разбиты цветочные клумбы. О том, как было здесь около сорока лет назад, сейчас мало кто и помнит. А тогда мы не только слышали, что Иркутск строился на болоте, — сами видели остатки первобытной хляби, в которой в слякотную пору вязли телеги и лошади. Сколько же всего утрамбовано под нынешний асфальт?

От автобусной остановки Старого собора не видно, можно любоваться только Спасской церковью. Правда, любоваться сейчас было нечем. Одна из церковных вершин стояла одетая лесами. Видимо, церковью занималось то же самое СМУ, которое реставрировало соседний храм: и тут и там ремонтные работы продвигались одинаково медленно. Если не ошибаюсь, строительные подмости закрывают церковный купол около полутора лет, а никакого движения на них незаметно и по сей день.

Но когда лесов не было, старинная церквушка простотою своего легкого очерка удачно смягчала глыбовую тяжесть серого здания, стоящего в торце площади.

От прежнего окружения, какое было здесь еще на моей памяти, сохранилось немного — три-четыре дома. Да и они потерялись в строю новых зданий.

Человек, искушенный в смене различных веяний, какие пережила наша архитектура за последние сорок лет, отыщет здесь все: наивный и нерасчетливый конструктивизм тридцатых годов, декоративные башенки первых послевоенных лет, увенчанные шпилями, высоченные и грозные лжеколонны пятидесятих годов... Есть тут и здание, захваченное на распутье: строить начали до постановления об архитектурных излишествах, а заканчивали после. Есть и последние образцы — просторные оконные фасады, не раздробленные второстепенными деталями, — взгляд схватывает их как одно целое. Новый стиль настолько покорила наших градостроителей, что они спешно перелицевали под стекольные витрины фасады еще двух домов, построенных несколько раньше. Общий вид застроек от этого и в самом деле много выиграл.

Теперь и сама площадь стала неузнаваемой. Общий пустырь, выровненный битым кирпичом, давно позабылся — на его месте разбит сквер с асфальтированными дорожками, с фонтаном... Такой сквер может украсить любой город. Тополя, когда-то посаженные нашими руками, опоясывают его двумя лесными рядами. Лишь кое-где ряды разорваны — на этом месте саженцам не дали окрепнуть и вырасти.

Пришел мой автобус. Когда он разворачивался на углу площади, мне еще раз открылся вид на Старый собор. Мысленно я простился с ним. Теперь я уже не скоро соберусь навестить этот квартал.

Иркутск,



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

27 января 1971 года исполняется восемьдесят лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга.

Илья Эренбург начинал как поэт и на протяжении всей своей жизни не переставал писать стихи.

Стихотворения, предлагаемые вниманию читателя, написаны в разные годы. Они не были опубликованы ни при жизни автора, ни посмертно.

РОССИЯ

Когда в пургу ворвутся кони,
Она благословит бойца,
Ее горячие ладони
Коснутся смутного лица.
Она для сердца больше значит,
Чем все обеты, все пути.
И если дерево — на мачты,
И если камень — улети,
И если не пройти — тараном,
И если смерть — переступи
И стой один седым курганом
В пустой заснеженной степи.
Ты видишь, выйдя из окопа,—
Она, оснащена тобой,
Пересекает ночь Европы.
И сквозь тяжелый, долгий бой,
Сквозь зарева туман кровавый
Ты видишь, под большой луной,
Броню тяжелую державы
И хлопя пены кружевной.

[1943]

* * *

Та заморская чужая сырость,
Желтизна туманов заводских.
Он по щучьему веленью вырос
И с рожденья походил на стих.
До чего прекрасен он и страшен!
Двух столетий слава и порфир,
И чахоточных чиновниц кашель,

Что, как песня, обошел весь мир.
Пробирались по земле промерзлой,
Не видали в темноте ни зги,
И стучали азбукою морзе
Первые путиловцев шаги.
Город, вытканый из длинных линий.
Кони вздыблены, им не помочь,
Их до времени состарил иней,
И поводья подхватила ночь.

Янв. 1941.

В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ

О, дайте вечность мне,— и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

И. Анненский.

В печальном парке, где теперь зола,
Она еще по-прежнему бела.
Ее богиней мира называли,
Она стоит на том же пьедестале.
Ее обидели давным-давно.
Она из мрамора, ей все равно.
Дворца скелет и мертвая голубка.
А сердце не из камня, сердце хрупко,
Нет вечности, но только белый свет,
И не на что менять, и мира нет —
Осколок мрамора, а рядом пепел.
Прикрой его, листва: он слишком светел.

[1945]

* * *

Что за дурацкая игра?
Все только слышится и кажется.
А стих пристанет — до утра
Не замолчит и не отвяжется.
Другие спят, а ты не спи,
Как кот ученый на цепи.
Всю жизнь прожить в каком-то поезде,
Разгадывая стук колес,
Откроется, и сразу скроется,
И ночью доведет до слез,
Послышится и померещится
Тень на стене, разводы, трещина.
Песчинки, сжатые в руке,
Слова о доблести, о храбрости.
А ты, как рыба на песке,
Все шевели сухими жабрами.

[1947]

* * *

У маленькой речушки на закате,
 Закинув удочку, сидел мечтатель
 И, отдыхая от своих тревог,
 Глядел на неподвижный поплавок.
 Он смутно думал: тонет луг в тумане,
 Возможно, завтра и меня не станет,
 Но будет снова тот же летний день,
 И та же рябь реки, и та же лень.
 О вечности он думал смутно, вяло.
 А рядом на песочке трепетала
 Им пойманная рыба. Где вода?
 Ее не будет больше никогда.
 Дышать она пыталась. Слишком поздно:
 Не для нее сухой и грозный воздух.
 Вздымались жабры. Белый жег песок.
 Мечтатель все глядел на поплавок.

[1947]

* * *

Мне все мерещится одна
 Большого полдня тишина,
 И те же блики от каштана,
 И тот же зной, как мед, густой,
 Кувшин, а рядом два стакана,
 Один с вином, другой пустой.
 Обычно отвечают: «Ба,
 Что тут попишешь, не судьба...»
 Уж больше ничего не будет,
 Теперь и вспоминать смешно,
 А все мерещится одно:
 Так и ушел и не пригубил...

[1947]

ФРАНЦИЯ

1

Дорога вьется, тянет, тянется —
 Заборы, люди, города.
 И вдруг одно: а где же Франция?
 Запраталась она куда?
 Бретань, и море в злобе щерится,
 И скалы рвет огромный вал.
 Разлука ли? Мне все не верится,
 Что эти руки целовал.
 Не улыбнешься, не расплачешься,
 А вспомнишь, закричишь со сна —
 Парижа позднее ребячество,

Его туманная весна,
В цветах, в огнях, в соленой сырости...
Я не спрошу, что стало с ним,
Другие девушки там выросли
И улыбаются другим.
Так сделан человек: расстанется,
Все заметет тяжелый снег.
И я как все. А где же Франция?
Я выдумал ее во сне.
Но ты не говори о верности,
Я верен — только не себе —
Тому, что бьется, вьется, вертится —
Своей тоске, своей судьбе.

2

Читаешь, пишешь, говоришь,
И вдруг встает былой Париж,
Огромный, огненный, живой,
С горячей мокрой синевой.
Как он сумел прийти сюда?
Ходить — не ходят города,
Им тяжело, у них дома.
И кто из нас сошел с ума?
Тот город, что, забыв про честь,
Готов в любое сердце влезть,
Готов смутить любой покой
Своей шарманочной тоской,
Сошел ли город тот с ума,
Сошли ли с мест своих дома?
Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает все кругом,
Сквозь сон, сквозь чашу мутных лет,
Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда — все в тот Париж?

[1947]

ПАРИЖ — ТОКИО*(Мысли в пути)*

Были когда-то небеса для влюбленных,
Плыли облака от луны до солнца,
Звезда с звездой встречались, прощались,
И одна на землю падала в печали.
Стали небеса проезжей дорогой,
От взлета до посадки четыре бутерброда.
Говорят о делах, деловито дремлют,
Порой, зевая, смотрят на землю.

Господа вселенной от взлета до посадки
Хвастают успехами, клянут неполадки,
Вспоминают расходы, расставляют цифры,
Спорщики спорят, ревнуют ревнивцы.
Облака под ними — грязная вата,
Под ватой и они живали когда-то.
Что им звезды? Незачем ломаться.
Видели они немало декораций.

Если радисту радист не ответит,
Если сядет самолет на чужой планете,
Слегка удивятся, спросят кого-то,
Сколько им дивиться — от посадки до взлета,
А потом займутся своими делами —
Пуском машин или грустными глазами
Той, что осталась на другой планете,
Что вчера провожала, а завтра не встретит.
Вынуты блокноты — догадки, подсчеты.
Споры продолжаются — от посадки до взлета.
Четыре бутерброда... Летят на землю.
Падает звезда. Великое племя!

[1958]



АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ

Норман Мейлер (род. в 1923 году) — один из крупнейших современных американских писателей, автор нескольких романов, из которых наиболее широкую известность получил первый — «Нагие и мертвые» (1948), публицистических книг: «Почему мы во Вьетнаме» (1967), «Майами и осада Чикаго» (1968) и др. Флэннери О'Коннор (1925—1964) — известная американская писательница, автор романов, посвященных жизни американского Юга («Мудрая кровь», 1952, и др.). Наибольшей популярностью пользуются ее рассказы.

НОРМАН МЕЙЛЕР

★

Мертвый филиппинец

Полк был рассредоточен на площади около двадцати миль в длину и не меньше десяти в глубину. Пожалуй, участок этот нельзя было назвать фронтом, под фронтом обычно понимают другое. Где-то располагался боевой пост, состоящий из десяти человек, на расстоянии мили от него взвод из тридцати—сорока солдат, немного глубже штаб и штабная рота, и снова какая-то часть, и опять боевой пост... Здесь, в этом районе Филиппин, несколько тысяч американских солдат, разбросанных отрядами в десять, двадцать, пятьдесят человек по горам и предгорьям острова, должны были воевать примерно с таким же количеством японцев, засевших такими же, как и они, группами на контролирующих местность высотах или подстерегающих своих врагов в тропических зарослях долин и по берегам речушек. Столкновения происходили очень редко. Если бы одна из армий решила перейти в наступление и добавила к уже имеющимся еще один полк, все изменилось бы в мгновение ока, но исход операции решался не здесь. Прошел месяц, еще месяц, кончилась теплая и мягкая филиппинская зима, начались весенние тропические дожди, а части и отряды этих разобщенных войск по-прежнему изо дня в день лишь выставляли друг против друга дозоры, которые по многу часов шагали по рисовым полям, поднимались на холмы, шли по узким долинам рек, продирались сквозь заросли джунглей, — люди проходили десять, пятнадцать, двадцать миль в день и, как правило, не обнаруживали ничего подозрительного.

Это был не фронт, а полный хаос позиций и укреплений, они появлялись в самых неожиданных местах, причем японцы часто располагались на территории американцев, а американцы — на территории японцев. Крошечные отряды, посылаемые с дозором и в сторону противника, и в сторону тыла, кружили каждый по своему участку и почти не встречались друг с другом.

Конечно, все могло быть гораздо хуже. Потерь было мало, а снабжали всем необходимым регулярно. На многие посты привозили горячую еду из тыла, а некоторые части вообще стояли в филиппинских деревнях и люди спали под крышей. Но раем эту жизнь тоже никто бы не назвал. Почти ежедневно каждому приходилось идти в дозор, и хотя в дозорах, как правило, ничего не происходило, дело это было нелегкое. Отряд выходил из лагеря в восемь утра и возвращался самое раннее к шести вечера. Утром солдат жгло солнце, в полдень на них обру-

шивался дождь. В облепленных комьями земли сапогах они как заведенные ходили по одному и тому же кругу, карабкаясь на склоны и спускаясь вниз, и все-таки каждый нес не меньше двадцати пяти фунтов груза. У каждого была винтовка, на поясе с полным запасом патронов висели две гранаты, крест-накрест через плечо ленты с подсумками, сбоку фляжка с водой, в нагрудном кармане коробка с сухим пайком, врезающаяся в тело острыми углами. В отдельности все вещи были не тяжелые, но вместе составляли солидный вес. С ним пришлось бы попотеть на охоте даже сильному, здоровому мужчине, а ведь люди, которые носили его изо дня в день, не были ни сильными, ни здоровыми, их мучила хроническая малярия, дизентерия, желтуха, донимали лишай и язвы на ногах.

Изнуряло однообразие. Опасность существовала, но далекая, неопределенная, иногда случалось и какое-нибудь происшествие, но так редко. Люди здесь не знали ничего, кроме работы, работы нескончаемой, тягостной и отвратительной. Но они не роптали: конечно, где-то было лучше, но где-то и хуже, во много раз хуже, и те, кто служил за границей не первый год и воевал не первую войну, считали, что им, в общем, повезло и чем их жизнь однообразней и тише, тем лучше.

В одно жаркое весеннее утро третье отделение первого взвода роты «В» готовилось к выходу в дозор. За последние два месяца число людей в отделении сократилось с двенадцати до семи — четверо заболели, одного убили, — и так как двое оставались охранять пост и поддерживать связь по телефону, то обязанности десяти человек, из которых теоретически должен состоять патруль, распределяли между собой пятеро. В условиях, когда военные действия ведутся более заинтересованно, подобное нарушение сочли бы, во-первых, недопустимым риском, а во-вторых, вопиющей несправедливостью. — Здесь с этим легко мирились, хоть и ворчали. Опасность, что что-то произойдет именно тогда, когда людей чуть не в половину меньше, конечно, была, но ведь отряд уже давно действовал в составе пяти человек, и ни разу еще ничего не произошло, поэтому больше всего солдаты сетовали, что им не дают передохнуть. И если бы начальство прислало им, как всегда неожиданно-негаданно, пополнение, они скорее всего продолжали бы выходить в обход по пять человек и следующий день отдыхать.

Сегодня с ними должны были идти четверо филиппинцев. Они появились в конце долины, лежащей у подножия холма, и приближались к сторожевому посту в своих белых рубашках и синих штанах, не принимая никаких мер предосторожности, словно хотели, чтобы их узнали. Командиру отделения сержанту Лукасу рано утром сообщили о них по телефону, и, когда они показались, он не удивился: «Ага, вот и они. Собирайтесь, ребята».

Те, кто пойдет сегодня в обход, — он уже назвал их — начали снаряжаться. Через несколько минут сержант и четыре солдата спустились по заросшему высокой травой склону и двинулись через рисовое поле навстречу филиппинцам.

— Это что, нам сегодня навязали косоглазых? — спросил Лукаса рядовой Броуди.

— Похоже.

Лукас был высокий медлительный увалень и тяжелодум. Он никогда не пытался казаться умнее, чем был на самом деле, и, может быть, потому был неплохой солдат — в сравнении с другими сержантами. Его трудно было вывести из себя. Он не слишком хорошо умел отличать важное от неважного, и, когда ему давали приказ, он выполнял из него то, что ему было понятно, и ничуть не смущался, если выходило не так, как ожидало начальство.

Рядовой Броуди был человек упрямый, нервный и вспыльчивый, его все раздражало.

— И на кой черт они нам нужны? — спросил он, указывая на филиппинцев.

— А бог их знает, — ответил Лукас и поправил на поясе гранату. — В штабе из-за них подняли суматоху. Они из Паназегая — вроде так их деревня называется. Утром явились в штаб, а из штаба их направили к нам.

Отряд приближался к филиппинцам. Маленькие темнокожие люди, худощавые и мускулистые, как все крестьяне на Востоке, словно по команде, улыбнулись солдатам.

— Сержант Лукас? — спросил один из них. Он стоял впереди, и, судя по всему, только он говорил по-английски.

— Это я, привет, — лениво, хоть и вполне вежливо ответил Лукас.

Объясняющийся по-английски филиппинец начал рассказывать. Говорил он долго, запинаясь, частью по-английски, частью на том языке, который только он сам считал английским. Солдаты не стали слушать. Они присели на корточки на рисовом поле и от скуки принялись разглядывать филиппинцев, расположившихся рядом и тоже на корточках ярдах в десяти от них. Время от времени какой-нибудь филиппинец улыбался, и тогда один из американцев кивал в ответ. Лукас стоял, наклонившись к крестьянину, и старался уловить хоть какой-нибудь смысл в рассказе, который, судя по всему, не имел конца.

— Значит, ты говоришь, — неторопливо прервал его он, — партизаны заманили японцев в засаду?

— Нет, сэр, нет. Может, японцы, может, партизаны. Очень засада. Много старели, много. Партизаны нет домой. Теперь американские солдаты пусть убивают японцы?

Лукас кивнул. Было ясно, что он ничего не понял, а когда филиппинец заговорил снова, стало ясно и то, что он теперь махнул на все рукой и даже не пытается вникнуть в смысл. Наконец филиппинец умолк. Лукас зевнул.

— Понятно. Тебя как зовут, Мигель?

— Да, сэр.

— Значит, так, Мигель, ты нас поведешь. Веди, куда тебе надо, только медленно, понимаешь? Спешить некуда, тем более вон какая жарница.

Мигель сказал что-то крестьянам по-тагальски, они коротко ответили, вскочили и чуть не бегом пустились по рисовому полю.

— Вот-вот, об этом я и говорю, — остановил Мигеля Лукас. — Скажи: пусть идут помедленнее.

Тот неохотно передал филиппинцам слова Лукаса, и те неохотно подчинились.

— И чего носятся как угорелые? — проворчал Лукас.

Солдаты шагали за своим сержантом не спеша, цепочкой, на довольно большом расстоянии друг от друга; филиппинцы шли все рядом, обогнав солдат ярдов на тридцать. Никто из солдат не знал, куда и зачем они идут, и никто не спрашивал. Все, что могло случиться в дозоре, им давно было известно наизусть. Чего беспокоиться заранее? Придет время — и так узнают, если ничего не помешает. Они даже не замечали дороги — эти холмы и рисовые поля были столько раз исхожены ими вдоль и поперек, что заблудиться тут было просто немислимо. Они нехотя тащились за Лукасом, неся винтовки за ремень и глядя в землю. Даже мысль о засаде не тревожила их: слишком мала была вероятность встретиться с врагом на такой большой территории, быть все время начеку казалось просто смешным. И они брели друг за другом, о чем-то потихоньку мечтали, время от времени поглядывая по сторонам и стараясь забыть о жаре, о язвах, которые покрывали ноги, о дизентерии, с которой все здесь давно свыклились.

Исключение составлял Броуди.

На душе у Броуди было неспокойно, его грызла тревога, в голову лезли самые невероятные предположения.

— Куда мы идем? — допытывался он у Лукаса, взволнованно дыша ему в затылок.

— Не имею представления, — отвечал Лукас. — Вон кто нас сегодня ведет. Через несколько шагов Броуди снова догонял сержанта:

— А почему они нас ведут?

Лукас пожимал плечами.

— Надо думать, поймали Старика на удочку. Вот он и послал нас с ними.

— А что они говорили? — не отступал Броуди.

— Мигель много чего наговорил, только я ведь их не понимаю. И засада, и партизаны, и японцы — сам черт не разберет. Ложная тревога, я думаю. Сам знаешь этих филиппинцев — вечно им что-то мерещится.

— Еще бы не знать!— вскипел Броуди.— Ненавижу¹ этих косоглазых.— Он попал ногой в след от копыта буйвола и больно споткнулся.— Они же издеваются над нами! Подлый, лицемерный народ.— Броуди резко оборвал себя, так же резко, как заговорил, и, подавленный, погрузился в молчание.

Лукас ничего ему не сказал. Он сунул за щеку кусок плиточного табака и шагал широким ленивым шагом большого грузного человека, размахивая винтовой в такт шагам.

— Есть хорошие филиппинцы,— проговорил он наконец,— и есть плохие. Броуди ругнулся.

— Да ты погляди на них, вырядились в белые рубахи, их же видно за десять миль!— Его трясло от ярости.

Лукас покраснел — он не обратил на это обстоятельство внимания,— но все-таки сказал:

— Наплевать.

— А мне не наплевать!— Броуди бесило, что Лукас отмахивается от всего, что он говорит. Пот заливал ему глаза.

— Эй, вы!— закричал он идущим впереди филиппинцам.— Эй, снимите рубахи. Вы что, хотите, чтобы нас заметили?

Крестьяне в недоумении оглянулись, улыбаясь и силясь понять, чего от них хотят. Броуди кинулся к ним, гремя на бегу фляжкой и гранатами, и с такой силой толкнул первого из остановившихся филиппинцев, что тот едва не упал.

— Рубашку! — зашипел Броуди, задыхаясь.— Рубашку сними!

Те наконец поняли. Они снова заулыбались, забормотали извинения, сняли белые ситцевые рубахи и завязали их вокруг бедер.

— Так-то лучше,— буркнул Броуди. Он замедлил шаг и, когда Лукас обогнал его, пошел за ним. Лукас не взглянул на него, только перекатил во рту языком табачную жвачку.

Состояние, в котором сейчас находился Броуди, было знакомо всем солдатам, на всех временах находило что-то похожее. Вдруг наступал момент, когда у человека сдавали нервы и он, каким бы мягким и добродушным ни был в нормальной жизни, превращался в сплошной комок злобы, кидался на людей и исходил слепой, звериной ненавистью, жертвой которой мог стать кто угодно и что угодно — лучший друг или лежащий на дороге камень. Броуди переживал сейчас такой период.

Началось все с письма, в котором его девушка сообщала, что выходит замуж за другого. Она ждала четыре года и больше ждать не хочет. Известие это его почти не огорчило: девушка уже давно стала для Броуди далекой и недостижимой. Но письмо напомнило ему, какую жизнь он ведет сейчас, а это было непереносимо. Он воевал не в одном бою, он испытал все, что положено испытать солдату — от трепета необстрелянного новичка до умудренности ветерана, от уверенности, что его никогда не убьют, до угрюмого, а затем равнодушногоприятия неизбежности, что его наверное убьют. Совершенно смириться со смертью он все-таки не мог, но у него, как и у всех остальных, притупились чувства, мысль работала вяло, он погрузился в пустоту, где совершались ничтожные, бессмысленные события. Жизнь проходила в тупой, бесцветной тоске.

Письмо пробило броню, которой он себя защищал. Оно напомнило ему о жизни, в которой людям не безразлично, что с ними происходит, в которой люди женятся и выходят замуж. Оно разбудило в нем воспоминание, что жизнь бывает даже приятной, и от этого все вокруг сделалось невыносимым. Оно заставило его заново ужаснуться смерти и вспомнить, что он человек. Оно причинило ему худшее из зол, какое только можно причинить на войне солдату,— заставило его задуматься, что же он такое и что будет означать его смерть. Узнать это ему не дано, пускай, но ведь его лишили даже возможности спокойно разобраться в своих мыслях! И в результате все дотопле дремлющие клеточки его мозга проснулись, и каждая требовала ответа на свой вопрос. Единственным возможным в данных обстоятельствах ответом была лютая ненависть, которая клокотала в нем и вы-

плескивалась на первого попавшегося. Сегодня она выплеснулась на филиппинцев: Броуди считал их непосредственными виновниками всех своих бед.

Отряд медленно продвигался. Люди шли рисовыми полями и болотами, пробирались сквозь заросли бамбука, поднимались на холмы, поросшие высокой травой, с редкими деревьями. Время подходило к полудню, жара все усиливалась, изводили москиты и мухи. Через час отряд остановился на привал, потом двинулись дальше. Выцветшие зеленые рубахи солдат потемнели от пота, голова раскалывалась, хотелось пить. Но вот холмы покрылись кустарником, он становился все гуще, земля все мягче, все влажнее, деревья все выше. Наконец кроны деревьев сомкнулись и приглушили яркость дня. Теперь солнце не жгло, но прохладнее не стало, воздух был тяжелый, неподвижный, парило, как перед грозой. Люди обливались потом.

Тропа вывела к речушке; филиппинцы перешли ее вброд. На том берегу тропа раздваивалась. Мигель вернулся.

— Сэр, опасно дальше, очень японцы, много японцы, — сказал он Лукасу. Лукас кивнул.

— Ладно, будем глядеть в оба.

Он собрал своих людей и передал им слова Мигеля.

— Сдается мне, — добавил он задумчиво, — я уже ходил по этой тропе недели две назад и ничего подозрительного не заметил. Но, может, филиппинцы действительно чего знают. Так что не дремать, ребята!

Предупреждение Лукаса вмиг изменило настроение: все насторожились. Так часто бывало — через несколько часов изнурительного похода люди вдруг неожиданно просыпались, будто страх или напряженность одного мгновенно передавались всем.

Впрочем, и сама тропа требовала осторожности. Она была такая узкая, что идти по ней мог только один человек. Но самое неприятное — она все время петляла, и каждые несколько ярдов идущий впереди исчезал за поворотом. Пот заливал глаза, капал с носа, затекал в рот. Люди тяжело дышали. Сделав шаг, они внимательно оглядывали зелень вокруг, не затаился ли там вражеский стрелок. Стоило кому-то споткнуться о корень или наступить на ветку — все разом вздрагивали. Через десять минут такого передвижения они устали больше, чем за несколько часов обычной ходьбы. Жара, духота и напряжение наваливались все тяжелее.

Лукас свистнул Мигелю.

— Останови своих. (Тот, казалось, не хотел останавливаться, но Лукас уже сел.) Привал. Передай дальше, — прошептал он своему соседу.

Команду тихо передали по цепи. С минуту солдаты еще постояли в прилипших к телу мокрых гимнастерках, докуривая размокшие, в рыжих потеках пота сигареты. Потом они сели на землю, спиной друг к другу, прислонившись к дереву и положив винтовку на колени. Но тело не отдыхало, глаза зорко всматривались в зелень, мышцы напряженно ждали команды схватить винтовку. Однако все курили.

Впереди раздался глухой удар. Все вздрогнули, но тут же успокоились. Это мачете вонзалось во что-то мягкое, может быть, в молодой побег или в сочную мякоть плода. Через минуту звуки прекратились, и солдаты получили неожиданный подарок — филиппинцы передали каждому по куску спелого ананаса. Солдаты с жадностью впилась в них, не забывая о вражеских стрелках. Ноги ныли, глаза резало от напряжения — ни один не спускал глаз с яркой зелени, — в горле пересохло, руки, сжимающие винтовку, кусок ананаса и сигарету, дрожали. Люди с наслаждением глотали острый, душистый сок плода, а где-то под ложечкой со сала тревога, потому что отдыхать на такой тропе нельзя, это опасно, и с каждой минутой мрачные заросли казались им все более зловещими, но от этого только блаженной делался отдых.

Через несколько минут Лукас отдал новый приказ, и люди хриплым шепотом стали передавать друг другу: «Идем дальше... Идем дальше...»

Теперь Лукас начал понимать, что проводники выводят их к какому-то опре-

деленному месту. Волнение филиппинцев с каждым шагом росло, они двигались все более осторожно. То и дело останавливались и стояли несколько минут, пока один из филиппинцев уходил вперед, изучал тропу, потом возвращался и махал рукой, что можно идти дальше. Прошло еще полчаса, остановки стали еще более частыми, ожидание еще более долгим. Оно усиливало раздражение, усталость, напряженность. Листья щекотали затылок, в замершее тело впились насекомые. Стоять неподвижно было еще более тяжело, чем идти. Солдаты не могли думать ни о чем, кроме того, что им жарко, душно и что невыносимо горят изъеденные язвами ноги. Стоя они лучше слышали звуки и шорохи. Стоя они острее ощущали опасность. Стоя они были более уязвимы, и это доводило до иступления. Броуди негодовал больше всех.

— Лукас, скажи им, пусть пошевеливаются, — шептал он. Или стонал, смахивая горстью пот с подбородка. — Они тут у себя дома, пусть сами разбираются в своих делах!

Его призывы совершенно не трогали Лукаса. Он невозмутимо стоял на месте, наблюдая, как филиппинцы устремляются в чащу и потом возвращаются, нетерпеливо кивал головой, когда ему махали, что можно идти дальше, и снова терпеливо ждал, пока те разведывали следующие несколько сот футов.

— Они же тащат нас в ловушку! — в ярости шипел Броуди.

Лукас пожимал плечами и шептал:

— Ну что ты, ерунда.

За четверть часа они проходили не больше трехсот ярдов. Тропа снова вывела их к речке, и пока они ждали, кое-кто осторожно наполнил флаги и бросил туда дезинфицирующую таблетку. Немного погодя они наткнулись на труп японского солдата и постарались обойти его как можно дальше — их отпугивало не зрелище смерти, а вид копошащихся червей.

Однако им предстояло увидеть еще один труп. Отряд достиг цели раньше, чем люди поняли, куда и зачем они идут. Тропа стала подниматься вверх и через несколько десятков ярдов нырнула в лощину. На дне ее лежал возле японского пулемета мертвый филиппинец. Мигель и трое его спутников стояли на краю обрыва и скорбно глядели на него. Один за другим подошли солдаты: теперь их было девять человек, пятеро в солдатской форме, четверо в синих крестьянских штанах и белых рубахах, обернутых вокруг пояса, и все они стояли и глядели в залитую звенящим солнечным светом лощину, где в желто-зеленой тропической траве лежал убитый партизан.

— Он храбрый человек, сэр, — тихо сказал Лукасу Мигель. — Прошлый месяц он убивал три японца. Приходил сюда каждый ночь.

— Он один приходил сюда каждую ночь? — спросил Броуди.

Мигель кивнул.

— Сегодня ночью деревня слышала выстрелы. Японский граната. Луис не имел японский граната. Мы думаем, значит, его убили.

— Чего же он лег в самом центре? — спросил Лукас. — Его же тут видно как на ладони.

— Луис не был солдат, — вздохнул Мигель.

Лукас испытующе посмотрел на него, но лицо Мигеля ничего не выразило. Лукас зевнул.

— Давайте пошарим вокруг, ребятки, может, тут еще сидят японцы.

Отделение в том неполном составе, в котором оно пришло сюда, разделилось на две группы — два и три человека. Лукас и Броуди обошли ущелье с одной стороны и встретились с остальными у продолжения тропы. Никто никого не обнаружил.

— Прикрывайте меня, — сказал Лукас и побежал по открытому пространству.

Он осторожно приблизился к мертвцу, проверил, не тянутся ли от него проволочки к mine, потом махнул Броуди.

— Возьмем-ка пулемет, — сказал он. — Броде ничего, японский. — Лукас

разглядывал его с профессиональным интересом коллекционера. — Забавная железяка.

Когда они вернулись, к ним подошел Мигель.

— Сэр, мы сейчас назад?

— А что же, — пожал плечами Лукас, — мы ведь нашли то, что искали.

— Сэр. Четыре филиппинца. Мы нести тело. Вы и филиппинцы?

Броуди встал между ними:

-- Это нас задержит! Пусть идут одни.

— Сэр, без американский солдат очень опасно.

Лукас щелкал затвором японского пулемета.

— Настоящий легкий пулемет, вроде нашей автоматической винтовки Браунинга, — объявил он. Мигель робко тронул его за рукав, и Лукас поднял голову. — Пожалуй, все-таки придется пойти с ними, — сказал он Броуди, словно оправдываясь.

Броуди счел это уже совсем вопиющей несправедливостью.

— Они нас заманили сюда, чтобы мы тащили им этого идиота! — взорвался он. — Затем и дозор придумали!

— Не знаю, — негромко сказал Лукас. — По-моему, раз человек умер — надо его похоронить. — Он отвел глаза и погладил ствол пулемета. — Эту штуку тоже придется захватить.

— Такую тяжесть?! — воспротивился Броуди. — Зачем?

— Нужно.

Лукас с удовольствием представлял себе, как он, вернувшись на пост, займет пулеметом. Сначала он весь его разберет, почистит, а потом будет собирать. Впервые за много месяцев он почувствовал что-то похожее на нетерпение.

В ярости Броуди решил, что Лукас над ним издевается. И он поступил, как поступает мужчина, когда ему хочется ударить женщину: он душит это желание и провоцирует женщину ударить его самого. Он схватил пулемет.

— Хочешь взять эту сволочь с собой? — задал он Лукасу риторический вопрос. — Хорошо, я ее понесу.

-- Ну что ж, неси. (Броуди понял, что зашел слишком далеко.) Будешь нести его всю дорогу. И не скулить.

Отряд двинулся в обратный путь. Было еще более жарко, еще более душно, снова начался дождь. Солдаты тащились по вязкой грязи, за ними брели филиппинцы, несшие привязанное к жерди тело Луиса, мертвого партизана. Теперь спешили американцы, теперь они хотели поскорей выбраться из опасной зоны, а обремененные своей ношей филиппинцы были вынуждены останавливаться и отдыхать.

Броуди клочкотал. Пулемет весил никак не меньше двадцати фунтов — жестокое дополнение к давно измотавшему его грузу. Броуди пытался нести его и так и эдак, взваливал на плечо, перекидывал за спину, упирал в живот — все было неудобно: пулемет состоял из сплошных выпуклостей, выступов, острых углов и граней. То ствол, то рукоятка затвора впивались ему в ребра, или в плечо, или в лопатку. Кроме того, от пулемета исходил отвратительный запах: запах рыбьего жира, которым смазывают оружие японцы, запах Луиса, который был потом владельцем пулемета, — запах крестьянина-филиппинца, который напоминал Броуди о лепешках навоза, о высохшей, растрескавшейся земле, о туземной еде, — смесь эта пахла прокисшей соевой похлебкой. Но хуже всего был запах еще не высохшей, как казалось Броуди, крови Луиса, тот особый страшный запах, сладковатый и тошнотворный, который неотделим от смерти. Он мешался с запахом рыбьего жира, соевой похлебкой, с запахом его собственной пропотевшей рубахи и грязного тела, и Броуди боялся, что его вот-вот вырвет. Запах был всепроникающ, он лез в нос, забивал легкие. Капли его собственного пота, падая на металл, казалось, оживляли какие-то новые, еще более ужасные запахи.

Броуди исходил злобой. Ну, повезло ему, твердил он себе, угораздило попасть в такое отделение, да еще к такому сержанту! Самый глупый филиппинец обведет их вокруг пальца, заманит куда угодно. Потащились как последние ду-

раки, а зачем?! Да просто так, ради прогулки, надо, видишь ли, проводить этих сумасшедших, одни они не донесут идиота, которому не сиделось ночью дома и которого вот теперь убили. Броуди начал чудиться заговор, словно все было специально подстроено с единственной целью заставить его тащить пулемет. Ему даже стало казаться, что его мучает не запах Луиса, а сам Луис, и он осыпал ругательствами пулемет, в ярости отпихивая его, когда тот начинал бить его по ребрам или попадал в солнечное сплетение. Вот и доверяй им, доверяй им, доверяй этим сволочам проклятым, твердил он про себя все быстрее и быстрее, словно заклинание, которое должно было защитить его в его бессилии и гневе и не дать расплакаться слезами обиженного ребенка.

Обратный путь был нескончаемо долг. Выбившиеся из сил филиппинцы задыхались под тяжестью своей ноши, которую они опускали, когда американцы останавливались на отдых, и снова поднимали, когда те трогались в путь.

Наконец джунгли кончились, и отряд направился через поля к филиппинской деревушке Панасагей. Люди изжарились на солнце, потом их вымочил дождь, снова высушило солнце, снова одежда пропиталась потом. Броуди шатало, филиппинцев шатало, остальные едва волочили ноги, а солнце раскаляло и раскаляло землю. Господи, как вонял пулемет!

Теперь Броуди было все равно, что где-то их, может быть, подстерегают японцы. Если на них нападут, он просто бросится на землю, и пусть остальные делают, что хотят. Он даже не глядел под ноги. Он плелся шагов тридцать—сорок, потом бросался догонять последнего из идущих солдат и через десять—пятнадцать ярдов чувствовал, что у него сейчас разорвутся легкие. На филиппинцев он не обращал внимания. Всякие мысли приходили ему в голову, но одна особенно терзала оцепеневшее сознание: ему казалось, что он несет труп. Труп человека. Он много видел трупов — и целых, и разорванных на части, искалеченных, обезображенных, но труп Луиса был не просто труп — это был первый труп человека. Сознание мутилось. Броуди начинало казаться, что, может быть, это его убили и теперь Луис несет его тело. Он так часто видел смерть, что давно перестал о ней думать. И вдруг сейчас что-то произошло, смерть вошла в него и наполнила до краев. От этих мыслей измученное жарой тело обливало холодным потом. Закричать бы. Может, от крика ему стало бы легче.

— Свиньи, настоящие свиньи, — громко бормотал он. — И живут, как свиньи.

А пулемет льнул к нему, похожий на скелет, тряс оскаленной мордой прямо перед глазами...

Наконец они пришли в Панасагей — два ряда бамбуковых хижин на сваях. грязная дорожка между ними, которую никак нельзя назвать улицей, ни единой лавки. Филиппинцы отнесли тело Луиса к маленькой бамбуковой хижине возле колодца. Солдаты кинулись к воде, подставляли под струю головы, спины, потом растянулись на земле и лежали, не в силах думать даже о еде.

В хижине раздался женский крик, потом детский плач, потом закричали несколько женщин и детей. На улицу стали выходить люди, они шли к домику у колодца, поднимались по бамбуковой лестнице. С каждой минутой горестные вопли усиливались. Измученные солдаты лежали на земле и почти не слышали их. Им казалось, что плач звучит далеко, он напоминал восточное пение, к которому никак не может привыкнуть ухо. Плакали женщины, плакали дети, горе расходилось из хижины кругами, монотонно и неодолимо. Наконец солдаты чуть-чуть отдохнули и принялись жевать твердый сыр и каменное печенье, нехотя запивая дезинфицированной водой из своих фляжек.

Отдохнув и поев, они пришли в себя настолько, что плачущие крестьяне и крестьянки стали вызывать у них любопытство. Лукас решил, что пора возвращаться. Все пятеро надели ремни, пристегнули ленты, собрали винтовки и приготовились выступить, но их остановил Мигель.

На своем ломаном английском языке он поблагодарил весь отряд от имени вдовы Луиса, выразил ее признательность за то, что они принесли домой ее мужа, и передал извинения, что она не пригласила их в дом и не угостила. Лукас вы-

слушал Мигеля с важностью и учтивостью придворного и попросил его передать вдове, что американские солдаты были рады ей помочь. Они пожали друг другу руки, и Лукас похлопал винтовку по ложу, стараясь скрыть смущение. Потом сказал:

— Послушай, Мигель...

— Да, сэр?

— Зачем Луис, — он произнес имя на английский манер, — зачем он каждую ночь уходил в джунгли?

— Не знаю, сэр. Луис очень храбрый. Сына убили японцы. Луис каждый ночь уходил, целый месяц.

Лукас свистнул.

— Вот оно что!

— Да, сэр.

— Наверное, я бы тоже так сделал. — Он помахал рукой Мигелю искомандовал солдатам идти.

До поста было три мили. Путь лежал по гребням пустынных, поросших травой холмов, и люди взбирались вверх, спускались, снова взбирались, огибали бесконечные выпуклости земли. Броуди жадно хватал ртом воздух, грудь его судорожно поднималась. Это были самые долгие три мили в его жизни, а он исходил немало долгих миль. Когда они наконец пришли в лагерь, он бросился на землю возле пулемета. Двое оставшихся в лагере часовых хотели посмотреть пулемет, но Броуди рявкнул на них.

— Он что, твоя собственность? — возмутился один.

--- Я его нес, понятно? И смотреть первый буду я.

Вернувшись из похода ребята мылись, черпая воду шлемами из огромных бочек, потом кто-то сел писать письма, кто-то залез в свой окопчик спать, а Броуди все лежал и глядел на пулемет. Наконец он решил почистить его и сел, но пришел Лукас и потребовал добычу. У Броуди не было сил спорить. Он равнодушно отдал пулемет, лег в свое укрытие и заснул.

Его разбудили перед ужином, который привезли в «джипе», — тушеное мясо в котле-термосе и горячий кофе. Он проглотил все это и снова заснул, словно одурманенный вином. Когда его разбудили ночью сменить часового, он чувствовал себя так, словно и не отдыхал. Он сидел в пулеметном окопе и глядел на растилающуюся внизу долину. Освещенная полной луной, шелестела трава в пробегающих волнах серебряного света. Ему почудилось, что в поле стоят рядом два человека, и он долго сидел не шевелясь и держал руку на затворе. Потом он увидел, что это лошадь, которая зачем-то забрела сюда, и хотя Броуди не знал, была ли у Луиса лошадь, он решил, что это лошадь убитого партизана.

Луис ночь за ночью подстерегал в залитой луной лощине японцев. Луис нес в темноте пулемет по той самой тропе, на которой они сегодня отдыхали и ели ананас, он сидел один, окруженный серебряной ночью, и вокруг не было никого, только где-то крались звери и ни на минуту не давали ему покоя насекомые. Это было невероятно, это было... прекрасно! Словно стальная игла пронзила его сознание, и он услышал плач филиппинских женщин совсем не так, как слышал днем. Они плакали по убитому, плакали от горя. Броуди сидел в окопе, ему сейчас не грозила никакая опасность, но он начал дрожать, его охватила нестерпимая тоска. Если его в эту минуту убьют, ребята подойдут и молча постоят над ним. Постепенно весть о его смерти дойдет до тех нескольких человек из других отделений других полков, которые его знают. «Да, жалко Броуди», — скажут они, а может, только спросят: «Броуди, это тот самый парень, который...» Который что? Броуди стал мучительно думать, а что же в самом деле можно о нем сказать?

У него было ощущение, что его отделило от живущих на земле людей пространство во много миллионов миль. Неужели за всю свою жизнь он не совершил ни одного поступка, который остался бы у людей в памяти? Нет, он совершил. И что теперь? Он не знал, он только смутно чувствовал, что, пока он еще жив, он

должен что-то сделать. Нельзя, чтобы люди не вспомнили, кто был Броуди, если его убьют!

Родители. Что ж, они поплачут о нем, но он давно забыл, какие они, он больше не верил, что они вообще существуют. Он был совсем один на крошечном холме, затерявшемся среди огромной тропической ночи, и никому и ничему не было до него дела. Луиса оплакивают родные. Луиса, мертвого крестьянина-филиппинца. А кто будет плакать о нем, о Броуди? Нет, это несправедливо! С него сорвали то спасительное унылое безразличие, которым его обволакивала однообразная жизнь и тягостная, отупляющая работа и которое защищало его будто слой ваты, и он остался совершенно обнаженным. Наверное, это были самые страшные минуты в его жизни.

Когда его сменили, он лег у себя в окопчике на спину и лежал, вздрагивая. Ему было страшно. Небо над головой было черное и бесконечное, оно тоже готово было поглотить его, как смерть.

К утру он успокоился, червы его постепенно погрузились в сон, он опять стал безропотным автоматом, каким был раньше, говорил не больше и не меньше, чем все остальные шесть солдат отделения, писал письма, играл в карты и каждый день покорно ходил в дозор. Настал черед кому-то другому впасть в тоску, буйствовать и рычать в ответ на самые добродушные замечания.

Но забыть то, что произошло, он не мог. Он бессчетное число раз ходил в дозор до того и бессчетное число раз после, но день, когда они нашли Луиса, он запомнил навсегда. Операция закончилась, их полк перебросили для переподготовки к предстоящим новым боям с японцами, время шло и шло, а Броуди ловил себя на том, что вспоминает о бамбуковой хижине и о деревенском колодце в самые неожиданные моменты — когда бывает пьян, во время учений, а однажды они представились ему в разгар игры в покер, когда он взял банк. В ночь, когда кончилась война, он вспомнил о них уже при совсем удивительных обстоятельствах.

Они с Лукасом пьяные брели по маленькому филиппинскому городишку, где стоял их полк, и слушали выстрелы ружейного салюта. Шли просто так, наобум сворачивая то в одну улицу, то в другую, шли и молчали. Оба словно одеревенели.

На окраине им встретилась улочка, совершенно разрушенная во время боев за город. Привычная картина — ни одного деревянного дома, ни одного каменного, на их месте лепятся лачуги, сооруженные из коробок и ящиков и покрытые ржавыми кусками железа — все это выбросила за ненадобностью война. В некоторых лачугах горели свечи, освещая теплым светом слабо колышущуюся в прохладе августовской ночи мешковину на окнах. В этих лачугах жили филиппинцы. И Броуди вспомнил маленький американский городок, где он родился, улицу на окраине и теплую летнюю ночь, когда он гулял там с девушкой. Он отшвырнул ногой обломок кирпича и сказал:

— Помнишь того партизана с японским пулеметом?

— Помню, — ответил Лукас, не удивившись, будто его спросили о хорошо знакомом им обоим человеке. — Занятный был парень.

— Верно, занятный.

Что-то начало в них оттаивать.

— А Ньюмена помнишь? Он погиб при Айтапе.

— И Бентон с ним.

— Да, и Бентон тоже, — отозвался Лукас.

И они стали вспоминать. Два года, которые Броуди провел здесь, на островах Тихого океана, — жестокое, пустое мгновение — начали заполняться мелкими событиями каждого дня, которые остаются в памяти как вехи. Наверное, это от вина, подумал он, и вдруг ему сделалось ужасно грустно. Сколько их было убито — на прибрежных скалах, в рощах какао, в джунглях, в болотах, на рисовых полях чужой земли, которую они прошли из конца в конец. Наверное, он заплакал бы о всех тех, кто погиб, если бы рядом не было Лукаса. Эти люди

тоже должны были жить, они тоже должны были дышать запахами филиппинских сумерек сегодня, когда кончилась война!

Они говорили и говорили, а ночь сгущалась над развалинами филиппинского города. Наконец они решили посмотреть фильм, который показывали у них в лагере в самой большой палатке, и пошли к своим. Но высидеть в кино было невозможно, и с середины они ушли, купили бутылку виски у местного торговца, и Броуди снова пил, а потом дотащился до своей палатки и лег.

Засыпая в ночь победы, он вдруг понял, что плачет о Лунсе, плачет так же горько, как плакали женщины в бамбуковой хижине. Он оплакивал филиппинского крестьянина, потому что сейчас ему уже не было так отчаянно необходимо найти кого-то, кто стал бы плакать о нем.

Перевела с английского Ю. Жукова.

ФЛЭННЕРИ О'КОННОР

★

Запоздалая встреча с противником

Генералу Сэшу исполнилось сто четыре года. Он жил со своей внучкой Салли Поукер Сэш, которой было шестьдесят два года и которая еженощно на коленях молилась, чтобы он дожил до того дня, когда она окончит курсы. Генерала совершенно не трогало, окончит она их или нет, но он нисколько не сомневался, что дожить он до этого доживет. Жить стало для него настолько застарелой привычкой, что он даже не мог вообразить себя в каком-либо ином состоянии. Церемония выдачи дипломов выпускникам курсов меньше всего соответствовала его представлению о приятном времяпрепровождении, несмотря даже на то, что, по словам Салли, он будет на эстраде в парадном мундире. Она сказала, что преподаватели и слушатели пройдут процессией в академических мантиях, но что с ним в его парадном мундире никто сравниться все равно не сможет. Он прекрасно знал это и без нее, а что до процессии, черт бы ее подрал, так эта процессия может отправиться в преисподнюю и вернуться обратно — он и глазом не моргнет. Ему нравились парады, изукрашенные платформы на колесах, полные Мисс Америк, Мисс Дайтонских пляжей и Королев хлопчатобумажных изделий. А процессии его не интересуют, процессия же, нашпигованная школьными учителями, на его взгляд, должна была быть мертвой реки Стикса. Впрочем, посидеть в мундире на эстраде он готов — пусть себе любуются.

Салли Поукер не разделяла его неколебимой уверенности в том, что он доживет до церемонии вручения ей диплома. Правда, уже пятый год он как будто нисколько не менялся, но у нее было предчувствие, что она лишится предвкушаемого торжества: ведь так случалось с ней много раз. Последние двадцать лет она каждый год занималась на летних курсах, потому что в те дни, когда она начала учительствовать, никаких дипломов и в заводе не было. Прежде, говорила она, все было нормальным, но с тех пор, как ей исполнилось шестнадцать лет, ничего нормального не осталось, и вот уже двадцать лет, как в каникулы, когда ей следовало бы отдыхать, она в самую жару ехала в учительский колледж штата и хотя, вернувшись осенью, продолжала учить именно так, как ее учили не учить, это было слишком слабой мстью, чтобы удовлетворить ее жажду справедливости. Она хотела, чтобы генерал присутствовал на церемонии, потому что жаждала показать, символом чего она была, или, по ее словам, «что за ней — все, а за ними — ничего». Эти «они» не являли собой никаких конкретных людей. А так — всех выскочек, которые перевернули мир вверх дном и уничтожили каноны пристойной жизни.

Она намеревалась в августе встать на эстраде таким образом, чтобы генерал в своем кресле-каталке сидел за ней, и она намеревалась держать голову очень высоко, словно говоря: «Смотрите на него! Смотрите на него! Это мой дед, а вы все — выскочки. Благородный, негнибемый старец, воплощающий все старинные традиции! Достоинство! Честь! Доблесть! Смотрите на него!» Как-то ночью во сне она закричала: «Смотрите на него! Смотрите на него!» — обернулась и увидела, что он сидит в кресле-каталке позади нее с ужасным выражением лица и совсем без одежды, в одной только генеральской шляпе. Она проснулась и больше уже в эту ночь не осмелилась заснуть.

Что касается генерала, то он наотрез отказался бы присутствовать на церемонии выдачи дипломов, если бы она не обещала, что он будет сидеть на эстраде. Ему нравилось сидеть на эстрадах. Он считал, что он по-прежнему очень красивый мужчина. Когда он еще мог встать на ноги, он был настоящим боевым пехотником. У него были белоснежные волосы, которые сзади достигали плеч, и он не собирался надевать зубы, так как считал, что без них его профиль выглядит более чеканным. Когда он облачался в парадный генеральский мундир, он твердо знал, что с ним не может сравниться никто и ничто.

Это был не тот мундир, который он носил в Гражданскую войну. В ту войну он, собственно, не был генералом. Возможно, он был рядовым, и к тому же пехотинцем. Он не помнил, кем он был. По правде говоря, он вообще той войны не помнил. Она была подобна его ногам, которые теперь свисали где-то внизу, безжизненные, прикрытые серо-голубой накидкой, которую Салли Поукер связала крючком, когда была маленькой девочкой. Он не помнил и испано-американской войны, в которой потерял сына, он не помнил даже и этого сына. История была ему ни к чему, потому что он не предполагал больше встретиться с ней. В его сознании история ассоциировалась с процессиями, жизнь же — с парадами, а ему нравились парады. Люди постоянно спрашивали его, помнит ли он то или это, — унылая черная процессия вопросов о прошлом. В прошлом было только одно событие, о котором он рассказывал с удовольствием: это случилось двенадцать лет назад, когда ему преподнесли парадную генеральскую форму и когда он присутствовал на премьере кинофильма.

— Я был на той премьере, которую они устроили в Атланте, — рассказывал он гостям, сидевшим у него на веранде. — Вокруг одни красотки. И это было не что-нибудь там местное. Ничего даже подобного. Это было национальное событие, и меня пригласили — прямо на эстраду. Никаких кургузых пиджачишек. Все, кто там был, платили за билет по десять долларов и должны были надевать фраки. Я был в этом самом мундире. Мне его днем преподнесла красоточка в номере отеля.

— Это был номер-люкс, и я там тоже была, дедушка, — вставляла Салли Поукер, подмигивая посетителям. — Вы с глазу на глаз ни с какими девицами в номере отеля не оставались!

— Остался бы, так знал бы, что делать, — отвечал старый генерал, браво тараща глаза, и посетители захлебывались от смеха. — Это была красотка из Голливуда, из Калифорнии, и в картине она никого не играла. У них там красоток куда больше, чем им требуется, они их так и называют «экстра» и ничего им делать не дают — только подносить людям подарки и сниматься с ними. Меня с ней тоже сняли. Нет, их было две. По одной с каждого бока, а я в середине и обнимаю каждую за талию, а талия у них, ну, с полдоллара, не больше.

Тут Салли Поукер снова его перебивала:

— Мундир вам, дедушка, преподнес мистер Говиски, а мне он преподнес цветок для платья — такой изящный! Из гладиолусовых лепестков, позолоченных и собранных в форме розы. Ах, какой он был изящный! Если бы вы видели! Он был...

— Он был величиной с ее голову, — сердито буркал генерал. — Я рассказываю, а не ты!.. Они преподнесли мне этот мундир и вот эту шпагу и сказали: «Генерал, мы не хотим, чтобы вы объявляли нам войну. Мы хотим только, чтобы вы

поднялись на эстраду, когда вас вечером представят публике, и ответили на несколько вопросов. Сможете вы это сделать?» — «Смогу ли я это сделать! — говорю я. — Да я еще не то делал, когда вас и на свете не было!» Они так и покатились.

— Он был гвоздем вечера, — говорила Салли Поукер, но она не очень любила вспоминать эту премьеру из-за того, что произошло там с ее ногами. Она купила для этого случая новое платье — вечернее платье из черного шелка со стразовой пряжкой и болеро, а к нему — серебряные туфли, потому что ей предстояло подняться на эстраду с генералом, чтобы поддерживать его. Их окружили всяческими заботами. Без десяти восемь за ними приехал настоящий лимузин и отвез их в кинотеатр. Лимузин остановился под навесом точно в ту минуту, когда следовало — после крупнейших звезд, режиссера, автора, губернатора, мэра и звезд второй величины. Полицейские дирижировали движением машин, и натянутые канаты отделяли тех, кому не удалось попасть на премьеру. И все те, кому не удалось попасть на премьеру, смотрели, как они вышли из лимузина в свет прожекторов. Потом они прошли по красному с золотом фойе, и капельдинерша в конфедератской фуражке и коротенькой юбочке проводила их на почетные места. Зал был уже полон, и несколько «дочерей конфедерации» принялись хлопать, едва они увидели генерала в его мундире, а тогда и все захлопали. После них вошло еще несколько знаменитостей, а потом двери закрылись и люстры померкли.

Молодой человек с белокурыми волнистыми волосами, сообщивший, что он говорит от имени кинопромышленности, начал представлять почетных гостей, и все, кого он представлял, выходили на эстраду и говорили, как они счастливы, что присутствуют здесь, при этом замечательном событии. Генерал и его внучка были представлены шестнадцатыми — согласно программе. Его представили как Тенниси Флинтрока Сэша, генерала армии конфедератов, хотя Салли Поукер и говорила мистеру Говиски, что его зовут Джордж Поукер Сэш и что он был только майором. Она помогла ему встать с кресла, но ее сердце билось так часто, что она не знала, хватит ли у нее самой сил подняться на эстраду.

Старик медленно шел по проходу, высоко держа свою ослепительно белую голову и прижимая шляпу к сердцу. Оркестр начал под сурдинку играть «Боевой гимн конфедератов», а «дочери конфедерации» все как одна встали и не селись, пока генерал оставался на эстраде. Когда они добрались до центра эстрады (Салли Поукер шла на полшага сзади, поддерживая его под локоть), оркестр внезапно грянул «Боевой гимн» во всю силу, и старик с подлинно актерским чутьем энергично отдал честь дрожащей рукой и стоял по стойке «смирно», пока не замер последний вопль труб. Позади них две капельдинерши в конфедератских фуражках и коротеньких юбочках держали скрещенные флаги южан и северян.

Генерал стоял в самом центре прожекторного луча, который заодно выхватывал из полутьмы и фантастический серповидный кусок Салли Поукер — золотые лепестки гладиолусов, собранные в розу, стразовую пряжку и пальцы, стискивавшие белую перчатку и носовой платок. В кружок света ловко втиснулся молодой человек с белокурыми волнистыми волосами и сказал, что он очень-очень счастлив, потому что сегодня на этом великом событии присутствует тот, сказал он, кто сражался и проливал кровь в битвах, которые им вскоре предстоит увидеть смело воспроизведенными на экране.

— Скажите, генерал, — спросил он, — сколько вам лет?

— Дивинисто два! — провизжал генерал.

Вид у молодого человека был такой, словно за весь вечер он не слышал ничего более впечатляющего.

— Уважаемые дамы и господа, — сказал он, — давайте поприветствуем генерала от всего сердца!

Сразу же загремели аплодисменты, и молодой человек легким движением большого пальца показал Салли Поукер, чтобы она увела старика, потому что пора представлять публике следующего почетного гостя. Однако генерал еще не договорил. Он врос в центр яркого круга, вытянув шею, приоткрыв рот, впивая

жадными серыми глазами ослепляющий свет и рукоплескания. Он грубо оттолкнул внучку локтем и проверещал:

— Я остаюсь таким молодым, потому что целую всех хорошеньких девочек!

Это было встречено искренними оглушительными аплодисментами, и как раз в этот момент Салли Поукер посмотрела вниз на свои ноги и обнаружила, что в волнении и спешке сборов она забыла переобуться — из-под края ее платья выглядывали тупые носы коричневых ботинок на толстой подошве. Она дернула генерала на себя и почти бегом утащила его со сцены. Он очень рассердился, что ему не дали сказать, до чего он рад присутствовать при этом событии, и по пути к своему креслу повторял как мог громче:

— Я рад присутствовать на этой премьере, где столько красоток, — но по соседнему проходу к эстраде шла другая знаменитость, и никто уже не обращал на генерала никакого внимания. Он проспал весь фильм, время от времени что-то яростно бормоча во сне.

С тех пор его жизнь была не очень интересной. Ноги теперь у него совсем отяжались, колени гибались, словно на проржавевших петлях, почки работали когда хотели, но его сердце упрямо продолжало биться. Прошлое и будущее равно не существовали для него: одно было забыто, а о другом не вспоминалось; о том, что ему предстоит умереть, он думал не больше чем кошка. Каждый год в День памяти конфедерации его обряжали и одалживали городскому музею столицы штата, где с часа до четырех его демонстрировали посетителям в душноватом зале, полном старых фотографий, старых мундиров, старого оружия и исторических документов. Все эти реликвии хранились под стеклом, чтобы дети не могли до них добраться. На нем был генеральский мундир, подаренный ему к премьере, и он сидел неподвижно, хмурясь, в небольшом, огороженном канатом пространстве. По его виду нельзя было догадаться, что он живой — только молочно-серые глаза порой мигали, — но однажды, когда какой-то ребенок, расхрабрившись, потрогал его шпагу, он быстро вскинул руку и шлепнул по дерзким пальцам. Весной, когда старинные дома открывали свои двери для паломников-туристов, его приглашали сидеть в мундире на видном месте для создания верной атмосферы. Иногда он только свирепо ворчал на посетителей, но иногда рассказывал про премьере и красоток.

Салли Поукер казалось, что она сама умрет, если он не доживет до церемонии вручения ей диплома. В начале летнего семестра, когда она еще не знала, получит ли диплом, она сообщила декану, что ее дед, генерал армии конфедератов Теннесси Флинтрок Сэш, будет присутствовать на церемонии вручения, что ему сто четыре года и что он еще полностью сохраняет ясность мысли. Из ответа декана явствовало, что колледж всегда рад столь достойным посетителям и что, конечно, генерала можно будет посадить на эстраде и представить присутствующим. Она договорилась со своим внучатым племянником Джоном Уэсли Поукером Сэшем, бойскаутом, что он будет катить кресло генерала. Она думала о том, как умилительно будет видеть старика в его прославленной серой форме и маленького мальчика в чистеньком хаки — старость и юность, подумала она добродительно, они будут за ней на эстраде, когда ей вручат диплом.

Все шло почти так, как она рассчитывала. Летом, пока она была на курсах, генерал жил у других своих родственников, и они привезли его вместе с Джоном Уэсли на церемонию. В отель, где они остановились, явился репортер и снял генерала, поставив с одного боку от него Салли Поукер, а с другого — Джона Уэсли. Генералу, помнившему, что он снимался, стоя между двумя красотками, эта фотография не слишком понравилась. Он не помнил, на какой, собственно, церемонии ему предстоит присутствовать, но помнил, что наденет для нее свой мундир и шпагу.

Утром в торжественный день Салли Поукер должна была участвовать в академической процессии вместе с другими дипломированными специалистами по начальному образованию, а потому не могла сама присмотреть за водворением его на эстраду, однако Джон Уэсли, десятилетний белокурый толстяк с лицом опытного организатора, гарантировал, что все будет в порядке. Она зашла в отель

в своей академической мантии и надела на старика его форму. Он был хрупким, как высушенный паук.

— Вы совсем не волнуетесь, бабушка? — спросила она. — А я так просто до ужаса волнуюсь.

— Положи шпагу мне на колени, черт тебя подери, — сказал старик. — Так, чтобы она блестела.

Салли Поукер положила шпагу ему на колени и, отступив, оглядела его.

— Выглядите вы чудесно, — сказала она.

— Черт тебя подери, — сказал старик медленно, монотонно, уверенно, словно говорил это биению своего сердца. — Черт подери все, пусть провалится ко всем чертям.

— Тише, тише, — сказала она и радостно отправилась к месту сбора.

Выпускники выстроились позади факультета точных наук, и она встала в свой ряд, как раз когда процессия двинулась. Накануне она почти не спала, а когда засыпала, ей снилась церемония и она бормотала во сне: «Вы смотрите на него? Вы смотрите на него?» — но каждый раз просыпалась прежде, чем успевала повернуть голову назад и посмотреть на него. Выпускникам в черных шерстяных мантиях предстояло обойти под палящим солнцем три здания, и Салли Поукер, тяжело шагая среди таких же черных фигур, думала, что тем, кому эта академическая процессия кажется внушительной, следует подождать, пока они увидят старого генерала в прославленной серой форме и чистенького юного бойскаута, который бодро вкатиет его на эстраду, и солнце заиграет на блестящей шпаге. Она полагала, что Джон Уэсли уже ждет со стариком за кулисами в полной готовности.

Черная процессия обошла два здания и вышла на аллею, ведущую к главному корпусу. Гости стояли на газоне, высматривая своих среди выпускников. Мужчины сдвигали шляпы на затылок и вытирали лбы, а женщины слегка приподняли платья на плечах, чтобы материя не прилипла к спине. Выпускники в тяжелых мантиях выглядели так, словно из них выпотевали последние капли невежества. Солнечные лучи сверкали на автомобильных бамперах, отражались от высоких зданий и уводили глаза от одного ослепительного пятна к другому. Они увели глаза Салли Поукер в сторону большого красного автомата, торгующего кока-колой, который был установлен у входа в главный корпус. И там она увидела генерала: он сидел в своем кресле-каталке, нахмурясь, без шляпы, под жгучим солнцем, а Джон Уэсли, выпустив блузу поверх штанов, прижимался щекой и боком к красному автомату и пил кока-колу. Она выскочила из рядов, вприпрыжку кинулась к ним и вырвала у мальчишки бутылочку. Она встряхнула его, заправила блузу ему в штаны и надела шляпу на голову старика.

— Ну-ка, вези его в ту дверь! — сказала она, указывая окостенелым пальцем на боковой вход.

Генерал тем временем чувствовал, что у него на макушке появляется крохотная дырочка. Мальчик поспешно покатило его по аллее вверх по пандусу в здание — кресло подпрыгнуло на пороге служебного входа. Джон Уэсли поставил его так, как ему было велено, и генерал свирепо уставился прямо перед собой на головы, которые сливались во что-то единое, и на глаза, которые перескакивали с одного лица на другое. К нему подходили фигуры в черных мантиях, они брали его руку и трясли ее. По проходам в зал вливалась черная процессия и под торжественную музыку растекалась перед ним черным озером. Музыка словно проникала ему в голову через дырочку в макушке, и на секунду ему показалось, что за музыкой туда намерена последовать и процессия.

Он не знал, что это за процессия, но в ней было что-то знакомое. Она должна быть ему знакома, раз уж она его встречает, но ему не нравились черные процессии. Процессия, которая его встречает, подумал он с раздражением, должна включать платформы с красотками, как это было перед премьерой. Наверное, что-то связанное с историей, — они всегда устраивают что-нибудь в этом роде. А ему ничего этого не надо. То, что случилось тогда, не имеет отношения к людям, которые живут теперь, а он живет теперь.

Когда вся процессия втекла в черное озеро, черная фигура на его берегу начала произносить речь. Фигура говорила что-то про историю, и генерал решил не слушать, но слова просачивались сквозь дырочку в макушке. Он услышал свою фамилию, кресло резким толчком выдвинулось вперед, и бойскаут глубоко поклонился. Они назвали его фамилию, а поклонился толстый щенок. «Черт тебя подери, — попытался сказать генерал. — Уйди с дороги! Я встану!» Но его швырнуло на сиденье прежде, чем он успел встать и поклониться. Он решил, что они шумят в его честь. Если с ним кончили, то он больше ничего не будет слушать. Если бы не дырочка в макушке, ни одно слово до него не добралось бы. Он хотел заткнуть дырочку пальцем и не пускать в нее слова, но дырочка была чуть шире его пальца и как будто становилась глубже.

Место первой черной мантии заняла вторая и тоже заговорила: он снова услышал свою фамилию, но они говорили не о нем, они все еще говорили об истории.

— Если мы забудем наше прошлое, — объявил оратор, — мы не будем думать о нашем будущем и будет так, словно мы его вообще не имеем.

Постепенно генерал стал слышать некоторые из этих слов. Он забыл историю и вовсе не намеревался снова ее вспоминать. Он забыл имя и лицо своей жены, имена и лица своих детей — забыл даже, была ли у него жена и были ли дети, и он забыл названия мест, забыл сами эти места и то, что там происходило.

Ему очень досаждала дырочка в макушке. Он не ждал, что на этом торжестве у него будет дырочка в макушке. Ее просверлила медлительная черная музыка, и хотя большая часть музыки осталась снаружи, все-таки кусочки ее оказались в дырочке и проникали все глубже, шевелились в его мыслях, впускали слова, которые он слышал, в темные участки его мозга. Он слышал слова «Чикемога, Шайло, Джонстон, Ли» и знал, что это он воскрешает слова, которые для него ничего не значат. Он задумался над тем, был ли он генералом при Чикемоге или при Ли. Потом он попробовал представить себе, как он верхом на лошади возвышается на середине платформы, полной красоток, которая медленно едет по улицам Атланты. Но вместо этого в его голове зашевелились старые слова, словно пытаюсь вырваться наружу и ожить.

Оратор покончил с той войной, перешел к следующей, а теперь приближался к третьей, и все его слова, как и черная процессия, были смутно знакомыми и раздражающими. В голову генерала ввинчивался длинный палец музыки, нащупывая то тут, то там места, которые были словами, бросая лучи света на эти слова и помогая им оживать. Черт подери! Я этого не потерплю! И он начал тихонько пятиться, чтобы убраться подальше отсюда. Тут он увидел, что фигура в черной мантии села, раздался шум, и черное озеро перед ним заурчало и потекло к нему с двух сторон под черную медлительную музыку, и он сказал: «Прекратите, черт подери! Я не могу делать двух дел сразу!» Он не мог защищаться от слов и одновременно следить за процессией, а слова сыпались на него очень быстро. Он чувствовал, что бежит спиной вперед, а слова бьют по нему ружейным огнем, промахиваясь, но подбираясь все ближе и ближе. Он повернулся и побежал во всю мочь, но оказалось, что он бежит навстречу словам. Он бежал в их частые залпы и встречал их торопливыми проклятиями. Когда музыка загремела совсем близко, перед ним из ниоткуда разверзлось все прошлое, он почувствовал, что его тело в сотнях мест пронизывает острая боль, и упал, отвечая проклятием на каждое попадание. Он увидел узкое лицо жены, которая критически оглядывала его сквозь круглые очки в золотой оправе; он увидел одного из своих косоглазых лысых сыновей; к нему обеспокоенно подбежала его мать, а потом на него обрушилась вереница мест — Чикемога, Шайло, Мартасвилл — так, словно прошлое было теперь единственным будущим и ему приходилось с этим смириться. Тут он внезапно увидел, что черная процессия совсем надвинулась на него. Он узнал ее, потому что она преследовала его по пятам все его дни. Он сделал отчаянное усилие заглянуть за нее, узнать, что идет за прошлым, и стиснул шпагу так, что лезвие коснулось кости.

Выпускники длинной вереницей шли через эстраду, получали свитки своих дипломов и пожимали руку ректора. Когда Салли Поукер, которая была в самом конце, пошла по эстраде, она взглянула на генерала, увидела, что он сидит неподвижно, яростно нахмуренный, широко раскрыв глаза, вновь повернула голову, вздернула ее повыше и получила свой свиток. На этом все кончилось, она вышла из зала под жгучее солнце, отыскала своих родственников, и они вместе сели на скамейку в тень, дожидаясь, пока Джон Уэсли подвезет к ним старика. Но хитрый бойскаут уже вытолкнул кресло через задний выход, быстро прокатил его по вымощенной плитами дорожке и теперь стоял рядом с трупом в длинной очереди к автомату, торгующему кока-колой.

Перевела с английского И. Гурова.



О Ч И Е Р К И Ж И В У Ш И Х Д Н Е Й

А. ПОКРОВСКИЙ, Р. ЭСЕНОВ

★

ЖИВАЯ ПУСТЫНЯ

Жесткие сутки в Каракумах шли дожди. Солончаковая дорога стала похожа на подтаявшее сливочное масло. Шофер свирепо крутил баранку, клял погоду и буквально захлебнулся от ярости, когда перед самым радиатором возникло стадо ишаков. Они шествовали с независимым видом, не обращая никакого внимания на отчаянный вопль клаксона.

— Этих еще не хватало, — кипятился шофер, — расплодился на нашу голову.

Оказалось, что столь привычные для юга домашние животные ныне — новое явление Каракумов. Ишаки просто-напросто не выдержали соревнования с техникой. И чем больше становилось у местных жителей автомашин и мотоциклов, тем чаще серых упрямцев стали отправлять в пустыню «на вольные хлеба». Жаловаться им не пришлось: верблюжья колючка есть круглый год, воды в реке Атрек довольно. И теперь стада ишаков, неуклонно возрастающие, шатаются по Приатречью, лоснясь от сытости и довольства.

Но вот наконец «газик» добирается к затерянному в предгорьях Иранского Эльбурса озеру со звонким названием Делили. Там, как говорили, еще сохранились редкие птицы и звери, и мы решили познакомиться с этим заповедным уголком.

Однако и здесь ожидал сюрприз.

Неподалеку от озера мы заметили белохвостого орлана, задумчиво сидевшего на одиноком дереве. Грозный враг мелких пернатых словно размышлял, куда же ему податься. Причина его задумчивости стала ясна у Делили. Теперь здесь свили себе гнездо не птицы, а бульдозеры. Они утюжили пустыню, чтобы создать новое водохранилище. Что ж, через некоторое время его будет использовать не только человек, но и птицы для гнездовья, и рыбы для нереста. А пока... Пока пернатым гостям приходится покидать привычные места. Люди, меняя лик пустыни, заставляют и птиц изменять тысячелетиями проверенные маршруты. Кстати сказать, проторены они теперь от Делили тоже к рукотворным водоемам, главным образом к великой искусственной реке — Каракумскому каналу.

Человек изменяет край вечного солнца. Привычно вслушиваясь в сочетание слов «покорение пустыни», мы не всегда отдаем себе отчет, о деле какого размаха идет речь. А задача заключается в том, чтобы ввести в более активный хозяйственный оборот нашей страны ни много ни мало — 200 миллионов гектаров ныне практически пустующих земель.

Ради такой цели стоит потрудиться. И вместе с тем стоит напомнить: при заданном масштабе работ важно учесть все, пусть самые отдаленные, пусть самые неожиданные следствия приручения ранее диких земель. Потому что любой, даже, казалось бы, мелкий на первый взгляд просчет может привести к потерям огромных богатств. А богата пустыня сказочно.

Наверное, очень усталый или не очень любопытный человек пустил в оборот выражение «однообразно, как пустыня». За последние годы мы исколесили западные Каракумы вдоль — от Ашхабада и до Челекена, и поперек — от Красноводска до Гасан-Кули — и никак не можем пожаловаться на однообразие впечатлений.

221

Одни вечно скитающиеся барханы без усталости меняют облик пустыни. Да и неподвижные пески неподвижны по-своему. Ученые даже на глаз различают среди них бугристые, кучевые, пологоволнистые, грядовые...

Рядовой же путник, такой, как мы, ощущает эту разницу прежде всего своими боками. С переменной пустынного ландшафта приходилось менять комфортабельную «Волгу» на неприхотливый «газик», а потом буквально ковылять по выбоинам на могучем «БелАЗе». Но пустыня продолжала капризничать, и на выручку приходил трактор, потому что перебросить через сыпучие барханы мог только он, если не вспоминать, конечно, о верблюдах. Но до них, слава аллаху, дело не дошло.

А вообще говоря, и отары овец, охраняемые лохматыми туркменскими овчарками, и верблюды, взирающие на мир, презрительно вытянув нижнюю губу, и ишаки — «газики» здешних мест, — все они тоже придают своеобразную прелесть пустыне, не давая соскучиться человеческого взору. Да и не только они. Стоит внимательно осмотреться вокруг, как сразу заметишь, что слово «безжизненная» здесь никак не подходит.

Даже поздним туркменским летом, когда, сберегая жизненные силы до весеннего половодья, растения оставляют на солнце минимальную площадь испарения, глаз радуется то гребенчик с фиолетовыми метелками цветов, то созен — серебристая березка пустыни, то рыжий пионер барханных песков — селин. И вполне можно понять директора Института пустынь, члена-корреспондента Академии наук республики А. Г. Бабаева, который пишет в одном из своих трудов: «При более близком знакомстве... пустыня оказывается не менее многообразной и интересной, чем другие ландшафты земного шара. Настоящая природа пустынь далеко не соответствует тем романтическим представлениям об «ужасных» пустынях, которые стараются создавать некоторые писатели».

Мы не спрашивали Агаджана Гельдыевича, кого он имел в виду. Разговор у нас шел о другом — как заставить богатства пустыни служить людям. Одно из этих богатств — солнце. В Каракумах каждый квадратный сантиметр поверхности получает за год около 160 тысяч малых калорий тепла. В центральных же районах европейской части СССР — 85 тысяч.

Второе богатство — земля. Три цифры определяют уклад жизни Туркмении: 79 процентов ее площади занимают пустыни, 20 — горы и лишь один процент — оазисы. Здесь практически пустует территория, равная по размерам Австрии, Португалии, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Дании, взятых вместе. Вся эта площадь, как правило, по количеству получаемого тепла не уступает тропикам. А вот тропического изобилия здесь нет, потому что не хватает еще одного богатства природы — воды.

Мы проехали по Каракумам многие сотни километров и почти всюду видели вдали дрожащие миражи сказочных озер. По бокам дороги дремала под жарким солнцем пустыня, и нам казалось, что мы подсматриваем ее фантастические сны. А сны были все об одном — о воде.

Наверное, древняя пустыня все еще помнит, как пять тысячелетий назад в предгорьях Копет-Дага тянулись оросительные каналы, зеленели щедро напоенные влагой поля, шумели пестрые восточные города. И сейчас еще недалеко от Ашхабада сохранились развалины Нисы — столицы великого парфянского царства. Отсюда по нынешней пустыне тянулись торговые дороги в Сирию, Индию, Китай...

Богатая Парфия выступала грозным соперником могучего Рима. Именно сюда, в Нису, пришло известие о том, что войска парфянского полководца Сурена наголову разгромили легионы Марка Красса. И сам он, еще недавно потопивший в крови легендарное восстание Спартака, нашел здесь свою гибель. В честь победы над Римом для парфянского царя Орода были поставлены «Вакханки» Эврипида. И когда по ходу действия на сцену должны были вынести голову Пентея, растерзанного вакханками, трагик Ясон бросил к ногам царственного зрителя голову Марка Красса...

Весьма соблазнительно было объяснить гибель цветущих государств единственно климатическими изменениями, пресловутым «прогрессирующим усыханием

Средней Азии». И такие «теории» появились. Однако исследования русских ученых А. И. Воейкова и Л. С. Берга показали, что дело совсем не в изменении климата. Как бы подводя итог столкновением различных мнений, видный советский археолог С. П. Толстов писал: «Наша экспедиция с полной определенностью разрешила много десятилетий занимавший ученых вопрос о причинах запустения обширных, некогда орошенных и заселенных территорий в различных странах Передней и Средней Азии... Не «усыхание Средней Азии» и изменение течения рек, не наступление песков и засоление почвы объясняют это явление. Его причины корянутся в процессах социальной истории. Переход от античного к феодальному строю и сопровождающие его варварские завоевания с последующими феодальными усобицами и нашествием кочевников — вот гениально указанное Марксом и сейчас документально доказанное решение этой проблемы».

«Трудная социальная история» Каракумов продолжалась вплоть до начала нашего века. Мы позволим себе привести только несколько цифр из сохранившихся в архивах документов. Там значится, что на все ирригационные системы Закаспийского края царское правительство сочло достаточным иметь одного инженера и десять техников. Зато в принадлежавшем лично императору Байрам-Алийском имении под Ашхабадом оросительную сеть обслуживало около пятидесяти специалистов.

Конечно, и в те времена были ученые и инженеры, которые мечтали устроить в Каракумы воды Амударьи или даже могучих сибирских рек, чтобы заставить работать на созидание, а не на разрушение колоссальную солнечную энергию. Но время осуществления этих проектов пришло только с изменением социальных условий.

Почти сразу после Великого Октября, в феврале 1918 года, по указанию В. И. Ленина была создана специальная комиссия, которая должна была наметить практические меры, необходимые для развития ирригации в Туркестане. А в мае 1918 года (обратите внимание на дату: ведь это время, когда само существование молодого Советского государства находилось под смертельной угрозой) Владимир Ильич подписал декрет «Об ассигновании 50 млн. рублей на оросительные работы в Туркестане и об организации этих работ». Столь значительную для того времени сумму Председатель Совета Народных Комиссаров предлагал выделить на ирригацию потому, что видел в решении этой проблемы не только ее хозяйственную сторону. «Орошение больше всего нужно, — писал он, — и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму».

В те годы Ленин неоднократно беседовал со специалистами о практических вопросах орошения Средней Азии. Один из них, профессор Ризенкампф, вспоминал, что Владимир Ильич называл ирригацию становым хребтом Советской власти в Туркестане.

Пустыня начала «менять кожу». И процесс этот ускорялся по мере того, как на смену кетменю приходили землеройные машины. Сейчас сделан гигантский шаг, чтобы утолить жажду пустыни. Голубая лента Каракумского канала имени В. И. Ленина перечеркнула «черные пески» на 840 километров, протянувшись от Амударьи до Ашхабада. В песнях бахши издавна звенела народная вера, что наступит день, когда

Родники хрустальные польются,
Запоют в немой пустыне птицы,
Зацветут сады под небом синим,
Вырастут волшебные дворцы.

И действительно, теперь в сердце Каракумов запели птицы, возникли новые оазисы и поселки, речные порты и флотилии судов. Только за четыре года пятилетки хозяйства, расположенные в зоне канала, продали государству более миллиона тонн хлопка — 40 процентов того, что производит республика. Государство получило четырехкратную отдачу на каждый вложенный в строительство канала рубль.

Так окупает себя вода в Каракумах, которая, по абсолютно точному выражению туркмен, «дороже алмаза». Но жажда пустыни, иссушаемой солнцем миллио-

ны лет, слишком велика. Ее сразу не утолишь. Поэтому ученые ищут и, что самое удивительное, находят новые источники влаги. Мы, люди, живущие в эпоху научно-технической революции, казалось бы, уже должны привыкнуть к самым невероятным открытиям. Но думаем, что многим покажется парадоксальной мысль взять воду у самой пустыни. Однако дело обстоит именно так.

Ученые Института пустынь точными измерениями количества осадков и объемов испарения доказали: Каракумы страдают от жажды не только потому, что там мало влаги, а прежде всего из-за своего неумения ее использовать. Вода от весенних разливов и осенних дождей пропадает без толку, не успевая напоить растения. А можно ли удержать ее? И тут новый парадокс: оказывается, лучше всего делать это на такырах — бесплодных, как асфальт, глиняных участках пустыни. Помните, у Андрея Платонова в его щемящей, словно запах емшана в предгорьях Копет-Дага, повести: «Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую глинистую нищую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли и легкие ветви, и ветер взял их с собою».

На одном из таких такыров сейчас живут научные сотрудники Копет-Дагской опытной станции Института пустынь. Хозяева радушно приняли нас и угостили... арбузом. В десятках километров от жилья, среди безводных западных Каракумов на столе появились алые, сочные ломти. Это был не только жест гостеприимства — заодно предоставлялась возможность осязаемо почувствовать плоды многолетней и в буквальном смысле жаркой работы группы сотрудников института.

Люди заставили плодоносить такыр. Достигнуто это удивительно просто. Поперек наклона глиняной площадки (а такыр всегда имеет небольшой наклон) проводятся рядами по две двухотвальных борозды. Первая борозда впитывает вешнюю воду, позволяя ей спрятаться от солнца под глиняным щитом, как в естественной амфоре. Все лето вода медленно фильтруется по наклону ко второй борозде, где высажены растения, и подпитывает их корни. Нехитрый этот механизм работает безотказно, и тянутся сейчас там к нему молодые побеги винограда, пятилетние поросли айвы, граната, фисташки. Остается добавить, что при удачном окончании опытов появится возможность ввести в хозяйственный оборот около трех миллионов гектаров такыров в Каракумах.

Мы уже говорили, что сама пустыня почти совсем не умеет использовать отпущенные ей природой запасы влаги. Но ведь и человек сейчас пускает в дело не более одной шестидесятой доли всего поверхностного стока. А оказывается, не только на такырах, но и в барханых песках можно использовать рационально. Работники института показали это на опыте в полупромышленном масштабе.

В Каракумах нашли место, где под слоем песка тянется водонепроницаемый глиняный пласт, образуя естественный котлован. Здесь пробурили тридцать скважин, через которые стекают вглубь зимний и весенний паводки. Теперь вода, ранее бесследно испарявшаяся, надежно прикрыта слоем песка. В таком хранилище уже накоплено сотни тысяч кубометров бесценной влаги — поистине сказочный клад. Это значит, что животноводы могут постоянно поить овец пресной водой там, где ее и в помине не было.

Метод создания подпесчаных линз пресной воды позаимствован у природы (в Каракумах обнаружены такие же естественные водохранилища). Но рукотворные линзы хороши тем, что создаются в местах, где требуются человеку, и влага накапливается не тысячелетиями, а за несколько лет.

Чтобы было понятнее, какое значение это имеет для нашего хозяйства, напомним, что на июльском Пленуме ЦК КПСС обращалось внимание на ведение овцеводства, которому, как никакой другой отрасли, наносят серьезный ущерб неблагоприятные погодные условия. Так было в 1969 году, когда из-за плохой подготовки к зимовке в Казахстане, Узбекистане, Туркмении и ряде других республик был допущен большой падеж овец.

А как показывают расчеты, с такыра площадью в квадратный километр в среднем за год можно погружать в подземные хранилища 10—15 тысяч кубомет-

ров дождевой воды. В центральных Каракумах есть возможность создать десятки таких пунктов, каждый из которых утолит жажду 3500 овец. Создание долгодетных осенне-зимних пастбищ в предгорных районах повысит емкость их на 15—18 процентов и позволит увеличить поголовье овец на 20 процентов.

Однако парадоксы пустыни на том не кончаются. Мысль искать влагу в самом, казалось бы, безводном месте земного шара привела к поразительному открытию: безбрежное песчаное море Каракумов прячет под своим покрывалом второе море — минерализованной воды. Предположительно оно протянулось от Амударьи до Каспия. Вот вам и безводная пустыня!

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд, — природа любит полукавить. Во-первых, эту воду еще надо поднять на поверхность. Во-вторых, опреснить ее. На то и другое требуется значительное количество энергии, а где ее взять в пустыне? Теперь мы должны познакомить читателей еще с одним парадоксом Каракумов, который в формулировке профессора М. П. Петрова звучит так: «Солнце охладит пустыню».

Действительно, здешние места страдают от избытка солнечной радиации, и облачко на небе — целое событие. Но — крайности сходятся — это-то и хорошо для солнечных батарей, которые могут безотказно давать столь нужную для «охлаждения пустыни» энергию. И вот уже кандидат технических наук М. Колодин, научный сотрудник А. Гельдыев, аспиранты С. Сенткурбанов, Е. Рутгайзер «колдуют» над электрическими опреснителями, которые превращают горькую воду в питьевую. Сотрудники Физико-технического института Академии наук Туркменской ССР подсчитали, что в пустынях солнечные установки выгодны даже для опреснения воды при водопое животных. Так Каракумы будут переводиться на водное «самоснабжение», овцеводство же потеряет свой примитивный характер.

Даже за сравнительно короткое путешествие можно заметить, что пустыня утрачивает свой прежний трагический характер. Ее во многих направлениях пересекают водные артерии, линии высокого напряжения, асфальтированные дороги — все те многочисленные приметы гигантских социальных перемен, которые «похоронили прошлое и укрепили переход к социализму».

Значит ли это, что Каракумы перестали быть грозными и суровыми? Тот, кто бывал на Барса-Гельмесе (а в переводе это значит «пойдешь — не вернешься»), мог видеть, как у бархана высотой с десятиэтажный дом, словно поверженные великаны, лежат высоковольтные мачты. Песчаная буря, как игрушку, приподняла их, обнажила литые опоры и шлепнула оземь.

Нет, и теперь с пустыней шутить не приходится. Обуздать ее может лишь одна сила — сила знания и труда.

В последние десятилетия освоение пустынь стало одной из актуальных проблем мировой науки. В самом деле, аридные, как выражаются ученые, территории — это, если не считать Мирового океана, самая многообещающая целина на земном шаре. Сейчас они занимают примерно 23 процента суши, а живет там около одного процента населения земного шара.

В 1969 году состоялся Международный конгресс по комплексному изучению и освоению аридных территорий. От Советского Союза на нем выступил с докладом, вызвавшим оживленное обсуждение, А. Г. Бабаев. Если коротко резюмировать итоги конгресса, можно сказать: цель ученых — сделать многие районы пустыни оазисом. Речь идет о наиболее чутком использовании всего, чем она располагает, или, иначе говоря, о комплексном ее освоении. И здесь нужны усилия специалистов разных отраслей. Есть у этой проблемы и другой аспект...

Не так давно Президиум Академии наук СССР счел нужным заслушать на своем заседании туркменских ихтиологов. Оказалось, что пустыня и рыба — вещи не только совместные, но и абсолютно необходимые друг другу. На механическую очистку только Каракумского канала республика должна была ежегодно тратить миллионы рублей. А биологи Г. Никольский и Д. Алиев на практике доказали: эту работу успешнее машин выполняют белый амур и толстолобик. Стараниями

ученых Каракумы стали одним из трех районов земного шара, где искусственно созданы самопроизводящиеся стада рыб-дворников.

Опыт работы туркменских ихтиологов, имеющий большое значение и для водоемов многих других районов страны, привлек внимание Президиума Академии наук СССР.

Не исключено, что более широкий характер приобретут и методы поиска воды в пустыне. Цифры свидетельствуют: сток наших рек составляет 11 процентов мирового речного стока, тогда как территория страны занимает 16 процентов земной суши. Дефицит налицо. К этому надо еще добавить, что 88 процентов наших водных ресурсов сосредоточено на Севере и Востоке, где проживает лишь четверть населения СССР. «К концу века, — заявляет профессор Вендров, — ресурсы Сырдарьи, Амударьи и их притоков будут исчерпаны. В этом нет никаких сомнений, специалисты водного хозяйства на этот счет даже не спорят». Уже существуют проекты перекачки воды из сибирских рек в Среднюю Азию. Возможно, есть и иные, более дешевые средства пополнения водного баланса этого района, кстати, пригодные и для других частей страны.

Надо ли говорить, что это не единственный случай, когда, казалось бы, сугубо местное мероприятие приобретает всесоюзное значение. Стоит сослаться на Красноводский орнитологический заповедник. Его создание ощущается почти каждым из нас.

...Зимой неприветлив Каспий. Наш катерок, плюхая днищем по мелким злым волнам, пытается выбраться из горла залива. Директор Красноводского заповедника Василий Алексеевич Мельников пригласил нас посмотреть его владения, но ветер и волны все время сбивают катер с курса. Василий Алексеевич протягивает бинокли:

— Видите темные пятна на поверхности моря? Лучшая примета, что мы вошли в зону заповедника.

Сильные стекла приближают к нашим глазам огромную стаю уток-лысух, спокойно качавшуюся на волнах.

— Теперь посмотрите дальше, на это белое облако.

Но стоило направить туда бинокли, как зимний денек вспыхнул неурочной зарей. Барашки исчезли, и мы увидели розовую стаю фламинго, широко раскинувших свои яркие крылья над морем.

Издавна спасаются от холодов на восточном побережье Каспия целые колонии пернатых гостей. Но, пожалуй, впервые им здесь так удобно и привольно. К старому заповеднику в Гасан-Кули, что расподожился на самой границе с Ираном, прибавилось около 190 тысяч гектаров акватории Красноводского и Северо-Челкентского заливов и около пяти тысяч гектаров островов, лежащих в этой части моря. Мало того, в качестве охранной зоны с режимом охотничьего заповедника выделена километровая прибрежная полоса. Это единственный в Советском Союзе заповедник с такой своеобразной географией: его северная и южная части разделены сотнями километров пустыни.

Мы проехали это расстояние от Красноводска до Гасан-Кули. Поселок не спутаешь ни с каким другим: часть домов здесь стоит на высоких сваях, словно голенастые цапли, оказавшиеся на суше. Когда-то в сильные штормы волны подкатывались к домам рыбаков, вот и приходилось им селиться в свайных жилищах. Сейчас море отступило — Каспий мелеет, — и только плотно утрамбованная песчаная почва поселка, в которой оставшаяся морская соль губит любое растение, напоминает о прежних наводнениях.

Здесь на морском мелководье и в разливах реки Атрек несчетные стаи птиц привыкли всю зиму находить пропитание. Чтобы представить, что здесь происходило, мы приведем небольшую справку, взятую из работы младшего научного сотрудника заповедника Берды Бердыева «Экологическая характеристика состояния природы низовьев долины реки Атрек, включая систему озер Делили и бывший Гасан-Кулийский залив». Только Охотсоюзом на сезон 1932/33 года было запланировано добыть в Гасан-Кулийском районе 75 150 птиц. Сколько отлавлива-

ло их еще местное население — трудно поддается учету. Птиц ловили сетями, устанавливая их длинными рядами в море. К утру многие сети не выдерживали тяжести добычи и падали в воду. И так день за днем. Истребление птиц на зимовках наносило большой ущерб народному хозяйству. Вот почему в октябре 1932 года было принято решение о создании Гасан-Кулийского орнитологического заповедника, вошедшего сейчас составной частью в новый Красноводский заповедник. Люди решили вернуть свой долг природе.

Теперь здесь не слышно выстрелов, а сети используются Б. Бердыевым и его товарищами по работе только для научных целей.

Надев высокие сапоги, шлепаем по мелководью все дальше и дальше в море — оно покрывает здесь дно всего на несколько сантиметров, сети же стараются ставить подальше от берега, чтобы до них не могли добраться шакалы, следы которых и сейчас видны на мокром песке.

Сезон отлова уже кончался, и в этот день к окольцованным за зиму птицам добавились только две. Мы принесли их в домик на берегу. Е578385 — лысуха, М72411 — чирок-свистун, записывает Бердыев в специальном журнале и отправляет птиц на свободу. Чирок, оправдывая свое второе название, быстро усвистал в заросли, а тяжелая, жирная лысуха долго плескалась в соседней лужице, оправляя помятые перья, и неторопливо заковыляла к морю.

Что ж, может быть, через некоторое время мы узнаем еще об их судьбе, как и о судьбе тысяч их закольцованных собратьев. И эти сведения помогут нам лучше понять явления, происходящие в живой природе.

Создание Каракумского канала, как мы уже говорили, позволило водоплавающим поселиться в самом сердце пустыни, а обмеление Каспия уничтожает облюбованные птицами места зимовок. И все больше их появляется на севере моря, в Красноводске, где достаточно пищи и тепла. Один же гасан-кулийский район уже не мог обеспечить сохранность зимой необходимого количества пернатых. В связи с этим и был создан новый, более обширный Красноводский заповедник.

Что значил он для птиц? Старший научный сотрудник заповедника Борис Владимирович Сабиневский познакомил нас с данными так называемого авиавизуального исследования. Ученые насчитали прошлой зимой в Красноводском отделении около миллиона птиц. Здесь обосновалось на зиму примерно 450 тысяч лысух, 21 тысяча фламинго, десятки тысяч чирков, лебеди, кряква, чайки, кулики и десятки других видов птиц. Видно, новый заповедник им пришелся по вкусу.

Научная работа в заповеднике приобретает комплексный характер, а сам он становится настоящей природной лабораторией.

По местному выражению, самое «многоптичье» здесь в декабре и январе. В феврале отсюда улетают гости из соседних районов. И чем ближе к весне, тем более густыми косяками тянутся на север десятки тысяч птиц, которые вьют свои гнезда по берегам Двины и Печоры, в Сибири и Казахстане. Они несут с собой тепло туркменского солнца и душевное тепло людей, заботившихся о них и сохранивших их.

Практика пустыноведения все с большей силой подтверждает ленинские слова, что «...техника с невероятной быстротой развивается в наши дни, и земли, непригодные сегодня, могут быть сделаны завтра пригодными». И еще одно доказательство этому — уже в наступившей пятилетке вода придет в западные Каракумы. У строителей теперь есть техника, есть опыт и ясная цель — протянуть канал к древнему морю.

— Душа моя уже проложила дорогу до Каспия. Пока не заплещутся воды Амударьи в голубых морских волнах — не будет покоя сердцу моему.

Так сказал нам бульдозерист Иван Голота, ветеран строительства Каракумского канала. Но прежде чем бульдозеры вступят в дело, голубую трассу канала проводит рейсфедер. Рождение оазисов начинается на ватмане. Экономические расчеты свидетельствуют, что абсолютизировать опыт освоения восточных Каракумов не стоит: западные Каракумы не похожи на восточную часть — новое свиде-

тельство того, что пустыня вовсе не однообразна. В доказательство позвольте познакомить вас с Мешхед-Мессерианской равниной.

Она лежит словно у бога за пазухой. Не случайно на юго-западе Туркмении можно услышать такую легенду.

...Аллах летал над землей, рассеивая народам и странам свои дары. Однако то ли джинны его допекли, то ли просто устал аллах, над туркменской землей он появился грозным и в гневе запрятал богатства этого края — нефть, серу, газ и многое другое — на большую глубину, засыпал барханами, лишил воды да еще приставил стражей — жгучее солнце и песчаные бури.

Сотворив все это, приземлился аллах отдохнуть как раз на Мешхед-Мессериане. И в дреме вспомнил о земле обетованной — Египте, и сразу стало на равнине тепло и сухо, как в далекой стране арабов. С гор низверглись ручьи, и в безводной степи родились Сумбар и Атрек. Подобно полноводному Нилу, они дали жизнь мертвым полям.

С тех пор, уверял нас сказитель, климат здесь, как в Мусуре (Египте), только вот Сумбар и Атрек обмелели.

Данные археологии научно подтверждают: именно в этих местах с их благодатными природными условиями зародилась одна из древнейших цивилизаций. На неоглядных просторах Мессериана и поныне сохранились развалины больших городов, многочисленных поселений, замков и цитаделей. Их некогда населяли народы высокой культуры. В VI—VIII веках нашей эры Мессерианская равнина была центром государства Дахистан, или Дехистан. В своей многоотомной «Географии» древнегреческий историк и географ Страбон сообщает о местах расселения дахских племен. О них упоминает и Корнелий Тацит. Дахи занимали всю территорию Южной Туркмении, от побережья Каспия до областей, граничащих с Гератским оазисом.

В 716—717 годах на богатую страну ринулись полчища завоевателей. Дахи мужественно приняли бой, но после длительной и кровопролитной войны были побеждены. Завоеватели разорили города, вытоптали поля, разрушили ирригационные сооружения. С тех пор здесь веками не ступала нога человека. Но из рода в род, из поколения в поколение передавалась молва о тучных землях, о теплом климате Мешхед-Мессерианской равнины.

Если и сейчас взглянуть с высоты птичьего полета на дельту Сумбара и Атрека, то можно увидеть, как по ней веером расходится древняя ирригационная сеть. Вероятно, в районе Чата, где сливаются эти реки, в те времена полноводные, было водохранилище.

Древний край и по сей день хранит немало легенд. Куран-ага, уроженец тех мест, рассказывал, что на здешнем кладбище покоится герой восточного эпоса Кёр-оглы. В одной могиле с ним похоронен и его верный друг Гырат — конь-ветер. Старик клялся, что в далекие годы своей юности сам видел надгробный памятник с изображением на нем лошади. Мы добрый час лазали по кладбищу, втайне надеясь отыскать надгробие Кёр-оглы, осмотрели десятки могильных холмиков, разбирая по буквам эпитафии на иссеченных дождями и ветрами камнях.

И тут нам вспомнилось, что великий Махтумкули тоже родом из этих мест. Мы невольно огляделись по сторонам, будто хотели увидеть следы, оставленные им. Слева от мавзолея вилась дорога. Она в древности приводила путников в далекую Хиву. Наверное, по ней шагал юный поэт в знаменитое медресе Ширгази.

Быть может, Фраги тоже, как и мы, отдыхал на этих самых дувалах, обдумывая свои творения. В Иране, Афганистане, Азербайджане Махтумкули тосковал по Дехистану:

Мне родимые холмы,
Дехистан увидеть хочется.
Мир-Кулал, Бежауддин,
Мне ваш стан увидеть хочется.

Таково прошлое Мессериана. А сейчас заброшен этот массив плодородных земель, заждавшихся влаги. Так что же сулит он создателям канала? Применив

машинное орошение, на Мессериане можно освоить десятки тысяч гектаров почти без дополнительной планировки. Эту работу сделали за нас наши предки.

Другое, не менее важное преимущество земель древнего орошения — заброшенные человеком, они продолжают сохранять в себе все ценные свойства. Природа, будто смиловившись, накинула на Мессериан непроницаемый плащ, покрыв почву плотной коркой, которая предохранила ее от выветривания. И когда человек возвращается к этим землям, они щедро отдают ему подспудные силы обильными урожаями.

Близко время, когда сюда протянется Каракумский канал. По проекту, он пойдет от Ашхабада в северо-западном направлении до города Казанджика. Отсюда разделится на две ветви: южная направится к районам Мешхед-Мессерианской равнины и субтропиков долины Атрека, а путь другой лежит к промышленным центрам Западного Туркменистана.

Следует оговориться. Каракумский канал — уникальное гидротехническое сооружение. В мировой практике нет и не было примера переброски больших масс воды на столь значительные расстояния через песчаные пустыни, подобные Каракумам. Труд его создателей отмечен Ленинской премией. Значение Каракум-реки для народного хозяйства далеко не однозначно. Это не только оросительная система. Это и транспортная артерия, и источник питания водой городов, промышленных предприятий. В частности, западная ветвь канала позволит наряду с развитием орошаемого земледелия во много раз увеличить добычу нефти и газа, производство химических продуктов в районах Небит-Дага, Челекена, Красноводска.

Но сейчас мы ведем речь об орошении. О зоне так называемых сухих туркменских субтропиков стоит поговорить особо. В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы особо подчеркивалась необходимость «обеспечивать более рациональное размещение производительных сил, вовлечение в хозяйственный оборот наиболее перспективных природных ресурсов». Как известно, в долине реки Атрек можно рассчитывать на такой урожай субтропических культур и винограда, который может превзойти продуктивность земель других субтропических районов СССР. Так говорят трезвые общегосударственные расчеты. В подкрепление приведем свидетельство академика ВАСХНИЛ Д. Д. Брежнева: «Огромные возможности открываются для развития субтропического плодоводства в районе Приатречья. Эта отрасль сельскохозяйственного производства имеет для нашей страны исключительно большое значение, так как зона сухих субтропиков до сих пор не используется для выращивания таких важных культур... как гранат, инжир, хурма, маслины, миндаль и некоторые другие...»

Пока Атрекский оазис — самый маленький в республике. Здесь возделывается всего около пяти тысяч гектаров земли. Орошение же позволит ввести в сельскохозяйственный оборот новые тысячи гектаров. Напомним, что сейчас в Советском Союзе — на территории Грузии, Азербайджана, Краснодарского края и Крыма — для возделывания субтропических культур используется примерно тоже около ста тысяч гектаров. Но увеличение полезной площади произойдет не само собой. Как отмечают сами создатели канала, опыт его строительства показал, что даже в тяжелых условиях Каракумов наибольшие трудности заключаются не в сооружении самого канала, а в освоении земель и особенно в осуществлении комплекса мелиоративных мероприятий.

Наивно полагать, что если в пустыню пришла вода, то достаточно, по известному присловию, воткнуть в землю оглоблю, чтобы требовалось уже готовить амбары под тарантасы. Коли речь идет об использовании земли — необходима двойная осторожность, двойная расчетливость.

Сейчас на душу населения у нас приходится 0,94 гектара пашни, и площадь эта ежегодно, в связи с увеличением населения и расширением строительства, сокращается. В Западной Туркмении появляется возможность ввести в хозяйственный обиход такую землю, которая способна выращивать очень нужные и очень редкие для нашей страны культуры. Как же тут тщательно не подумать и не

посчитать, каким образом наиболее рационально использовать это богатство.

Мы достаточно много рассказали о Мешхед-Мессерианской равнине, чтобы читатель, более или менее знакомый с проблемами сельского хозяйства, уверенно заключил: основные земли этого района, после того как сюда придет вода, должны быть отведены под тонковолокнистый хлопок. Именно так и решили плановые органы. И решение это единственно разумное. Но позвольте в эти оптимистические расчеты внести пессимистическую ноту.

За последние годы, несмотря на то, что площадь под посевами увеличилась в связи с возросшими возможностями орошения, значительного увеличения производства тонковолокнистого хлопка не произошло. Что же случилось? Ответ простой: на плантациях тонковолокнистого хлопчатника, более нежного и более прихотливого по сравнению с другими видами, свирепствует вилт. Эта чума хлопчатника буквально косит сотни гектаров посевов.

Конечно, задним числом легко говорить, что эту напасть можно было предусмотреть и избежать ее или хотя бы ограничить распространение, но уж больно велика цена просчета.

В докладе на июльском Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Не удовлетворяет нас и положение с производством хлопка, сложившееся в последнее время. После 1966 года, когда сбор хлопка-сырца достиг почти 6 миллионов тонн, производство его остается на одном уровне. Среди причин такого положения особо следует указать на отсутствие во многих колхозах и совхозах хлопково-люцерновых севооборотов. Как считают ученые, именно это прежде всего привело к широкому распространению вилта...»

Сейчас создана весьма авторитетная межведомственная научная комиссия, которая начала энергичную борьбу с чумой хлопчатника. Первые результаты ее работы обнадеживают, но ведь потерянного уже не вернешь. Потери в данном случае могут обогатить нас только опытом, что, к слову сказать, немаловажная вещь и в науке, и в народном хозяйстве. Значит, остается открытым вопрос: пошел ли впрок этот печальный урок? И, в частности, не повторяются ли ошибки подобного рода также в подготовке к возделыванию субтропических культур в долине Атрека? Ведь опыта работы с ними даже меньше, чем с тонковолокнистым хлопчатником, а на июльском Пленуме специально подчеркивалось, что у нас еще мало производится овощей и фруктов.

В этот подготовительный период первое слово должно принадлежать науке, которая и призвана разработать всесторонне обоснованные рекомендации практикам. Как же она это делает?

...В долину реки Атрек можно попасть только через пустынные Каракумы. И потому особенно контрастно воспринимаются здесь кудрявые верхушки пальм и вечнозеленые ряды маслин. Но мы приехали в сухие субтропики Туркмении в неудачное время. Зимой ударили непривычные для здешних мест заморозки, а весенний паводок Атрека затопил часть плантаций станции субтропических культур.

Это добавило хлопот директору станции кандидату биологических наук Х. Тойджанову (бывшему директору — должны мы добавить в скобках, а почему — об этом разговор позже), всему ее немногочисленному коллективу. И все-таки директор главным образом был озабочен другими бедами. В конце концов пострадавшие растения постепенно восстановили свои силы. И вновь перед коллективом встают проблемы сохранения плантаций субтропических культур.

В чем же дело?

Опытная станция была создана двадцать с лишним лет назад как раз для того, чтобы выяснить, как приживутся на туркменской земле тонковолокнистый хлопчатник и виноград, маслины и миндаль, гранаты и инжир, даже финиковые пальмы, которые нигде в Советском Союзе больше не плодоносят. Короче говоря, еще тогда начались испытания как раз тех культур, промышленное возделывание которых сейчас встало в повестку дня. Срок, как видим, прошел немалый.

Мы листаем толстые папки отчетов станции. За минувшие годы убедительно доказано, что при искусственном поливе здесь могут возделываться ценнейшие

субтропические культуры. Но ведь это только часть работы. Еще нужны конкретные рекомендации по наиболее рациональному использованию новых орошенных земель, по технологии возделывания пока еще непривычных для этих мест растений, да в конце концов просто питомники для получения саженцев и семян.

А как перерабатывать плоды? Наука свидетельствует, что, кроме субтропических культур, здесь можно выращивать четырехкратные урожаи овощей в год. Ясно, что часть их пойдет для питания нефтяников и химиков ближайших промышленных районов Туркмении. Но, возможно, здесь хватит земли и для создания «всесоюзного огорода»? Ведь Каспий, по которому легко перевозить овощи, — рядом. Возможно, часть овощей и плодов следует перерабатывать на месте? Какой опыт накоплен в этом деле? В республике всего два небольших фруктово-консервных завода — продукция их далеко не субтропическая. Опытный же цех по переработке маслин так и не построен. Даже сейчас часть урожая с делянок станции пропадает.

Словом, практических рекомендаций для будущих совхозов и колхозов субтропических культур подготовлено крайне мало. Намечается же создать сорок девять новых хозяйств, в то время как теперь в Приатречье всего шесть колхозов.

Нельзя сказать, что станция выпала из поля зрения республиканских организаций. Это было бы слишком простое объяснение. Только Совет Министров Туркмении дважды обсуждал вопросы улучшения работы Кизыл-Атрекской опытной станции субтропических культур, принимал специальные (и очень хорошие) решения. На деле же...

На деле какую научную работу может вести коллектив станции, если основные усилия его уходят на то, чтобы спасти опытные плантации от засухи? Не начата закладка новых плантаций, под которые отведено 145 гектаров. Именно на этих площадях и должны были проводиться важнейшие эксперименты.

Как же все-таки объяснить происходящее?

За последние годы сельское хозяйство Туркмении получило значительное развитие. Каракумский канал принес жизнь в восточные районы республики. Его строительство, освоение новых земель, забота об урожае поглощает все внимание работников Министерства сельского хозяйства, а до освоения западных районов со всем их своеобразием как-то не доходили руки. Убаюкивали и успехи: справились на востоке, справимся и на западе. Что ж, сомнений нет: действительно справимся. Но какой ценой? Сколько будет потеряно продукции, удастся ли использовать все земли под наиболее ценные культуры, когда грянет гром и вода придет в субтропики?

Беседа в Министерстве сельского хозяйства Туркмении не приглушила тревоги. Нам говорили об отсутствии кадров: мол, очень трудные климатические условия работы. Может, это и так. Но вот Тойджанов на климат не жаловался и все-таки написал заявление с просьбой освободить его от должности «по собственному желанию». Директора не устраивало прежде всего равнодушие к нуждам станции. Выходит, дело еще и в психологическом климате, а его устанавливают как раз в министерстве.

Мы ходили по опытным деелям станции, и нам представлялось, как такими же стройными рядами раскинутся в долине Атрека совхозные массивы оливковых рощ, зацветет миндаль, станут плодоносить финиковые пальмы. И преобразит долину не только вода, но сила науки и человеческий энтузиазм.

Чтобы оазис с ватмана перешагнул на землю, сохранив математически точную целесообразность экономических обоснований, требуется для каждой цифры провести разведку практикой. Оружие для такой разведки дает только наука, и забвение этой истины может обойтись слишком дорого.

Как показывают вполне трезвые расчеты, только внедрение рекомендаций, разработанных сотрудниками Института пустынь, позволит ежегодно получать экономический эффект в пределах 30 миллионов рублей. Сейчас, после июльского Пленума ЦК КПСС, в преддверии XXIV съезда партии, ученые института наметили осуществить ряд новых первоочередных задач. Их суть видна даже при беглом перечислении. Изучение закономерностей формирования и развития различ-

ных ландшафтов пустынь в естественных условиях и в результате хозяйственной деятельности человека; изучение водных ресурсов пустынь и их рациональное использование; изучение земельного фонда пустынь и их качественная оценка; разработка научных основ ведения животноводства и укрепление кормовой базы; разработка биологических и технических методов борьбы с ветровой эрозией песков и их сельскохозяйственное освоение.

И, конечно, нельзя не пожалеть, что эти работы в большей своей части выполняются во временном помещении института, никак не приспособленном для монтажа новейших научных приборов, аппаратуры и оборудования. Как тут снова не вспомнить о важности для ученого «психологического климата»...

Наш «газик» катил к морю. Зима брала свое, и облысевшие вершины Большого Балхана прикрыли темя снежными тубетейками.

В это время в пустыне шел обычный для тех мест «сенокос». То там, то здесь у дороги стояли автомашины, на которые люди грузили собранные руками охапки верблюжьей колючки — запас кормов на зимние дни. А рядом, лишь глянуло после дождей солнце, тянулись к небу зеленые побеги. И тут же ронял в землю семена будто окутанный инеем явшан, воспетый Майковым под именем емшана. Словом, пустыня жила своей, хотя порой и скрытой от глаз жизнью. И чем ближе к побережью, тем эта жизнь становилась заметней и хлопотливей: вода в пустыне --- это и есть жизнь.



ПУБЛИЦИСТИКА

Б. СМЕХОВ

★

ПРОСТОТА И СЛОЖНОСТЬ ЭКОНОМИКИ

Экономическая наука находится в центре внимания нашей общественности. Но вместе с возрастанием интереса к экономике множатся и упреки в ее адрес. Предложите кому угодно такую задачу: сопоставить различные отрасли знания по степени их развития и успешного использования в практике. Среди передовиков многие назовут, конечно, математику, физику. Возможно, историю. Экономическая же наука скорей всего будет названа среди отстающих.

Дело в том, что нерешенные проблемы экономики каждый из нас ощущает на себе самом непосредственно и постоянно. Проблемы математики, физики, химии доходят до широкого круга людей тогда, когда они уже решены — в форме тех или иных практически важных конструкций, химикатов и т. п. Экономист в ином положении. Широко известно, что проблемы, с которыми он имеет дело, решить пока удастся лишь частично. И подчас может показаться, будто экономисты почему-то топчутся на месте, в то время как математики и физики то и дело удивляют мир своими достижениями. Да и с виду экономические задачи куда проще, чем проблемы точных наук.

Однако простота эта кажущаяся.

ИЛЛЮЗИЯ ПРОСТОТЫ

Возьмем, к примеру, животрепещущий вопрос — согласование хозяйственных планов с насущными потребностями населения. Как будто установить потребности покупателя можно, следя за спросом. Теперь следует построить план производства так, чтобы удовлетворить эти потребности наилучшим образом. Весьма конкретная и вроде бы немудреная задача. Для изучения спроса и его особенностей по отдельным группам семей, имеющих различные доходы, в нашем распоряжении — соответствующая отчетность, статистические методы и т. д. Правда, возможности предприятий на первых порах могут быть недостаточны для полного удовлетворения запросов покупателей. Тогда придется цены изменить таким образом, чтобы установить равновесие между спросом и предложением. Это тоже в наших руках. Нетрудно учесть и то, как изменится спрос, когда промышленность освоит отдельные новинки.

Планы, таким образом, будут строго согласованы с интересами потребителей — с потребностями общества.

Вот, собственно, что и отстаивает Н. Петраков в статье «Управление экономикой и экономические интересы» («Новый мир», 1970, № 8). В статье содержатся интересные соображения по вопросам хозяйственной реформы, системы стимулирования на разных уровнях и др. Но нас здесь будет интересовать именно плановый аспект управления экономикой. Рыночный механизм управления экономикой представляется в статье Н. Петракова безупречно эффективным. Остается плановикам только «опереться» на этот механизм — и планы будут соответствовать потребностям общества.

Попробуем, однако, вникнуть чуточку поглубже в суть дела.

Спрос и потребности — это не одно и то же. Семья, имеющая средний доход, не может позволить себе покупать за год более 50 кг. мяса и мясных продуктов в расчете на одного человека. Да и больше предложить ей наши ресурсы пока не позволяют. Спрос соответствует предложению. Значит ли это, что и потребность в мясе составляет 50 кг. в год на человека? Всем известно, что это не так. Можно спорить о степени точности рациональной нормы, установленной Институтом питания АН СССР, но то, что человеку нужно в год в среднем около 80 кг. мяса, не вызывает сомнений.

Говоря о том, что надо устанавливать цены на уровне, балансирующем спрос и предложение, Н. Петраков подчеркивает, что он отвлекается от товаров первой необходимости, так как «проблема очередей за этими товарами, как известно, практически уже снята» (стр. 178). Слова «как известно» предназначены, видимо, для того, чтобы повысить степень достоверности этого утверждения. Однако в докладе М. А. Сулова на торжественном собрании, посвященном 53-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, отмечалось: «В частности, у нас не полностью удовлетворяется спрос населения на мясо».

Но допустим, что нет очередей за товарами первой необходимости, в том числе за мясом. Спрос и предложение сбалансированы. Что же нас заставляет предпринимать колоссальные усилия, чтобы повысить уровень потребления мяса и других продуктов на душу населения?

Мы горды тем, что уже за первые три года пятилетки, реализуя решения партии и правительства, удалось поднять годовое потребление мяса и мясных продуктов в расчете на душу населения с 41 кг. в 1965 году до 48 кг. в 1968 году. Но предстоит еще многое сделать и по мясу, и по другим предметам первой необходимости.

Не только и не столько превышение спроса над предложением, сколько превышение уже назревших потребностей над текущим спросом, размер которого ограничен рамками доходов и цен сегодняшнего дня, является главным стимулом развития производства, повышения его эффективности.

И, кстати, именно в том, что разрыв между потребностями и возможностями сокращается не так быстро, как хотелось бы, кроется главная причина неудовлетворенности экономикой, а отнюдь не в том, что за новинкой сегодня выстраивается очередь.

Н. Петраков, казалось бы, и сам не прочь признать, что не следует отождествлять потребность «в чистом виде» с платежеспособной потребностью, спросом (см. стр. 178). Но тем не менее он считает, что именно «рыночный механизм позволяет нам выявить структуру личных потребностей людей» (стр. 184).

Более того, только рынок каким-то образом дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, как лучше всего удовлетворить потребность на данный товар. Например: строить ли швейную фабрику или производить домашние швейные машины? (см. стр. 182). Решение в пользу фабрики «означает, что население отныне желает покупать готовое платье, а не шить одежду в домашних условиях» Но как это выяснить у населения? Плановик должен обратиться к рынку. Там, на рынке, население и выразит свою волю.

Н. Петраков часто употребляет грозное слово «право». Ох, уж эти плановики! То и дело присваивают себе не принадлежащие им права. «Плановик не имеет права навязывать административными методами свое мнение». За потребителем «всегда должно сохраняться право решающего слова» (стр. 185). И т. д. и т. п.

Все это так. Но вот с помощью цен сбалансированы спрос и предложение на готовые товары и на домашние швейные машины. Как быть плановику, если потребитель на рынке теперь не подает голоса? И уж совсем ничего этот потребитель не заявляет и не обещает относительно того, как он будет вести себя через пять лет — десять лет.

Изучение рынка, спроса, вне всяких сомнений, очень важно для определения потребностей. Но дело управления экономикой не может быть сведено лишь к «настраиванию» на требования спроса.

Попробуем все же выяснить, в каких пределах данные рынка позволяют судить о потребностях.

ГОЛОС РЫНКА

Вернемся к покупателю мяса. Мы выяснили, что покупатель со средним доходом не может проявить на рынке свои потребности «в чистом виде». Но ведь есть и покупатели, получающие высокую зарплату. Их спрос, естественно, ближе к уровню потребностей. Следовательно, изучая их бюджет, плановик получает действительно важную информацию о потребностях.

За годы планируемого периода заработная плата трудящихся будет расти вместе с ростом экономического потенциала нашего общества. И в конце этого периода средний заработок поднимется до того уровня, который еще несколько лет назад считался высоким. Стало быть, стремясь к тому, чтобы каждый мог купить завтра столько же, сколько сегодня покупают представители высокооплачиваемой категории трудящихся, плановик тем самым, казалось бы, будет действовать не как «правонарушитель», а как слуга народа. Поэтому вполне прав Н. Петраков в том, что плановик должен «исследовать особенности потребления различных групп населения с различным уровнем дохода» (стр. 184) для выявления потребностей.

Однако насколько точно совпадает спрос более обеспеченных семей с потребностями? Сплошь и рядом эти семьи покупают меньше, чем хотели бы, хотя причина этого уже иная, чем у покупателя со средним доходом: денег хватит, но нужного товара нет.

Можно ли сблизить спрос наиболее обеспеченных семей с общественными потребностями, построив «экономiku очереди» по схеме Н. Петракова? Да, можно, но для этого придется поднять цены до такого уровня, что разрыв между потреблением этих семей и остального населения станет еще более резким. Иначе говоря, при этом многие товары окажутся не по карману большинству населения. А плановику, как слуге народа, нужно позаботиться о массе покупателей. Стало быть, не только отставание возможностей производства от потребностей, но и целый комплекс сложных социальных проблем приводит к тому, что спрос любой группы населения существенно отличается от потребностей и не дает полной информации о последних.

Есть еще одно усложняющее обстоятельство. Допустим, что по какому-то виду товара спрос наиболее обеспеченных семей удовлетворяется на уровне их потребностей. Можно ли рассчитывать, что этот уровень останется таким же завтра, когда высокий доход данной группы семей превратится в средний доход семьи? Спрос ведь зависит не только от цен и доходов, но и от того, какова профессия, квалификация работника и т. д. Если квалифицированный рабочий завтра будет получать столько, сколько сегодня получает директор научно-исследовательского института, можно ли сказать, что и потребление такого-то товара у них будет на одном уровне? А для того, чтобы изучить спрос рабочего с таким уровнем дохода, пока нет данных.

Совершенно очевидно, что никакие самые изощренные статистические методы не смогут «выжать» из тех данных, которые предоставляет рынок, всего того, что нужно плановику для достаточно точного учета истинных потребностей.

Мы уже не касаемся того, что данные, которыми располагает статистика в настоящее время, еще далеки от совершенства. Нас интересуют объективные возможности спроса как источника информации о потребностях. Оказывается, существуют именно объективные причины, по которым максимум информации, которую можно получить из данных о спросе, не дает ответа на вопрос об уровне действительной потребности.

Итак, к голосу рынка следует прислушиваться обязательно. Но нужно учесть еще то, о чем рынок сказать не может.

Плановик действительно «не имеет права» самовольничать. Но он также «не имеет права» приравниваться по любому товару к любой группе потребителей. Он должен определить основную потребность в данном продукте. А это значит, что надо прежде всего с достаточной точностью определить полные потребности, причем с дифференциацией по полу, возрасту, профессии, квалификации и — что не менее важно — с учетом уровня общей культуры и интеллектуального развития.

Кроме того, товар товару рознь. Если речь идет о водке или табаке, то плановик, формируя перспективный план на пятнадцать — двадцать лет вперед, не только имеет

право вносить обоснованные коррективы в выявленные потребности, но, следуя коренным интересам коммунистического строительства, не имеет права уклоняться от внешения таких коррективов. Конечно, наряду с перспективами ограничения продажи таких товаров, как водка, плановику придется учесть возможности планомерного усиления действия тех факторов, которые способны сократить самую потребность в потреблении водки. Поэтому мы и говорим об обоснованных коррективах.

ПРОПОРЦИИ СПРОСА И ПРОПОРЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Пока мы рассматривали различия между спросом и потребностью по изолированному товару. Но если нам и удалось выявить потребность «в чистом виде» по одному товару, то можем ли мы поставить перед собой задачу полного удовлетворения этой потребности, скажем, в следующем году или по крайней мере в предстоящей пятилетке? Ведь общие возможности развития народного хозяйства в течение определенного периода заведомо не беспредельны, а потребность в данном товаре существует объективно наряду с потребностями во всех других товарах. В какой же мере следует сократить разрыв между полной потребностью и достигнутым уровнем потребления по разным видам товаров?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно решить сложнейшую проблему динамики структуры, пропорций потребления в пределах планируемого периода. Может или не может рынок дать исчерпывающие данные для решения этой проблемы?

Вернемся к примеру со швейной фабрикой. Практически перед плановиком (а точнее — перед всей системой плановых органов) вопрос стоит гораздо сложнее, чем он выглядит в постановке Н. Петракова.

Даже если его упростить и пока ограничиться только предметами потребления, то с точки зрения совокупности общественных интересов решение может быть иное, чем с позиций потребления отдельного товара. Допустим, установлено, что очень важно увеличить удельный вес продажи готовой одежды по сравнению с тканями. А на сколько увеличить? Строить ли одну, две, пять швейных фабрик в стране, а может, пока не начинать нового строительства, чтобы высвободившиеся средства направить на строительство новых мощностей в обувной промышленности или в производстве сахара? Народное благосостояние зависит от совокупности потребления различных товаров.

Можно возразить: рыночный механизм как раз и дает возможность изучать товарную структуру спроса в зависимости от доходов, цен, предложения и т. д. Вне всяких сомнений. Однако нам-то нужно знать не структуру спроса, а структуру потребностей «в чистом виде». Без выяснения этого принимать альтернативные решения плановики действительно не имеют права. Но уж если по отдельному товару рынок не дает ответа на вопрос об истинных потребностях, то о структуре потребностей он и подавно не может предоставить необходимой плановику информации.

Во-первых, отклонение спроса от потребностей по разным товарам неодинаково. Во-вторых, один товар более необходим для жизни, чем другой. В-третьих, для планирования, особенно перспективного, нужно определить, как должна измениться структура потребления с возрастанием возможностей производства.

«Пределы, в которых представленная на рынке потребность в товарах — спрос — количественно отклоняется от действительной общественной потребности», — писал К. Маркс, — конечно, очень различны для различных товаров»¹.

В плановом хозяйстве надлежит выявить именно «действительную общественную потребность», которая уже назрела, и вести производство к тому, чтобы, во-первых, сократить до минимума время, необходимое для достижения полного удовлетворения этой потребности; во-вторых, в границах этого времени шаг за шагом, год за годом изменять структуру потребления в соответствии с коренными интересами общества;

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. 1, стр. 207.

и, в-третьих, предусмотреть при этом обогащение структуры потребления теми новыми товарами, возможность производства которых в перспективе реальна.

Все это гораздо сложнее, чем «тонкая настройка» «всех сфер народного хозяйства» (стр. 185) с помощью единственного механизма — механизма рынка.

Какие же дополнительные данные о потребностях в предметах потребления используются для принятия альтернативных решений? В перспективных планах это наряду с данными о текущем спросе — и система рациональных норм потребления, и данные социологических исследований, и гипотезы влияния различных факторов на структуру потребностей, и научные прогнозы технического прогресса, и изучение структуры потребления различных групп населения в других странах, и т. д. Во всей этой работе много нерешенного и несовершенного. Однако нельзя считать, будто все, что привносится со стороны плановика в решение вопроса о планомерном изменении структуры потребления, неправомечно, если только допускаются отклонения от указаний рынка. Отклонения обязательно нужны.

Кстати, о рациональных нормах потребления. Такие нормы и по предметам питания (рациональная диета), и по одежде, обуви и другим непродовольственным товарам разработаны рядом научно-исследовательских институтов под руководством Госплана СССР. Естественно, эти нормы существенно отличаются от текущего спроса на товары. И это вызывает бурю негодования у тех, кто видит в рынке единственный источник информации о потребностях. Как, мол, смеет кто бы то ни было указывать потребителю, что и в каком составе ему потреблять рационально или нерационально?

Часто в такого рода спорах смешивается вопрос о пропорциях между целыми отраслями производства в перспективе ряда лет с вопросом об ассортименте отдельного вида товара. Первое — сфера централизованного планирования. Второе касается деятельности предприятий и торговых фирм, их договоров, их текущих дел, то есть это та сфера, где «тонкая настройка» на рынок, о которой пишет Н. Петраков, действительно совершенно необходима.

Когда используются рациональные нормы, речь идет не о расцветке ткани или о габаритах шкафа. Рациональные нормы нужны для того, чтобы на далекую перспективу определить пропорции капитального строительства между различными видами производства, в том числе и между производством тканей и мебельной промышленностью. А уж какой расцветки ткань будет более ходкой в 1980 году или какие именно шкафы будут нужны покупателю — до решения подобных вопросов еще очень далеко в тот момент, когда в расчете на перспективу вырабатывается, так сказать, траектория движения общественного производства в его важнейших ответвлениях. Но здесь-то и нужно знать, насколько существенно «действительная общественная потребность» отклоняется от текущего спроса. Рациональные нормы, разрабатываемые системой научных учреждений, оказывают в этом деле неоценимую помощь.

Конечно, нет необходимости устанавливать нормы детально, вплоть до сортов, фасонов изделий и т. п., но нельзя ограничиваться и глобальными величинами.

Еще на заре развития нашего государства, в 1919 году, В. И. Ленин запрашивал ЦСУ о том, как питались различные слои населения до войны и в 1919 году по сравнению с нормами питания. При этом он подчеркивал: «Нормой считать, сколько надо человеку, по науке, хлеба, мяса, молока, яиц и т. под., т. е. норма не число калорий, а количество и качество пищи»¹.

Сегодня, когда речь идет о построении материально-технической базы коммунизма, знать, сколько «по науке» нужно человеку, особенно важно.

Кто спорит: имеющиеся возможности производства нужно использовать так, чтобы текущий спрос и предложение соответствовали друг другу. Иначе говоря, чтобы любой товар можно было достать, не выстоявая часами в очереди, и вместе с тем чтобы все товары нашли своего покупателя. А для этого необходим весь тот механизм, о котором пишет Н. Петраков, — умелое стимулирование выпуска нужных товаров, постоянное улучшение качества и ассортимента товаров в сочетании с гибким регулированием соотношения цен. Но — и только для этого. Нельзя сводить проблему

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 342.

управления экономикой к «работе» подобного механизма. Рынок не может ответить на вопрос, какие и где нужно закладывать новые заводы и шахты, сооружать мелиоративные системы, прокладывать новые пути и т. д., чтобы потребности (а не спрос) быстрее всего удовлетворить наиболее полно.

Н. Петраков видит, конечно, что планирование производства имеет дело с будущим периодом. Но это будущее у него оказывается уж слишком привязанным ко всем недостаткам объективного и субъективного характера, которые накопились к моменту составления плана и вследствие которых в структуре спроса отражается в искаженном виде структура общественных потребностей.

Академик С. Г. Струмилин писал о пропорциях потребления, подлежащих обеспечению в плане:

«Заглянуть в будущее для определения этих не известных еще нам пропорций мы не можем. Но этого и не требуется. Дело в том, что те же структурные сдвиги в потреблении, какие в зависимости от уровня жизни происходят во времени, уже даны нам в момент составления плана — в пространстве. Они существуют рядом в любой момент в группах населения различных уровней благосостояния... Однако... составители плана вовсе не обязаны слепо следовать в своих проектировках производственных пропорций указаниям бюджетов о фактических пропорциях потребления... И потребление можно рационализировать»¹.

Вот об этой проблеме рационализации потребления частенько забывают, когда ищут на рынке исчерпывающие ответы на вопросы о потребностях общества.

НЕ ВСЕ В ПРОДАЖЕ

Для того, чтобы рыночный механизм был способен «единолично» диктовать плану, как управлять экономикой, рынок должен не только точно отражать потребности, но обязательно все потребности. А они относятся не только к товарам, но и к услугам. Потребление же услуг оказывает самое прямое воздействие и на уровень и на структуру потребления товаров. Имеются, правда, платные услуги, которые можно включить условно в сферу рыночного механизма. Ну, а как быть с бесплатными услугами? За один лишь 1970 год общественные фонды потребления составили более 63 миллиардов рублей.

Тут уже мы вступаем в сферу таких потребностей, о которых рынок вообще молчит. А ведь плановик, принимая решение в области материального обеспечения товарооборота, не может отвлечься от потребностей в услугах, в том числе и бесплатных. Опять же приходится напомнить: ресурсы ограничены.

Мы оговорились, что условно платные услуги можно отнести к сфере действия рыночного механизма. Эта оговорка не случайна. Возьмем один из важнейших видов платных услуг — услуги жилищно-коммунального хозяйства. Реагирует ли рыночный механизм на квартирную плату или плату за газ и воду? Можно ли с помощью этого механизма выяснить, какой вариант соотношения между ростом жилого фонда и ростом производства, скажем, готовой одежды соответствует потребностям населения в наибольшей степени? Нет, нельзя. А ведь вариантов много, решение же должно быть одно, оптимальное.

«Потребность в своем жилье для возникшей семьи можно сравнить лишь с потребностью в хлебе и одежде», — справедливо замечает Л. Кузнецова в статье «До и после свадьбы» («Литературная газета», 1970, № 45). Добавим от себя: это справедливо не только для вновь возникшей семьи, но и для любой семьи.

Оттого, что услуги не входят в состав общественного продукта, потребность в них не становится меньше. И соответствующая часть общественного продукта заранее должна быть закреплена за сферой услуг, как их материальная база — в виде ли жилищ, водопроводов, предприятий химчистки или же в виде зданий и оборудования театров, клубов, стадионов.

¹ С. Г. Струмилин. Проблемы социализма и коммунизма в СССР. М. Экономиздат. 1961, стр. 91—92.

А какой пышный букет разнообразных социальных проблем преподносит нам, казалось бы, скромная задача распределения ресурсов внутри непроизводственной сферы — между отраслями науки, искусства, культуры, здравоохранения! От планировки города и принятых схем развития межгородского и внутригородского транспорта очень многое зависит в плане удовлетворения потребности населения в целом ряде важнейших видов услуг. Попробуйте «настроиться» в этих вопросах на запросы рынка.

Но, может быть, удастся как-то отгородить вопросы удовлетворения потребности в товарах от потребности в медицинских услугах и театральных спектаклях? Не выйдет! Конечно, есть более насущные и менее насущные потребности. Наверно, не случайно уже в формуле древних «хлеба и зрелищ» на первое место был поставлен хлеб. Но задача управления экономикой заведомо комплексная. В комплексе потребностей можно и нужно учитывать объективно существующее предпочтение, которое общество отдает одним благам перед другими. Это не значит, что кто-то откажется от потребления одних благ ради потребления других, но это значит, что уровень потребления разных товаров будет повышаться не одинаково и сроки доведения этого уровня до уровня потребности будут различны.

Существенно также подчеркнуть, что потребность — не субъективная, а объективная категория. Развитие производительных сил и производственных отношений приводит общество к тому, что оно уже не вольно в выборе своих потребностей. Последние в их совокупности существуют объективно, они органически связаны с условиями материальной жизни общества, созданными предшествующей историей. Для каждого данного исторического момента и данных социальных условий объективно существует определенный комплекс потребностей.

И это еще не все. Благосостояние трудящихся определяется и такими факторами, которые не выражаются ни в продуктах, ни в услугах. Достаточно указать на свободное время и его организацию.

То, что в капиталистических условиях завоевывается в классовой борьбе, в социалистическом хозяйстве стало предметом планомерной организации общественного труда. В плане на достаточно длительный период не только желательно, но необходимо предусмотреть увеличение свободного времени. Широкое развитие комплексной автоматизации производственных процессов в условиях присущей социализму полной занятости неизбежно приведет к сокращению продолжительности рабочего дня и рабочей недели, а дополнительное свободное время окажется необходимым для всестороннего развития трудящихся. Это огромная сложнейшая социальная проблема, для решения которой требуется исподволь готовить материальные условия. Никакой рыночный механизм не может выявить масштабы и структуру тех условий, которые нужны уже сейчас для этого и которые, конечно, отвлекают ресурсы от сиюминутных нужд.

Таким образом, если равняться действительно на общественные интересы, то придется признать, что рынок хоть и отражает потребности, но далеко не все, а те, что отражает, — не полностью и не в тех пропорциях, какие объективно присущи потребностям. Рынок — это зеркало, но такое, которое не умещает в своем отражении всего комплекса потребностей, а потребности собственно в товарах приобретают в нем искаженный вид.

Однако кривое зеркало — тоже зеркало. И если умело им пользоваться и внести существенные коррективы в его отражение, оно может служить с успехом. Только не следует забывать об общественной необходимости этих коррективов.

Следуя в управлении экономикой общественным интересам, надо видеть, что последние заключаются:

во-первых, в таком комплексе потребления различных материальных благ и услуг (в сочетании с целым рядом социальных условий труда и быта), который лишь частично и неточно отражается в спросе на товары и платные услуги;

во-вторых, в объективной потребности скорейшего перехода к достижению на практике указанного комплекса;

в-третьих, в объективной необходимости по мере этого перехода от периода к периоду изменять структуру фактического потребления благ в таком направлении, которое опять же лишь частично совпадает с требованиями рынка и которое может

быть определено с помощью целой системы прогнозов и научных исследований в различных областях экономики, физиологии, социологии, техники, политики, истории.

Многое уже сделано в этой части, но гораздо больше предстоит сделать.

Научно обоснованные нормы потребления на разных уровнях народного благосостояния должны совершенствоваться и уточняться по мере накопления знаний и расширения возможностей производства, но именно они отражают действительные общественные потребности.

РЫНОК БЛИЗОРУК

До сих пор нас занимала проблема определения конечных потребностей. Но управление экономикой в соответствии с уже выявленными конечными потребностями требует оптимального согласования производства и его потребностей с удовлетворением конечных потребностей трудящихся. Поэтому пора рассмотреть вопрос об общественном производстве в целом, включая и сферу производства средств производства.

Н. Петраков сформулировал следующие положения, относящиеся к планированию народного хозяйства в целом: «Планирование, если оно исходит из необходимости удовлетворять потребности населения, должно прежде всего отталкиваться от информации об этих потребностях. Необходимую информацию такого рода дает рынок предметов потребления» (стр. 184). Более того, чуть выше подчеркивается, что необходим механизм, который, во-первых, давал бы «полную информацию об интересах потребителей, а во-вторых, быстро и автоматически исправлял допущенные ошибки планирования. Таким механизмом в настоящее время может быть только рыночный, товарно-денежный механизм».

Заметим: рыночный механизм не только дает полную информацию о потребностях, но способен быстро и автоматически исправлять ошибки планирования.

Если перевести спор о месте товарно-денежных отношений при социализме в область теории, то легко показать, что приведенные утверждения безо всяких доказательств перечеркивают некоторые весьма обоснованные выводы политической экономии. Однако это слишком специальная тема.

Рассмотрим утверждения Н. Петракова с позиций живой жизни, каждодневной практики. Выводы «чистой» теории не должны бояться такой проверки.

Не будем вновь касаться вопроса о том, полную или неполную информацию о потребностях представляет рынок. Пусть даже полную. Любопытно, как это рынок способен автоматически исправлять ошибки планирования.

Ошибки планирования. Какие, к примеру? Ошибки ли в выпуске ткани, не пользующейся спросом, или часов и т. д.? Но ведь речь идет об управлении экономикой, и раздел статьи Н. Петракова посвящен критериям управления вообще, а не управления текущей деятельностью действующих заводов и фабрик. Да и пример об этом говорит: проблема строительства новой фабрики. Но тогда, значит, может идти речь о любых ошибках планирования, скажем, об ошибках в перспективных планах реконструкции предприятий той или иной отрасли, в планировании подготовки кадров, в размещении производства по стране, в планировании геологоразведки, научных исследований и т. д. и т. п. Ведь все это объекты планирования в социалистическом хозяйстве, причем в своем развитии они теснейшим образом взаимосвязаны.

Вот конкретный пример. В 1969 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд постановлений по строительству и в их числе постановление «Об улучшении проектно-сметного дела». В нем отмечается, в частности, что «во многих проектных институтах недостаточно учитываются при разработке проектов достижения мировой науки и техники... Построенные по таким проектам промышленные предприятия оказываются отсталыми, а культурно-бытовые объекты и жилые дома — неудобными. Архитектурный облик их однообразен и непривлекателен». В постановлении намечены меры по устранению этих недостатков.

Интересно, как подобные ошибки мог автоматически обнаружить и даже исправить рынок?

Но, может быть, все же Н. Петраков имел в виду только ошибки в текущем планировании ассортимента товаров личного потребления? Следующая фраза снимает всякие сомнения и убеждает нас, что речь идет о планировании народного хозяйства во всем его объеме: «Необходимость «тонкой настройки» охватывает практически все сферы народного хозяйства, поскольку характер личного потребления населения оказывает прямое или косвенное воздействие на развитие всех отраслей общественного производства» (стр. 185).

Действительно, в конечном счете потребности населения диктуют в социалистическом обществе темпы и пропорции общественного производства, которое в свою очередь расширяет и обогащает эти конечные потребности. Однако рынок в лучшем случае может указать на ошибки плановика в том, что он предлагает для продажи покупателю. Но просчеты в технических, технологических, проектных и тому подобных решениях рынок исправить не может. Один и тот же объем и состав продукции может быть произведен самыми различными техническими способами, при самом различном размещении производства, и все это в конечном счете различным образом скажется на уровне жизни через пять—десять—пятнадцать лет. Это необходимо предвидеть и выбрать оптимальный вариант, обеспечивающий скорейшее достижение более высокого уровня народного благосостояния. Ошибки в этом деле могут быть исправлены только на основе серьезного улучшения методов выбора того варианта народнохозяйственного развития, который наиболее быстро приближается к полному удовлетворению потребностей народа. Речь идет, в частности, о внедрении методов оптимального планирования с помощью ЭВМ. Разработка и внедрение этих методов оптимального планирования хозяйства куда более сложное дело, чем «тонкая настройка» на текущий спрос.

Несоответствия между текущим спросом и текущим предложением у Н. Петракова выглядят центральной проблемой планирования. Поэтому для предупреждения ошибок в планировании оказывается достаточно «наличие цен, балансирующих платежеспособный спрос и предложение товаров», и создание «экономического механизма, при котором поставщики были бы материально заинтересованы в снижении цен на свою продукцию» (стр. 180). Но ведь это меры, способные улучшить лишь текущую работу действующих предприятий. Между тем наиболее существенное воздействие на экономику страны, а значит, и на возможности удовлетворения потребностей населения оказывают перспективные планы развития и их сердцевина — воспроизводство основных фондов.

«Право выбора» в масштабах и формах технического прогресса отраслей народного хозяйства заведомо принадлежит не покупателю, а тем органам социалистического государства, которым доверяет все общество — все покупатели — научно обосновывать лучшие варианты развития народного хозяйства.

В конечном счете все это нужно для того, чтобы покупатель нашел в магазине что ему нужно и по сносной цене. Но именно в конечном счете.

Решая проблемы перспективного планирования народного хозяйства, волей-неволей приходится в пределах данного периода одни потребности удовлетворить в большей, а другие в меньшей мере. При всех просчетах плановиков, возможности централизованного выбора хозяйственной политики, в частности в сфере крупного капитального строительства, дают социалистическим странам то неоспоримое преимущество, которое проявляется в неуклонном и быстром росте производства и потребления, в полной занятости населения, в планомерном освоении богатств новых районов и т. д. Мы еще недостаточно полно используем эти преимущества. Но характер ошибок в этом деле таков, что нет и быть не может механизма, который бы автоматически их исправлял. Это вопросы не конъюнктуры, а экономической стратегии, это не арифметика, а высшая математика экономики.

В реальной действительности существуют необходимость и объективные возможности повышать уровень удовлетворения потребностей прежде всего путем планомерного изменения народнохозяйственных пропорций, технического прогресса, подготовки кадров и, что также очень важно, путем создания предпосылок для реализации всего этого с полным использованием рыночного механизма.

Но пути эти заранее не даны. Заранее даны лишь варианты этих путей.

СЛОЖНОСТЬ ЭКОНОМИКИ

Обратимся вновь к вопросу о строительстве швейной фабрики, так как, рассматривая именно этот, «казалось бы, безобидный вопрос» (стр. 182), Н. Петраков выдвинул приведенные выше положения о роли рыночного механизма в исправлении ошибок планирования.

Заметим прежде всего, что для примера взята швейная фабрика, а не металлургический завод. И это естественно: она ближе к рынку. Но не следует забывать, что и домашние и фабричные швейные машины будут делаться из металла, притом он потребуется в разном количестве и сортаменте. Значит, если смотреть на вещи опять же чуть поглубже, то строительство металлургического завода может оказаться, с народнохозяйственной точки зрения, не таким уж далеким вопросом для данной ситуации. Решение локальной проблемы тянет за собой всю цепочку межотраслевых связей. Да и строительство самой швейной фабрики, освоение ее мощностей, так же как и наращивание мощностей машиностроения по выпуску швейных машин,— это дело не одного года. Где же гарантия, что выявленная сегодня на рынке тяга к готовой одежде не изменится завтра в пользу домашних швейных машин (хотя бы благодаря улучшению жилищных условий, изобретению очень удобных к использованию домашних швейных машин, увеличению свободного времени у женщин и т. д.)? Мы вовсе не ратуем за домашнее производство. Но пример показывает, что сигналы рынка для решения даже такого вопроса далеко не достаточны.

Далее. Допустим, что тенденция к покупке готовой одежды обоснована всесторонне. Достаточно ли этого, чтобы решить вопрос в пользу строительства швейной фабрики? Ясно, что такое решение отвлечет определенную сумму капитальных вложений от других объектов строительства. Ведь общая сумма капитальных вложений на тот период, в течение которого будет строиться фабрика, имеет свой «потолок».

Надо решить вопрос: построить ли швейную фабрику и тем самым увеличить удельный вес в товарообороте готовой одежды по сравнению с тканями или тот же объем капитальных вложений направить на строительство столовых и кафе? Практически возможных альтернативных решений великое множество. Но мы упростили задачу, сведя ее к одному «конкуренту», притом не из области тяжелой индустрии, а из родственной сферы непосредственного удовлетворения спроса населения. И тем не менее ясно, что рыночная конъюнктура ровным счетом ничего не подскажет. И рост производства готовой одежды, и развитие общественного питания явно в интересах трудящихся. Вопрос в данном случае состоит в том, что именно надо делать сперва, а с чем можно подождать. Тут уж рынок сегодняшнего дня — очень слабый помощник. Вступают в силу сложнейшие расчеты динамики структуры потребления в соответствии с потребностями, расчеты, требующие привлечения целого ряда источников информации, упомянутых выше, и, кроме того, опробования многочисленных вариантов технических и проектных решений.

Но, повторяем, объективно решению о строительстве одной только швейной фабрики в народнохозяйственном планировании противостоят решения о строительстве на ту же сметную стоимость различных объектов буквально во всех отраслях. А межотраслевые расчеты могут показать, что, к примеру, форсирование механизации строительных работ может в течение, допустим, пяти лет сказаться на уровне жизни в большей мере, чем переключение нужных для этого средств непосредственно на строительство объектов легкой промышленности и общественного питания. Экономия общественного труда — главный фактор повышения эффективности общественного производства, который в наших условиях через всю систему сложных связей утилизируется именно в удовлетворении потребностей народа. Но для этого надо видеть перспективу взаимодействия разных отраслей. А рынок близорук. Он видит только то, что лежит на поверхности.

Далее. Возьмите вопрос о создании задела для ввода в действие мощностей где-то за пределами даже пятилетки. Внешне выделение средств на создание строительных заделов выглядит оторванным от запросов населения. Но плановик действует в интересах населения, когда включает в число строек и такие крупные заводы, электростанции, мелноративные системы и т. п., которые отвечают не сегодняшним, а будущим требованиям общественного производства и народного потребления.

Вот уж действительно на что у плановика нет никакого права — это на то, чтобы быть близоруким. Он должен видеть далеко вперед.

В разгар гражданской войны В. И. Ленин организовал разработку первого в мире перспективного плана развития народного хозяйства — плана ГОЭЛРО. Не рынок, как известно, определил его основные решения, хотя в конечном счете смысл такого рода планов В. И. Ленин видел именно в том, что новый общественный строй «обеспечит благосостояние всей народной массы на основе электрификации целых стран»¹.

Другое дело — текущие дела, способы, методы осуществления таких планов. Рыночные отношения, механизм рынка тут выдвигаются вперед, но именно ради лучшей реализации перспективных планов. В. И. Ленин подчеркивал, что «новая экономическая политика не меняет единого государственного хозяйственного плана и не выходит из его рамок, а меняет подход к его осуществлению»².

Мы ничуть не склонны идеализировать централизованное планирование. Но ошибки, допускаемые в этом деле, еще не ставят под сомнение научность основ этого планирования.

«Конечно, это — план лишь приблизительный,— писал В. И. Ленин о плане ГОЭЛРО,— первоначальный, грубый, с ошибками, план «в порядке первого приближения», но это настоящий научный план»³.

Исправлять ошибки нужно, если речь идет о перспективных планах, не путем настройки на текущий спрос, а путем неуклонного совершенствования тех методов, принципы которых были применены уже при разработке плана ГОЭЛРО,— принципы единства плана, выделения основных звеньев, комплексности плана, его подчинения конечным целям развития социалистического хозяйства, максимального использования достижений науки и техники для повышения эффективности общественного производства, и все это ради одной цели — ускорить предоставление труженику того, что нужно человеку «по науке».

Н. Петраков рисует «некоторых экономистов», с точки зрения которых «централизованное во всех деталях управление экономикой наиболее рационально в наших условиях» (стр. 174). Далее выясняется, что эти «некоторые экономисты» обрадовались появлению новейшей счетной техники, которую-де можно использовать для централизованной разверстки производственных заданий вплоть до рабочего места.

Видал я на своем веку многих и очень разных плановиков и в Госплане СССР, и в республиканских госпланах и что-то не заметил среди них ни одного такого чудака, который был бы похож на этих «некоторых экономистов». Странников глобального подхода — сколько угодно. Конкретизация заданий для них нежелательна. А охотников централизованно доводить задания до рабочего места не встречал.

Конечно, спорить с выдуманным противником легко. Но к чему это, спрашивается?

«Не навязывайте, плановики, своих решений потребителю!» Этот навязчивый призыв звучит в работах, авторы которых не дают себе труда призадуматься, какие плановики и чем занимаются. Речь они ведут о планировании в о б щ е. И если плановик отказывается включить в число новостроек швейную фабрику ради решения таких-то невидимых рынку, но нужных народу перспективных задач — это выглядит произволом. Плановик превращается в правонарушителя.

На том же «основании» и милиционер, останавливающий движение, выглядит правонарушителем, поскольку он действует вопреки стремлению водителя двигаться к цели быстрее. Разница только в том, что водитель своими глазами видит, почему и зачем его остановили, что это в его же собственных интересах. А почему плановик принимает решения, не всегда совпадающие с требованиями текущего спроса, увидеть труднее.

Крупные проблемы перспективного развития экономики страны и текущие вопросы работы действующих предприятий в конечном счете взаимосвязаны. Но определяющими в наших условиях являются первые.

Какова, например, перспектива производства тканей? Моды 1980 года повлияют на конкретный спрос населения: если сохранятся мини-юбки — потребуются меньше тканей; если пойдут в ход макси-юбки — потребуются больше. И в 1980 году это надо

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 147.

² Там же, т. 54, стр. 101.

³ Там же, т. 42, стр. 341.

будет учесть, чутко прислушиваясь к запросам рынка. Но, вырабатывая план развития сельского хозяйства и строительства ткацких фабрик, было бы просто излишним прогнозировать вкусы девушек по части моды.

Весь вопрос не в том, следовательно, чтобы оставить без внимания механизм рынка, совершенствование методов его использования и т. д. Нам представляются вполне обоснованными те способы согласования текущего спроса с текущим предложением, о которых пишет Н. Петраков. В частности, более гибкое использование для этого механизма цен.

Но нельзя ограничивать этим проблемы управления экономикой и возводить механизм рынка в автомат, способный исправлять ошибки планирования вообще.

«Экономика — это сложный и динамичный организм, развитие которого само по себе постоянно рождает новые проблемы», — говорил Л. И. Брежнев в докладе «Дело Ленина живет и побеждает». И далее: «Исключительно важную роль приобретает теперь правильная постановка планирования. Бесспорно, товарищи, что многие из сложностей, с которыми нам приходится сталкиваться в области экономики, имеют свои корни в тех или иных недочетах планирования, в несовершенстве планов, а также в недостаточно четком их выполнении. Поэтому одна из важнейших задач состоит в том, чтобы постоянно совершенствовать методы планирования, увеличивать научно-техническую и экономическую обоснованность планов, как текущих, так и перспективных...

Улучшение перспективного планирования, в рамках которого учитываются как наличные ресурсы, так и предвидимые потребности, приобретает сейчас особенно большое значение»¹.

Совершенствование методов народнохозяйственного планирования охватывает обширный круг проблем и органически связано с хозяйственной реформой. Ее дальнейшие успехи в огромной степени зависят от того, насколько обоснованы и стабильны будут планы и нормативы экономического стимулирования.

* * *

Чрезвычайно важно каждой проблеме отводить строго ей принадлежащее место. Ведь и в споре «товарников» с «нетоварниками» много зряшного именно потому, что у одних перед глазами проблема очереди за новинкой, а у других — проблема размещения гидроэлектростанций. Эти проблемы лишь в конечном счете взаимосвязаны. Но методы их решений разные. В одном случае решающим является совершенствование механизма рынка. В другом — повышение уровня комплексного перспективного планирования народного хозяйства. В одном случае речь должна идти главным образом о методах изучения спроса. В другом — главным образом о методах определения потребностей «в чистом виде», формирования на этой основе целевой функции плана и внедрения в практику моделей оптимального планирования с помощью современных ЭВМ. Какие здесь трудности и возможности — тема особая.

Наука должна быть беспощадна к привычным представлениям. Чтобы понять истинную сложность экономики, нельзя руководствоваться только тем, что видишь каждодневно на рынке. В науке меньше всего годится поспешное принятие видимости за сущность. Решающее слово за сущностью, которая нередко так же противоположна видимости, как вращение Земли вокруг Солнца противоречит тому, что мы каждый день наблюдаем.

В наш век вряд ли нужно доказывать справедливость пушкинских строк:

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

¹ Л. И. Брежнев. Дело Ленина живет и побеждает. Политиздат. 1970, стр. 26, 27—28.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. С. СМИРНОВ

★

МЕСЯЦ В ПЕРУ*

Латинскую Америку часто называют вулканическим континентом не столько в прямом, сколько в переносном смысле. В странах ее то и дело происходят мощные политические потрясения.

После того, как десять с лишним лет назад произошла кубинская революция, самым значительным событием в Латинской Америке оказался переворот, совершенный осенью 1968 года в Перу. С тех пор прогрессивные люди мира с живым вниманием и сочувствием следят за экономическими и политическими преобразованиями, осуществляемыми в этой стране.

Одним из первых шагов нового перуанского правительства было установление дипломатических и торговых отношений с Советским Союзом. Вскоре после этого мне довелось провести месяц в Перу и своими глазами увидеть начало того процесса, который сейчас все чаще называют перуанской революцией.

Наша небольшая писательская делегация воочию убедилась, что далекие расстояния, разделяющие наши государства, не уменьшают дружеские чувства перуанцев к советским людям.

Говорят, друзья познаются в беде. Когда землетрясение 1970 года вызвало в северных горных районах страны огромное разрушение и многочисленные человеческие жертвы, Советский Союз тотчас же протянул перуанцам руку помощи. По воздушному мосту через океаны и континенты в Перу были доставлены не только медикаменты, оборудование для госпиталей, продукты и одежда, но и отряды добровольцев-врачей, которые несколько месяцев самоотверженно оказывали медицинскую помощь населению пострадавших районов. Этот благородный акт Советской страны вызвал глубокую благодарность перуанцев.

И мы безмерно рады тому, что страна оправляется от последствий стихийного бедствия и что наша Родина широко и бескорыстно помогает в этом перуанцам. Мы верим, что ни происки реакции, ни буйство стихии не могут задержать победного движения Перуанской республики по ее новому пути — укреплению национального суверенитета и экономической независимости.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

События, происходящие в Перу, привлекают пристальное внимание советских людей. Но надо признать, что знаем мы об этой стране очень мало.

Со школьных времен помним, что Перу лежит в западной части Южной Америки и его омывают волны Тихого океана, что в XVI веке, когда эта страна была центральной частью обширной и богатой империи инков, туда вторглись испанские завоеватели, захватили эти земли и разграбили сказочные богатства Перу. Страна надолго ста-

* Журнальный вариант. Полностью книга выходит в издательстве «Советский писатель».

ла заморской колонией испанских королей. И лишь в прошлом веке, когда по всей Южной Америке прокатилась волна национально-освободительных революций, на карте западного полушария вместе с другими родившимися тогда государствами появилась Перуанская республика.

Если же говорить о современном Перу, мы, пожалуй, до последних лет знали только то, что у власти там стояли реакционные, яростно антикоммунистические правительства, которые всегда верой и правдой служили интересам своих хозяев — монополий США. Вот, вероятно, и все, что «среднеарифметический» советский человек знал о Перу. Большинство из нас даже не имело представления о том, чем обязано этой стране. Ведь именно из Перу пришли к нам в Европу картофель, некоторые сорта кукурузы, хинин и орех-кока, который дал мировой медицине известное анестезирующее средство кокаин.

Впрочем, не удивительно, что нам было так мало известно о Перу и перуанцах. Наши народы всегда разделяло не только большое расстояние и океанские просторы. Перу было в числе тех немногих латиноамериканских государств, которые никогда не поддерживали дипломатические отношения с нашей страной.

Как-то после войны тогдашний министр иностранных дел республики Белаунде надменно сказал: «Могу категорически заявить, что в Перу никогда не будет советского посольства». Но вот прошло два десятка лет, и правительство Перу, пришедшее к власти в октябре 1968 года, выразило желание, при полном одобрении народа, установить нормальные дипломатические отношения с СССР и другими странами социалистического лагеря. Зимой 1969 года в перуанскую столицу прибыла советская торговая делегация, а следом за ней приехали и мы — делегация Союза писателей СССР.

Нас было трое — переводчик и литературовед Нина Булгакова, поэт Роберт Рождественский и я. В Лиму мы летели после недельного пребывания в Уругвае и, хотя из Монтевидео послали телеграмму в одну из писательских организаций Перу, откровенно говоря, не ожидали, что нас кто-нибудь встретит, тем более что было воскресенье. Но, приземлившись в аэропорту перуанской столицы, мы не успели сделать и нескольких шагов от трапа самолета, как на нас надвинулась толпа человек в пятьдесят во главе с фото- и кинорепортерами. Засверкали «блиц», на нас обрушились охапки цветов, мы едва успевали пожимать тянущиеся со всех сторон руки и переходили из объятий в объятия.

Совершенно невозможно было запомнить «кто есть кто» — десятки имен извергались на нас потоком. Помню только, что среди встречающих был представитель канцелярии президента республики — невысокий плотный человек в военной форме. Может быть, благодаря его присутствию мы не были подвергнуты никаким формальностям, обычным при въезде в страну. И сразу же очутились в высоком, полном света и воздуха стеклобетонном здании нового аэропорта Лимы. И тут нас ожидал второй сюрприз.

Первое, что мы увидели, было большое красное знамя со звездой, серпом и молотом — государственный флаг нашей Родины, а рядом с ним — красно-бело-красное знамя Перу. С этими знаменами стояла толпа — человек двести студентов и рабочих Лимы. Раздались горячие аплодисменты, толпа тесно сомкнулась вокруг, и опять нас обнимали, хлопали по спинам, со всех сторон тянулись для пожатия руки. Потом кто-то выкрикнул: «Да здравствует Советский Союз!» — и тут же этот возглас подхватили другие. Мы ответили здравницей в честь Перу, и это вызвало шумный восторг. Из толпы закричали: «Да здравствует Октябрьская революция!» Встреча стала принимать явно митинговый характер. Я взял у ближайшего радиорепортера микрофон и от имени делегации сделал перед внимательно слушавшей толпой заявление для печати, подчеркнув культурный характер нашей миссии, и поблагодарил правительство Перу за то, что оно предоставило нам возможность посетить страну.

Итак, опасения оказались напрасными — и при первой встрече, и впоследствии наши перуанские коллеги относились к нам с дружеским вниманием и сочувственным интересом. В печати регулярно появлялась вполне объективная информация, публиковались фотографии, и даже самые правые газеты и журналы ни разу не сделали какого-либо недружелюбного выпада по нашему адресу.

ОТКРЫТИЕ ПЕРУ

Наше открытие Перу началось с музея археологии и антропологии в Лиме. И это было действительно открытие без всяких кавычек. В длинной веренице комнат на множестве витрин перед нами предстали древние цивилизации, когда-то родившиеся и умершие на земле Перу, и такие предметы были выставлены на этих витринах, что мы невольно подолгу задерживались у них, любясь фантазией и искусством древних мастеров. Эти культуры носили звучные названия: Чавин, Моче, Чанкай, Тиауанако, Чиму, Наска — так именовались реки и горы, где были обнаружены древние поселения. Они существовали начиная с первого тысячелетия до нашей эры. Каждая из них имела черты глубоко своеобразные, и все же что-то в стиле и характере изделий говорило об их общности, о том, что все они, хоть и в разное время, рождены на одной и той же земле, которая сейчас называется перуанской.

Изделия из камня культуры Чавин — большей частью стилизованные изображения дикой кошки пумы или ягуара, а иногда даже человечка, условные изображения страшных чудовищ, выполненных с таким искусством и темпераментом, что становится жутковато, когда вглядываешься в их зловеще оскаленные хищные морды. Чавин — самая древняя из обнаруженных на территории Перу культур (IX—IV века до нашей эры), но высокое искусство ее ваятелей очевидно.

Совсем другой, вполне реалистический характер носит великолепная керамика культуры Моче (VI—III века до нашей эры); она изящна, покрыта искусной росписью, донесшей до нас множество деталей из жизни тех далеких времен. Это сосуды с горлышком в виде стремени, кувшины и вазы в виде человеческих фигур или голов с явно портретными чертами лица.

А ткани! То, что сумела сохранить нам земля с тех давних времен, свидетельствует, что древние перуанские ткачихи, прядильщицы, вышивальщицы были необыкновенными искусницами. Ткани культуры Паракас, пролежав в земле больше двух тысяч лет, сохранили не только свою первоначальную мягкость и блеск, но и яркость красок.

Когда знакомишься в музеях Лимы с этими древними культурами, сразу же отмечаешь: почти все они родились и умерли на узкой полосе тихоокеанского побережья Перу или вблизи него. А что же было на большей части страны? Неужели народы, жившие там, за тысячи лет так ничего и не создали?

Ответ на этот вопрос дает география страны.

Природа разделила Перу на три резко непохожие друг на друга зоны: океанское побережье, горы и тропические леса — сельву — по берегам Амазонки и впадающих в нее рек. Могучие хребты Кордильер протянулись на тысячи километров вдоль всего западного побережья Южной Америки, и белые снеговые вершины «пяти-» и «шеститысячников» издавна видны с теплых дождов, плывущих по Тихому океану. Но хребты эти, по крайней мере на всем протяжении перуанского побережья, не подходят вплотную к океану, их отделяет от него сравнительно узкая полоса всхолмленной равнины, большей частью сухой, пустынной и на первый взгляд совершенно бесплодной. Некрутые, округлые холмы, то желтые, то буроватые, то серо-коричневые, иногда совершенно голые, иногда поросшие колючими кактусами и редкими кустами пальм, начинаясь от песчаного берега, где гудит океанский прибой, — тянутся на запад, переходя постепенно в скалистое, поросшее лесом предгорье Кордильер. В северной части этой прибрежной пустыни почти не бывает дождей, в южной их не бывает никогда. Прокаленные тропическим солнцем желто-бурые холмы и долины побережья кажутся обреченными на вечное бесплодие.

Такими, однако, они только кажутся.

Кордильеры — естественный водораздел страны, ее сверхмощная станция водоснабжения. Тают ледники и снеговые шапки гор, тучи, наползая на скалистые гребни и поросшие лесом склоны, проливаются дождями. В узкие каньоны, в глубокие долины сбегает бесчисленные горные ручьи и водопады, соединяясь в бурные реки, такие, как Урумбамба, Апуримак, Укаяли, Мараньон. Петляя в извилистых ущельях, они со скоростью гоночных автомобилей несутся на север и на запад, постепенно сливаются вместе и дают начало царице всех рек земли — Амазонке, которая, рождаясь в Перу,

пересекает поперек — с запада на восток — почти весь южноамериканский материк, вбирая в себя по дороге сотни других рек, и извергает весь этот величайший в мире поток пресной воды в Атлантику. Но и со склонов, обращенных в сторону пустынного побережья, тоже стекает много речек. Только они не такие полноводные и совсем короткие. Прорезая узкую прибрежную полосу, они исчезают в океане, промыв за тысячелетия ряд параллельных долин, тянувшихся от Кордильер к Тихому океану.

И долины эти представляют разительный контраст окрестной пустыне. Они буйно зелены, там раскинулись маисовые и хлопковые поля, банановые плантации, фруктовые сады. Оказывается, земля побережья вовсе не бесплодна, ей просто не хватает влаги, и там, где появляется вода, она раскрывает свое поистине сказочное плодородие. Именно здесь, в долинах рек Моче, Чанкай, Наска и других, издавна селились люди; здесь рождались и умирали древние культуры перуанской земли. Эти долины за последнее десятилетие стали одной из неисчерпаемых кладовых современной археологии.

Археологические исследования в Перу практически начались лишь в XX веке и дали богатейшие, даже сенсационные, результаты. Правда, раскопками всегда занимались североамериканцы: правительство страны неохотно отпускало средства на мало прибыльное дело поисков древностей, а богатые университеты США организовывали одну за другой свои археологические экспедиции в Перу, где сами перуанцы выступали главным образом в роли проводников и землекопов. Лишь в последние десятилетия в Перу появилась своя археология, хотя до сих пор, как и прежде, немало добытых сокровищ древности уплывает из страны в США.

Перед перуанскими археологами непочатый край работы. Даже в самой благоприятной для археологии пустынной прибрежной части Перу не раскопано еще множество древних поселений. А если говорить о горных областях страны, то там планомерные поиски остатков ранних культур практически еще не начаты. Но в горах обстановка для археологических открытий гораздо сложнее. Там сырой климат, там тропические ливни, земля пропитана влагой. В такой земле немного сохранится от давних времен. И, конечно, главной сокровищницей для археологов останется прибрежная пустыня. В такой веками сухой, прокаленной почве в древних могильниках тела захороненных сохранились настолько, что можно даже различить черты их лица, сохранилась их одежда и всевозможная утварь.

Много загадок хранит в себе это пустынное перуанское побережье, вызывая порой самые смелые гипотезы, потому что пока все еще не могут быть объяснены наукой. Расскажу только об одной.

В южной части побережья, в области Наска, есть место, вызывающее пристальный интерес ученых. В некотором отдалении от моря, среди обычных для этих мест голых холмов, протянулась ровная, как стол, полоса земли шириной в полтора-два километра и длиной более шестидесяти километров. Вся окрестность вокруг покрыта светло-желтыми песками, и только эта полоса густо усыпана темными мелкими камешками.

Так как дождей тут не бывает, все здесь необычайно устойчиво: борозда, проведенная в земле десятки лет назад, выглядит так, будто она сделана вчера; брошенный редкими проезжими клочок бумаги даже через два-три года кажется оставленным совсем недавно. Время словно бы остановилось в этой необыкновенной пустыне. Что же особенно здесь удивляет? Во многих местах камешки кем-то собраны и сложены в длинные кучи, а там, где они лежали, на общем темном фоне обнажен светлый песок. Лет двадцать назад никто не замечал закономерностей таких обнажений, но в конце сороковых годов ученые решили взглянуть на эту местность с самолета. И тогда перед ними открылась поразившая их картина: светлые линии песка, проложенные на темной равнине, оказались почти идеальными прямыми и вся местность с высоты полета представлялась огромным чертежом. Линии то расходятся радиально из одного центра, то пересекают друг друга, то тянутся строго параллельно. Кое-где камешки убраны так, что с самолета видна на земле совершенно правильная трапеция, в других местах различимы гигантские спирали, и вместе с этими геометрическими фигурами сверху видны такие же циклопические изображения каких-то животных и птиц.

Одна из этих птиц, как нам рассказывали, изображена в столь огромном масштабе, что клюв ее тянется на два километра.

Что же представляет собой эта таинственная полоса земли, расчерченная, разрисованная так, как будто над ней работали великаны-художники? Может быть, это астрономический полигон древнего народа? Во всяком случае, фигуры животных и птиц, заснятые с самолета, очень напоминают красочные изображения на сосудах культуры Наска. Можно предположить, что эти гигантские фигуры и чертежи предназначались для взоров богов, которые должны были видеть их с небес. Но как удалось выполнить их в таких масштабах? Летательных аппаратов, как известно, в древности не существовало, а поблизости нет ни одной горы, ни одного высокого холма, чтобы с их вершины можно было проверить, как выглядят эти колоссальные изображения. Но ответов наука пока не дает, хотя вот уже несколько лет там работает немецкий археолог-энтузиаст Мария Рейхе. Будем надеяться, что загадка эта в конце концов будет разгадана.

Но вернемся в сегодняшний день Перу, оставшись на том же тихоокеанском побережье, о котором шла речь.

НА УЛИЦАХ ЛИМЫ

Почти в самой середине этого длинного побережья находится долина небольшой реки Римак. Здесь четыре столетия назад завоеватель Перу Франсиско Писарро основал город, который стал новой столицей страны. Лима была построена в отдалении от моря, и с тихоокеанским портом Кальяо ее связывала дорога в три десятка километров. Но со временем и столица и Кальяо расширились, слились в один город. Теперь от дальних восточных окраин Лимы, лежащих среди серых холмов подступающей к городу пустыни, и до роскошных тихоокеанских пляжей и полной кораблей гавани едешь по тесно застроенным улицам, и вряд ли сами местные жители сумеют указать, где кончается Лима и начинается Кальяо.

Сейчас Лима — огромный город с двухмиллионным населением, город очень пестрый и своеобразный. Пожалуй, большую его часть занимают одно- и двухэтажные особняки с плоскими, как на Востоке, крышами. Жилые кварталы отодвинуты от шумного центра. Тут в мирной тиши дремлют: обсаженные яркими цветами домики, а около них — машины хозяев. Но центр Лимы буйно кипит. Поток машин и пешеходов течет по широкому солнечному проспектам, застроенным вполне современными домами, среди которых здесь и там высятся многоэтажные коробки небоскребов. У одного такого небоскреба, где помещается министерство просвещения, прямо на тротуаре идет торговля всякой всячиной. Это самая настоящая барахолка.

Сверкают роскошные витрины магазинов золотых и серебряных изделий, которыми издавна славится Перу, на каждом шагу — кафе и ресторанчики, десятки лавчонок торгуют сувенирами. Тут и фигурки лам, и глиняные инкские быки, и сосуды «под Чавин» или «под Наску» — в стране существует целая промышленность, занятая имитацией древностей.

На широкой площади, куда вливается проспект, в центре сквера высится большая конная статуя. Это памятник Сан Мартину — руководителю борьбы перуанцев за освобождение от испанского господства, и площадь названа его именем.

Площадь Сан Мартина — деловой и торговый центр, а официальный центр Лимы, как почти каждого латиноамериканского города, — Пласа де Армас — площадь Оружия. Там стоит президентский дворец, обнесенный высокой железной оградой, у ворот которого застыли на часах гвардейцы в бело-красных мундирах и в золоченых шлемах с перьями. Каждый день в час пополудни у дворцовой ограды собирается толпа поглазеть на смену караула.

Между Пласа Сан Мартина и Пласа де Армас лежат старые кварталы Лимы с лабиринтами узких улочек. Хотя современных зданий и тут предостаточно, но все же в этих кварталах осталось много домов испанской колониальной архитектуры с прелестными внутренними двориками — патио; с красными, потемневшими от времени и копоты черепичными крышами, края которых далеко выступают над стеной дома;

со старинными решетками на окнах и нависшими над улицей балконами, иногда застекленными, иногда представляющими собой сплошное кружево из резного дерева.

В Лиме, как в любой другой латиноамериканской столице, множество памятников, начиная с конной статуи Франсиско Писарро. Завоеватель Перу и основатель его новой столицы помещен у президентского дворца на главной площади, но не в центре ее, а сбоку. Видно, слишком уж обгарены кровью индейцев руки жестокого конкистадора, чтобы предоставить ему самое почетное место даже в городе, который он заложил. Другие монументы — пешие и конные статуи, бюсты и головы — обычно изображают государственных или военных деятелей Перуанской республики, имена которых нам были совершенно неизвестны, да и наши друзья-перуанцы не всегда могли объяснить, чем знаменит тот или иной бронзовый сеньор. Особенно много мы встречали памятников героям перуанско-чилийской войны, происходившей сто лет назад. Герой запечатлен то со штыком наперевес, устремленный в атаку, то с поднятой саблей — видимо, звал за собой солдат, — то с гордым презрением сжимал шпагу, вероятно, ожидая нападения противника. И хотя мы все трое, и тем более я, как военный писатель и ветеран войны, питаем глубокое уважение к героям, эти памятники невольно вызвали улыбку. Особенно у меня и у Ницы Булгаковой: мы вспоминали виденные нами два года назад в Чили почти точно такие же памятники в чилийских городах. Они были посвящены героям той же войны с одной разницей — те статуи изображали героических чилийцев, сражавшихся против Перу, а теперь перед нами стояли героические перуанцы, воевавшие против Чили. Сами же памятники, их стиль, позы фигур и даже, как нам казалось, мундиры бронзовых героев в обеих странах были почти одинаковыми. Эта схожесть забавляла нас и наводила на невеселые размышления о смысле, вернее бессмыслице, подобных войн.

По широким проспектам и по тесным, как ущелья, старым улочкам Лимы с большой скоростью несется поток разномастных машин. В западных странах вообще никого не касается внешний вид твоей машины, и на проспектах Парижа или Лондона нередко можно встретить автомобиль, вполне доведенный «до ручки». Но такого количества моторавалов, как на улицах перуанской столицы, мне не доводилось встречать нигде. Здесь никого не удивляет машина с начисто отодранным крылом, с отсутствующей крышкой багажника или без дверцы, машины без капота, с бесстыдно обнаженным мотором. Причем, как правило, подобные машины едут битком набитые людьми — бедность и многолюдность часто сочетаются. Здесь в порядке вещей, когда в пятиместной машине едут десятеро.

Другая достопримечательность автомобильного потока Лимы — машины старых марок, какие мы видим в ранних фильмах Чаплина. Неуклюже-высокие, с нелепо торчащим рулем, с резиновой грушей клаксона, с колесами на спицах, они выглядят необыкновенно комично среди элегантных, обтекаемых современных «фордов», «мерседесов», «кадиллаков». Но такая машина — отнюдь не свидетельство бедности ее владельца. Напротив, она — признак богатства. Допотопные машины — новая мода, введенная миллионерами в Соединенных Штатах и уже распространившаяся на другие страны Америки и Европы. Среди богачей считается шиком иметь старомодную машину. Цены на сохранившиеся автожипажи начала века взлетели на головокружительную высоту, и чем старше эти автопредки, тем дороже за них платят. Моторы, разумеется, на них ставят вполне современные.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Прежде всего это была чета Валькарсель. Серую кепочку и великолепные черные усы Густаво Валькарселя, как и живые глаза и веселый смех его жены — высокой, худощавой Виолеты, мы заметили еще в аэропорту. Густаво — известный в Перу поэт и активный деятель компартии. Виолета — журналистка, она представляет здесь наше Агентство печати «Новости», которое издает в Лиме ежемесячный иллюстрированный журнал «Панорама», рассказывающий перуанцам о жизни Советского Союза. Его первый номер вышел незадолго до нашего приезда, второй — во время нашего пребывания в стране.

Густаво и Виолету трудно назвать пожилыми людьми, но у них уже четверо детей и внук. Старший сын — студент и учится у нас в Москве. Он женат на студентке родом из Венесуэлы, и у них есть маленький сын. Имя Густаво традиционно в семье — так зовут старшего сына и внука. Остальных детей — славных подростков — мы не раз видели, когда приезжали в гости к Валькарселям.

Живут Валькарсели в одном из множества похожих друг на друга и очень симпатичных двухэтажных плоскостранных домиков, какими застроены новые жилые кварталы Лимы. В нескольких комнатах этого дома, с обычными почти для каждой квартиры перуанского интеллигента коллекциями национальных древностей и предметов народного искусства, соседствуют портреты Ленина и Маяковского, фотографии Москвы и всевозможные русские сувениры: Густаво-старший уже побывал у нас в Союзе.

Мы не сразу сблизились с этой четой, да и вообще уже в первый день своего приезда поняли, что к выбору друзей нам здесь надо подходить деликатно, чтобы никого не обидеть. Дело в том, что мы оказались «в моде» и пользовались таким широким вниманием, на которое вовсе не рассчитывали. Волна всеобщего интереса к Советскому Союзу и к советским людям была как бы реакцией на долгие годы отчуждения и враждебности по отношению к нашей стране.

С нами хотели встречаться и беседовать рабочие и студенты, наши коллеги — перуанские писатели и артисты, преподаватели и профессора университетов, адвокаты и промышленники. Нас наперебой звали в гости домой, приглашали на обеды и ужины в рестораны. Нас гостеприимно встречали в правительственных учреждениях. Нами интересовались журналисты. И мы не раз чувствовали, что порой возникает нечто вроде ревности из-за желания установить, так сказать, свою «монополию» на советских гостей. Это проявилось в первый же день приезда, когда довольно большая компания собралась у нас в отеле и начался разговор о программе нашего пребывания в Лиме и в Перу вообще.

Слушая споры и наблюдая за новыми знакомыми, мы все больше ощущали эту ревность, сначала забавлявшую, а потом даже встревожившую нас. Мы вовсе не хотели, чтобы наше пребывание в Перу попытались использовать в своих интересах какие-нибудь группы, которых всегда много среди творческой интеллигенции любой страны. К тому же мы еще совсем ничего не знали о сегодняшней жизни этой страны и могли допустить те ошибки и просчеты в отношениях с людьми, которые помешали бы успеху нашей миссии. А это была миссия дружбы и культуры с целями ясными и широкими. Мы хотели познакомиться с самыми разными сторонами жизни перуанского народа, и прежде всего с его культурой, с творческими организациями, с видными писателями, артистами, художниками, независимо от их партийной принадлежности, политических взглядов и художественного направления. Эта широта целей неизбежно диктовала нам и широту подхода к людям. А уж если близко подружиться с кем-нибудь, то, конечно, руководствуясь исключительно чувствами личной симпатии.

Именно так мы сошлись с Валькарселями. Наш главный «хозяин» — президент перуанского общества писателей Эстебан Павлетич — вскоре заболел, и мы, как-то вполне естественно, оказались на попечении Виолеты и Густаво. Они были бесконечно предупредительны и заботливы, помогали нам увидеть все наиболее интересное и значительное в Лиме, организовывали встречи в столице и наши поездки по стране, следили, чтобы и в других городах нас опекали и сопровождали интересные и компетентные люди, собирали для нас гостей в своем доме — словом, делали все, чтобы наше пребывание в Перу было и приятным и полезным.

Они же обеспечивали нас машинами. Хотя своего автомобиля у них не было, Густаво и Виолета «мобилизовали» нескольких своих друзей-автомобилистов, с которыми вскоре подружились и мы. Чаще всего на своем маленьком «фиате» приезжала за нами пухленькая, круглолицая, всегда веселая Бети — приятельница Виолеты. Изредка вместе с нею заезжал за нами и ее муж Рикардо — умный и обаятельный человек. Их машина, которую почти всегда водила Бети, была уже изрядно помята. Бети продолжала ездить на ней с захватывающей дух лихостью.

Иногда вместо Бети или вместе с ней приезжал на своем менее помятом и более вместительном автомобиле плотный черноволосый Маноло — профессор философии и

права Лимского университета. Это был необыкновенно скромный, застенчивый и молчаливый человек. Лишь один раз его словно прорвало во время какой-то поездки в окрестности Лимы, и он долго и горячо объяснял в любви к нашей стране. Он сказал, что всю жизнь мечтает о поездке в Советский Союз и сейчас возлагает все надежды на объявленный каким-то журналом международный конкурс, посвященный В. И. Ленину, — победитель этого конкурса получает право на бесплатную поездку в СССР. Но, увы, судя по тому, что он до сих пор не приехал, победить на конкурсе ему, видимо, не удалось, а поездка к нам на свои средства непосильна для бюджета университетского профессора. Уже перед самым отъездом мы узнали от Валькарселей, что Маноло ради нас пожертвовал своим отдыхом: ведь мы приехали в разгар летних каникул.

Подружились мы еще с известным перуанским журналистом Хенаро Корнеро Чека. Уже немолодой человек, с седой шевелюрой, но подвижный, шумный и веселый, как юноша, он принадлежал к тому не редкому среди журналистов типу людей, которые отличаются особой стойкостью натуры. Пройдя через тяжелые испытания судьбы, такие люди не только не утрачивают веры в жизнь, но как бы еще больше закаляют свой оптимизм и жизнелюбие. А Хенаро прожил жизнь нелегкую и богатую событиями. Он скитался по всей Латинской Америке, сидел в тюрьме за политические убеждения и за свое острое перо, порой испытывал жестокую нужду, когда его не печатали как «неблагонадежного», но, как нам рассказывали, всегда оставался жизнерадостным, неунывающим.

Хенаро — коренной перуанец, влюбленный в свою страну, хорошо знающий историю и современную жизнь своего народа, человек, способный часами говорить о родной земле и ее людях. Вместе с тем он — латиноамериканец в широком смысле слова, глубоко чувствующий себя гражданином всего континента. Судьба забрасывала его в самые разные страны Южной и Центральной Америки, и даже в языке его остались следы этих странствий — то мексиканские, то колумбийские, то аргентинские аргю, — так что Нина Булгакова порой с трудом понимала его горячую, быструю речь.

Если точность не входит в число латиноамериканских добродетелей, то у Хенаро эта национальная черта усиливается его импульсивным, увлекающимся характером. Помню, однажды он забежал к нам «только на пять минут», как всегда заявил он и пояснил, что дома его ждет семья, собравшаяся по случаю дня рождения дочери. Отмахиваясь от наших напоминаний о семейном торжестве, он проговорил с нами полтора часа, а потом, узнав, что мы решили пойти пообедать в какой-нибудь национальный ресторан, категорически заявил, что он проводит нас гуда, где вкусно и дешево кормят.

Полчаса он вел нас по лабиринтам улочек старой Лимы, а когда мы пришли в ресторан, где он явно был завсегдатаем, Хенаро заявил, что сам должен проследить, чтобы все было приготовлено как надо. Когда же мы запротестовали и потребовали, чтобы он немедленно ехал на семейный праздник, Хенаро, смеясь, сказал:

— Вы можете не беспокоиться: мои домашние меня хорошо знают и они, конечно, давно сели за стол без меня.

Хенаро не коммунист, но он человек революционных убеждений и твердо верит в социалистическое будущее своей страны.

ХУНТА ГЕНЕРАЛА ВЕЛАСКО АЛЬВАРАДО

Слово «хунта» на испанском языке означает — союз, объединение. Но история, и прежде всего история Латинской Америки, внесла в смысл этого слова свое содержание. В многочисленных странах южноамериканского континента то и дело происходили и происходят государственные перевороты, совершаемые с помощью армии. Как правило, при этом к власти приходит военная верхушка — группа генералов или высших офицеров, вступивших между собой в союз. Это и есть хунта в нынешнем политическом понимании слова.

Едва ли не каждая из латиноамериканских стран за свою историю видела не одну такую хунту. В большинстве случаев подобный военный переворот не имел ничего общего с интересами народа: он был перераспределением власти среди господствующих классов. А еще чаще он оказывался делом рук монополий Соединенных Штатов, которые ловко использовали военную верхушку страны для упрочения своих экономических

позиций. Не раз марионетки в военных мундирах сменяли друг друга, как только возникала реальная угроза для интересов какой-нибудь всемогущей в этой стране североамериканской «компани», как только директора такой «компани» решали, что «нужна более сильная рука», чтобы подавить недовольство народа, погасить стремление прогрессивных кругов к независимой национальной политике. Естественно поэтому, что слово «хунта» для нас невольно связывается с представлением о черной реакции, о терроре, о ликвидации демократических завоеваний народа.

Президент Фернандо Белаунде, правивший Перу до 1968 года, был по профессии архитектором. В одном из домов Лимы мы увидели его фотографию — поясной портрет человека с надменным, холеным лицом, даже на вид жестокого и деспотичного. За внешне демократическим фасадом своего режима этот архитектор строил всю политику государства, исходя из интересов североамериканского капитала, давно прибравшего к рукам самые важные отрасли перуанской экономики и главные естественные богатства страны. Компании, директораты которых заседали в Нью-Йорке или Вашингтоне, получали при нем все новые привилегии и поблажки, а всякое проявление недовольства со стороны рабочих или до предела обнищавших крестьян беспощадно подавлялось полицией и войсками. Но недовольство это росло. Не только в беднейших классах, а и среди передовой интеллигенции Перу, и даже у армейского офицерства все больше крепло сознание того, что дальше так жить нельзя. Случилось так, что практическим выразителем этих чаяний и стремлений народа стала часть высшего армейского офицерства, в руках которого были силы и средства для того, чтобы изменить судьбы Перу. Так возникла тайная хунта во главе с генералом Хуаном Веласко Альварадо.

Переворот был произведен в полном соответствии с латиноамериканскими традициями: октябрьской ночью 1968 года президентский дворец в Лиме и другие правительственные здания были окружены танками и войсками. Господина президента разбудили явившиеся к нему генералы, которые с вежливой настойчивостью предложили ему одеться и сесть в ожидавшую у входа машину. Белаунде был доставлен под охраной в аэропорт и посажен в первый же самолет, вылетавший за пределы страны. А наутро народ из газет узнал, что к власти пришла хунта генерала Веласко Альварадо. Это был не первый переворот и не первая хунта в истории Перу. Народ уже привык к тому, что такая смена власти или совсем не сказывается на его судьбе, или изменяет ее только к худшему. Новое правительство было встречено с настроенным любопытством, смешанным с некоторой тревогой, — многие ждали, что начнутся аресты, поход против прогрессивных партий и организаций, обычно сопровождавшие прежние перевороты. Но первые же шаги хунты генерала Веласко Альварадо вызвали радостное удивление перуанцев, сочувственный, а потом и восторженный интерес в других странах Латинской Америки и растерянность у тех, кто привык негласно диктовать свою волю правителям Перу.

Началось с нефти. На севере страны находятся богатые нефтяные месторождения. Перу занимает четвертое место по добыче нефти в Латинской Америке. Однако разработка нефтяных источников уже пятьдесят лет находилась в руках мощной североамериканской ИПК — «Интернейшенл петролеум компани», филиала всемогущей «Стандарт ойл», и условия, предоставленные прежними правительствами Перу этой компании, были такими, что все доходы от прибыльного предприятия уплывали в США. Происходил неприкрытый грабёж — ИПК даже не удосужилась уплатить Перу огромный долг, накопившийся за время пользования источниками. 9 октября 1968 года новое перуанское правительство объявило о национализации перуанской нефти и имущества ИПК. Компании было предъявлено требование уплатить Перу свой давний долг в семьсот миллионов долларов, иначе она будет лишена прав на дальнейшую эксплуатацию нефтяных месторождений.

С горячим энтузиазмом встретил народ этот решительный шаг правительства. Раболепие прежних президентов и министров перед североамериканскими боссами вызвало справедливый гнев у всех, кто не лишен был чувства национальной гордости. И 9 октября вошло в перуанский календарь как День национальной гордости — важная дата в новой истории суверенной страны. А на автомобильных дорогах Перу над бензозаправочными станциями вместо опустыленной ИПК появилась вывеска уже национальной компании «Петроперу».

В Соединенных Штатах все это было воспринято с замешательством и раздражением. Со страниц газет США раздалось недовольное ворчанье и сердитые призывы оказать политическое и экономическое давление на новую перуанскую хунту.

Затем встал вопрос о рыбе. Воды Тихого океана, омывающие берега Перу, богаты рыбой, и рыболовство — одна из ведущих отраслей в экономике страны. Но и эти богатства всегда уплывали на север американского континента. Мощные рыболовные суда США целыми флотилиями беззастенчиво вторгались в воды Перу, уверенные в безнаказанности, и увозили отсюда богатую добычу.

Правительство генерала Веласко Альварado объявило, что в двухсотмильной прибрежной зоне иностранные суда могут заниматься рыболовством лишь с разрешения перуанских властей. Соединенные Штаты отказались признать эту двухсотмильную прибрежную зону, и североамериканские суда по-прежнему продолжали лов в ее пределах. Тогда военно-морской флот Перу получил приказ действовать. Перуанские военные корабли стали задерживать нарушителей, подвергать штрафам владельцев судов. Такие меры вызвали еще большее раздражение в Вашингтоне.

Все прежние правительства Перу, верные сателлиты США в своей внешней политике, принимали самое активное участие в «холодной войне», провозглашенной Гарри Трумэнном, и были ярыми сторонниками антикоммунизма. И как новый вызов всевластию США, как новое утверждение суверенитета и национального достоинства страны было воспринято и в Перу, и на всем южноамериканском континенте сообщение о том, что правительство генерала Веласко Альварado решило установить торговые и дипломатические отношения с Советским Союзом и другими государствами социалистического лагеря.

Я уже говорил о том, как трогательно и горячо была встречена наша делегация в аэропорту Лимы. Да и все время пребывания в Перу мы не раз имели возможность убедиться в искреннем внимании правительства к нашей миссии.

На следующий день после нашего приезда Эстебан Павлетич повел нас в министерство иностранных дел, чтобы представить директору департамента культуры сеньору Аугусто Морелли. Министерство находится на одной из узких центральных улочек старой Лимы во дворце маркизов Торре Тагле, построенном в XVIII веке и считающемся классическим образцом резиденции испанского дворянства времен колониального расцвета. В этом здании с великолепным фасадом, украшенным резными балконами, с просторным внутренним двором, выложенным мраморными плитами, с нависающей над ним замкнутой галереей второго этажа, где узорчатые каменные арки покоятся на тонких, изящных колоннах, — причудливо, но вполне органично соединились андалузский, мауританский и креольский архитектурные стили. Стены полугемных покоев дворца затянуты старинным шелком с золотыми разводами и увешаны полотнами Мурильо и Ван-Дейка. В помещениях же первого этажа все было вполне современно: стучали пишущие машинки, сновали служащие с бумагами.

Директор департамента культуры сеньор Морелли принял нас с любезностью, вполне отвечавшей нашему представлению о староиспанском этикете. Он уделил нам немало времени и подробно обсудил программу нашего пребывания в стране.

Министр иностранных дел генерал Эдгардо Меркадо Харрин — невысокий, начинающий седеть военный в светлом генеральском мундире с двумя рядами орденских планок на груди — приветливо встретил нас. Мы воспользовались этим свиданием, чтобы еще раз поблагодарить перуанское правительство за предоставленную нам возможность посетить страну, и выразили надежду на то, что с легкой руки нашей делегации культурные связи между Перу и Советским Союзом будут успешно и широко развиваться.

Генерал со своей стороны тоже выразил надежду на широкое развитие культурных связей между нашими странами и пожелал нам успешного путешествия по Перу. Встреча была короткой, но достаточно сердечной.

Вернувшись в кабинет сеньора Морелли, мы обратились к нему с просьбой выяснить возможность нашей встречи с президентом, чтобы задать ему несколько вопросов относительно нынешней жизни Перу и перспектив отношений между нашими странами. Сеньор Морелли обещал запросить канцелярию президента и предложил нам пока задать вопросы в письменном виде, что мы тут же и сделали.

На другой день в сопровождении Виолеты Валькарсель мы нанесли еще один официальный визит — министру просвещения генералу Аррисуэнто. Министерство просвещения помещается в стеклобетонном высотном здании на одной из широких центральных авенид (проспектов) Лимы. Просторный вестибюль был полон народу, у каждого из многочисленных лифтов стояла длинная очередь, и среди посетителей явно преобладала молодежь — по-видимому, учителя и студенты.

Вместе с министром нас принимал директор департамента культуры — известный перуанский поэт Сесар Миро. В ответ на наши вопросы генерал вкратце рассказал о проблемах, стоящих перед народным образованием. В Перу существует закон об обязательном пятилетнем начальном образовании при бесплатном обучении. Однако процент неграмотных в стране очень высок. Министр сказал нам, что в горных районах Кордильер и в сельве до 40 процентов населения неграмотно, но впоследствии нам говорили, что дело обстоит значительно хуже. Официальная статистика зачисляет в разряд грамотных тех детей, которые только были записаны в школу или учились совсем недолго.

По словам министра, более или менее благополучно в стране с высшим образованием. Но зато в области среднего образования предстоит решить очень нелегкие задачи. Новое правительство намечает широкую программу индустриализации, энергичного использования богатых природных ресурсов страны, и для этого нужны будут большие отряды специалистов со средним техническим образованием, острую нехватку которых испытывает Перу. Особенно необходимы стране специалисты в области рыболовства, горного дела, металлургии. Министерство создает во всех районах технические училища — колледжи, готовящие таких специалистов.

Перу — страна многоязычнзя, со множеством индейских наречий и диалектов, главные из них — языки кечуа и аймара. Мы поинтересовались, учитывается ли эта многоязычность в школьном образовании. Но оказалось, что преподавание во всех школах ведется только на государственном — испанском — языке.

— Мы, перуанцы, единая нация, — сказал министр. — И мы хотим, чтобы у нас был единый язык.

По его словам, в стране есть такие зоны, где на сравнительно небольшом пространстве люди говорят на сорока языках — нечто вроде нашего пестроязычного Дагестана.

Директор департамента культуры поэт Сесар Миро, невысокий, седой, еще очень моложавый человек с изящной фигурой тореро и тонким аристократическим лицом, познакомил нас с проблемами, которые приходится решать его ведомству. В министерстве созданы управление по распространению культуры и управление художественными школами. Такие школы — музыкальные, изящных искусств, народных танцев — работают во всех провинциях страны. В Перу великолепные и разнообразные народные ремесла, пришедшие из глубокой древности: тончайшие изделия из золота, серебра, меди, чудесные шерстяные ткани, резьба по дереву и т. д. и т. п. Чтобы сохранить и развивать их, по всей стране создано более ста центров народного ремесла, которыми руководит департамент Сесара Миро. Что же касается распространения культуры, то здесь главными очагами стали Дома культуры. Министерство собирается создать такие Дома во всех районах страны.

Во время нашей поездки по Перу мы могли убедиться, какую важную роль играют Дома в культурной жизни страны. Для них обычно отводят достаточно хорошие, просторные здания. Там есть библиотека, залы для лекций и демонстрации кинофильмов, кружки художественной самодеятельности, иногда даже театр. В Домах культуры устраивают концерты, выставки картин, фотографий, изделий народного искусства. И если руководитель — человек энергичный и инициативный, такой Дом становится настоящим центром просвещения, привлекает множество посетителей и начинает играть заметную роль в жизни города и провинции, успешно конкурируя с коммерческими кинотеатрами, которые преподносят главным образом голливудские «секс-бомбы», ковбойские и детективные фильмы.

Вечером того дня, когда мы были в министерстве просвещения, в городском Доме культуры Лимы состоялся большой концерт. Сесар Миро пригласил нас прийти, и мы оказались почетными гостями на этом концерте. Дом культуры занимает один из ста-

рых дворцов в центральных кварталах Лимы. Концерт происходил в патио — четырехугольном внутреннем дворике; зрители сидели с трех сторон под нависающей галереей второго этажа, тоже заполненной публикой. О нашем приходе было объявлено присутствующим, и они встретили нас дружными аплодисментами, а Сесар Миро, открывая концерт, обратился к нам с приветствием.

Зрелище было необыкновенно красочным и экзотичным. В тот вечер здесь показывали свое искусство танцевальные ансамбли из всех провинций страны. Даже мы, представители такого многонационального государства, как Советский Союз, были поражены необыкновенным разнообразием красочных костюмов, музыкальных ритмов, танцевальных движений.

И ритмы и характер танцев все время менялись: то неторопливые, однообразные движения четырех бородатых стариков, то неистовые прыжки полуголых молодых мужчин, украшенных яркими перьями тропических птиц и воинственно потрясающих копьями, — пляска жителей сельвы. Иногда танец отображал какой-то трудовой процесс — например, жатву. Очень интересным показался нам танец пастухов из высокогорного департамента Пуно, где на лугах по склону Кордильер пасутся многотысячные стада лам. Он шел в спокойном, четком ритме, плавные движения тащоров в богатых пончо были исполнены горделивого достоинства — недаром этот департамент, по преданию, считается родиной первых инков.

Причудливые костюмы, характерные лица танцоров, тревожно-нервный, порой до раздражения однообразный ритм музыки, непривычное звучание инструментов, своеобразные фигуры танца — все это создавало ощущение, будто ты сам окунулся в незапамятную старину южноамериканского континента. Ведь эта музыка, эти пляски впитали в себя многовековые традиции народов и племен, давно исчезнувших с лица земли. Как ценно было бы познакомиться с этим древним искусством другие народы.

Кстати, один из вопросов, которые мы письменно задали президенту Перу генералу Веласко Альваро, касался будущих культурных связей между нашими странами. Когда мы вернулись в Лиму после своей первой поездки по провинциям, нас уже ждали ответы президента. «Я считаю, — писал он, — что чем глубже народы знакомятся с культурой друг друга, тем легче им взаимно понять, оценить и уважать друг друга. В силу этого крайне важно, чтобы торговые отношения, установленные между нами, были бы дополнены культурным, научным и техническим обменом, с тем чтобы социалистические страны, и в особенности Советский Союз, ближе узнали перуанский народ, его глубокую любовь к демократии, миру, свободе, справедливости и независимости». Президент оценивал как «исключительно благоприятные» перспективы взаимоотношений между нашими странами и вкратце ознакомил нас с проблемами, стоящими перед новым правительством.

Вместе с текстом ответов из канцелярии президента нам передали, что глава республики постарается принять нас при первой возможности. И хотя президент нашел такую возможность, но мы так и не сумели ею воспользоваться, потому что улетели за день до этого в Икитос — город в сельве на берегу Амазонки.

Но в президентском дворце мы все же побывали совершенно неожиданно для себя. За несколько дней до поездки в Икитос Валькарсели и Маноло, как обычно, приехали за нами в отель, чтобы повезти в авиакомпанию за билетами. Официальных встреч в этот день не ожидалось, и так как в Лиме стояла тридцатиградусная жара, мы решили одеться полегче. Роберт надел довольно легкомысленные брюки и полосатые матерчатые туфли, а я цветную рубашку навыпуск с отложным воротником. Вдруг в конторе авиакомпании Густаво вспомнил: ему необходимо заехать к начальнику отдела культуры при канцелярии президента. Заодно он решил познакомиться с этим сеньором. Мы дружно запротестовали, заявив, что одеты «не по протоколу», но Густаво безапелляционно отверг наши возражения. Это будет пятиминутный и совершенно неофициальный визит, объяснил он.

Нас встретил элегантный капитан и сообщил, что начальник канцелярии президента ждет нас. Укоризненные взгляды, обращенные на Густаво, не произвели на него никакого впечатления. Через несколько минут мы вошли в кабинет начальника канцелярии, представительного полковника, встретившего нас с церемонной вежливостью. Он осведомился, довольны ли мы пребыванием в Перу, и предложил осмотреть дворец,

Мы с радостью приняли его предложение. Молодой подполковник повел нас по анфиладам дворцовых залов.

Одна за другой загорались хрустальные люстры, озаря затененные ставнями роскошные покои с узорными шелковыми обоями, с золоченой лепкой стен и потолков, с мраморными колоннами, со старинной мебелью, с темными полотнами старых мастеров.

Пробродив почти час по дворцовым помещениям, мы вернулись в то крыло, где находилась канцелярия, и, пока Густаво беседовал по своим делам с начальником отдела культуры, разговорились с нашим гидом. Узнав, что я бывший офицер-фронтовик, он принялся расспрашивать меня о Великой Отечественной войне и был поражен, когда я назвал ему цифру в двадцать миллионов человек — тяжкую цену нашей победы над фашизмом. Вообще я не раз видел, как удивленно поднимают брови даже очень образованные перуанцы, слушая наши рассказы о войне против гитлеризма. Враждебная Советскому Союзу пропаганда на протяжении всех послевоенных лет или замалчивала нашу роль в разгроме германского фашизма, или изображала дело так, будто СССР только помогал Соединенным Штатам и Англии победить Гитлера. Тут так привыкли считать эту победу делом США, что рассказ об истинном соотношении усилий во второй мировой войне вызывал у людей искреннее удивление, а порой и недоверие.

Потом подполковник стал рассказывать о хунте генерала Альварадо.

— Поверьте, армия взяла власть в свои руки совсем не ради самой власти, — говорил он. — Просто в рядах ее нашлись люди, которым особенно дороги национальное достоинство и суверенитет их родины и которые понимают, что Перу остро необходимы перемены в политике, экономике и культуре. Я вас уверяю: это совсем не обычная военная хунта и мир скоро убедится в этом.

Уже после возвращения на родину мне не раз приходили на память эти слова подполковника из канцелярии президента: дальнейшие шаги нового перуанского правительства подтверждали, что это действительно не обычная военная хунта.

Когда в том же 1969 году Нельсон Рокфеллер, как личный представитель президента Никсона, отправился в длительный вояж по Латинской Америке, правительство Перу бросило новый вызов США, отказавшись выдать Рокфеллеру разрешение на въезд в страну. Значение этого шага будет очевидно, если вспомнить, что Нельсон Рокфеллер — один из главных акционеров всемирной «Стандарт ойл», дочерним предприятием которой считается национализированная перуанцами «Интернейшенл петролеум компани». Примерно тогда же правительство выслало из Перу военную миссию США. А потом был опубликован закон о проведении в стране аграрной реформы, которая должна наконец наделить землей неимущее крестьянство. И когда правительство принялось энергично осуществлять эту долгожданную реформу, стало ясно, что не только во внешней, но и во внутренней политике хунта генерала Веласко Альварадо идет на кардинальные меры, о которых давно мечтал народ.

Социалистическая Куба — первая страна, прорвавшая фронт империализма в западном полушарии и вступившая на новый путь развития, — пример для всех народов Центральной и Южной Америки. Мне не раз приходилось видеть во время поездок по латиноамериканским странам, каким авторитетом и любовью пользуется там новая Куба, особенно среди простого народа.

События, происходящие в Перу, зовут его соседей к таким же решительным и безотлагательным действиям сегодня. Все эти страны тоже опутаны золотыми цепями североамериканских монополий, они тоже подвергаются постоянному давлению из Вашингтона и Нью-Йорка. Их естественные богатства так же беззастенчиво эксплуатируются чужеземными компаниями. Их суверенитет так же часто попирается, и национальное достоинство народа подвергается унижению. Не удивительно, что вызов, брошенный новым правительством и народом Перу всевластному империализму США, нашел сочувственный отклик во всех странах Латинской Америки. Недаром под прямым воздействием перуанского примера многозначительные и прогрессивные политические события произошли за последнее время в Венесуэле, в Боливии. Будем надеяться, что и дальнейшая политика, и действия этого правительства оправдают ожидания, которые возлагает на него двенадцатимиллионный перуанский народ и миллионы людей в других странах этого континента.

БУДНИ ГОСТЕЙ ПЕРУАНСКОЙ СТОЛИЦЫ

Сознавая ограниченность наших возможностей, втиснутых в прокрустово ложе месячного пребывания в стране, мы желали побродить не спеша по улицам и проспектам перуанских городов, поглазеть на витрины магазинов с местными изделиями, пообедать в каком-нибудь национальном ресторанчике. Но даже эти скромные желания нелегко было осуществить: наша программа оказалась уплотненной до предела.

Каждый день происходили встречи с общественными и государственными деятелями, писателями, журналистами, пресс-конференции, интервью с корреспондентами газет и журналов, а главное — публичные выступления, где мы отвечали на многочисленные вопросы перуанцев о нашей стране, после чего Роберт Рождественский читал свои стихи, а Нина Булгакова — переводы их на испанский язык. И каждый день мы бывали у кого-нибудь в гостях. Устраивали в нашу честь многолюдные приемы у себя дома Виолета и Густаво Валькарсели. Приезжал за нами и увозил к себе на обед адвокат крупной строительной фирмы, жена которого несколько лет назад побывала с делегацией женщин в Советском Союзе, и с тех пор в этой семье установился трогательный культ нашей страны, и три веселые славные девочки — их дочери — мечтают поехать учиться в СССР. Был обед в доме председателя недавно созданного Общества дружбы Перу — СССР известного врача Асуинсьона Кабальеро Мендеса. Был ужин в доме фабриканта и коллекционера абстрактной живописи Поля Гринштейна, который собрал для встречи с нами видных журналистов, издателей, писателей и художников Лимы. Было еще множество таких же встреч, обедов и ужинов в частных домах, радушно распахнувших перед нами свои двери.

А случалось, вечером приезжали наши постоянные спутники — Виолета с Густаво, Бети с Рикардо и Маноло — и везли нас ужинать в какой-нибудь староиспанский ресторан, где на стене тарашит стеклянные глаза голова огромного быка, а рядом развешаны шпаги, алые плащи тореро, бандерильи и прочие принадлежности корриды попеременно со старыми афишами, извещавшими о выступлениях прославленных матadors.

И все же мы успели кое-где побывать в Лиме.

Во всех странах этой части Южной Америки есть музеи золота. И для давних, еще доинкских культур, и особенно для империи инков характерно великолепное искусство обработки золота, серебра и драгоценных камней. Сохранившиеся с тех далеких времен ювелирные изделия составляют сейчас экспонаты государственных музеев и частных коллекций, которые их владельцы тоже выставляют для всеобщего обозрения. Мы видели такие музеи в Колумбии, в Эквадоре и в Перу. Хотя в Лиме есть государственный «золотой музей», друзья повезли нас посмотреть одну из богатейших частных коллекций, принадлежащую какому-то перуанскому богачу японского происхождения. К нашему удивлению, в залах этого частного музея не было никакой охраны. Нам объяснили, что новейшая техника с помощью фотоэлементов и электронных устройств не менее зорко стережет уникальные сокровища. Тут были и массивные золотые кубки и вазы, и тончайшее золотое кружево всевозможных украшений, и золото, усыпанное великолепно гранеными драгоценными камнями, главным образом изумрудами. Диву даешься, как люди, не знавшие ни железа, ни стали, ухитрились не только выполнять филигранную работу на золоте и серебре, но придавать особую форму изумрудам — камням исключительной твердости. Для науки это пока загадка.

Интересным и полезным было для нас посещение и Патологоанатомического музея. Он находится при большой городской больнице для бедных, и в пяти или шести его залах собраны экспонаты медицинского, антропологического и археологического характера. Оказывается, в инкской империи были искусные врачеватели и превосходные хирурги. Человек, лечащий или оперирующий больного, — довольно частая тема древней скульптуры и керамики Перу. Даже такая сложная операция, как трепанация черепа, была доступна инкским врачам. К тому же она была и очень распространенной в их практике: ведь оружием воинов того времени служили тяжелые дубинки и пращи и типичным ранением был пролом черепа. Врачи выпиливали поврежденную часть черепной кости, удаляли из мозга осколки и прикрывали отверстие золотой пластинкой.

Множество трепанированных черепов, хранящихся в музее, свидетельствует, что после такой операции пациент жил еще долгие годы.

На одном из застекленных стендов горкой лежали зерна маиса, бобов и несколько картофелин. Нам объяснили, что эти зерна и картофель извлечены из могильника, недавно раскопанного на побережье. Их возраст полторы — две тысячи лет. Сотрудники музея с энтузиазмом рассказывали об опыте, который они провели. Часть этих зерен и картофельных клубней в прошлом году высадили в землю, и они дали урожай. Правда, первое потомство оказалось несколько патологическим. Зато второе было уже вполне нормальным.

А в одном из залов были выставлены камни с выцарапанными на их поверхности рисунками, изображавшими доисторических животных. Камни с этими рисунками стали находить на месте обвала, происшедшего года два назад во время землетрясения в южной части тихоокеанского побережья за городом Икой. Спрашивается: кто мог рисовать доисторических животных, если тогда наша планета еще не была населена людьми? Мало того, на некоторых рисунках рядом с доисторическими животными изображено странное человекообразное двуногое существо. В одном или двух случаях оно с хвостом и с явно звериной мордой. На других рисунках можно было разглядеть у него уже некое подобие лица. Несколько дней таинственные камни тревожили наше воображение. А потом, встретившись с двумя учеными-археологами, мы сказали им об этих камнях, и они оба засмеялись и в один голос заявили, что рисунки эти — бессовестная подделка. Их, мол, делают два молодых зубных врача то ли техника, живущих в Ике, и сбывают под видом найденных на месте обвала. Мы испытали немалое разочарование. Но возникал недоуменный вопрос: как могли руководители солидного научного учреждения стать жертвой такой грубой мистификации?

КОЛЛЕГИ

Перуанское общество писателей во главе с Эстебаном Павлетичем, пригласившее нас, объединяет группу известных литераторов. Но мы вскоре выяснили, что самой крупной и авторитетной организацией считается АНЭА — Национальная ассоциация писателей и артистов. Это творческий союз художественной интеллигенции, основанный тридцать лет назад. В нем состоит более тысячи литераторов, композиторов, художников, актеров, он пользуется помощью и финансовой поддержкой правительства. Много лет АНЭА возглавлял недавно умерший крупный перуанский поэт Сиро Аллегрия. После его смерти президентом Ассоциации был избран видный прозаик и военный деятель генерал Эрнандес¹. Мы, естественно, хотели установить контакт с этой организацией, и Густаво Валькарсель договорился о встрече с руководством АНЭА. Началась она несколько прохладно.

В большом кабинете нас приняли вице-президент Ассоциации Хорхе Кастро Харрисон и секретарь и казначей — Роса Эрнандо.

Роса — крупная полная дама среднего возраста с румяным добрым лицом — известный литератор и журналист, пишущий на сельскохозяйственные темы, а также основатель и редактор журнала, освещающего проблемы земледелия. Хорхе — высокий, красивый мужчина лет сорока, в глазах которого была та поволока, что, говорят, производит неотразимое впечатление на женщин, но в обычном общении становится своего рода препятствием, мешая увидеть истинный характер собеседника.

Пришли еще пять или шесть членов правления, и постепенно стал завязываться разговор. Наши хозяева были вполне вежливы, но мы все время ощущали за этой вежливостью легкий холодок, какую-то недоверчивую настороженность. В начале беседы Хорхе иронически заметил, что, как ему известно, советская литература не создала ничего значительного. Я парировал его замечание подчеркнуто ироническим вопросом: «А какие книги советских писателей читал сеньор Харрисон?» И когда, замаявшись, он не смог привести ни одного названия, мне только осталось тем же тоном добавить, что

¹ В 1970 году генерал Эрнандес умер, и сейчас президентом АНЭА является Хорхе Харрисон.

вряд ли следует высказывать категорическое суждение о литературе, о которой не имеешь представления. Такой обмен колкостями тоже не способствовал «утеплению» нашего разговора, и кто ведает, куда бы он завел, если бы вдруг не появился невысокий, необыкновенно аккуратный старичок с умным, интеллигентным лицом; во всем его облике было что-то старомодное и вместе с тем очень располагающее. Нас представили друг другу. Это был писатель и ученый, известный врач и социолог профессор-коммунист Уго Пеше, один из тех, кто тридцать лет назад основал АНЭА. Его появление сразу разрядило обстановку. Профессор принялся рассказывать нам историю Ассоциации.

Возникновение ее неразрывно связано с именем Хосе Карлоса Мариатеги — выдающегося общественного и литературного деятеля Перу двадцатых годов. Первый последовательный перуанский марксист, Мариатеги в 1928 году основал в стране социалистическую партию, принявшую линию III Интернационала и впоследствии ставшую Перуанской компартией. Он способствовал развитию прогрессивных тенденций в перуанской литературе, и основанный им журнал «Амауга» («Мудрец») стал центром, объединившим левых писателей и политических деятелей. Мариатеги встречался с Горьким, Маяковским и с горячим интересом следил за хозяйственными и культурными успехами Советского Союза. Тяжелая болезнь рано свела его в могилу, но его друзья и соратники, среди которых был и Уго Пеше, продолжали начатое им дело и восемь лет спустя после его смерти создали АНЭА как свободное, внепартийное объединение художественной интеллигенции, в котором всегда преобладали прогрессивные элементы. Сейчас в Ассоциации состоят такие известные деятели культуры Перу, как прозаик Хосе Мария Аргедас, наш друг поэт Густаво Валькарсель, скульптор Канья, художник Эседа, актриса Люсия Ирурита и многие другие.

Уго Пеше рассказывал обо всем неторопливо и обстоятельно, в манере опытного лектора, мы иногда задавали вопросы, и мало-помалу за столом завязался живой и непринужденный разговор. Начались шутки, послышался смех, и когда мы расстались с нашими хозяевами, от их прежней холодной вежливости не осталось и следа. В следующий раз Хорхе и Роса встретили нас уже как добрых старых знакомых и с тех пор прилагали все усилия, чтобы помочь нам познакомиться с широким кругом творческой интеллигенции Лимы. Именно АНЭА организовала для нас в своем зале одну из самых представительных пресс-конференций, а потом многолюдную встречу со своими членами, где мы отвечали на вопросы о нашей стране и где нам в заключение вечера были торжественно вручены дипломы почетных членов Ассоциации. Словом, с руководителями и активом АНЭА у нас завязались добрые отношения, которые мы поддерживаем и сейчас, обмениваясь письмами с Хорхе и Росой.

Известный холодок и настороженность при первом знакомстве мы встречали порой и в других местах. И, так же как в АНЭА, этот холодок быстро развеивался. Мы поняли причину этого лишь позднее, когда на одной из встреч кто-то из наших коллег-литераторов простодушно воскликнул, обращаясь к нам:

— Мы думали, что вы все одинаковые, а вы оказались такими разными и непохожими на тех, какими мы вас воображали!

Многолетняя антикоммунистическая и антисоветская пропаганда, которую вела реакционная перуанская пресса при полном одобрении прежних правительств, оказывала свое влияние даже на умных, интеллигентных и, казалось бы, вполне самостоятельно мыслящих людей. Нас, советских людей, изображали как мрачных фанатиков, одержимых навязчивой идеей ниспровержения всех иных правопорядков на земле, как разрушителей всех моральных устоев человечества. Конечно, наиболее образованные и умные люди отвергали крайности этой оголтелой пропаганды, но она и для них не всегда проходила бесследно.

Как можно было заметить, перуанцев, встречавшихся с нами, подкупало то, что мы не уходили от «острых» вопросов и с полной откровенностью старались удовлетворить любопытство своих слушателей, каких бы сторон нашей жизни или истории они ни касались. Порой случалось, что председательствующий, вероятно, из лучших побуждений, желая оградить нас от «щекотливых» тем, предупреждал аудиторию, что спрашивать следует лишь о культурной жизни и о литературе в Советском Союзе. Мы тотчас же

мягко поправляли его, заявляя, что готовы отвечать на любые вопросы без каких бы то ни было ограничений. Если же, как это иногда бывало, попадался вопрос, выходящий за пределы наших знаний, мы с той же откровенностью признавались, что не можем на него ответить. И это создавало атмосферу взаимного доверия.

Мы приводили факты жизни нашей страны, предоставляя слушателям самим делать выводы. Мы говорили об успехах и достижениях Советского Союза, но не пытались изобразить нашу страну земным раем, где решены все проблемы и достигнуты все цели.

Самая широкая из встреч состоялась в столичном Доме культуры. Два смежных, как бы сливающихся в один зала были переполнены публикой. Нас бурно приветствовали, и первым выступил с речью председатель новорожденного Общества дружбы Перу — СССР Асунсьон Кабальеро Мендес. Он с жаром говорил о том, как остро нуждаются перуанцы в коренных реформах, как тяжело живет народ, особенно в дальних горных областях и в районах тропической сельвы, как неотложны для страны задачи борьбы с голодом, с высокой смертностью и болезнями среди детей. Дети — это самая горестная проблема Латинской Америки. Тысячи маленьких бездомных бродяг скитаются по улицам городов Чили и Колумбии, Перу и Эквадора, вочуют под мостами, в парках, выпрашивают подаяние у прохожих, голодают, мерзнут, мрут. Правительства отпускают на детские приюты очень скудные средства, а частная благотворительность — крохи, перепадающие со стола богачей, — тем более не в состоянии помочь решению этой проблемы. В Колумбии, как нам говорили, умирает, не дожив до года, каждый второй-третий ребенок. В Перу детская смертность тоже крайне велика, причем в провинции дело обстоит значительно хуже, чем в столице. Нам рассказывали, что в горных областях есть районы, где матери выносят или выводят на дорогу ребятишек и продают их проезжающим бездетным богачам-туристам, чаще всего североамериканцам. Они знают: их дети все равно не жильцы на этом свете — нищета во многих деревнях настолько ужасна, что ребенок неизбежно умрет от недоедания и болезней. Продав малыша, мать спасает его жизнь, хотя никогда не увидит его больше, и пытается тем обеспечить жизнь своим остальным детям — на вырученные деньги какое-то время кормить их.

После Асунсьона Кабальеро Мендеса выступал Густаво Валькарсель, который рассказывал присутствующим о Советском Союзе и читал свои стихи, посвященные В. И. Ленину. Но главным докладчиком вечера, посвятившим свое выступление нашей литературе, был уже знакомый нам профессор Уго Пеше.

Уго Пеше в 1960 году побывал в Советском Союзе с делегацией латиноамериканцев. Но, конечно, советской литературы он, как и другие перуанские интеллигенты, не знал: она не издавалась в Перу и почти не попадала сюда в переводах на испанский. Зато он хорошо знал наших классиков XIX и начала XX века, которые в Перу, как повсюду, оказали в свое время сильное влияние на формирование взглядов передовой интеллигенции.

Это не была академическая лекция — Уго Пеше говорил о своих чувствах и мыслях, о том впечатлении, какое на него, тогда еще совсем молодого человека, и на его друзей — образованную молодежь начала двадцатых годов — произвело знакомство с произведениями русских писателей, особенно с «Рассказом о семи повешенных» Леонида Андреева.

Мы подружились с Уго Пеше. Он часто приходил к нам в отель и подолгу засиживался, то рассказывая о Перу, то спрашивая нас о Советском Союзе. Человек большой скромности, он редко и мало говорил о себе, и не от него, а от других мы узнали, какая великолепная жизнь за его плечами.

Выходец из буржуазной семьи, Уго Пеше решил стать врачом и в первой половине двадцатых годов окончил медицинский факультет Римского университета. Там, в Италии, он познакомился с видными революционерами и вернулся на родину последовательным марксистом. В Лиме он встретился с Хосе Карлосом Мариатеги и стал его ближайшим другом и единомышленником. Вместе с ним он работал над основанием социалистической партии Перу.

Как врач он стал заметной фигурой не только на родине, но и далеко за ее пределами. Своей специальностью он выбрал одну из самых страшных болезней — проказу,

особенно распространенную тогда в тропической сельве. Его исследования этой болезни получили мировое признание. Он был основателем и руководителем лепрозория в Лиме, организатором кафедры тропической медицины в университете Сан Фернандо. И все это время, ведя огромную научную работу, он не прекращал политической борьбы и всегда был стойким коммунистом. Много раз ему грозили тюрьма, пытки, концлагеря, но ни одно из реакционных правительств не посмело посягнуть на его свободу: таким авторитетом и в самом Перу, и за границей пользовался ученый.

Во внешнем облике Уго Пеше привлекают бесконечно доброе обаяние тонко воспитанного и высокообразованного интеллигента и какая-то милая старомодность.

Человек широких, разносторонних интересов, он был не только врачом, но и социологом, а в то время, когда мы с ним познакомились, работал над книгой о религии в современном обществе. Его очень интересовали данные о религиозных культах в наших республиках, особенно восточных, и о том, какие изменения происходят в этой области. Он настойчиво расспрашивал нас, но, к сожалению, мы не располагали точными цифровыми данными и лишь в слабой степени могли удовлетворить его любопытство. Но мы обещали по возвращении на родину найти и прислать ему необходимые материалы. Как водится, мы не сразу вспомнили об этом обещании. А месяца три спустя кто-то приехал из Перу и привез печальную весть: профессора Уго Пеше уже не было в живых. Говорят, за его гробом шли тысячи людей. Мы потеряли в его лице доброго и верного друга, а перуанцы — одного из своих видных ученых и писателей.

ПОЕЗДКА НА ЮГ

Знакомство со страной мы начали с тихоокеанского побережья, где находится Лима. Пустыня подступает вплотную к перуанской столице высокими и совершенно голыми серо-желтыми холмами. Их было видно из окон нашего отеля — хмурые, неприветливые, они поднимались над окраинами плоскокрышного города, внося в пейзаж нотку суровости и даже уныния. Но город продолжает свое наступление на пустыню, и авангарды его домов уже начали взбираться по сухим желтым склонам, оживляя их белизной стен и пока еще чахлой зеленью первых посадок. Лима быстро строится, и, наверное, не так далеко время, когда ее новые кварталы покроют эти мрачные гребни пустыни.

Первое небольшое путешествие по побережью мы совершили вскоре после приезда: Валькарсели повезли нас в древний храм Пачакамак, находящийся в тридцати километрах южнее Лимы. Это одна из самых известных достопримечательностей Перу.

Кварталы двухэтажных особнячков, между которыми здесь и там белели укутанные в зелень садов роскошные виллы столичных богачей, сменялись убогими лачугами нищих окраин, всегда уродливо окаймляющих большие города Латинской Америки. Тут — царство безработных, люмпенов, преступного мира, и появляться здесь прилично одетому пришельцу небезопасно даже до наступления темноты. Потом машина вырвалась на широкую автостраду. Слева от нее тянулись цепи голых, без единого кустика, невысоких гор грязно-желтого цвета, настолько безрадостных, что хотелось скорее отвести от них взгляд. А справа лежала однообразно-плоская, такая же грязно-желтая равнина, лишь на горизонте — километрах в трех-четырех от нас — срезанная синей полосой океана. Неподалеку от шоссе на равнине виднелись какие-то бугры. Это была свалка, куда со всей Лимы свозили содержимое помоек и мусорных ящиков, и она занимала обширную площадь между дорогой и океаном. Кое-где среди мусорных куч стояли даже не лачуги, а скорее шалаши, сколоченные из обломков досок, из кусков жести, а то и картона, — жалкие обиталища нищеты, дошедшей до крайних пределов. Там и сям на свалке маячили человеческие фигуры: люди рылись в отбросах в надежде отыскать что-то полезное. Это безрадостное зрелище лишь усилило мрачное чувство, навеваемое окрестной унылой природой, и мы приехали в Пачакамак в невеселом настроении.

Пачакамак еще до появления инков был Меккой древних индейцев. Название свое этот храм получил по имени божества — сотворителя мира, которому поклонялись древние племена. Это единственный храм такого рода, построенный задолго до прихо-

да инков. Слава его была так велика, что инки, насаждавшие всюду свой культ Солнца, не посмели посягнуть на местное божество. Идолы его остались на месте и сохранили значение, но Пачакамак вместе с тем стал и храмом Солнца. Вокруг Пачакамака когда-то располагался большой город, пришедший в запустение после того, как испанцы разграбили и разрушили храм, вздрезав разбили главного идола и водрузили над святилищем католический крест. Только сравнительно недавно начались раскопки города, а храм уже восстановлен, и тысячи туристов теперь посещают его.

Он представляет собой ступенчатую пирамиду с усеченной вершухой. Шесть ее ступеней — это широкие квадратные площадки, опоясывающие сооружение на разной высоте. Сюда выходят двери многочисленных помещений, расположенных в толще пирамиды. В них жили жрецы и тут же находились кладовые. Посещая храм, паломники приносили своему богу разнообразные дары — зерно и плоды, шерсть и ткани, изделия из золота, серебра, драгоценных камней, одежды. Все это хранилось в кладовых, и говорят, при инках Пачакамак обладал сказочными сокровищами. Причем бог не только брал, но и давал. Когда случался неурожай, когда не хватало семян для посева, обедневшие крестьяне шли сюда, и жрецы оделяли их всем необходимым из кладовых храма. Так что, будучи щедрыми со своим богом, люди могли в трудный момент рассчитывать и на его щедрость, что особенно поднимало авторитет Пачакамака.

Франсиско Писарро, завоевывая Перу, услышал о богатствах Пачакамака и отрядил туда часть войска под командованием своего брата Эрнандо. Но весть о приближении конкистадоров обогнала отряд, и, когда испанцы ворвались в храм, кладовые его оказались почти пустыми. Видимо, жрецы успели спрятать сокровища, и местонахождение их до сих пор не обнаружено. Легенды о сказочных кладах инков еще ходят по всему Перу, но прежние властители, как видно, надежно спрятали свои богатства.

Мы поднялись на верхнюю террасу храма, откуда открывалась широкая панорама. Именно на этой террасе, где мы сейчас стояли, в давние времена жрецы Пачакамака каждое утро торжественно встречали солнце, медленно выкатывавшееся из-за гребней дальних гор, и так же торжественно провожали вечером свое сверкающее божество, когда оно опускалось в воды океана.

Неподалеку от храма уже реставрирован комплекс зданий, который называют Мамакуной. Это типично инкская постройка — с чуть наклоненными стенами, с трапециевидными окнами и дверьми. Говорят, тут жили инкские женщины, посвятившие себя служению Солнцу. Это был своего рода женский монастырь.

Через несколько дней после поездки в Пачакамак Густаво Валькарсель сообщил, что нас приглашают в город Ику выступить там перед студентами местного университета. Теперь предстояло уже более продолжительное путешествие по тихоокеанскому побережью: четыреста километров к югу — и первая встреча с перуанской молодежью. В Лиме тоже есть университет — Сан Маркос, основанный четыреста лет назад. Это старейшее высшее учебное заведение всей Америки. Но встретиться с его студентами мы не могли: был февраль — разгар здешнего лета и каникулярная пора. А в Ике лекции продолжались, потому что, по словам Густаво, там недавно происходили бурные студенческие волнения и, чтобы наверстать упущенное, ректорат решил продлить занятия. Вообще нам сказали, что университет в Ике славится своим революционным духом.

Мы выехали рано утром на двух машинах.

Кое-где на склонах стали попадаться кактусы, а потом и купы высоких пальм. Справа то синел, то скрывался за холмами океан. Иногда дорога, огибая гору, подходила вплотную к берегу, отлогому и песчаному, и мы видели шалаши и растянутые на кольях сети рыбаков. А порой чуть в стороне виднелись и целые рыбацьи деревушки — ряды глинобитных мазанок с плоскими крышами, без единого кустика зелени, напоминающие наши кишлаки в пустынных областях Средней Азии. А потом стали попадаться долины, радующие глаз яркой и сочной зеленью маисовых полей, банановых плантаций, фруктовых садов. Они тянулись вдоль речек и каналов, часть которых сохранилась от давних инкских времен.

Вода, которая так нужна здешней земле, совсем рядом — величайшая на свете масса воды Тихого океана, но — увя! — воды соленой, непригодной для орошения. Наука пока нашла лишь такие способы опреснения морской воды, которые слишком до-

роги для широкого применения. Но, надо думать, в наш век быстрого развития науки и техники эта одна из важнейших для человечества проблем будет все же решена. И тогда прибрежная пустыня Перу, протянувшаяся на тысячи километров вдоль океана, оденется в зелень и превратится в обильную, плодоносную зону.

В Ике, довольно большом провинциальном городе, на центральной площади, затененной раскидистыми платанами, нас встретили ректор и несколько университетских преподавателей. Ветви деревьев переплелись в сплошной зеленый шатер, журчал красивый фонтан, и эта тенистая, прохладная площадь была приятным контрастом прокаленной солнцем пустыне.

Университет помещался совсем рядом — едва мы пересекли площадь и свернули за угол, как увидели толпу молодежи, стеной перегородившую узкую улочку. Нас встретили аплодисменты, толпа расступилась. Мы вслед за ректором прошли через вестибюль какого-то здания и, оказавшись в университетском дворе, остановились, удивленные странным зрелищем: стены факультетских корпусов были сплошь исписаны, измалеваны, исцарапаны лозунгами, призывами, сокращенными названиями партий и групп. Правда, за время своих поездок по Южной Америке я уже привык к тому, что стены играют здесь активную роль в политической борьбе. В Чили или Уругвае, Перу или Колумбии уже по дороге из аэропорта видишь следы этой борьбы. Даже самые дальние окраины любого латиноамериканского города встретят вас бесконечными рядами не только привычных и пестрых рекламных щитов, но и политических лозунгов, написанных на заборах и стенах домов. Настенная политическая публицистика тут играет огромную роль. Здесь, применяя выражение Маяковского, улица совсем не «безъязыкая» — она все время кричит, разговаривает, спорит. Настенные надписи отражают все нюансы и перипетии политической борьбы, перемены в жизни государства и данного города, яростное соперничество многочисленных партий. Они громогласны, категоричны, прямолинейны. Но такого количества настенных лозунгов и призывов, как на зданиях университета в Ике, я не встречал нигде. Тут было и «Да здравствует революция!», и «Долой апристов!» (членов влиятельной буржуазной партии АПРА), и инициалы ПКП — коммунистической партии Перу, и множество еще каких-то сокращений, смысл которых был нам непонятен.

Не только стены носили на себе следы недавно происходивших тут бурных событий. Добрая половина окон университетских корпусов была выбита. Совсем недавно здесь в течение нескольких дней не утихали студенческие волнения. Страсти разгорелись вокруг личности бывшего ректора. Человек реакционных взглядов, он восстановил против себя студентов, и они потребовали от властей сместить его. Городские власти отказались выполнить их требование и пытались навести порядок с помощью полиции. Тогда студенты забаррикадировались в университете и отбивали наскоки полицейских. Весь город был взбудоражен, возникла опасность, что волнения распространятся и на рабочих. Городские власти вынуждены были пойти на попятную и назначили нового ректора — популярного среди студентов человека. Университет одержал победу, и занятия возобновились.

Окруженные шумной ватагой студентов, мы поднялись по лестнице в актовый зал и на невысоком помосте для президиума вместе с руководителями университета уселись в огромные старинные кресла. Оживленно переговариваясь, студенты рассаживались в зале; мест явно не хватало, и многие теснились вдоль стен и у дверей. Внезапно все притихли, потом встали и хором запели государственный гимн Перу. Истово и взволнованно, со всем пылом молодой души эти юноши и девушки — будущее перуанского народа — пели главную песню своей родины. Так начинаются здесь почти все торжественные собрания, и я думаю, это хорошая традиция, воспитывающая в людях любовь к родине и чувство гражданственности.

Затем с речами, обращенными к советским гостям, выступили ректор и декан одного из факультетов, а я от имени нашей делегации ответил на эти приветствия. Говорил встреченный горячей овацией и, видимо, очень популярный тут Густаво Валькарсель, говорил кто-то из студентов. Затем Роберта Рождественского попросили почитать стихи, тоже вызвавшие шумное одобрение слушателей, и снова поднялся ректор, объявивший об окончании встречи. Мы, правда, ожидали разговора со студентами, думали,

что будем отвечать на их вопросы о Советском Союзе и со своей стороны попросим их рассказать о жизни перуанского студенчества. Но делать было нечего — в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Провожаемые той же шумной толпой, мы вышли на улицу. Там нас усадили в машины и вместе с ректором и профессорами увезли обедать в загородный ресторан.

Через неделю после нашей поездки в Ику в газетах появился правительственный декрет об университетах. Конечно, нам трудно было судить, что вносит в жизнь университетов новый декрет. Но во время поездки по стране мы часто встречались с преподавателями и студентами и слышали их суждения и споры. По их словам, в этом декрете есть свои положительные стороны. В Перу, как и в других странах Латинской Америки, существуют разные типы университетов — государственные, частные, католические, и все они по-разному строят программу обучения. Новый декрет вносит в это важное дело порядок — он унифицирует обучение. Говорят, что он также упорядочивает университетскую научно-исследовательскую работу и подготовку педагогических кадров. Но зато он ставит университеты под контроль правительства. Многие профессора говорили нам, что декрет опубликован в каникулярный период не случайно. Они предсказывали, что, как только университеты возобновят работу, новый декрет, вероятно, вызовет бурную реакцию студентов.

За последние годы события во многих странах показали, что студенчество остро реагирует на уродства и несправедливости жизни и особенно восприимчиво к революционным идеям. Но, лишенная жизненного и политического опыта, молодежь, неспособная еще трезво оценить обстановку, нередко становится жертвой трескучих архиреволюционных фраз левацких политиканов и, побуждаемая ими, готова очертя голову броситься в явные авантюры, не только неоправданные, но даже дискредитирующие саму революционную идею. Это в еще большей степени относится к студенчеству и молодежи южноамериканских стран, где ко всем обычным качествам молодости прибавляется огненный темперамент. Для коммунистических партий этого континента воспитательная идеологическая работа с молодежью и студентами считается задачей особой важности.

И в Перу, и в соседних с ним Эквадоре и Колумбии есть левацкие группы и группки — в Перу их, говорят, около полутора десятков, — которые в своих честолюбивых интересах стараются использовать искренний революционный пыл молодежи; подобные левацкие группы, пуская в ход авантюристические архиреволюционные лозунги, спекулируют на чувствах молодежи. Они имеют известное влияние, главным образом на студентов.

Генеральный секретарь Перуанской коммунистической партии Хорхе дель Прадо много говорил нам при встрече о молодежи своей страны, о том, что работа с нею — одна из самых главных задач коммунистов Перу.

ДОРОГОЙ БОРЬБЫ

Нет на свете коммунистической партии, о которой можно было бы сказать, что история ее была мирной и гладкой. Тюрьмы, ссылки, террор, убийства, репрессии, столкновения с войсками и полицией, вечная слежка и труднейшая подпольная работа — все это, как родовые муки, всегда сопутствовало рождению и становлению коммунистической партии в каждой стране. И это тем более характерно для латиноамериканских государств с их военно-диктаторскими реакционными режимами и яростным накалом политической борьбы. История коммунистического движения в Латинской Америке полна крови и жертв.

Случайно повстречавшись с Хорхе дель Прадо, вы, наверно, никогда бы не подумали, что этот человек — испытанный боевой революционер-коммунист, что он провел в тюрьмах и концлагерях почти четырнадцать лет и не один год занимает пост генерального секретаря Перуанской коммунистической партии. Небольшого роста, даже, пожалуй, миниатюрный, но очень пропорционально сложенный, с коротко остриженными, уже редующими седыми волосами, со спокойными, мягкими движениями и негромкой неторопливой речью, он обращает на себя внимание только пристальным

взглядом своих карих глаз, умных, добрых и всегда немного грустных. Сначала он производит впечатление человека тихого, застенчивого, и лишь когда разговоришься с ним, видишь, что за этой внешностью скрывается личность крупного общественного деятеля, искушенного во всех сложных переплетениях социально-политической обстановки в стране, хорошо знающего свой народ, стремления и чаяния трудящегося перуанца — будь он рабочим завода в Лиме, шахтером из Ики или крестьянином-индейцем из горной деревушки. Нам довелось встречаться с Хорхе дель Прадо и в Лиме и позднее, в дни Совещания коммунистических и рабочих партий в Москве, и услышать из его уст подробный рассказ о том, как родилась и развивалась Перуанская компартия и как он сам, ее нынешний генеральный секретарь, прошел вместе со своей партией весь ее нелегкий путь.

Как уже говорилось, рождение коммунистической партии Перу связано с именем Хосе Карлоса Мариатеги — первого в стране крупного и последовательного марксиста. «Человек с хилым, болезненным телом, разительным контрастом к которому была мощная голова, сильный, проникновенный взгляд и доброе, постоянно освещенное веселой улыбкой лицо» — так описал Мариатеги его друг и товарищ по борьбе профессор Уго Пеше. Метис, выходец из нищих рабочих трущоб Лимы, Мариатеги еще в детстве и юности обнаружил блестящие способности и огромное трудолюбие. Он сам пробил себе дорогу в университет, тогда почти недосягаемый для детей бедняков, он настойчиво и широко занимался самообразованием и еще юношей стал журналистом, вскоре обратившим на себя внимание читающей публики. В университете — это было вскоре после окончания первой мировой войны — он подружился с Айя дела Торре, юношей из богатой семьи, очень способным, широко образованным, талантливым оратором. Айя дела Торре придерживался революционных, антиимпериалистических взглядов и был руководителем университетской ассоциации студентов.

Ветер Октябрьской революции в России долетел и до Перу. Правда, вести доходили порой в искаженном виде, и в то время многие считали нашу революцию торжеством идей анархизма, тем более что анархисты были внушительной силой в странах Латинской Америки. Именно под их руководством перуанский пролетариат, и прежде всего рабочие Лимы и Кальяо, в 1919 году начал борьбу за восьмичасовой рабочий день. Одновременно развернулась и борьба студентов, добивающихся от правительства университетской автономии и самоуправления.

Айя дела Торре и Хосе Карлос Мариатеги, возглавившие движение студентов Лимы, верно оценили обстановку и поняли, что гарантией успеха будет создание единого фронта борьбы. Этого удалось достигнуть, и хотя студенты и рабочие выступали каждые со своими определенными требованиями, их совместная борьба приобрела широкий размах и революционный политический характер. Единство принесло победу. Правительство вынуждено было уступить: рабочие получили восьмичасовой день, а студенты — университетскую автономию.

Мариатеги тогда издавал популярную газету «Ла расон» («Разум»). Он даже сделал попытку создать новую партию, но вскоре отказался от этой мысли, почувствовав, что его идеям еще недостает ясности и последовательности. Он понял, что должен глубже познакомиться с теорией и практикой революционного движения рабочего класса, разобраться в содержании и смысле Октябрьской революции в России. С этой целью в начале двадцатых годов он уехал в Европу. Живя во Франции, в Германии, а потом в Италии, он изучал марксизм, знакомился с трудами Ленина, встречался с выдающимися революционерами. В Италии он подружился с Антонио Грамши. Как раз в это время в итальянской социалистической партии произошел раскол, и Мариатеги твердо стал на сторону Грамши и его единомышленников, создавших партию коммунистов. Мариатеги готовился ехать в Россию, но обострилась его болезнь — костный туберкулез, — и врачи запретили поездку. В Перу он вернулся в 1923 году последовательным марксистом и коммунистом.

Его бывший соратник Айя дела Торре оказался в Мексике: правительство выслоло его после происшедших незадолго до этого волнений. Студенты Лимы избрали Мариатеги ректором народного университета, и он, пользуясь своим положением, старался связать студенческое движение с борьбой рабочих и придать ему классовый

характер. Он читал в университете курс лекций «Мировой кризис и роль рабочего класса». Одна из них была посвящена Октябрьской революции в России. Он поставил перед собой задачу организовать в стране конфедерацию рабочих профсоюзов и рабочую партию. Подготовить это должен был журнал «Амаута», созданный Мариатеги и сыгравший важную роль в пропаганде марксистских идей.

Между тем Айя дела Торре, находясь в Мексике, объявил о создании так называемого Американского народно-революционного альянса (АПРА). Под влиянием революционных событий в Мексике он обещал придать новой организации антиимпериалистический характер, но АПРА родилась как надклассовый, мелкобуржуазный союз. И это сразу же заметил и подверг критике Мариатеги. Дороги бывших соратников расходятся, они становятся политическими противниками. Печатаемая на страницах «Амаута» антиимпериалистические документы АПРА, Мариатеги с марксистских позиций критикует идеи Айя дела Торре.

1928 год стал для Мариатеги годом важных свершений. Вышла из печати его ставшая широко известной книга «Семь очерков истолкования перуанской действительности», в которой дан глубокий марксистский анализ экономических и социальных особенностей развития Перу. В том же году он организовал Всеобщую конфедерацию трудящихся Перу и основал партию рабочего класса. Хотя по тактическим соображениям эта партия тогда называлась социалистической, она сразу же приняла программу III Интернационала и в дальнейшем стала именоваться коммунистической. Мариатеги усиленно готовил партию к первому съезду, но его ранняя смерть в 1930 году помешала этому. В руководстве партии надолго взяло верх ренегатское крыло, и прошло много лет, прежде чем съезд состоялся.

Хорхе дель Прадо вступил в партию еще при жизни Мариатеги, в 1929 году. Путь, который привел его в ряды коммунистов, был далеко не гладким. Он родился в Арекипе — втором по величине городе Перу — в семье адвоката, который занимался политикой: был сенатором, а потом префектом в Лиме и Арекипе. Отец Хорхе умер сравнительно рано, оставив небольшое наследство, которое быстро промотал старший брат. Денег, чтобы продолжать образование, не было, поступить на работу тоже оказалось невозможным: надвигался кризис. И Хорхе дель Прадо пошел добровольцем в армию. В военной школе дисциплина была палочной в буквальном смысле этого слова — солдат били палками. Но идеи протеста и борьбы уже проникли в военную среду — в школе оказалась группа молодежи анархистского толка, и Хорхе дель Прадо примкнул к ней. Они много читали, и там в руки Хорхе попал перевод книги В. И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Это первое знакомство с трудами вождя русской революции хотя еще не повернуло его с анархистских позиций на новый путь, но оставило в нем глубокий след. Он бросил военную школу и вернулся в Арекипу. Там он присоединился к группе художников — у него были способности к живописи, — испытывавшей сильное влияние мексиканских художников-муралистов, которые создавали большие настенные панно социального содержания. Хорхе тоже писал такие панно на деревянных щитах. И вместе с другими живописцами носил их по городу — это была форма протеста.

В отцовской библиотеке молодой дель Прадо нашел книги Ленина, которые с увлечением штудировал. Тогда же он стал читать журнал «Амаута», издававшийся Мариатеги. Идеи марксизма все больше овладевали им, и под его влиянием творчество художников Арекипы стало приобретать открыто революционный характер. Однажды, когда они несли по улицам свое очередное панно, полиция задержала их и доставила к префекту. Тот обошелся с ними грубо, и Хорхе дель Прадо ответил ему резкостью. За это он получил месяц тюремного заключения. Так начался его путь борца-революционера.

В это время на страницах «Амаута» развернулась полемика между Мариатеги и Айя дела Торре: что нужно создавать — партию рабочего класса или надклассовый союз? Хорхе и его товарищи без колебаний стали на сторону Мариатеги, а в 1929 году вступили в партию, организованную им, и сформировали арекипский областной комитет.

По поручению товарищей Хорхе дель Прадо выехал в Лиму. Мариатеги сразу же оценил его способности и энергию и ввел в организационный комитет партии. Так как

Хорхе был самым молодым, ему поручили комсомол — он стал как бы первым генеральным секретарем перуанской комсомольской организации.

Наступили тяжелые годы мирового экономического кризиса, и в Перу, как и повсюду, развертывалась борьба рабочих за свои права. Началась большая забастовка на медных, свинцовых и цинковых шахтах в Морокоче. Мариатеги направил туда дель Прадо. Под его руководством там, в Морокоче и ее окрестностях, возникло десять профсоюзных объединений, положивших начало Федерации профсоюзов рабочих горной промышленности Перу.

В разгар этой борьбы умер Мариатеги. А через несколько месяцев в августе 1930 года к власти пришла военно-гражданская хунта. Начались жестокие репрессии. В Морокоче рабочие ответили на них самой большой в стране всеобщей забастовкой. Тогда полиция арестовала ее руководителей, в том числе и Хорхе дель Прадо. Рабочие повторили стачку, которая на этот раз переросла в восстание: забастовщики заняли казармы полиции и захватили администрацию, предложив правительству обменять захваченных ими чиновников на руководителей забастовки. Волнения грозили распространиться на всю страну, и даже послы Англии и США оказали давление на правительство. Хорхе дель Прадо и его товарищей освободили. Однако, когда колонна рабочих вышла встречать освобожденных, против нее выслали войска, открывшие огонь. Произошли кровавые столкновения, правящая хунта распустила профсоюзы и объявила осадное положение. Получить поддержку от крестьян тогда не удалось, движение оказалось изолированным и было подавлено. Хорхе дель Прадо и другие руководители рабочих снова очутились в полицейских застенках. Двое товарищей умерли от пыток, а дель Прадо заболел острой формой ревматизма, и только молодость и крепкое здоровье помогли ему выжить. Затем его с группой коммунистов отправили в концлагерь в глубь сельвы, в провинцию, которая, словно издевки ради, называлась «Матерь божья». Там в невыносимых для человека условиях тропического леса он провел почти два года. Хотя считалось, что побег оттуда невозможен, все же в 1932 году тринадцать заключенных, среди которых был и он, бежали из этого гиблого места. Четыре месяца они пробирались через джунгли, терпя голод, с трудом спасаясь от диких зверей, ядовитых змей и насекомых, которыми кишат тропические заросли. Наконец оставшиеся в живых пересекли боливийскую границу, пробрались оттуда в Бразилию и кружным путем нелегально вернулись в Лиму. Наступили трудные годы подпольной работы, осложнявшиеся еще и тем, что у руководства партией стояла ренегатская группа Равинеса. Партия была плохо организована, не проводилось ни съездов, ни выборов; многое из созданного Мариатеги было утрачено. У Хорхе дель Прадо нередко возникали разногласия с Равинесом, и в 1935 году он уехал в Куско секретарем областного комитета партии. В 1937 году, когда он сформировал там группу добровольцев для участия в антифашистской гражданской войне в Испании, стоявшая у власти военная хунта снова бросила его в тюрьму. На этот раз он вышел на свободу только через пять лет — в 1942 году, в разгар второй мировой войны. И сразу же вступил в борьбу с группой Равинеса.

Ключевым вопросом была помощь Советскому Союзу в его тяжелой борьбе с германским фашизмом. Равинес и его сторонники выступали против такой помощи, опасаясь правительственных репрессий. Они пытались изобразить борьбу советского народа лишь его внутренним делом и практически шли на сближение с буржуазным правительством. Это вызвало возмущение в массах коммунистов, хорошо понимавших международное значение Великой Отечественной войны советского народа и требовавших начать широкую кампанию в стране, призывать народ к моральной и материальной поддержке СССР. Оставшись в явном меньшинстве, Равинес и его группа вышли из партии.

Только в марте 1942 года, спустя двенадцать лет после смерти Мариатеги, был созван первый съезд Перуанской компартии. Он проходил в Лиме в полулегальной обстановке, и хотя программа и устав, принятые на его заседаниях, были еще несовершенно, все же демократическим путем удалось выбрать центральный комитет и определить политическую линию. Генеральным секретарем был избран выходец из рабочих Хорхе Акоста, а Хорхе дель Прадо занял пост секретаря по организационным вопросам. С этого времени началась новая полоса в деятельности Перуанской коммунистической партии.

Ее второй съезд проходил в 1946 году уже легально, при находившемся тогда у власти либеральном правительстве. Зато третий пришлось проводить в подполье: в стране господствовала совершившая переворот военная хунта Одрна и компартия снова была запрещена. Также нелегально заседал и четвертый съезд в 1962 году. А потом наступил период особенно тяжелых репрессий, и собрать съезд не удавалось вплоть до последнего времени.

Все эти годы Хорхе дель Прадо, как и многие его товарищи по руководству партией, то оказывался в тюрьме, то в изгнании, то в лесных концлагерях, то действовал в глубоком подполье. В 1966 году на пленуме ЦК его избрали генеральным секретарем партии, а в 1969 году пятый съезд партии, собравшийся в Лиме уже вполне легально после прихода к власти хунты генерала Веласко Альваро, подтвердил это избрание.

Компартия не сразу определила свое отношение к новому правительству страны. Первое время прошло в настороженном ожидании — подобные перевороты раньше всегда сопровождались усилением репрессий против прогрессивных сил, и прежде всего против коммунистов. Но как только стало ясно, что хунта генерала Веласко Альваро вступает на путь борьбы против всевластия североамериканских монополий, на путь утверждения независимой национальной экономики и суверенной политики, — компартия заявила о своей поддержке решительных шагов правительства в этом направлении. Можно было предвидеть: если новое правительство будет руководствоваться истинными интересами народа и страны, оно неизбежно придет к осуществлению необходимых реформ, которые записаны в программе-минимум Перуанской коммунистической партии и за выполнение которых боролись коммунисты Перу даже в самые тяжелые для партии годы. Такие надежды уже оправдываются: и национализация имущества «Интернейшенл петролеум компани», и закрепление за национальной экономикой производства рыбной муки (Перу — первый в мире ее производитель), и аграрная реформа в деревне, и контроль над ценами на предметы первой необходимости, и восстановление социального страхования рабочих, и возврат к бесплатному обучению в школах — все эти меры, проводимые в жизнь правительством Альваро, диктуются развитием экономики страны, и о настоятельной необходимости их всегда твердила компартия.

Но хотя партия вышла из подполья и работает легально, борьба ее продолжается, упорная и непрестанная. Борьба против империализма и реакции, настойчиво отстаивающих свои позиции, борьба против антикоммунистических сил, борьба внутри левого движения — и с ревизионистами и с теми, кто архиреволюционными фразами пытается увлечь людей на путь беспечных авантюр. И по-прежнему, как и во времена Мариатеги, одним из главных противников коммунистов Перу остается та же АПРА.

С тех пор борьба эта еще больше обострилась потому, что, созданная когда-то на антиимпериалистической основе, АПРА с годами превратилась в партию реакционной буржуазии и в последовательного защитника североамериканского влияния. Ее закономерно привела к этому выдвинутая в сороковые годы Аяя дела Торре и его сторонниками надклассовая теория исторического пространства. Согласно этой теории, мир делится не на классы, а на континенты, и в приложении к западному полушарию это означает, что экономика Латинской Америки должна дополнять экономику США и что события, происходящие в Европе, не могут служить примером для американского континента. Вполне понятно, что такие принципы приходятся по душе Вашингтону и расчищают путь для проникновения североамериканского капитала в страны Латинской Америки.

Аяя дела Торре, бывший соратник, а потом политический противник Хосе Карлоса Мариатеги, еще здравствует. Ему сейчас уже за семьдесят, живет он большей частью вне страны и остается для апристов «каудильо» — вождем — с почти абсолютной властью в партии. Все ошибки в политике АПРА всегда приписываются среднему звену апристского руководства, и на авторитет дела Торре никто не отваживается посягнуть. АПРА уже несколько раз приходила к власти, получала министерские портфели в реакционных правительствах. Сейчас силы АПРА в стране явно уменьшаются, но у нее еще есть достаточно сторонников. А если учесть, что АПРА более других буржуазных партий занимается идеологией пролетариата и старается сформировать у рабочих особое

«апристское» сознание, то разоблачение этой идеологии и борьба против нее становится важной задачей коммунистов.

Есть и немало чисто внутренних трудностей в работе компартии Перу, свойственных, впрочем, и коммунистическим партиям некоторых других стран южноамериканского континента. Не изжита еще до конца болезнь сектантства, и на местах узость мышления иных руководителей мешает порой расширению и укреплению влияния партии, что особенно сказывается на работе среди интеллигенции. Да и просто не хватает во многих партийных организациях людей образованных, с широким кругозором, с ясным, последовательным мировоззрением, могущих и поспорить «на равных» с каким-нибудь университетским профессором или видным адвокатом, и разъяснить интеллигенции с подлинно марксистской глубиной особенности политико-экономического развития страны и позицию партии в сложных вопросах современной перуанской жизни. Много еще предстоит сделать в области идеологического воспитания молодежи. Слабым местом остается работа партии среди военных.

Это последнее особенно важно сейчас, когда армия играет главную роль в руководстве жизнью страны. Армейское офицерство показало, что в его среде немало людей, хорошо понимающих интересы народа и готовых бороться за них. Поддержка, какую оказали трудящиеся Перу этой передовой, прогрессивной части своей армии, говорит о многом. Но в тех же военных кругах, особенно в их верхнем слое, есть и иные силы, которые, несомненно, постараются оторвать армию от народа, поставить ее над народом, внушить ей авторитарные устремления. Учесть эту опасность, помочь предупредить ее — неотложная задача Перуанской компартии, о которой говорил нам ее генеральный секретарь Хорхе дель Прадо.

И еще одна, на мой взгляд, немаловажная проблема. Слово «интеграция» — модное в наши дни: его по самым разным поводам повторяют на всех континентах. Но для Латинской Америки слово это имеет смысл особый.

Мы, коммунисты, верим в будущую социалистическую интеграцию всех народов земли, в мировой интернационал всех стран земного шара. Это, по нашему мнению, более или менее дальняя, но неизбежная перспектива развития человечества. Но если обратиться к континентам и обозреть их с этой точки зрения, слово «интеграция» прежде всего невольно свяжется именно с Латинской Америкой. Как разительно она отличается от всех частей Старого Света. Взять хотя бы Азию, Африку, Европу — какая чересполосица языков, какая пестрая смесь народов с различной культурой, с такой непохожей историей! А Латинская Америка? Во всех ее государствах — главный язык один и тот же — испанский. Только Бразилия говорит на португальском, но португалец и испанец понимают друг друга, как русский и поляк, русский и болгарин. Уже четыре с лишним века, с момента испанского завоевания, история народов, населяющих эти страны, схожа во многих своих чертах. Даже революции, освободившие их от господства Испании, происходили на сравнительно коротком историческом промежутке — в XIX веке. А сейчас они — кто в большей, кто в меньшей степени — испытывают на себе экономическую экспансию и политическое давление США.

Конечно, у них немало и различий, и притом весьма существенных. Но все же общность языка и исторических судеб — это уже такой потенциальный мост для будущей интеграции, какого нет ни на одном другом континенте.

Однако «интеграция» — слово, в которое можно вложить разное содержание. Оно в ходу и у империалистов США, и у их сторонников в латиноамериканских странах. Оно по существу лежит и в основе теории исторического пространства, созданной руководителями АПРА. Их интеграция на практике означает включение стран Центральной и Южной Америки в экономическую орбиту США, объединение вокруг североамериканского капитала. Такая интеграция — союз всадника и лошади, она направлена против интересов народов Латинской Америки и не может встретить их поддержки.

Да и возможна ли вообще интеграция на путях капитализма с его борьбой за рынки сбыта, с бешеной конкуренцией между монополиями, с анархией в экономике? История Латинской Америки показывает, что капитализм скорее способствует разобщению между странами, особенно при постоянном вмешательстве в их дела мощного и бесцеремонного северного соседа.

Наоборот, сближение их происходит в общей борьбе против североамериканской экономической агрессии и политического диктата. По мере того, как вслед за Перу и другие страны встают на путь ограждения своей экономической независимости и политического суверенитета, они все чаще прибегают к совместным консультациям, совещаниям, к сотрудничеству в общем деле сопротивления натиску империализма США. Конечно, отсюда до интеграции еще дистанция огромного размера. Подлинная интеграция латиноамериканских стран станет возможной и закономерной лишь на социалистическом пути. И хотя пока только одна из них — Куба — вступила на этот путь, мы верим, что рано или поздно такую дорогу изберут себе и другие государства «кипящего континента». А тогда с особой силой скажутся присущие его странам общность языка и исторических судеб и естественные для социализма тенденции к сближению, единству народов неизбежно приведут здесь к торжеству идеи интеграции, которая со времен Боливара прочно живет в умах и сердцах многих латиноамериканцев.

Пусть это цель далекая, лежащая где-то за горизонтом современной истории Латинской Америки. Но идея объединения латиноамериканских народов в одно монолитное целое должна быть начертана на знамени тех, кто борется за истинное счастье трудящихся масс, за новый широкий и справедливый путь их развития,— идея социалистической интеграции.

(Окончание следует)



ГАНС ЛЕБРЕХТ,
израильский журналист

★

ВОЙНА И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В ИЗРАИЛЕ

В час ночи с 7 на 8 августа 1970 года на Суэцком канале воцарилась тишина. С обеих сторон был прекращен огонь. Этому предшествовали тридцать восемь месяцев кровопролития, начавшегося на рассвете 5 июня 1967 года вследствие агрессии, осуществленной израильской армией, против Объединенной Арабской Республики, Иордании и Сирийской Арабской Республики.

Итак, в августе 1970 года было установлено перемирие. Перерастет ли оно в мир, которого так горячо желают все народы, или ему суждено всего-навсего стать короткой паузой между боями?

Прекращение огня, срок действия которого 5 ноября продлен еще на девяносто дней, явилось результатом, с одной стороны, долгих дипломатических усилий, направленных на мирное разрешение ближневосточного конфликта, и, с другой стороны, действием известных объективных факторов. Ни господствующие круги Израиля, ни американские империалисты не обратились вдруг в мирных ягнят. И сейчас еще они не отказались от своих стратегических целей. Но поняли, что этих целей невозможно достичь путем насилия и военной агрессии, и изменили лишь тактику, хотя по-прежнему не соглашались, что политика силы потерпела крах. Что же заставило их идти на прекращение огня?

Во-первых, изменилось соотношение сил, в первую очередь на Суэцком фронте, в пользу энергично обороняющейся ОАР. Что-что, а уж это совершенно ясно тель-авивским господам — сторонникам политики силы. Как известно, они утверждали, будто имеют право бомбардировать территорию ОАР «во имя защиты Израиля». В этом их активно поддерживали американские опекуны, осуществляющие аналогичную стратегию и тактику по отношению к Демократической Республике Вьетнам, снабжая Израиль «фантомами» и «скайхоками», наконец оказывая ему политическую поддержку. Что ж, этим проискам был положен конец: бойцы противовоздушной обороны ОАР изо дня в день сбивали все большее число израильских самолетов. Поначалу израильтяне пытались замаскировать свое военное поражение пропагандистскими трюками. Они сообщали лишь о тех потерях, при которых израильские пилоты (в том числе и «израильские» пилоты с американским гражданством) попадали в плен к вооруженным силам ОАР. Они даже вовсе отрицали попытку высадки десанта, предпринятую ими в конце июня и успешно отраженную войсками ОАР.

Во-вторых, антиимпериалистическое освободительное движение не только не ослабло под влиянием войны и бомб, но и заметно окрепло. Экономика ОАР и других арабских государств, вступивших на некапиталистический путь развития, несмотря на ущерб от бомбардировок и значительные расходы на нужды обороны, развивалась в благоприятном направлении. Моральная и политическая поддержка Советского Союза и других социалистических государств вследствие оказываемой ими эффективной экономической помощи, а также помощи в укреплении военно-оборонного потенциала арабских стран и прежде всего вследствие энергичной защиты ими национальных прав арабских народов на всех международных трибунах, — непрерывно росла. Многие

арабские страны и народы связаны с Советским Союзом и другими социалистическими государствами тесными узами дружбы и солидарности.

Прекращение огня — это еще не мир. Народы должны сохранять бдительность. Господствующие круги Израиля стремятся использовать это перемирие в своих целях. Как известно, прекращение огня было установлено с тем, чтобы создать благоприятную атмосферу для переговоров о политическом урегулировании конфликта на основе известного решения, принятого Советом Безопасности в ноябре 1967 года. Израильская сторона с самого начала саботировала переговоры с уполномоченным Генерального секретаря ООН доктором Гуннаром Яррингом. Израиль выдвинул условия, относительно которых ему было отлично известно, что они или неприемлемы для арабских народов, или же вообще противоречат всему смыслу миссии, возложенной на доктора Ярринга Советом Безопасности. Миссия эта ясна и недвусмысленна — найти пути, способствующие претворению в жизнь решения Совета Безопасности. Но ведь именно это во что бы то ни стало стремятся предотвратить власти Израиля. Один из главных пунктов решения — это вывод войск из всех арабских районов, захваченных Израилем в 1967 году.

Правители Израиля объявили после долгих проволочек о своем согласии с решением Совета Безопасности. Но соглашаясь с ним на словах, они отвергают его на деле. Короче, они извращают смысл решения, выдвигают свои условия. Ясно одно: они хотят сохранить захваченные районы или полностью, или, во всяком случае, в большей части. Подобная позиция оправдывается «соображениями безопасности», уверяют они. Но о какой же безопасности может идти речь в условиях, когда лидеры Тель-Авива нацелились на территориальные захваты? Насквозь фальшива ссылка израильских правителей на «соображения безопасности». Если кто и имеет право говорить об этом, то именно арабские страны, ведь это они стали жертвой агрессии.

Площадь и рядом главную причину конфликта, как и того, что он до сих пор не разрешен, усматривают в происхождении американских монополий, определяющих стратегию Белого дома. Я не собираюсь умалять значения этого аспекта. Сам по себе он вполне реален: сегодня даже официальные израильские круги признают, что глобальная стратегия США оказывает определенное влияние на решения израильского правительства. Но все это только одна сторона монеты. Другая же такова: территориальная экспансия, практическая аннексия завоеванных территорий с их последующим экономическим и демографическим включением в состав государства Израиль.

На словах все еще ведут дискуссию о том, допустима или недопустима аннексия. На деле Израиль уже давно перешел к осуществлению этой политики. В захваченных районах создано уже свыше пятидесяти военизированных сельскохозяйственных поселений, изгоняются коренные жители — арабы, разрушаются их дома, проводятся аресты, политика репрессий, наводится «новый порядок». В иорданском городе Хеброн, на холмах, окружающих город стратегическим кольцом, сооружены израильские жилые кварталы. Активно строительство ведется в восточной части Иерусалима. До 1975 года здесь должны поселиться 25 тысяч израильтян. Такова политика «свершившихся фактов», впрочем, и это еще не все. Уже осуществляется колониалистская эксплуатация полезных ископаемых и производительных сил оккупированных районов. Известно, например, что израильская текстильная фабрика «АТА» создала свой филиал в арабском городе Наблус. Она использует здесь труд сотен надомников, за ничтожную плату занимающихся изготовлением готового платья. Используются также египетские нефтяные источники в Абу-Родисе на Синайском полуострове: ежедневно оттуда в Эйлат переправляется свыше десяти тысяч тонн нефти, что составляет более трех миллионов тонн в год. Оттуда ее по трубам гонят в средиземноморские порты Ашкелон и Хайфу. Подобных примеров можно привести много.

Как это принято в израильской экономике, здесь — в области эксплуатации экономического потенциала оккупированных районов — дело в широком масштабе передается в руки чужеземных, чаще всего американских, инвеститоров и монополий. Масштаб этот настолько широк, что Уильям Картер, глава американской делегации численностью в двести пятьдесят человек (что составило более половины всех делегатов) на пресловутой конференции миллионеров и миллиардеров, состоявшейся в Иерусалиме

в июне 1969 года, по возвращении в США заявил корреспонденту «Лос-Анджелес таймс»: «Израиль готов расстелить огромный красный ковер перед каждым инвестором, собирающимся вложить деньги в новые предприятия. Это прежде всего относится к тем, кто намерен сделать это в «новых» районах». Под «новыми районами» подразумеваются оккупированные арабские территории. В самом деле, израильское правительство выплачивает 60 процентов и более всех инвестиций в виде займов и ссуд, освобождает подобные предприятия от налогов и гарантирует им — уже с самого первого года — минимальную прибыль в размере 10 процентов.

И это тоже «свершившиеся факты». Все рассуждения израильских правителей о «безопасных и общепризнанных границах», постоянное откладывание каких бы то ни было конкретных переговоров по вопросу о претворении в жизнь решения ООН имеют своей целью попытки «де-факто» включить оккупированные районы в состав Израиля. Потому-то Голда Меир и готова продлить перемирие не только на какие-то девяносто дней, но даже на неограниченный срок и вести разговоры из года в год, так и не приходя ни к какому конкретному результату. Правда состоит в том, что правящим кругам Израиля удастся игнорировать решения ООН или Совета Безопасности до тех пор, пока ведутся одни лишь разговоры и не принимается никаких практических мер для осуществления этих решений.

«На протяжении двадцати лет мы сидели, окопавшись за границами, которых не признавал мир. Теперь мы еще два новых десятилетия просидим за новыми границами, которых также не желают признавать. Между тем весь мир и сами арабы успеют к этому привыкнуть», — заявил еще в августе 1967 года тогдашний председатель комиссии кнессета по иностранным делам и вопросам безопасности Давид Хакохен. Те же слова спустя несколько месяцев повторил тогдашний израильский премьер-министр Леви Эшкол. Нынешнее правительство пытается претворить эту идею в жизнь.

Нет, мир не привыкнет к этому, не привыкнут к этому и арабские народы. 1970 год — это не 1948-й или 1949 год. Возникли новые факторы, хоть израильские правители и не желают их признавать. Соотношение сил во всем мире и на Ближнем Востоке изменилось в пользу миролюбивых народов.

Произволу правящих кругов Израиля пришел конец не только на международной арене, но и внутри страны. Значительная часть израильского народа, в особенности молодежь, начинает освобождаться от иллюзий, много лет пасаждавшихся пропагандой. Многие поняли, что как раз экспансионистские устремления препятствуют миру и безопасности Израиля. Здоровые элементы израильского народа, как и всех других народов, хотят мира, хотят положить конец вечному кровопролитию.

Под лозунгами «Мир — да, аннексии — нет!» и «Нам не нужны чужие земли — нам нужен мир!» тысячи израильских студентов, рабочих, представителей интеллигенции демонстрировали в Тель-Авиве, а также перед правительственными зданиями в Иерусалиме. Не раз у них происходили кровавые столкновения с полицией.

После одной из таких уличных стычек с конной полицией, совершившей грубое нападение на демонстрантов, протестовавших против строительства израильских жилых кварталов в оккупированном городе, журналисты спросили у офицера воздушно-десантных войск (переодетый в гражданское платье, он мужественно сражался против полиции бок о бок с другими демонстрантами и был ранен), почему он так поступил. Офицер ответил: «Лучше пролить свою кровь здесь, на улице, во имя мира, чем на Суэцком канале за неправо дело».

Если в 1967—1968 годах Коммунистическая партия Израиля была единственной организованной силой, последовательно разъясняящей, что невозможно установить мирные отношения с соседними арабскими народами до тех пор, пока Израиль оккупирует арабские территории и игнорирует национальные права арабского народа Палестины, то сегодня за эти идеи выступает и борется уже широкий фронт людей — представителей самых различных политических взглядов.

Вот почему молодые израильтяне приветствовали соглашение о прекращении огня, заключенное 8 августа 1970 года. Они больше не хотят рисковать своей жизнью ради экспансионистских устремлений и чуждых им интересов.

4 ноября 1970 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций большинством голосов постановила, что решение Совета Безопасности от 22 ноября

1967 года должно быть незамедлительно претворено в жизнь, что совершенно недопустимо силой оружия захватывать чужую территорию и потому Израиль должен без дальнейших проволочек освободить арабские территории, оккупированные им в 1967 году. В решении специально подчеркивается, что законные права арабского народа Палестины также должны быть учтены при достижении справедливого и прочного мирного урегулирования. Права всех народов на суверенность и безопасность границ, такие принципы, как отказ от применения силы и недопустимость войны между членами ООН, непременно должны уважаться.

Это решение, которое радостно приветствовали все миролюбивые народы, включая арабские, вновь подтверждает факт существования предпосылок для установления справедливого, прочного мира на Ближнем Востоке. Как бы то ни было, оно поставило израильских властителей и их американских покровителей в затруднительное положение. Давление со стороны мирового общественного мнения, как и давление со стороны общественности самого Израиля, прогрессивных сил Соединенных Штатов Америки, требующих положить конец политике саботажа мирного урегулирования, стало еще сильнее.

* * *

Война стоит крови и огромных денег. Дефицит бюджета в текущем году, поначалу «предусмотренный» в размере 600 миллионов израильских фунтов (3,5 ИФ=1 американскому доллару), превысил 1 миллиард. В качестве официальной причины этого явления выдвигается рост расходов на то, что в Израиле принято называть «оборонной», иными словами, на продолжение агрессии и оккупации арабских земель. Резервы иностранной валюты, летом 1967 года еще составлявшие свыше 900 миллионов долларов, сократились до 400 миллионов. Как-никак, а бомбардировщик типа «фантом» обходится в 3,5 миллиона долларов плюс огромные проценты за кредит...

Разумеется, верно то, что Израиль был бы не в силах выдержать расходы, связанные с его авантюристической политикой, не будь широкой поддержки со стороны американских и прочих империалистических кругов, как и финансовой помощи, оказываемой ему сионистскими организациями. Однако пытаться финансировать безумную политику силы — все равно что пытаться наполнить бездонную бочку, и этой поддержкой, маскирующейся под «помощь», тоже надолго не хватит.

В интервью, опубликованном израильской газетой «Давар» (9 октября 1970 года), министр финансов Пинхас Саппир заявил, что только на одни военные расходы на ближайшие два года Израилю потребуется иностранной валюты 1,6 миллиарда долларов, иными словами — 800 миллионов в год. Один миллиард долларов Израиль надеется получить от сионистских организаций и американских империалистов. А где взять остальные? Министр не дал ответа на этот вопрос.

Перед тем как предоставить Израилю последний крупный заем в рамках финансовой «помощи» на нужды агрессии, американцы потребовали, чтобы сам Израиль также взял на себя дополнительные расходы. В ответ Саппир и Голда Менр приехали в Вашингтон и Нью-Йорк не с пустыми руками. В августе 1970 года «оборонный бюджет» увеличился еще на 1,175 миллиарда израильских фунтов дополнительно, достигнув суммы, в общей сложности превышающей 6 миллиардов. Эта колоссальная сумма, согласно заявлению министра финансов, опубликованному газетой «Маарив» 21 августа 1970 года, составляет около 30 процентов стоимости совокупного национального продукта. Только на военные расходы в настоящее время в Израиле приходится около 55 процентов всего государственного бюджета. Кроме того, в текущем государственном бюджете фигурируют расходы, связанные с уплатой долгов и процентов по предоставленным займам, полученным для нужд вооружения в прежние годы. Обе эти статьи составляют более 70 процентов всех расходов израильского государства.

Приходится ли удивляться тому, что налоговое бремя непрерывно возрастает, что экономника ощущает все возрастающее давление, вследствие чего постоянно повышаются цены и все меньше остается средств на социальные нужды, на просвещение, здравоохранение и т. д.

Но это еще не все. Правительство, выдающее себя за «рабочее правительство», в действительности руководствуется интересами буржуазии и в первую очередь иност-

ранных капиталистических монополий. Поэтому оно освобождает банки, крупные предприятия и иностранные капиталовложения полностью или в значительной мере от налогов и, более того, гарантирует им определенную минимальную прибыль. Таким образом, большая часть налогового бремени, как и расходов, связанных с уплатой долгов, перекладывается на плечи трудящихся. Выливается это во введение неисчислимого количества всевозможных прямых и косвенных налогов. Постоянный рост налогов с оборота и таможенных пошлин ведет к непрерывному повышению цен. Одни лишь цены на предметы широкого потребления и продукты питания в течение 1970 года, по данным официальной статистики, выросли более чем на 10 процентов. Действительный же рост цен значительно превышает официальные показатели, поскольку статистические данные неизменно претерпевают определенную обработку.

Положение трудящихся масс Израиля и до повышения налога с оборота, осуществленного в августе, и последовавшего за этим роста цен было далеко не блестящим. По данным правительственных учреждений за 1969 год, ежемесячный доход 51 процента семей лиц наемного труда не достигал той минимальной суммы, которая, по нормам статистического управления, необходима для того, чтобы прокормиться. Директор государственного ведомства социального обеспечения опубликовал в июле 1970 года отчет, согласно которому более 160 тысяч еврейских детей в возрасте до четырнадцати лет (примерно около одной четверти всех еврейских детей, живущих в Израиле) постоянно недоедают, а иные голодают. Что же касается арабских детей, заведомо подвергающихся дискриминации, то об их состоянии даже не публикуют официальных статистических данных.

Такова реальность этого столь громко восхваляемого сионистской пропагандой «рая для евреев». Вместе с тем это и впрямь рай — как для еврейского, так и для нееврейского крупного капитала.

Тогда как реальная заработная плата в течение последних лет непрерывно снижалась (истинное положение дел не всегда находит отражение в официальной статистике), прибыли банков и промышленных тузов возрастали из года в год. Официально зарегистрированные банковские прибыли — иными словами, прибыли без учета доходов, скрываемых их владельцами с целью уйти от излишнего налогообложения, — в 1969 году по сравнению с предыдущим годом возросли на 45 процентов. В том же году промышленные магнаты при энергичной поддержке «рабочего» правительства добились прибылей в размере 1,3 миллиарда израильских фунтов (опять же без учета миллионов, скрываемых от налогового ведомства) — на 30 процентов больше, чем в минувшем году.

Для оправдания этой своей политики правительство выдвинуло следующий тезис: «Ограничение частного потребления масс необходимо для финансирования «безопасности Израиля и улучшения торгового дефицита». Однако рабочие все чаще заявляют: «Война стоит денег, и наши правители переваливают все бремя военных расходов на наши плечи». И они совершенно правы. Ведь война не принесла стране безопасности, а, напротив, еще больше обострила подстерегающие ее опасности. Мало того, что трудящиеся расплачиваются за экспансионистские устремления правящих кругов, за глобальные интересы американского империализма собственной кровью, а также кровью своих сыновей и дочерей, — они еще должны финансировать эту политику. К тому же правящие сионистские круги стремятся к удешевлению рабочей силы, чтобы способствовать своим и иностранным инвесторам капиталов в выколачивании еще больших прибылей.

Приходится ли в этих условиях удивляться тому, что в Израиле, как и в других капиталистических государствах, одна за другой прокатываются волны забастовок и выступлений за увеличение заработной платы?

В течение девяти месяцев 1970 года бастовали 98 тысяч рабочих и служащих. При этом 127 забастовок длились более суток. А всего трудящиеся бастовали 172 тысячи человеко-дней. Для сравнения скажем, что в 1969 году таких забастовок было 90, в них участвовали 38 тысяч человек и простои составили 72 тысячи человеко-дней. Кроме того, в 1970 году произошли 44 частичных забастовки.

За последние три месяца прошлого года — после всех крупных скачков налогов

и цен — трудящиеся стали еще энергичнее отстаивать свои права. Сколько раз города Израиля вечер за вечером погружались в темноту! Бастовал технический персонал электростанций. По существу в период осенних месяцев 1970 года около 100 тысяч рабочих и служащих было возлечено в активную классовую борьбу. 100 тысяч человек — это 15 процентов всех трудящихся.

Национальной авиакомпании «Эль-Аль» не раз приходилось отменять большинство международных рейсов: бастовал наземный обслуживающий персонал. Много раз закрывались средние школы: бастовали учителя. Многодневные частичные забастовки проводились портовыми рабочими в Ашдоде и Хайфе и приходились на самый горячий период — период экспорта цитрусовых, что всякий раз приводило предпринимателей и правительство в величайшую ярость.

В середине ноября эта забастовка закончилась победой рабочих. Они добились повышения заработной платы на 24 процента. После этого генеральный секретарь Конфедерации труда Израиля (Гистатруд) Бен-Ахарон, один из руководителей правительственной так называемой «Рабочей партии», возглавляемой Голдой Меир и Моше Даяном, сделал заявление, из которого следует, что это повышение фактической заработной платы даже не смогло покрыть падения реальной зарплаты. Это было первое официальное признание, что жизненный уровень рабочих систематически снижается.

Коммунисты на своих рабочих местах, депутаты коммунистической партии в кнессете и в советах профсоюзов, поддерживающие тесную связь с рабочими и служащими, являются самыми последовательными защитниками интересов трудящихся. В городских промышленных центрах они распространяют листовки и газеты, содержащие конкретные требования коллективов отдельных предприятий и целых отраслей промышленности. Коммунистическая печать («Зо Гадерех», «Аль-Иттихад» и другие газеты и журналы) правдиво рассказывает о положении дел на предприятиях и о введенных эксплуататорами порядках, против которых борются рабочие, а также опровергает пропагандистские измышления буржуазной и проправительственной печати, направленные против рабочих. Вот почему трудящиеся знают, что они могут положиться на коммунистов. Там, где требуется дать совет, оказать действительную помощь бастующим, там всегда можно встретить товарищей из Коммунистической партии Израиля.

Коммунисты всегда выполняли и выполняют свой долг, хотя в условиях современной израильской «демократии» они подвергаются жестоким преследованиям. Агрессивный внешнеполитический курс правителей Израиля сопровождается разгулом реакции внутри страны.

Одна за другой проводятся акции, цель которых практически сводится к тому, чтобы парализовать деятельность Коммунистической партии Израиля. Не гнушась никакими средствами, правители Израиля организуют травлю членов компартии, всячески преследуют их, увольняют с работы только за неугодные сионизму убеждения. Особенно беспощадно преследуются активные деятели партии. При поддержке профсоюзных боссов и тайной политической полиции предприниматели выгоняют на улицу многих коммунистов — организаторов забастовок, а также членов рабочих советов.

В октябре 1967 года было совершено злодейское покушение на жизнь генерального секретаря ЦК Компартии Израиля Меира Вильнера, который не раз выступал против агрессивного курса правительства. В связи с этим газета коммунистов Южной Африки «Африкен комьюнист» с возмущением писала о положении в Израиле: «Против единственной партии, смело выступающей с осуждением... политики Тель-Авива, началась кампания террора. Каждый день поступали приказы форстеровского типа, ограничивающие передвижение коммунистов по стране («запрещается без разрешения... выезжать из района... сроком свыше...»), сообщалось об арестах без суда и следствия, избиваниях и истязаниях арестованных — избивали прямо на улицах при аресте или в камерах. Чем не Германия времен третьего рейха».

Это сопоставление с «Германией времен третьего рейха», то есть фашизма, не случайно. Как некогда фашисты пытались доказать исключительность арийцев, заявляли об их «особой роли» в истории человечества, так сегодня израильские правители и деятели международного сионизма говорят о богоизбранности, особой миссии еврейского народа.

В ответ на подобные рассуждения фашистского толка в свое время хорошо сказал И. Эренбург: «Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе».

Коммунистическая партия Израиля не дает запугать себя ни репрессиями, ни сионистской клеветой против нее, и рабочие продолжают оказывать ей доверие.

Все больше становится трудящихся, которые понимают, что их борьба за улучшение условий труда, во имя защиты их жизненного уровня и демократических прав должна быть неразрывно связана с борьбой за мир, что «вечная» война и экспансионистские устремления сионизма, как и алчность эксплуататоров, противоречат их коренным интересам и определяют их тяжкую участь.

Израилю и его народу нужен мир, а не «вечная» война. Усилия всех миролюбивых и прогрессивных сил мира, Советского Союза и социалистических государств, международного рабочего движения и антиимпериалистического освободительного движения направлены на превращение временного перемирия на Ближнем Востоке в справедливый и прочный мир... Демократические, миролюбивые и прогрессивные силы Израиля — коммунисты, трудящиеся массы и творческая интеллигенция — заинтересованы в том же и борются за осуществление этой цели. Правда, правящим кругам до сих пор удавалось одурманивать большинство жителей страны своей лживой шовинистской пропагандой, но неизбежен тот день, когда израильский народ сможет приступить к созиданию иного — миролюбивого и прогрессивного — Израиля.



В МИРЕ ИСКУССТВА

АНДРЕЙ НУЙКИН

★

ПРАВСТВЕННОЕ. ДУХОВНОЕ. ИДЕЙНОЕ

От непрерывного общения с Аполлонами, Венерами, нетленными ценностями и вечной красотой авторы работ по эстетике обычно сами становятся немного олимпийцами: слог их приобретает величавость, а мысли — монументальность и незыблемость. На фоне создаваемых ими «истинно эстетических» сочинений сборник «Искусство нравственное и безнравственное», год назад вышедший в издательстве «Искусство» и получивший довольно широкую известность в читательских кругах, выглядит несколько несолидным. Авторы статей лишены надлежащей бесстрастности, речь ведут они обычно от самих себя, а не от лица бессмертных богов, проявляют суетную озабоченность судьбами мира, высказывают подчас спорные, не обкатанные многовековым употреблением мысли, волнуются, сомневаются и даже порой переходят на простой разговорный язык!

Но нет худа без добра. Истины, провозглашенные в сборнике, на мраморе высекать не требуется, зато над ними хочется думать, какие-то хочется поддерживать, какие-то оспаривать, какие-то развивать. Шутки шутками, а сборник, хотя в нем немало недостатков и просчетов, радует, на его страницах присутствуют живая мысль, живая страсть, реальное искусство, сегодняшние проблемы.

«Тем более четко и остро нужно отточить критерии подлинной красоты, подлинной научности и подлинной нравственности... А не смазывать эти критерии рассуждениями об «относительности красоты», об «условности», «научности» и «релятивности нравственных критериев», не уходить от вопроса на том основании, будто «время еще не пришло», будто человечество еще не накопило достаточно опыта в различении «красоты и безобразия», «истины и заблуждения», «добра и зла». Накопило. И очень даже достаточно. И в подлинной науке, и в подлинном искусстве, и в подлинно человеческой нравственности этот опыт достаточно ясно осознано. Можно и нужно судить тут самыми высокими критериями. Не то поздно будет».

Это слова из статьи Э. Ильенкова «Что там, в Зазеркалье?», открывающей сборник, их можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге — они отражают направленность общих поисков, интонацию, в которой ведется разговор, пафос и даже характерную для сборника скрытую неприязнь к логике — за ее неподатливость.

Примечательно и то, что в приведенных строках слово «критерий» употребляется четырежды. В истории бессмысленно отыскивать эстетика, который ратовал бы за «плохое», «ненастоящее» искусство. И Пушкин и Бенкендорф выступали только «за хорошее», только «за подлинное», да понимали-то они эти слова по-разному. Как определить критерий «подлинного»? Вот в чем вопрос вопросов. Сколько их уже называлось, этих критериев. Утверждали когда-то, что настоящее, «высокое» искусство может показывать только благородное: царей, военачальников, героев; что настоящее искусство требует высокого лексикона, а обычный разговорный язык опошляет его; что настоящее искусство должно строиться только на библейских сюжетах; что подлинное искусство только то, которое следует канонам древнегреческого искусства. Нет нужды напоминать, как искусство и жизнь обошлись со всеми этими нормативами...

Наши эстетики тоже немало сил потратили на поиски бесспорного и универсального критерия, но искусство неизменно оказывалось шире.

За последнее время много говорят о «строгих научных критериях» в оценке художественного творчества. Само по себе стремление «покончить с кустарничеством» в критике заслуживает всяческого одобрения. Однако истинно научные критерии обязывают к каждому явлению подходить с полным учетом его специфичности, с мерками, соответствующими его природе. Нельзя время измерять килограммами, а вес минутами. Научный критерий — это далеко не одно и то же, что критерий науки.

Ценность и истинность научных открытий проверяется прежде всего практикой. Попробуй не поверить в то, что при расщеплении ядра атома выделяется энергия, если в Японии люди все еще умирают от лучевой болезни, а где-то под Воронежем люди варят суп при помощи этой самой атомной энергии.

Но какая практика или какой эксперимент может служить подобным критерием в искусстве? Лев Толстой терпеть не мог Шекспира, считал его бездарным. Чем можно было его переубедить? Цифрой людей, которые признают Шекспира великим? Толстой прекрасно ориентировался в таких цифрах.

Когда обращаются к научным критериям, то результаты не должны зависеть от симпатий и антипатий пользующегося ими человека. Страстность и заинтересованность ускоряют поиск научной истины, но на содержание ее влиять не имеют права. Многого ли стоили бы признаки делимости, таблицы логарифмов или, допустим, классификационные признаки млекопитающих, если бы результаты при их использовании зависели от вкусов и темперамента ученых?

К чему ведет приспособление критериев науки к искусству, показывают письма иных читателей, в которых растолковывается Лермонтову, что Демон не мог обещать зятью Тамару «в надзвездные края», ибо там температура на 264 градуса по Цельсию ниже нуля, а Пушкину — что он, описывая анчар, недостаточно изучил ботанику.

Выведение критериев нравственности при оценке художественных произведений — критерия, положенного в основу сборника «Искусство нравственное и безнравственное», — глубоко симпатично. Что ни говорите, иные недочеты художественного произведения можно если не простить, то стерпеть. Относительно же аморального искусства двух мнений быть не может. С таким искусством мириться нельзя. С другой стороны, если произведение нравственно облагораживает человека, то какие бы изъяны ни были в фактуре, в частности, сколь бы далеко оно ни было от эстетического совершенства, произведение имеет право на существование. Наверное, можно классифицировать искусство и иначе, но этот критерий выглядит чрезвычайно практически значимым и принципиальным.

Выходит, с появлением сборника «Искусство нравственное и безнравственное» критерий, четко делящий художественную продукцию на истинную и неистинную, найден? И теперь нужно только строго и последовательно его применять?

Соблазнительно так вот просто, с помощью одного сборника разрешить сложную проблему. Увы, победу праздновать еще рано. И дело не только в том, что под «нравственно — безнравственно» могут подразумеваться вещи чуть ли не прямо противоположные. Даже в пределах единого понимания нравственности в искусстве отмежевать нравственное от безнравственного бывает порой не так-то просто.

Точек зрения на то, как научиться отличать искусство нравственное от безнравственного, в сборнике предлагается несколько. Наиболее отчетливая и традиционная из них та, которая отождествляет безнравственность с модернизмом. Остановимся на ней.

Нужно сказать, что обличается здесь модернизм не совсем традиционно: в раздумчивой манере. Тон задает этому Э. Ильенков. В его статье рассказывается, как автор с группой философов побывал в Вене на выставке поп-арта. Был там, конечно, и унитаз, и человеческая «скульптура» из бачка для воды с краником на соответствующем месте, с полоскательницей вместо головы; было панно из сотен любительских отпечатков «Джоконды». Но автор не потешается над увиденным. Когда поп-арт наваливается в сотнях и тысячах экземпляров, становится не до смеха. Впечатление от выставки у него осталось такое, будто на его глазах человек попал под трамвай и его внутренности размазаны по рельсам и асфальту. В разгар осмотра автору стало плохо.

Но те, у кого нервы оказались покрепче, вступили в спор с директором выставки, австрийским профессором, доказывая, что поп-арт — это балаган, бред и шарлатанство.

Нет, ответил профессор, это искусство, искусство, а не шарлатанство. «Искусство у вас на глазах кончает жизнь самоубийством. Самоубийство, господа философы. Оно приносит себя в жертву. Чтобы хоть так заставить нас всех понять, куда мы идем. Показывает, во что превращаемся мы сами. В барахло. В вещи. В мертвые вещи. В трупы. А вы до сих пор этого не поняли. Думаете — цирк, балаган, фокус. А это — агония. Самая неподдельная. Зеркало, которое показывает нам нашу собственную суть и наше будущее... Наша цивилизация идет к самоубийству. Искусство это поняло. Не художники. Искусство само бросается под колеса. Чтобы мы увидели, ужаснулись и поняли. А не любовались бы. И не издевались бы. И то и другое недостойно умных людей...»

Не правда ли, необычный поворот в разговоре о модернизме?

Ждешь, что после такого последует серьезный анализ взаимоотношений искусства и жизни, глубокий разговор о социальных и духовных явлениях, порождающих явления, подобные поп-арту. К сожалению, в статье этого не произошло.

Автор, в общем-то, понимает, что отмахнуться от модернизма просто как от шарлатанства и хулиганства нельзя, что поп-арт — это отражение ненормальных отношений между людьми, что бороться нужно, как пишет Э. Ильенков, «прежде всего не с «попом» или абстракцией как таковыми, а с теми реальными социальными условиями, которые порождают и абстракцию, и «поп», и поповщину». Но распространение модернизма в зарубежном искусстве тут же объясняется... недостатком бдительности, непониманием художниками опасности вступления на скользкую модернистскую дорожку.

«...Переходи к рассечению кубиков на окрашенные поверхности, от плоскостей — на линии, от линий — на точки и пятнышки. Чувствуешь, какая свобода, какая красота? И тогда спадут с твоих глаз последние старомодные тряпки, тряпки абстракции, и узришь ты самую современную красоту. Красоту унитаза... Важно начать», — иронизирует Э. Ильенков. А что за иронией? Попытка объяснить, что корни кризиса западного искусства в том, что кто-то начал предпочитать поверхностям линии, а линиям — пятнышки...

Что и говорить, к формалистам мы относимся бескомпромиссно: напрочь отрицаем те формы, которые прославляют они, но не получается ли и в этом случае тоже формализм — формализм наоборот?

Характерна в этом отношении статья И. Матковской «Просто нехудожественное». В ней предлагается в качестве критерия нравственного искусства уровень художественности: «Никогда еще не было таким обостренным противопоставление художественного и нехудожественного, никогда последнее не обладало таким поистине зловещим, античеловеческим социальным содержанием. Не будет ли верным в этих условиях сказать, что если в искусстве все художественное нравственно, то нехудожественное уже тем самым безнравственно?» В этом тезисе очень много уважительности к специфике искусства, которой мы так часто пренебрегаем. И все же согласиться с ним нельзя. У В. Белинского об этом говорится куда более диалектично: «Что художественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, может быть и безнравственно, но не может быть нравственно». Но и с великим критиком в данном случае хочется поспорить. К сожалению, талант вовсе не во всех случаях оставляет художника, когда он начинает проповедовать реакционные, безнравственные идеи. В таких случаях чем более художественно произведение, тем более оно безнравственно.

Но, в общем-то, я хотел обратить внимание на другое. Раскрывая свой тезис, И. Матковская ссылается, с одной стороны, на буржуазное «массовое искусство», с другой — на модернизм. И вот что любопытно. Нехудожественность (безнравственность) «массового искусства» обосновывается ею прежде всего со стороны его содержания: буржуазное «массовое искусство» пропагандирует «культ силы, жестокость, секс, различные извращения психики»; оно «культивирует посредственность, стандартность чувств и мыслей благонамеренного и самоудовлетворенного среднего человека», ведет к «засилью банальности»...». Нужно сказать, что страницы, посвященные критике «массовой культуры», написаны убедительно. Но вот речь заходит о модернизме. И что же? Оказывается, что тут все дело в форме. Даже касаясь таких, казалось бы, существенных явлений, как стирание граней между моральным и аморальным, прекрасным и безобразным, И. Матковская винит в этом... модернистские средства выражения.

Вслед за С. Финкелстайном она журит Пикассо за пристрастие к стилю, которым «невозможно передать» «богатство человеческой души и ее силу». То ли дело Гойя — тот понял пороки модернистского стиля и как только понял — перешел от фантастики «Капричос» к реализму «Бедствий войны». При этом у критиков, судя по всему, даже не возникает желания поинтересоваться у Пикассо: а хотелось ли ему в упомянутых случаях передать «богатство человеческой души»? Плацдармом для эстетического анализа творчества крупнейшего художника оказывается аргумент типа: «Он должен это хотеть, потому что нам хочется, чтобы он это хотел».

«Пикассо, связанный своим стилем, мог передать только отдельный крик ужаса...» А вдруг Пикассо именно это и хотел — издать крик ужаса? Разве этого так мало? Не окажется ли в таком случае, что он стилем не «связан», а вооружен?

«Люди узнавали изображенное Пикассо звериное лицо фашизма в каждой стране, где фашизм подымал голову. И, однако, они не могли узнать самих себя... Оказывается, показать фашистское лицо во всей его мерзости — это вроде бы недостаточно весомая цель. Достопочтенные люди хотели на полотнах, где все — крик, узнать еще и самих себя. А узнали бы они себя только в одном случае — если бы художник показал «благородство и силу» их душ. Тогда бы они из вернисажа, успокоенные и довольные стилем художника, пошли по домам: фашизм не пройдет! Ну, а если Пикассо не «узнавал» их, людей? Если мера благородства и силы их душ его не устраивала? Если он не хотел потакать их страусиному оптимизму, который едва не превратил весь земной шар в фашистский застенок?

Слава богу, когда Пикассо хотел выразить благородство чьей-то души, он не шел советоваться к эстетикам, как это сделать. И у него получалось. Ну, а если ему не хочется чего-то, что нам бы хотелось, чтобы он хотел, так давайте и исходить из этого: ему не хочется. А далее уже рассуждать о том, почему не хочется, насколько не хочется, что надо сделать, чтобы ему захотелось. Глядишь — и убедим в чем-то прославленного модерниста...

Ну, а можно ли Пикассо в чем-то убедить аргументами типа: «Спор реалистического искусства с модернизмом оказывается спором за талант, за художественность»?..

«Уважаемый товарищ критик,— может сказать на это Пикассо,— прежде чем обратиться к модернизму и моей скромной особе, вы достаточно страстно обличали буржуазное «массовое искусство». При этом не упомянули про одну маленькую деталь — про приверженность «массового искусства» к реалистическим средствам выразительности... Это ли спор реализма с модернизмом «за талант, за художественность»?

В понимании и оценке модернизма сборник, к сожалению, вперед нас не продвигает. Обличается модернизм хотя и раздумчиво, но вяловато, что всегда бывает, когда у авторов нет оригинальных и сильных идей. Совсем другое дело, когда речь заходит о проблемах буржуазной «массовой культуры». Наши искусствоведы и эстетики явно начали осознавать, какая серьезная опасность надвигается отсюда на подлинное искусство, а главное — на человека.

Взволнованность этой мыслью ощущается не только в статьях, посвященных прямому разоблачению «массовой культуры», но и в тех, где это явление даже не упоминается. Этот «антикультмассовый» пафос сборника, думается, сделает его заметной вехой на пути развития нашего искусствознания. Зарубежные апологеты «массовой культуры» с гордостью подчеркивают ее «массовость», твердят о приобщении широких слоев народа к культурным богатствам, о демократизации культуры, выравнивании уровней духовного развития и т. д. Что и говорить... Миллионер зачастую носит костюм того же покроя, что и рабочий, а мелкий клерк ездит в собственной машине, как и крупный босс. Но сколько непримиримых противоречий прячется за этой «схожестью»! Что же касается вопросов культуры, то здесь «выравнивание» шагнуло несравненно дальше. Сплошь и рядом эстетические вкусы миллионера и мелкого служащего совпадают полностью, содержание кинокартин и телепередач ведь не зависит от расположения кинотеатра и стоимости телевизора. «Выравнивание» происходит за счет уничтожения истинного искусства, а доступность возникает из-за удешевления культуры, из-за подмены ее суррогатом, эрзацем, пригодным для поточного производства.

Оба всем этом убедительно говорится в сборнике. Единственно, чего, на наш взгляд, не хватает — глубокого анализа исторических и социальных корней явления.

Если верить, например, статье В. Глазычева «Поэзия роботов», то главная причина появления стандартного, примитивного «массового» человека связана с рождением массовых зрелищ и средств информации: радио, кино, телевидения, печати, выставок... Спору нет, перечисленные институты способствуют формированию такого человека, но ведь верно и то, что сами западные идеологи и организаторы «массовой культуры» чаще всего — продукт ее, они сами мыслят теми же категориями, исповедуют те же идеалы. «Если бы публика обладала вкусом, то издатель тоже имел бы его», — не без основания утверждал Флобер. Но у публики нет вкуса, и главное — она не желает его иметь. Вот в чем загвоздка, вот над чем стоит задуматься.

В сборнике немало материалов и фактов, дающих пищу для мысли, но, к сожалению, они разобщены, нет автора, который обобщил бы их, привел к единому знаменателю. Модернизм, в частности, рассматривается сам по себе, «массовое искусство» — само по себе. А как раз сопоставление их, анализ на общем историческом и социальном фоне позволяет углубить наше понимание и того и другого явления.

В связи с «массовой культурой» и оболваниванием искусством в западном мире возникает особый разговор, связанный с войной и фашизмом.

В глубокой статье Э. Соловьева «Цвет трагедии — белый», рассказывающей о мучительных попытках героев Хемингуэя выстоять, сохранить свое человеческое достоинство, остаться честными и искренними в пошлом и подлом послевоенном мире, есть слова: «Особенностью первой мировой войны (ее отличием от войны, которую гитлеровская Германия начала в 1939 году) было то, что капитализм развязал ее, еще не выносив «человека войны», равнодушного насильника и убийцу».

Что это значит? О каком человеке войны идет речь? Ведь равнодушных насильников и убийц было немало на всех этапах истории. Можно, конечно, сказать, что дело в количестве, что фашизм подготовил психологически к войне их предостаточно... Только какие практические выводы из этого можно извлечь? Всегда ли всякий ли народ при достаточной ловкости и наглости правящей клики можно легко и прочно оболванить?

Стоит отметить, что фашистский «человек войны», о котором идет речь, — убийца и насильник особый. В статье А. Гулыги «Искусство без морали» не случайно еще раз вспоминается комендант Освенцима Рудольф Гесс. Гесс был хорошим семьянином, любящим мужем и заботливым отцом, он не мог о женщине «говорить пошло», дома завел рабочую обстановку, придавая трудовому воспитанию «решающее значение для сохранения нравственного и психического здоровья»... Таких гессов среди фашистов было немало.

Что произошло с людьми, почему они вдруг пошли за кучкой уголовников? Как великая нация, давшая миру Бетховена и Канта, дошла до обожествления мелкого осведомителя Адольфа Гитлера? Эти вопросы не могут не волновать каждого, кому дорого будущее человечества. Авторы сборника они волнуют. Очень. И мы видим серьезные попытки дать ответ на эти вопросы.

А. Гулыга ведет речь о сознательном, целенаправленном идеологическом оболванивании, приводит большое количество фактов того, как фашистские бонзы через искусство освобождали народ от морали. Факты эти очень поучительны, но они не дают ответа на главный вопрос: почему народ согласился отказаться от морали?

Л. Аннинский разговор о фильме М. Ромма «Обыкновенный фашизм» прямо начинается с постановки этого вопроса: «Почему рядовой немец пошел за Гитлером?» Ключ к проблеме автор ищет вот где: «Какие несчастья принес фашизм людям — известно. Вдумайтесь в то «счастье», которое он им обещал». А обещал он им счастье, из которого было убрано его человеческое содержание. «Общее благо идет впереди личного» — таков один из двадцати пяти пунктов нацистской программы, принятой в 1920 году в Мюнхене. То есть благо отрывается от человека, личность теряет цену. Фашизм превращается во взаимодействие ничтожеств, нулей. «Ничтожества сверху: ничтожества, спрятавшиеся в мундиры, автоматически вскидывающие руки: «Хайль!», автоматически складывающие эти руки... пониже живота... в подражание фюреру. Ничтожества снизу: миллионы потерявших себя людей, спрятавшихся в толпу, автоматически вскидывающих руки», — пишет Л. Аннинский.

Характеристика яркая, точная, существенная, но.. в ней уже итог, уже последствие. Однако почему же людям все-таки захотелось стать толпой, автоматами, почему их стало соблазнять счастье безответственности?

Ответ Л. Аннинский видит в тех кадрах фильма, где показывается «цивилизованный мир» накануне фашистского путча. Шведский король играет в теннис... Бывший германский император кормит уток... И «Очи черные» в кабаках... «Духовность уже вынута из этой судорожно веселящейся жизни, уже зияет полость внутри душ, уже обнажилась страшная пустаота внутри человека, еще немного — и эта пустаота заполнится... Чем? Мы это видели», — подводит итог автор. Увы, приведенные кадры рисуют беспечность светских кругов, тягу филистеров к хмельному забвению. Почему народ пошел за фашизмом, почему у него возникла в душе «пустаота» — они не объясняют.

Э. Соловьев на вопрос, как был подготовлен человек войны, не отвечает, но зато он поясняет, почему такой человек не был «выношен» к первой мировой войне, и тем самым помогает найти одну из существенных причин, способствовавших формированию «человека войны».

Основную массу солдат во время первой мировой войны составляли темные, забытые, патриархальные крестьяне, из-за неразвитости своей неспособные испытать воодушевление по отношению к «прогрессу», «цивилизации» и прочим абстракциям, состоявшим на службе у шовинистов. Насильственно оторванные от земли, они чувствуют себя чужими в этом безумном мире, находясь в состоянии спасительной (пассивной) оппозиционности ко всякой пропагандистской шумихе. В жизненной позиции они предпочитают полагаться на свой житейский здравый смысл, на свои древнейшие нравственные чувства и инстинкты, такие, как сострадание, отвращение к убийству, ненависть к фарисейству и т. д.

Окончание войны связано в развитых капиталистических странах не только с промышленным бумом. Мы здесь часто упускаем и еще один «бум» — культурный. Последите за статистикой. В эти годы в странах Европы и Северной Америки ликвидировается неграмотность, становятся доступными всякого рода «культурные» развлечения (кино, театры, мюзик-холлы), средства информации (радио, газеты, журналы)... На смену неграмотности и невежеству приходят полуобразованность, не до культурность. Я отнюдь не собираюсь поэтизировать неграмотность и темноту народа как залог его высокой нравственности и понимания «правды». Но путь народа к высокой культуре не так прост. Переходная стадия полукультурности таит в себе огромные опасности. Это «подростковый» возраст народа. Возраст, как известно, чреватый всякими неприятностями, Пробуждение самосознания и активности, сочетающееся с полной неопытностью, легковерностью, отсутствием здорового скептицизма по отношению к идеям, обещающим легко разрешить трудные вопросы, исчезновение доверия к традициям, к опыту прошлых поколений — все эти условия позволяют ловким «взрослым» с одинаковой легкостью превращать подростка и в самоотверженного благороднейшего альтруиста, и в фанатика-изувера, и в циничного, бессердечного делягу.

Давно установлено: учеба — великое благо, но недоучка гораздо опаснее просто неученого. Приобщение к элементарным научным знаниям «переворачивает» все сознание человека. Оказывается, что почти все раньше он понимал «неправильно», доверие к житейскому здравому смыслу, к опыту и традициям предков у него исчезает. Проверять получаемые знания ему не позволяет малый багаж знаний, опыта и аналитических навыков. Это рождает фантастическую веру в кого-то, кто все знает, все умеет: среди таких фантомов оказываются ученые, гении, фюеры, мудрые машины и т. д.

Пробуждается интерес к политике, стремление принять личное участие в ней. Все это закономерно и отрадно само по себе. Придет подлинная культура — появится, кроме знаний как таковых, на новом уровне и уважение к здравому смыслу, к опыту предков, к собственной социальной интуиции. Но беда в том, что эксплуататорские классы меньше всего заинтересованы в глубокой, настоящей культуре народа, всеми средствами (а их у них вполне достаточно) они растягивают стадию народной инфантильности. Для политиканов она самая удобная.

Полуграмотное население очень внушаемо. Именно поэтому пропаганда и реклама оказываются способными «творить чудеса». Восторг у цивилизованного дикаря изделия

культурного ширпотреба вызывают ничуть не меньший, чем вызывали стеклянные бусы у дикаря нецивилизованного. И он из кожи лезет, чтобы быть «не хуже других». Он добросовестно отработывает положенное на службе, он не нарушает общественного порядка, благонамерен в политике, занимается спортом, ходит в турпоходы, следит за модами, он наслышан о последних течениях в искусстве, со многим «ознакомлен», о многом в состоянии порассуждать.

Видимость просвещения, своеобразная перенасыщенность культурной информацией как бы гипнотизируют, усыпляют всякую потребность в духовной жизни — «все уже есть, что еще надо?».

Каждый обыватель по отдельности не опасен, над ним можно посмеяться, как и над одиночным экспонатом поп-арта, но когда они соединяются в «массу», в публику, то это страшнее, чем венский вернисаж, который описал Э. Ильенков. «Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий» (К. Маркс).

Полуобразованный невежда, будучи марионеткой в руках политиков, очень самоуверен и в пределах разрешенного очень активен. Ему все хочется попробовать, ко всему приобщиться, чтобы быть «не хуже других», — и к политике, и к любви, и к искусству, и к философии... О! Он достигает больших глубин понимания «истинных пружин истории». Тех, над которыми зло иронизировал Хемингуэй в «Фиесте»: «Авраам Линкольн был гомосексуалистом... Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Фреде Скоте было подстроено Лигой Сухого Закона. Все это — половой вопрос».

Поставьте фигуры: народный сказитель, Лев Толстой и графоман. Графоман грамотнее сказителя, но от Льва Толстого он дальше, а главное — ужасно противен. Стадия полукультурности — коллективное графоманство. Отношение обывателя к искусству это полностью подтверждает. Он хочет, чтобы искусство было «приятно», то есть тешило его гордость, не слишком будоражило, отвлекало бы от суровой реальности жизни «красивым вымыслом», время от времени трогало бы его сексуальные струны и т. д. Современные телевизионные программы США до предела заполнены таким искусством. «Непрерывно занимая зрителя, волшебная телевизионная страна полностью игнорирует реальные проблемы, полностью отключается от жестокого реального мира, создает свой лучезарный мещанский стандарт, жлет непрерывно — красиво, занимательно, с юмором, разнообразно, — и все довольны», — пишет В. Глазычев.

Жизнерадостность — одно из основных требований буржуазного «массового искусства». «Массовый человек» не любит тяжелых переживаний, даже легкие волнения должны завершиться для него «хэппи эндом», порок получить наказание, а добро — достойный венок.

В ходе популярных передач американского телевидения, подчеркивает В. Глазычев, в Доме — главным «героем» этих телепередач — могут, конечно, происходить мелкие недоразумения, могут быть финансовые затруднения, но внутри Дома все всегда кончается хорошо — в телевизионной стране, где миллионы домов связаны автострадами и телефонными сетями, у фильмов и спектаклей плохих концов быть не может, этого никто не допустит.

Где тут связь — формирование фашистского «человека войны» — и буржуазный человек «массовой культуры», притом в современном его варианте? В том-то и дело, что никакого особенного «человека войны» не было. А вот человек «массовой культуры» (точнее — полукультуры) был и есть. И пока он есть, любой мелкий филер имеет все основания мечтать о мире, лежащем у его ефрейторских сапог, любая гнусная идея может собрать легионы ревностных крестоносцев.

В сборнике «Искусство нравственное и безнравственное» искусство третьего рейха и «массовое искусство» рассматриваются по отдельности. Думается, если их рассматривать вместе (фашистское искусство — разновидность «массового искусства»), это позволит глубже понять и то и другое. Как со стороны содержания, так и со стороны формы.

На первый взгляд «массовое искусство» в отличие от фашистского — вершина нравственности. Забавные комиксы и сентиментальные телепередачи вроде бы вполне пристойны в нравственном отношении — Добро в них борется со Злом и всегда побеждает, честность, трудолюбие, скромность, верность одобряются... Но когда социологи

подсчитали, кто и сколько раз выступает в этих «произведениях» носителем зла, врагом, то оказалось, что они учат расизму, жестокости и антикоммунизму, прославляют эгоизм, пошлость и мещанство.

Относительно формы: человек «массового искусства» модернистские штучки-дрючки вывешивает на стены только ради моды, притом именно штучки-дрючки, дешевку, бессодержательные выкрутасы, но в душе он предпочитает реализм. Жизнеподобие доходчивее, требует меньшей подготовленности и мозговых усилий. Фашисты тоже предпочитали реалистическую манеру, исключаящую всякую двусмысленность и неопределенность. Модернизм в третьей империи преследовался с великим ожесточением. Сочинения Генриха Манна предавались огню не за что-нибудь, а за «декадентство и моральный распад». Разделы огромной выставки «Выродившееся искусство» назывались: «Абсолютная глупость в выборе темы», «Идиоты, кретины, паралитики», «Полное сумасшествие» и т. д.

Как видим, реалистическая манера сама по себе, без учета идей, выражаемых художником, признаком настоящего, нравственного искусства служить не может.

А модернизм?

Модернизм — тоже продукт эпохи, продукт технической цивилизации, зашедшей в тупик. Многие модернисты видят духовное бессилие общества, в котором живут, они в ужасе от нравственной, эстетической и умственной деградации этого общества, но что предложить взамен — не знают, за что бороться — не представляют. Им нечего сказать людям. Отсюда чрезмерное внимание к форме самой по себе, бесплодные надежды, что манипулирование с формой само собой родит новое содержание.

Произведения целого ряда модернистов — это искренний протест против сугубо «реалистического» мещанства искусства, вызов благопристойности, стремление вырваться из мутного океана пошлости. Огромное панно из сотен одинаковых любительских мелких отпечатков «Джоконды» — что это, как не высокая красота, пропущенная через представление «массового человека»? Конструкция из бачка с краником и чашки-полоскательницы — что это, как не злое сатирическое изображение человека, в погоне за вещами превратившегося в вещь, лишившегося индивидуальности, души, живых идеалов?..

Но ясно, что подобный путь развития искусства не спасет мир от пошлости, потому что он не антагонист этому миру. Не случайно между тем же поп-артом и «массовым искусством» установились «живые творческие контакты». Бездуховность трудно победить простым ее отрицанием или доведением до абсурда — обязательно нужна позитивная созидательная работа в сфере духовной жизни. Духовный стандарт нестандартными формами не одолеть. Нестандартная форма ведь так легко может стать стандартной, если в ней нет нестандартного содержания.

Положение в искусстве, в культуре буржуазного мира не может не тревожить людей. Хорошо выразил это А. Эзюпери: «Видите ли, жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами больше нельзя. Нельзя! Нельзя больше жить без поэзии, без красок, без любви. Стоит услышать крестьянскую песенку XV века, и сразу понимаешь, куда мы скатились».

Мыслящие, по-настоящему культурные, прогрессивные люди во всех странах все активнее встают против господствующей пошлости и бездуховности. Пассивность сейчас, как никогда, недопустима. И за искусство надо бороться!

Только не следует при этом обучать Пикассо живописной и графической технике. Не за руки художников следует вести борьбу, а за их души. А для этого их неплохо бы сначала понять. Художнику в современном буржуазном, трижды безумном мире тяжелее, чем кому бы то ни было. Ученые обрушивают на его голову тонны информации, приводят в действие силы, перед лицом которых человек — величина, коей вполне можно пренебречь, внушают уверенность, что в наше время все решает наука, а искусство — лишь старомодная забава. Политики обрушивают на ту же голову тонны лжеинформации, стараясь превратить искусство в покорную служанку, выдающую смысл своего бытия в том, чтобы заглядывать им в рот. Публика, ради которой художнику надо извлекать из груди сердце, погрязла в заботах о брюхе и удобствах, в нем, в художнике, она видит рыжего, который обязан за деньги развлекать ее.

Идеалы социалистического искусства в современном мире мы должны распространять настойчиво, искренне и последовательно. Они ведь достаточно человечны и

добры, чтобы каждый честный, жаждущий добра себе и окружающим человек пошел с нами!

Вот о чем думаешь, с интересом следя за попытками авторов этого сборника найти формальный критерий для определения нравственного уровня искусства.

Однако в сборнике выдвигаются критерии, так сказать, и не формальные.

«Нравственность есть правда»,— твердо пишет писатель и кинематографист Василий Шукшин. Даже выносит эти слова в заглавие.

Если воспринимать их в плане публицистическом — как призыв к художникам не кривить душой, не утверждать, чего не думаешь, не изображать чувств, какие не испытываешь,— то тут все просто. Конечно же, лгать безнравственно, конечно же, там, где начинается умышленная ложь (пусть даже с самыми благими намерениями), из сферы искусства мы переходим в сферу интеллектуальной продажности, которая лежит уже за пределами компетенции эстетики. Но если брать понятие правды не в субъективном аспекте, то вопрос оказывается далеко не столь простым.

Книги Ремарка в Германии в свое время сжигали во имя «воспитания народа в духе истины». А среди фашистских писателей были и такие, что искренне верили в величие нацистских идей и в своих произведениях вполне «честно» их отстаивали. Такой «честный» фашист свое человеконенавистническое творение может построить даже на подлинных фактах, бывших на самом деле. А правды не будет! В чем дело? Не в том ли, что он слишком тенденциозен, слишком пристрастен в оценке фактов?

Судя по статье, В. Шукшин путь к правде видит именно в беспристрастности, в показе «так, как есть на самом деле». «Когда герой не выдуман, он не может быть только безнравственным или только нравственным... Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем. Учить можно, но если учить по принципу: это — «бьяка», а это — «мня-мня»,— лучше не учить»...

Э. Золя писал о натуралистическом романе с одобрением: «Напрасно было бы искать в нем каких-нибудь выводов, или морали, или поучительного урока, извлеченного из фактов. Эти факты, дурные или хорошие, просто собраны в книге и выставлены напоказ. Автор не моралист, но анатом, который всего лишь препарирует человеческое тело... его произведение становится как бы безличным, приобретает характер протокола действительности, навеки запечатленного в мраморе». Симпатии Золя на стороне Флобера — «истинного натуралиста», чье бесстрашие ближе природе искусства, нежели «вмешательство» Бальзака.

Однако из истории искусства известно, что линия Бальзака оказалась куда более плодотворной. Натурализм вел к правде и уводил от Правды. К миру объективности, обезчелоченной природе самим по себе, отделенным от человеческих интересов и устремлений, не применимы понятия добра и зла, нравственного и безнравственного. Попытки правду искусства отождествить с бесстрастной научной истиной, которые принимаются обычно с самыми благими намерениями, лишают искусство смысла, ибо назначение его, его сила именно в передаче отношения к миру, в оценке жизни с позиций «хорошо — плохо», «нравственно — безнравственно», «прекрасно — безобразно». Иными словами, цель искусства прямо противоположна той, что декларировал Э. Золя — быть не беспристрастным, а именно пристрастным, тенденциозным. Поэтому-то искусство относится не к сфере науки, а к сфере идеологии. Наличие правды в нем определяется вовсе не похожестью форм, событий, характеров людей в жизни и в произведении, а высотой нравственных, эстетических, социальных позиций и идеалов автора, с которой ведется оценка этих характеров и событий (сравнение практически возможно лишь при допущении равного таланта сравниваемых авторов), соответствием идей произведения высшим интересам человечества.

Вот почему мы говорим, что коммунистическая партийность, выражающаяся, разумеется, не в декларировании коммунистических лозунгов, а в страстной нацеленности на построение общества, где народ — хозяин, где царят свобода, равенство, справедливость и созидательный труд, в страстной непримиримости ко всему, что мешает такое общество построить, не только не противоречит правдивости искусства, а, наоборот, способствует ей. Достигнуть такой пристрастности, ведущей к правде, не легко. Надо не

только овладеть всеми знаниями, всей культурой, которые накопило человечество, но и загореться всеми лучшими идеалами, которые выработало человечество.

Короче говоря, правда — критерий не столь простой и однозначный. Для постижения ее нужно опираться на другие критерии, тоже очень многоплановые и серьезные, такие, как партийность, народность. Не случайно С. Герасимов, говоря о правде, вспоминает пушкинские слова о «мнении народном». Он говорит: «Здесь и лежит глубинный критерий в оценке истины и лжи, добра и зла». О том же пишет В. Шукшин: «Народ всегда знает правду».

Но как выяснить «мнение народное» касательно данного, конкретного произведения, выяснить сейчас, сегодня? Тот же В. Шукшин гут же пишет, например, такое: «Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще отношения «интимные» — письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и т. п. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно! Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда шумно), бывает, ссорится с женой... В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора умиленный и ляжет спать со спокойной душой».

Не нужно забывать, что, при всех поистине огромных завоеваниях культурной революции в нашей стране, многие из читателей и зрителей, достигнув грамотности, от овладения всеми богатствами культуры, которые накопило человечество, еще достаточно далеки.

Переход от темноты и безграмотности народа к подлинно высокой культуре дается нам нелегко. Другое дело, что наше общество заинтересовано в быстрейшем росте культуры народа. Спрос на дешевые детективы в библиотеках, паломничество зрителей на всякого рода «Тарзанов», «Черные тюльпаны», «Королев Шантэклера» и «Анжелик», широкая сенсационность, которую приобретают поделки «тлятворных» авторов, письма, о которых говорит В. Шукшин, достаточно красноречиво предостерегают нас от легкомысленной беспечности.

В статье Натальи Ильиной «Демоническая сила», в частности, рассказывается о массе читательских писем, пришедших в журнал, который опубликовал репродукцию с поэтической картины «Солнце, воздух и вода». У реки — три юные девушки. Голье!!!

«Что это вы опубликовали в своем журнале? — гневно вопрошали читатели. — Страницу разврата, разнузданности и бескультурья, да?.. Вот откуда берутся у молодежи своволие, разнузданность и похабность!.. Позор!!! За такие вещи милиция штрафует!» Одна из читательниц, ни разу не «осквернившая» себя посещением картинной галереи, выразив возмущение, дала указание, что должно рисовать художнику: «Он не мог нарисовать комсомольскую стройку? Стремление молодежи к уборке урожая? Новое в искусстве, в технике и многое другое, что можно популяризировать среди молодежи?» Один из читателей настаивает на том, чтобы редакция заменила «опстракционную иллюстрацию настоящими художественными картинами».

За «мнением народным» все мы обязаны пристально следить, учитывать его, слушаться его, но надо и руководить им. Связь тут глубоко диалектическая.

Художественное творчество — дело очень ответственное. Именно потому, что от него прямо зависят интересы народа. Нечего художнику сказать людям, не уверен он сам, лично, глубоко в том, что говорит, — не стоит ему браться ни за перо, ни за резец. Нет у него права прикрываться чьим-либо авторитетом — гения или даже народа. Он сам в ответе за все, что творит. Вполне резонно пишет в связи с этим Ия Саввина: «Если ты художник, то берись за то, что волнует тебя, что тебе необходимо сказать, если, не сказав этого, ты погибашь. И это твоё станет нужным людям».

Здесь мы видим, как народность искусства (объективное выражение интересов народа, служение этим интересам) неразрывно смыкается с партийностью — идейной пристрастностью художника, его личными мечтами, устремлениями, симпатиями, антипатиями.

Выдвигается в сборнике и более частный, более конкретный критерий «хорошего искусства». Я говорю о жизнерадостности, жизнеутверждающей направленности, оптимизме.

«Истинный же ум, менее всего склонный брезгливо или испуганно отворачиваться от несовершенств окружающего мира, обладает потребностью и способностью обнаруживать за внешним действительное, сущее, жизнеутверждающее. Именно это свойство лежит в основе всех открытий и постижений и являет собою самую сущность нравственного» (Сергей Герасимов).

В статье В. Перлина «Зачем нам прошлое?» как одно из главных эстетических достояний русской иконы XIV—XVII веков называются черты жизнерадостности и жизнеутверждения, «преобладание мажорного начала». «В ней не встретишь сугубо мрачных сюжетов из Священного писания, и даже плач над телом Христа воспринимается здесь скорее торжественно, чем безнадежно»...

В принципе, конечно, оптимизм и жизнерадостность — качества очень хорошие, и мы вправе их требовать от искусства. В целом. Но очень рискованно требования к целому распространять на каждую его частицу в отдельности. Если мы начнем со всей строгостью применять критерий жизнерадостности, то «Король Лир», «Гамлет», «Мертвые души», «История города Глупова», Шестая симфония Чайковского, «Преступление и наказание» и десятки других шедевров окажутся безнравственнее иного бодряческого шлягера.

Даже у примитивного барабана в репертуаре, кроме боевых маршей, имеется трагическое стаккато тревоги. Все человеческие эмоции состоят на службе у общества. И тоска (Есенин не случайно назвал ее «мятежной»), и горе, и гнев, и грусть — тоже. Известно ведь, кто постоянно ясен.

Большинство тех критиков и читателей, которые осуждали «Белый пароход» Ч. Айтматова, исходили именно из критерия жизнерадостности. Действительно, и порок в повести не наказан, и читателю не дано наставление, как именно надо бороться с такими людьми, как Орозкул. Иные критики и читатели смотрят на художественное творчество как на некое магическое шаманство: воткни в сердце нарисованному врагу стрелу — и он умрет на самом деле! Но у искусства совсем другая задача — вызвать к явлениям жизни нужное отношение.

Воспитательное его воздействие зависит не от поучений и заклинаний, а от силы и направленности эмоциональных оценок. Обломов в романе Гончарова так и умирает на своем засаленном диване, не обратившись «для назидательности» в Штольца. И от этого только сильнее наше желание не походить на него.

Орозулов надо ненавидеть. Непримиимо, страстно. Вот что надо! Инструкций борьбы с ними на все случаи жизни составить нельзя, каждый должен бороться с ними, исходя из своих собственных возможностей и конкретной обстановки. Наказать его в повести — значит, снять наполовину к нему ненависть, усыпить бдительность читателей, внушить иллюзию, что кто-то без них самих обязательно призовет его к ответу. Гибель мальчика переживается тяжело, но без нее мы не узнали бы по-настоящему, что такое Орозкул, как к нему надо относиться. А это главное. Оптимизм же, опирающийся на непонимание меры опасности, ни к чему хорошему привести не может.

Здесь мы имеем дело с критериями не формальными, а сущностными, не частными, а всеобщими. «Сущностное», «всеобщее»... В эстетике любят такие термины, они настолько широки и смутны, что хотя, употребляя их, скажешь очень мало, зато не ошибешься. Вот еще один из данной серии терминов — «человеческое». Авторы сборника его употребляют активно. Л. Аннинский подчеркивает, что если из категорий изъять «человеческое содержание, с категориями можно делать что угодно».

«Есть... человеческое отношение человека к другому человеку и к природе — есть и истина, и красота, и добро... Человек — и в самом себе и в другом — есть тот самый «высший предмет для человека», который как раз и выражает себя в этих разных ипостасях — и в науке, и в искусстве, и в нравственности», — пишет Э. Ильенков. Но что такое «человеческое», которое, «самопознаваясь» нами в трех ипостасях, порождает и красоту, и добро, и истину? Ответа автор не дает. Видимо, это нечто настолько возвышенное, что подвергать его хладному анализу — святотатство. Одно очевидно: челове-

ское — субстанция крайне положительная. В старину было иначе: человеческое складывалось из Божественного и Дьявольского. Ныне такой дуализм ликвидирован за счет Дьявола. Почему допускается такая дискриминация, непонятно. Подлость, предательство, подхалимство, садизм, карьеризм и т. д. у животных пока не обнаружены. Грустно сознавать, но это все абсолютно человеческие черты. «Человек — это звучит гордо!» — сказал Горький. И он был прав. «Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо», — сказал вольноопределяющий Марек, друг бессмертного Иозефа Швейка. Увы, он тоже прав.

Я понимаю, что нарушаю правила игры. В трудах по эстетике принято только восхищаться человеком, даже трагическое содержит там лишь сладкий катарсис. Характеризуя человеческое, «положено» вспоминать Гомера, Фидию, Прометея, Венеру, Джордано Бруно, Пушкина, а не Лойолу, Дантеса, Чингисхана, Геббельса. Гордый Прометей добывал огонь для людей. Коршуны — только поэтическое обобщение. Печень Прометею терзали люди. И Джордано Бруно на огне, добытом Прометеем, сжигали тоже люди.

Пытаться понять Красоту, Добро, Истину через Человеческое не стоит: во-первых, сотрется разница между этими понятиями (а задача, как мне представляется, сводится как раз к тому, чтобы эту разницу уловить!), во-вторых, сотрется разница между красотой и безобразием, добром и злом, истиной и ложью, поскольку все это в равной мере человеческое. А такое «стирание» уж совсем ни к чему.

Конечно, все термины условны. Можно договориться под человеческим понимать только положительные величины, только то, что идет на пользу всем вместе и каждому в отдельности. Но возникает вопрос: не назвать ли нам кошку кошкой? Если мы имеем в виду только положительные человеческие качества, а не все человеческие качества, то почему не вести об этом разговор прямо, у каждого из качеств ведь есть свое название?

В статье И. Матковской, например, заходит речь о гуманизме как о «высшем критерии общественного и культурного прогресса» (определение Н. Конрада) и обязательном отличительном признаке настоящего искусства. Это уже серьезный разговор. Гуманизм — действительно одна из главнейших нравственных категорий. Негуманистическое искусство нравственным считаться не может. И требование это не преходяще, оно справедливо для всех эпох, всех формаций.

Но... мало ли в том же буржуазном «массовом искусстве» всякого рода сладких акварелей, нравоучительных рассказов, сентиментальных песенок и идиллических постановок, которые принципам гуманности не противоречат, но удрочают своей пошлостью и бездарностью! Гуманизм — признак обязательный, но недостаточный. Гораздо убедительнее бездушному формалистическому модерну и «массовому искусству» с его пошлостью, рационализмом и утилитаризмом противопоставить содержательное духовное искусство.

Эта альтернатива наиболее прямо и четко сформулирована в статье Л. Аннинского «Тепрога mutantur». На примере фильмов «Дневные звезды» И. Таланкина, «Мне 20 лет» и «Июльский дождь» Марлена Хуциева, «Обыкновенный фашизм» М. Ромма Аннинский показывает, как наше современное искусство занимается разработкой духовного сознания. Не состояния, как то было в середине десятилетия, а именно развитого духовного сознания, в его разветвленности, в его интеллектуальной самооценке, в его высокой рефлексии. Делает это Аннинский достаточно глубоко, интересно, убедительно.

Образ поэтессы (Ольги Берггольц) выступает в фильме «Дневные звезды» как воплощение духовности, здесь можно на примере раскрыть требование духовности, предъявляемое нами к искусству вообще. Быть духовным, утверждает Л. Аннинский, быть открытым для всех крупных проблем века, болеть всеми болями своей страны и человечества, радоваться всем их радостям, не трусить, не прятаться от противоречий, не шадить себя, не лицемерить, быть гордым, быть за все в ответе: за прошлое, настоящее и будущее.

У других авторов сборника требование духовности прямо хотя и не звучит, но очень часто смысл пожеланий и поисков, в общем-то, сводится именно к нему. Это относится и к статье И. Моисеева, разъясняющего, сколь серьезные вещи скрываются за

бытовым танцем, как он может облагораживать, украшать жизнь, сближать духовно или, наоборот, пробуждать низкие инстинкты, унижать людей, отгораживать друг от друга. Это относится и к статье В. Перлина «Зачем нам прошлое?», где речь идет о русских иконописцах XIV—XVII веков, их идеалах, духовных исканиях, ошибках и успехах.

Это относится и к статье С. Виноградовой, название которой само говорит за себя — «Музыка и человек», — и к статьям В. Шукшина и Н. Ильиной, о которых мы уже говорили, и особенно к статье Ии Саввиной «Для шестого чувства», статье очень темпераментной, непримиримой ко всякой пошлости, умозрительности и бескрылости в искусстве.

Духовность... Только что в этой статье отвергались смутные, расплывчатые термины, а чем этот лучше? Все ли понимают духовность так, как Ольга Берггольд, и нужно ли, чтобы все его понимали именно так? Спору нет, духовность — критерий не легкий, ни в градусах, ни в процентах его не выразишь. Но сдается мне, что четкого, универсального, объективного (в смысле независимого от наших субъективных реакций) критерия для оценки произведений искусства и быть не может. Мечта о таком критерии, освобождающем от необходимости самому думать, чувствовать, понимать, иметь вкус и уметь его отстаивать, — одно из типичных проявлений именно буржуазной «массовой культуры». Духовность способен воспринять только духовный человек.

Чтобы оценить произведение искусства, нужно уметь оценивать очень многое. Прежде всего смысл его, идею, содержание. Впрочем, это неотрывно от умения оценить художественность, выразительность формы. Выразительность, а не изощренность — иными словами, способность формы быть содержательной, выражать идеи, мысли, чувства.

В «Опытах» Монтеня пересказывается предание, согласно которому к Александру Македонскому как-то привели искусника, научившегося так ловко метать рукой просяное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки. Когда Македонского попросили вознаградить столь редкое искусство, он приказал выдать искуснику двести меры пшена, «чтобы он мог сколько угодно упражняться в своем прекрасном искусстве». Думается, что в данном случае цена «искусству» назначена верная. Тот, кто судит искусство, должен уметь оценить и значимость объекта, смысл проблем, поднимаемых художником.

Не менее важно, чем что, как, в искусстве и во имя чего. Направленность идеалов автора, качество этих идеалов, мера гуманизма — все это прямо предопределяет, каким будет его произведение — нравственным или безнравственным.

И все эти компоненты нужно рассматривать в каждом конкретном случае заново, пропустив через свой духовный мир всякую мельчайшую деталь. И каждый раз заново нужно определять, художественное перед нами произведение или нет, правдивое или лживое, талантливое или бездарное, доброе или злое, нравственное или безнравственное... И всегда это придется делать по-разному, приходя к выводам только по совокупности всех особенностей. И ничего тут не поделаешь, ничего не упустить.

Несколько слов о памфлетном материале П. Палиевского, стоящем особняком. Называется он «К понятию гения», но речь в нем идет о псевдогениях, о тех, кто умеет заставить мир поверить, что они гении и что им «все можно». Пока рассуждения строятся на примере Хлебникова, стрелы автора летят, в общем-то, в цель, ирония выглядит достаточно оправданной, блеск авторского стиля ослепляет не настолько, чтобы глаза переставали различать сущность обсуждаемой проблемы. Но затем П. Палиевский переходит к обобщениям, перечисляет признаки, характеризующие такого гения в кавычках. Думается, что псевдогения от гения отличить можно, только сопоставляя подлинную значительность содержания его произведений с тем, как она оценивается им и его читателями. Автора статьи такой гуть почему-то не устроил. Он учит разоблачать псевдогениев значительно проще. Какие же приметы он перечисляет? Такие, например. «Гений» одержим, он косит умом, страдает и остается непонятым, терзая окружающих своей гениальностью, громко заявляя о ней на весь мир. Вторая примета — тяга к «открытию новых изобразительных средств». Третья — умение включиться мимоходом в список великих имен вроде: «Все великие новаторы музыкальной мысли, подобные Берлиозу, Вагнеру, Мусоргскому и Шонбергу...» — или: «В наше время проводники пошло-

сти уже не решаются открыто выступить против искусства Гольбейна и Рубенса, Рафаэля и Пикассо... Четвертая — создание легенды о преследованиях, травле и так далее.

Возникает вопрос: не пора ли нам поднять вновь улюлюканье против того же Маяковского. Если судить только по предложенным приметам, то это надо делать: поэт экстравагантничал, шумел о своей гениальности, любил изобретать «новые средства изобразительности», в списки с великими «мимоходом» себя включал и плюс ко всему (какой стыд!) подвергался травле, страдал... Все сходится точно.

Памфлет, при всех иронических талантах автора, не удался. Из-за уклонения от разговора о с о д е р ж а н и и гениальности не очень ясно, в какую именно мишень направлен выстрел автора. Начинаешь читать статью с удовольствием, заканчиваешь с каким-то неприятным осадком на душе.

Такого рода «накладки» достаточно расхолаживают, но в целом все-таки сборник удался. Уже хотя бы потому, что он дает повод всерьез поговорить о важнейших проблемах жизни и искусства, таких, как модернизм и реализм, природа буржуазной «массовой культуры», как критерии настоящего искусства.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

Академик Н. КОНРАД

★

ОКТАБРЬ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Крупнейший советский ученый-востоковед, автор журнала «Новый мир», академик Н. И. Конрад был в числе тех, на кого редакция рассчитывала в первую очередь, вводя свою предсезонскую рубрику «Наука о литературе сегодня». Скоропостижная смерть оборвала наши переговоры. И тем не менее имя Н. И. Конрада закономерно появилось ныне под этой рубрикой. Одна из последних работ ученого — «Октябрь и филологические науки» — еще не стала достоянием широкого читателя. Раскрывая в ней свое понимание истории советской литературоведческой мысли, академик Конрад намечает и ее сегодняшние задачи.

Это позволяет нам включить работу, ее литературоведческую часть, в круг статей, обсуждающих эти задачи с самых разных точек зрения и отражающих взгляды, порой отнюдь не бесспорные (это можно сказать и о данной конкретной статье), однако по-своему интересные, дающие пищу для творческих раздумий.

Для начальной фазы октябрьской истории нашей страны наиболее характерным и вполне естественным явлением была ломка старого общественного строя — борьба со «старым режимом», как тогда говорили, воскресив выражение французской революции и тем показав, что понятие «старый», как, впрочем, и «новый», так же исторично, как и все.

Пафос борьбы захватил и науки, в первую очередь, разумеется, науки общественные. Исходным пунктом было убеждение, что концепции, господствовавшие тогда во всех областях обществоведения, — буржуазные, то есть отражают классовые позиции буржуазии, ее мировоззрение; поскольку же буржуазия была классом враждебным, постольку чуть ли не все, что ею было в этих областях создано, для класса, который восстал против нее, казалось неприемлемым. В связи с этим была поставлена задача в противовес одной классовой науке — буржуазной — создать другую, классовую же науку — пролетарскую. Соответственно этому в литературоведении была провозглашена концепция «литературы пролетарской».

О пролетарской литературе заговорили тогда чуть ли не все представители еще

дореволюционного социологического направления литературоведческой мысли, в том числе А. В. Луначарский, В. М. Фриче, П. С. Коган, М. С. Ольминский, В. Л. Львов-Рогачевский. Все же главную роль в разработке этой концепции сыграли представители более молодого тогда поколения, особенно В. Ф. Плетнев и Л. Л. Авербах. Последний некоторое время даже был как бы главным теоретиком этого движения.

Исходным пунктом их концепции служило убеждение, что литература есть всего лишь одна из форм идеологии, идеология же всегда классовая, а так как пролетариат создает свою классовую идеологию, он создает и свою классовую литературу. Идеология пролетариата революционна, антибуржуазна, устремлена на социализм, те же признаки должна иметь и его литература, причем они должны находить свое выражение не только в теме литературного произведения, в его содержании, но и в его форме, самих приемах творчества: считалось, что во всех сферах пролетарская литература призвана выдвинуть принципиально новое, должна раскрыть художественную ценность в том, что в буржуазной литературе считается внелитературным, нехудожественным. Центром пропаганды таких взглядов стала РАПП —

Российская ассоциация пролетарских писателей, объединение писателей, критиков и литературоведов.

Это движение сыграло очень большую роль. Началось оно в сфере русской литературы, но быстро перекинулось и в литературные круги других народов нашей страны, особенно тех, которые обладали большой и давней литературой. Так, свои Ассоциации пролетарских писателей или близкие им по характеру организации появились на Украине, в Грузии, в Армении. Более того, идеи пролетарской литературы перешагнули рубеж нашей страны: о пролетарской литературе заговорили в Германии, Японии и в некоторых других странах; и не только заговорили: ее стали создавать. Словом, тогда это было чрезвычайно активное, воинствующее направление литературоведческой мысли, сильное своей целеустремленностью, прямолинейностью, непримиримостью, даже своей лапидарностью.

Но идти только по этому пути революционная литературоведческая мысль не могла. Идеологи пролетарской литературы имели в виду литературу, которая создавалась революцией или, во всяком случае, должна была, как они считали, создаваться. Но вокруг продолжала жить — и полной жизнью — вся прежняя литература. Государственная власть, то есть правительство пролетарской диктатуры, продолжала не только издавать произведения корифеев прежней русской литературы, но издавать их целыми собраниями сочинений, и притом в гораздо больших, чем в старой России, тиражах. К тому же эти произведения были обычно тщательно подготовлены компетентными литературоведами, знатоками предмета.

В обстановке революционных настроений потребовалось установить какое-то новое, свое отношение ко всей этой литературе. И это было сделано: был найден критерий, дающий, по мнению литературоведов социологической школы, возможность безошибочно судить не только о природе, существе, но и о ценности любого литературного произведения. Критерий этот состоял в концепции классовости литературы вообще.

Сама по себе эта концепция была не нова: она присутствовала в работах многих прежних представителей социологической школы, например, у такого авторитета дореволюционного марксистского общественно-научного деятеля, как Г. В. Плеханов. И продолжали разрабатывать эту концепцию после революции главным образом они же; в их числе осо-

бенно В. М. Фриче, В. А. Келтуяла, П. Н. Сакулин и В. Ф. Переверзев. Последний с конца двадцатых годов даже стал вождем всего этого направления.

Отправным пунктом суждений этой группы литературоведов было представление о литературе просто как об особой форме идеологии, то есть положенis, из которого исходили и теоретики пролетарской литературы. Из этого представления, естественно, вытекало положение о классовой природе всякого литературного явления, а это для них означало, что все в литературном произведении — не только содержание, но и форма, приемы, само строение фразы — определяется классовой принадлежностью его автора. Поскольку же писатель сознательно или бессознательно всегда в своем творчестве выражает общие позиции своего класса, постольку в его произведении надлежит искать в художественном преображении те же социально-экономические и политические категории, которые действуют в идеологической системе его класса. Таким образом, ключ к произведению писателя — его «классовая психонидеология». На этой основе раскрывается и связь литературы с классовой борьбой.

Даже из такого краткого изложения можно усмотреть, что каких-либо принципиальных различий в общетеоретических позициях этой группы литературоведов и группы «рапповцев», как именовали адептов пролетарской литературы, не было. В. Ф. Переверзев и его единомышленники только распространили идею классовости литературы на всю литературу как таковую и разработали ее на материале дореволюционной русской литературы, главным образом на творчестве Гоголя, Достоевского и Гончарова.

Значение этого направления литературоведческой мысли для своего времени было велико. Оно выводило литературоведение из орбиты двух наиболее влиятельных тогда и давших действительно многое для литературоведения школ — культурно-исторической и психологической. И сделать это было необходимо: культурно-историческая школа, с полным основанием вводя литературу в сферу культуры, в то же время растворяла литературное явление в общей массе культуры, то есть оставляла в стороне его глубокую специфичность; психологическая же школа, правильно соединяя само творчество с личностью автора, в то же время стремилась объяснить душевным миром писателя все в его произведении. При всех своих в даль-

нейшем хорошо вскрытых ошибках, рассматриваемое направление литературоведческой мысли возвращало литературу в мир социальных явлений с гораздо большей, чем раньше, конкретностью.

Рядом с этим социологическим комплексом литературоведческой мысли тогда же образовался другой, ему противоположный. Он получил название «формализма». Его представители возражали против такого ярлыка, и они в известном смысле были правы, но в историю нашего литературоведения эта линия литературоведческой мысли все же вошла под таким наименованием.

Комплекс взглядов, охватываемый обозначением «формализм», также стал складываться еще раньше, но свое развитие, бесспорно, получил после революции и в известной мере благодаря ей: в связи с тем, что революционный переворот открыл неограниченную свободу всяким течениям и направлениям общественной мысли, если только они не были прямо связаны с ниспровергнутым политическим режимом и не выступали его апологетами. Лагерь «формалистов» образовали представители поколения, выросшего еще в обстановке последних дореволюционных лет, но в пору своей творческой активности вступившего в годы революционных событий. Это была высокообразованная, научно активная молодежь, вышедшая из демократических, но не революционных слоев старой русской интеллигенции. Наибольшую деятельность среди них в разное время проявили В. Шкловский, О. Брик, Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов и другие.

Исходные позиции этой группы исследователей по-своему также входили в революционную атмосферу тех лет. «Формалисты», как и представители социологической школы тех лет, отвергали существовавшую в их время литературную науку, во всяком случае в ее господствующих направлениях. Их критике более всего подверглись те же две литературоведческие школы — культурно-историческая и психологическая. Вместе с тем поскольку социологическое направление литературоведческой мысли представлялось им, в сущности, лишь несколько измененным, так сказать, «подправленным» вариантом культурно-исторической школы, постольку их критика была направлена и на социологическую школу — как в ее старом, дореволюционном облике, так и в послеоктябрьском.

В основе их критического отношения к этим школам лежала мысль, что литерату-

ра — явление глубоко специфическое, несводимое непосредственно ни к идеологии, ни к психологии. Они полагали, что литература есть именно литература и ничто другое, отсюда изучению в ней подлежит то, что делает литературу литературой, то есть ее как бы онтологическая специфика, «литературность», как выразился один из представителей этой группы.

Такой ход мыслей привел литературоведов этого направления к языку, то есть к самому «веществу» литературного произведения. Слово, как им казалось, становится материалом для художественного произведения, так же как в других областях камень, дерево, краска, звук, и на тех же основаниях: когда к этим видам «вещества» прикасается искусство. Литературоведение и заключается в раскрытии искусства слова. Именно это в литературном произведении, как они считали, и принадлежит литературе. В нем есть, конечно, и другое — содержание, тема, идеи, но в их представлении все это подлежало ведению литературоведов только в своем преобразении в «литературу». Хорошим выражением этой мысли служит разработанная ими концепция о фабуле как о содержании, взятом само по себе, и о сюжете, о том же содержании, превратившемся в элемент литературного произведения.

Как было сказано, представители этого направления вошли в историю послеоктябрьской литературной науки под именем «формалистов». В дальнейшем свое наименование получили и их теоретические противники — представители вышеописанного социологического направления: тех стали называть «вульгарными социологами». Сейчас мы ясно видим, что эти наименования родились в пылу полемики и звучали тогда не столько определением действительного существа того и другого направлений, сколько обвинением. При этом в основу обвинения клалось не все, что содержалось в этих двух течениях литературоведческой мысли, а то, что было в них либо прямой ошибкой, либо крайностью. Сейчас же мы должны признать, что обе эти школы первых двух десятилетий нашего послеоктябрьского литературоведения как сами по себе, так и в своей полемике сыграли большую и важную роль в годы всесторонней ломки всего, что одними считалось принадлежностью «старого режима», «классово-враждебным», другими — просто устаревшим или явно недостаточным. Оставаться на позициях этих двух школ далее было нельзя, но

пройти через этот этап оказалось нужным: в этих двух направлениях научной мысли наше литературоведение вступило на новый путь. Это не означало, что оно сразу же создало нечто такое, что обеспечивало прямое и бесперебойное движение вперед, но на первых порах не в этом состояла главная задача: надо было оттолкнуться от прошлого. Каждое из двух описанных направлений сделало это по-своему, а то, что они сделали, помогало нашему литературоведению расчищать почву для будущих посевов литературоведческой мысли, да и готовить сами семена. И действительно, второй этап наступил; его требовала сама революция в своем дальнейшем развитии.

* * *

Мысль о необходимости разрыва с прошлым в искусстве как с чем-то классово-враждебным, в своей первозданной чистоте или — если угодно — «вульгарности» могла держаться лишь на первой стадии нашей революционной истории — в разгар борьбы, в пору безудержного порыва ломать и крушить все старое. При этом часто не делалось, а в то время и не всегда могло делаться, несмотря на все предостережения вождей революции, и прежде всего самого Ленина, различия между старым устаревшим и старым только по времени своего рождения, то есть не только не изжившим себя, но и нужным и для нового общества, но и способным к дальнейшей активной жизни. С упрочением же нового общественного строя неотвратимо встала задача уже чисто конструктивная; надо было возводить здание не только нового общественно-экономического строя, но и соответствующей ему системы культуры. И тут именно и выступил во всей своей силе закон исторической преемственности, гласивший: построить его в полном отрыве от старого невозможно.

Это положение у нас нашло свое выражение в выдвинутой тогда формуле — «критическое усвоение культурного наследия». В сфере русской литературы это сводилось к установлению определенных связей между старой литературой, ближайшим образом — литературой XIX века, и литературой, создающейся в условиях строящегося социализма. Была найдена линия, которая определенным образом эти две литературы соединила, — линия революционности.

Линия эта не была ни непрерывной, ни прямой, но она, на время затухая, возоб-

новлялась, и каждый раз по-новому. Три раза она проявлялась с особой ясностью: в первый раз в связи с движением декабристов, во второй раз — с деятельностью революционных демократов, в третий — пролетарских революционеров Явления в литературе, выражавшие идеи и общественные настроения этих трех моментов, и были тогда признаны тем, что связывало старую русскую литературу с новой.

Чрезвычайно интенсивно и в разных направлениях пошедшая по этому пути научно-исследовательская работа показала плодотворность открытия этой соединяющей линии. Появилось множество работ, во многом по-новому осмысливавших общий ход истории русской литературы XVIII—XIX веков, ее различные течения, творчество отдельных писателей и отдельные произведения. Сейчас мы видим, что был, в сущности, произведен полный пересмотр всего материала и создана действительно новая научная литература, не только обогатившая наше знание старой русской литературы, но и во многом, и притом существенно, изменившая наши прежние представления о ней. В частности, в полном свете предстало величие русской литературы XIX века в общей системе европейских литератур этого времени. Всем этим мы обязаны многочисленному отряду историков русской литературы, таких, как, например, С. Д. Балухатый, В. Г. Базанов, А. И. Белецкий, П. Н. Берков, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Б. И. Бурсов, А. С. Бушмин, Г. А. Бялый, В. В. Виноградов, Б. П. Городецкий, Н. К. Гудзий, Г. А. Гуковский, В. А. Десницкий, В. В. Ерилов, Б. С. Мейлах, Ю. Г. Оксман, В. Н. Орлов, Н. К. Пиксанов, Н. Л. Степанов, А. Н. Соколов, У. Р. Фохт, М. Б. Храпченко, А. Г. Цейтлин и многие другие — все очень разные как исследователи и по своим темам, и по своим приемам, но делавшие большое и нужное общее дело. Их работа в целом продолжает упомянутую выше линию социологического литературоведения, но уже на гораздо более высоком уровне.

Углубленное изучение русской литературы XVIII и XIX веков, пронизанное стремлением установить известную преемственность старого и нового, открыло исследователям всю неправомочность прямолинейного классового подхода к литературному произведению, к творчеству писателя — стремления определить эту классовость через прямое соотнесение элементов литературного произ-

ведения с категориями социально-экономическими и политическими. Именно главным образом эти принципы исследования и были справедливо названы вульгарно-социологическими. Вместе с тем была понята другая ошибка прежних исследователей: сведение всего в творчестве писателя к одной классовости, превращенной таким образом в какую-то абсолютную категорию, исключающую и поглощающую все прочее. Было понято, что писатель большого масштаба и высокого уровня принадлежит не только своему классу, но и своему народу, выражая тенденции общества своего времени в целом: поскольку же такое общество есть историческая реальность, столь же реальны и черты общности в нем. Поэтому писатель может выражать и эти черты, и часто именно они и оказываются наиболее важными в его творчестве. Так был проложен путь к разрешению вопроса о «культурном наследии» в области литературы и предотвращена опасность впадения в нигилистическое отношение к ценностям, созданным творческим гением человечества, то есть опасность культурного одичания.

Таков был большой и нужный урок, который дала нашим литературоведам великая русская литература XIX века. Свой урок, не менее важный, дала им и литература других народов нашей страны.

Как только это позволила общая обстановка, у нас стало широко развлекаться изучение литератур этих народов. При этом перед исследователями предстал один очень определенный факт: слабое развитие или даже полное отсутствие у некоторых из этих народов литературы, характерной для буржуазного века, и удивительная жизнеспособность литературы, типичной для феодальных и даже иногда дофеодальных времен, — литературы, созданной либо непосредственно в те эпохи, либо в новое время, но по прежним канонам. Если у грузин и армян была своя «литература XIX века», то у наших иранских народностей, а также у тюрков, может быть, за исключением азербайджанцев и отчасти казанских татар, все же на первом месте по своему значению для народных масс находилась литература старая — мифологический, героический эпос, рыцарская поэма, средневековые виды и формы лирической поэзии. Было ясно при этом, что народ продолжает любить такие произведения и даже пользоваться их формами и приемами в своем современном творчестве, особенно — поэтическом. А так

как эти народы как члены революционного содружества шли уже по социалистическому пути, выходило, что все эти «средневековые», «феодальные» виды литературы могли сохранять свое значение и для эпохи «пролетарской литературы», за которую так ревностно ратовали деятели социологической школы времен РАПП и продолжавшие разделять их взгляды некоторые литературоведы даже намечавшегося второго этапа нашей науки.

Факт жизнеспособности старых видов литературы сейчас нам понятен. Он стал понятным, потому что наши историки увидели, что закон последовательной смены социально-исторических формаций действителен для исторического процесса во всемирном масштабе и отнюдь не обязателен для истории каждого народа или даже группы народов, — что при известных условиях вполне возможно какую-либо ступень по лестнице перешагнуть. Поэтому ничего не было удивительного в том, что некоторые восточные народы нашей страны, вошедшие в свое время в состав Российской империи — государства капиталистического, сами находясь тогда еще на стадии феодализма, в условиях режима этой империи задержались на этой стадии; своей буржуазно-капиталистической эпохи у них не получилось; не могла, следовательно, появиться и литература, характерная для такой эпохи. Лишь отдельные представители этих народов, получившие образование в России и воспитанные в лучших традициях передовой части русского общества, пробовали создавать произведения, воспроизводящие на их национальном материале то, что они находили в русской литературе XIX века. Эти просветители, как их называли, сыграли важную роль в идейном и культурном воспитании своих народов, но вытеснить из народного литературного обихода старую «феодальную» литературу, заменив ее новой, не были в силах.

Факт наличия в обстановке строящегося социализма в литературном обиходе таких народов нашей страны старой литературы вызвал бурную реакцию литературоведов рапповского образа мыслей. Поскольку исходной позицией их было огрубленное представление о классовости всякой литературы, а в связи с этим и представление о «классово-враждебном», постольку первое, что стали делать литературоведы этого толка, это бороться с «феодально-байским» наследием в литературе. В замечательном

эпосе казахов, киргизов, узбеков и других восточных народов стали искать «феодално-байские» элементы и в случае их обнаружения отвергать соответствующие произведения полностью или частично, а так как в произведениях, созданных в условиях феодальных отношений, не могли не присутствовать в том или ином преломлении такие элементы, под угрозой остракизма оказалась значительная часть литературного наследия — чуть ли не все выдающиеся памятники, особенно эпические.

Такое положение заставило более вдумчивых литературоведов искать выхода — пути, на котором можно было сохранить для народа их литературное богатство. Такой путь был найден: его открыла концепция «народности», выдвинутая тогда этими исследователями и выявленная ими на протяжении всего многовекового существования литературы в творчестве наиболее выдающихся ее представителей. Под этим понимали то в литературном произведении, что считалось соответствующим историческому облику данного народа на той или иной стадии его исторической жизни...

Обращение к такой концепции было совершенно необходимым шагом вперед по сравнению с первоначальной ориентацией исключительно на одну классовость. Концепция народности выводила мысль исследователей из узкого круга примет, признаков, присущих одному классу; заставляла учитывать связи данного класса с другими, в которых и протекало существование этого класса, разворачивалась его историческая активность. Она создавала возможность видеть эти связи и в творчестве, даже более — известную общность творчества. Уже этим был открыт более широкий путь к пониманию действительной природы памятников прошлой литературы и их ценности.

Следующий столь же необходимый шаг вперед был сделан на основе концепции «классического».

Понятие «классического» в искусстве и литературе также давнего происхождения, и понималось оно в разное время по-разному. В настоящем случае «классическое» стали видеть в художественной полноценности произведения литературы и искусства, полноценности, придающей этому произведению самодовлеющее значение. Такое толкование не только выводило значение художественного произведения за рамки класса, в котором оно было непосредственно создано, но и за рамки общества своего времени и даже

больше — самого данного исторического времени.

Признание категории «классического» в таком понимании позволило нашему литературоведению совершить поистине историческое дело: помочь народам нашей страны сохранить для себя культурные сокровища своего прошлого, в их числе — замечательные литературные произведения. На этой почве возникла даже своего рода «эпоха возрождения»: началась усиленная работа по отысканию памятников, критическому изучению их текстов, публикации их, по самому интенсивному изучению их истории, произведена огромная работа по записи произведений, бытовавших только в устной передаче. Сейчас мы с огромным удовлетворением можем сказать, что нет ни одной национальной литературы в нашей стране, выдающиеся памятники которой не были бы изданы в критических изданиях, история которых не была бы раскрыта, и не просто в плане описательном, информационном, но и критическом, аналитическом.

Вполне естественно, что работу в этом направлении повели представители литературной науки у самих этих народов. Выдающуюся роль среди них сыграли С. Айни — для иранских литератур, М. Ауэзов — для тюркских, бывшие одновременно и крупнейшими писателями, и исследователями литературы своих народов. Институт литературы Академии наук Армении справедливо носит имя Абегайна, основоположника современного армянского литературоведения. Огромную роль в создании современного грузинского литературоведения сыграл Н. Я. Марр. Вместе с тем необходимо отметить, что многие из литературоведов этих стран были учениками своих русских учителей, беззаветно и преданно трудившихся над изучением этих иноязычных для себя литератур. Среди них в первую очередь следует назвать таких ученых, как А. Белецкий, Н. Гудзий, В. Перетц (украинская литература), Е. Карский (белорусская литература), Е. Бертельс (тюркские и иранские литературы), С. Малов, А. Самойлович (тюркские литературы), в более позднее время — И. Брагинский (иранские литературы), В. Жирмунский (тюркские литературы).

Наряду с изучением литературного наследия народов нашей страны, относящихся к средневековью, усиливался интерес и к древней литературе русского народа, то есть к литературе XI—XVII веков. Стал пополняться новыми открытыми памятниками

фонд этой литературы, улучшалось наше знание уже известного материала, углублялось наше понимание значения, ценности всего этого старого достояния. Этим мы особенно обязаны работе таких исследователей старшего поколения, как В. Адрианова-Перетц, Н. Гудзий, В. Истрин, А. Орлов, В. Перетц, М. Сперанский и их ближайших преемников — И. Еремина и Д. Лихачева.

Обращение различных народов нашей страны к своему литературному наследию привело не только к одним литературным и культурным результатам; оно способствовало повышению их национального самосознания, утверждению в своей исторической самобытности. Одним из последствий Октябрьской революции, одушевленной, как нам известно, духом интернационализма, было не ослабление национального начала, а его укрепление. И это было следствием того же интернационализма, так как он, призывая к единению народов, требовал этого единения на основе полного равенства их именно как наций.

Но все же рядом с этой национальной задачей наша революция ставила задачу и создания единого сообщества всех наций нашей страны. Союз Советских Социалистических Республик не может быть выражением лишь социально-экономического, политического и идейного единства народов, его образовавших; он должен составлять единство и в плане социально-психологическом. Литература есть наиболее прямое и полное выражение идейно-психологического склада своего общества. Следовательно, развитие общества, рожденного Октябрем, требовало и создания единой литературы.

Эта задача оказалась очень сложной. И прежде всего потому, что материал, из которого надо было вылепить нечто единое, был чрезвычайно разнороден: среди литератур, призванных создать это единство, были и такие, которые имели в своем ближайшем прошлом большую, всесторонне развитую «литературу XIX века», были и такие, которые отталкивались чуть ли не прямо от эпоса и народной песенной лирики. Мы знаем, и на это специально указывал Ленин, что в экономической действительности нашей страны до революции, то есть в том, с чем революция пришлось иметь дело, существовал ряд хозяйственных укладов — от самых примитивных до самых высокоорганизованных. Если подобный критерий приложить и к литературе, окажется, что и тут была своя многоукладность. И если для

подлинного экономического единства требовалось устранить хозяйственную многоукладность, для создания литературного единства нужно было преодолеть многоукладность литературную. Именно преодолеть, а не устранить или игнорировать. Традиция в культуре вообще, в литературе в частности играет гораздо большую роль, чем в хозяйстве. Серп можно прямо заменить комбайном, перейти же прямо от эпического сказа к «роману XX века» механически невозможно. Да и нежелательно, если бы и было возможно: в духовном производстве народа нельзя терять что-либо из того, что было приобретено. Серп, как и всякое другое орудие, существует только, пока его не отменит что-либо современное. «Роман XX века» не есть что-то более ценное, чем эпический сказ; он представляет только что-то иное по ценности. Именно так и поставила вопрос наша революция, требуя не нигилистического отказа от культурного наследия, а уважения к нему, усвоения того, что в нем ценно.

И тут мы оказались перед лицом больших трудностей: перед нами предстала исключительная, вряд ли где-нибудь в другой стране наблюдаемая с такой ясностью картина многосторонности культурной и литературной традиции в нашей стране.

Культура, а в ее составе и литература народов Средней Азии исторически связана с культурой иранских и тюркских народностей средневековья, с их богатейшими литературами, в свое время стоявшими на вершинах мировой литературы вообще, а культура и литература этих народностей, в свою очередь, связана с культурой и литературой арабского мира и Индии. Так же обстоит дело с литературой Азербайджана, в истории которой сыграли свою роль еще и связи с литературами Грузии и Армении. Что же касается литератур грузинской и армянской, то они исторически связаны не только с литературами иранцев и тюрков, но и с литературами Византии и всего так называемого христианского Востока — Сирии, Ливана, в глубь же веков — с литературами эллинистического и латинского мира. Литература Украины через литературу Киевской Руси соприкасается с литературами южных славян и Византии, позднее — и с литературами западных славян; литература Белоруссии имеет в своем прошлом многосторонние связи с литературами западных славян; литература латышского и эстонского народов в прошлом была связана с лите-

ратурой своих соседей — как славянских, так и германских. Литература литовская — с литературой польской. Литература русского народа в своем прошлом через Южную и Западную Русь была связана с литературными южных и западных славян и Византии, в новое время — с литературами Центральной и Западной Европы, а с XIX века она стала оказывать самое непосредственное влияние на литературу всех народов, входивших в состав Российской империи. Стоит только представить себе эту картину, чтобы понять, каким исключительным по богатству литературным наследием обладает наша страна, и в то же время как трудна задача достойно овладеть этим богатством, поставить его на службу своему веку и на этой основе воздвигнуть здание литературы социалистического содружества народов.

Но первое, что в такой обстановке потребовалось, это хорошее знание литератур тех народов, с которыми были в то или другое историческое время связаны литературы наших народов, а это означало знание чуть ли не всей мировой литературы как в ее прошлом, так и в настоящем. Наша литературная наука поняла эту задачу и повела исключительную по размаху и воодушевленности работу по ее решению.

Следует отметить, что она была к этому достаточно подготовлена: к чести дореволюционной русской науки, она успела создать и затем передать новой России большое число ученых — специалистов по различным литературам как Запада, так и Востока. В числе их могут быть упомянуты А. Грушка, С. Жебелев, С. Радциг, С. Соболевский, И. Толстой, И. Тронский (литературы древней Греции и Рима), М. Алексеев, И. Гливенко, А. Дживелегов, А. Смирнов, В. Шишмарев (романские литературы), В. Жирмунский, М. Морозов (германские литературы), А. Крымский, И. Крачковский (арабская литература), В. Гордлевский, В. Смирнов, Е. Бертельс, А. Самойлович, С. Малов (тюркские литературы), В. Жуковский, Е. Бертельс (персидская литература), А. Баранников (литература Индии), В. Алексеев (китайская литература), Б. Владимирцов (монгольская литература)... Эти ученые сплотили вокруг себя многочисленные и в высшей степени научно активные кадры молодых специалистов, которые затем и повели чрезвычайно многостороннюю и огромную по масштабу работу. Сейчас мы с гордостью можем сказать, что вряд ли есть сколь угодно значительная литература мира, ко-

торая не была бы у нас изучена и в своей истории, и в своем современном состоянии, причем наше знание непрестанно дифференцируется и расширяется через включение все новых и новых объектов.

На основе знания истории литератур народов нашей страны и истории тех литератур других народов, с которыми наши литературы так или иначе связаны, и решалась обрисованная выше задача создания общей литературы социалистического содружества.

Путь к этому решению был как будто бы скоро найден — он нашел свое выражение в формуле: «культура, социалистическая по содержанию, национальная по форме». Эта формула была распространена и на литературу.

Внешнее удобство этой формулы не могло, однако, компенсировать ее внутреннюю слабость. Слабость эта проистекала из недостаточной определенности того, что считать содержанием, в данном случае — социалистическим, что считать формой, в данном случае — национальной.

Содержание произведения определяется его фабульным материалом и авторской трактовкой этого материала. При одном и том же материале — нашей социалистической действительности — трактовки его могут быть различны: один подход может быть у человека, принадлежащего к обществу, подошедшему к социализму в собственном историческом развитии; другой — в обществе, историей вовлеченном в общий процесс социалистического развития; а между этими двумя крайними точками пролегает множество переходов. Поэтому не социализм непосредственно, как социально-экономическая система, определяет в социалистическом обществе содержание литературного произведения, а эта система в преломлении через сознание человека социалистического общества. От этого зависит в конечном счете и форма произведения: национальная в ней определяется особенностями подхода данного народа к социализму, созданными его историей и действующими литературными традициями.

Трудность создания общности литератур народов социалистической страны на основе формулы «социалистическая по содержанию, национальная по форме», трудность, выявившаяся как в творческой практике, так и в теоретической мысли, послужила толчком для нового движения вперед. На этот раз поиски общей платформы были направлены не на те или иные определения содер-

жания и формы, а на то, что создает все элементы произведения. Такой всеопределяющий фактор стали усматривать в том, что назвали «творческим методом»; тот же метод, который, по мысли литературоведов этого направления, должен стать общим для всех национальных литератур нашей страны, определили как «социалистический реализм». В настоящее время наше литературоведение стоит на этой теоретической платформе.

Нельзя сказать, что формула «социалистический реализм» была полностью определена с самого начала. Было более или менее ясно, что «реализм» в этой первоначальной формуле означает общую ориентацию на действительность и отнюдь не может быть каким-то воспроизведением, пусть и в измененной форме, того, что мы знаем под реализмом в европейских литературах XIX века, ближайшим образом — в русской литературе этого века. Было ясно также, что «социалистический» в данном случае означает только соотнесенность творчества писателя с действительностью, характерной для социалистического общества. Все прочее определялось творческой практикой, то есть самой литературой, а ее определяли вполне конкретные процессы, развертывавшиеся в жизни нашего общества, в историческом движении нашего строя, в судьбах всего мира. Процессы же эти были столь сложными, столь бурными, что теоретическая мысль с трудом поспевала за ними, в одних случаях верно охватывая существо происходящего и вырабатывая на этой основе новые формулы, в других же случаях плохо понимая истинную природу событий и отстаивая поэтому уже явно устаревшие или вообще неверные положения. И все же поступательное движение в нашем литературоведении, несомненно, шло.

Шаг вперед был сделан, когда творческая практика, то есть сама литература, показала, что считать социалистическим реализмом просто отображение в делах людей процесса социалистического строительства, да еще чуть ли не по программным документам, значит не понимать существа литературы. Шаг вперед был сделан, когда сама литература показала, что проводить такое отображение в духе безоговорочной апологетики, «лакировки», как в этом случае говорили, значит не только фальсифицировать действительность, но и не понимать общественной роли литературы. Но в связи с этим становилось все более ясным, что под-

линно решающий шаг в нашей теоретической мысли будет сделан тогда, когда она надлежащим образом оценит, что в основе литературного творчества лежит переживание «мук» истории и что именно принципами социалистического реализма это может быть выявлено с наибольшей ясностью и значительностью.

Когда-то Маркс написал: «Первым и самым важным из прирожденных свойств материи является движение, — не только как механическое и математическое движение, но еще больше как стремление, жизненный дух, напряжение, или, употребляя выражение Якова Бёме, мýка [Qual] материи» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 142). Если движение материи есть ее «мука», то не в бесконечно ли большей степени «мукой» является движение человечества в его социальном времени — в истории? И если это верно в приложении к историческому процессу вообще, то не особенно ли это справедливо в приложении к таким конфликтным, а это значит — драматическим и в то же время праздничным моментам этого процесса, как революции, а среди них — к такой революции, как Октябрьская, поставившая своей целью не просто заменить один эксплуатирующий класс другим, а вообще сделать невозможной эксплуатацию человека человеком и тем самым покончить с классовым обществом?

Приближению к такому пониманию социалистического реализма содействует и наметившееся в последние десятилетия расширение поля наших наблюдений. Если в течение предшествующих десятилетий наш творческий опыт, а в связи с ним и наша теоретическая мысль вращались в кругу литератур народов нашей страны, то с середины сороковых годов этот круг стал расширяться: в него стали входить литературы других народов, вступивших на путь социализма. И если уже история литературы в нашей стране показала, что в определении содержания и формы литературного произведения огромную роль играют особенности исторического пути каждого народа, его культурные и литературные традиции, то в еще большей мере показали важность всего этого литературы новых членов мировой семьи социалистических наций. Их опыт подтвердил нашу мысль, что однообразия социалистических литератур быть не может; может быть только их единство, и притом — в са-

мом глубинном слое; в отношении к действительности, как к «муке» истории. Разумеется, как к муке творческой, к муке рождения нового мира. Социалистическое мировоззрение покоится на ощущении всего, что происходит, как рождения нового мира.

Однако и этим не ограничивается то новое, что стало входить в сознание наших литературоведов. Предшествующий опыт показал, какое значение в нашей литературоведческой мысли имело активное осознание закона преемственности явлений исторической жизни; новый опыт открыл столь же непреложную силу другого закона: взаимозависимости явлений. На этой почве во всем своем значении предстала перед нами проблема литературных связей и влияний.

Разумеется, взаимосвязи и взаимовлияния литератур всегда учитывались в нашей литературоведческой работе. Поэтому в настоящем случае характерно не само обращение к этой стороне мирового литературного процесса, а подход к нему с позиций нашего общего понимания исторического хода вещей. Такой подход привел к мысли об исторических системах литературы — их составе, их переходах друг в друга, их смене; привел к мысли о возможности построения исторической и структурной типологии литературных явлений. В свете этих идей мы уже видим единство или близость литературных явлений в разных странах, там, где никаких, ни внешних, ни генетических, черт этого единства нет; видим различия там, где налицо как будто бы одно и то же. По этому пути и идет наше сравнительно-историческое литературоведение.

Проблема литературных связей, однако, поставила перед нами очень актуальный и острый вопрос: о наших отношениях с литературами капиталистических стран в наше время. Связи с этими литературами для литературы нашей страны, и прежде всего для литературы русской, исконные и всегда были в высшей степени плодотворными. Революционные события в первые послереволюционные годы на время если и не прервали эти связи полностью, то, во всяком случае, их сильно ослабили. Однако «синхронность» жизни современного мира, где бы она и как бы она ни протекала, взяла свое: такого отключения не терпело наше сознание — сознание современного человека социалистической страны, принципиально и фактически в гораздо большей степени, чем раньше, участвующего в духовной жизни всего человечества.

Это участие в настоящее время в высшей степени интенсифицируется особым явлением, возникшим в жизни человечества именно в последние десятилетия. Это явление — массовая культурная коммуникация.

Разумеется, коммуникация, то есть общение людей разных стран, в той или иной степени была всегда. Более того, история человечества как большого целого стала возможной именно благодаря общению, каким бы оно ни было — гармоническим или конфликтным. Так же обычна для истории и коммуникация культурная — обмен культурными ценностями. Новое в настоящем случае заключается не в самом факте культурной коммуникации, а в ее грандиозных масштабах, охватывающих уже не отдельные слои общества, а его массы, практически — все общество целиком. В высокоразвитых странах, стоящих на переднем крае цивилизации, это наблюдается уже сегодня; такое же положение постепенно устанавливается и в менее развитых странах, практически — во всем мире...

Естественно, в наше время сфера литературной коммуникации для нас не ограничивается пределами литератур народов нашей страны; она не ограничивается и пределами литератур стран мирового социалистического сообщества; она по необходимости захватывает и литературы остального мира; следовательно, литературы и стран капиталистических и стран, не идущих по капиталистическому пути либо потому, что они на него еще не вступили, либо потому, что не захотели по нему пойти. С социально-экономической стороны картина современного мира в высшей степени пестра, запутанна, чуть ли не хаотична. Если приложить к ней критерий социально-экономических формаций, получается какое-то прихотливое сосуществование едва ли не всех их, начиная с первобытнообщинной, и притом — на разных уровнях, да еще со своими, нередко весьма значительными национальными особенностями. И все это — отнюдь не при господстве одной социально-экономической системы, а в обстановке сосуществования и соревнования двух наиболее могущественных и наиболее ясно выраженных систем — капиталистической и социалистической.

В такой ситуации положение нашей литературы в ее отношениях к литературам других несоциалистических народов оказалось сложным. Можно было бы просто отказаться от всяких связей с ними как социально чуждыми — так требовал бы старый, рап-

повский лозунг отстранения от всего «классово-враждебного»; но это привело бы к духовному, культурному оскудению. Принимать все на тех же основаниях, на которых эти литературы существуют в своих странах, также было бы невозможно: не для того мы в течение полувека выковывали свою социалистическую самобытность. Так перед нашей литературоведческой мыслью встала жгучая и острая проблема: какой путь — настоящий, правильный, достойный нас самих и наших исторических контрагентов — найти для подхода к литературам капиталистических стран? Такой путь стал намечаться: подойти к этим литературам следует через концепции современности и гуманизма.

От современной мировой литературы отгораживаться нельзя уже потому, что она — порождение и знак нашей эпохи. Эпоха эта в высшей степени сложна, противоречива, но она — наша, и притом — во всех своих областях, а именно острое чувство современности составляет главную черту мироощущения людей нашей переходной эпохи и вместе с ним — литературы этой эпохи.

Но это не означает безоговорочного принятия всего, что мы находим в литературах капиталистического мира. Во всяком обществе есть люди, безразличные ко всему, кроме собственного блага и интересов сегоднешнего дня, и есть люди, думающие о жизни — своей и других, о судьбах — своего общества, всего человечества. Такое различие можно провести и в литературе. Те писатели в капиталистическом мире, которые одушевлены именно такими думами, близки нам, как бы они ни решали все вопросы: они близки уже тем, что страстно обо всем этом думают.

Другой столь же верный подход к литературам капиталистических стран открывает концепция гуманизма.

Мы привыкли понятие гуманизма соединять с признаком классовости. Действительно, в классовом обществе гуманизм несет на себе печать мировоззрения и жизненных интересов каждого класса. Но в то же время под многими исторически различными классовыми концепциями гуманизма лежит общая почва: человеческое в человеке и прежде всего этическое начало в нем. Это

этическое начало и есть гуманизм в его глубинном смысле. Высшим же выражением этого этического начала является то, что мы обозначаем словом «совесть».

В условиях классового общества трудно понять гуманистическое начало человеческой истории во всей его полноте. В таких условиях это открывалось лишь подлинно великим умам человечества. Со вступлением на стезю общества бесклассового, коммунистического открывается не только путь к претворению гуманистического начала в жизнь, и притом — в его общечеловеческом значении, но и возможность превращения его в ведущую категорию общественного сознания. Мысли об этом в наше время присутствуют всюду, ими живут и многие писатели капиталистических стран. И этим они также близки нам.

В последние годы в литературоведении наметились новые тенденции. Внимание некоторых исследователей направилось на сам вещественный материал произведения — на язык. На этой почве развилось то направление литературоведческих исследований, которое широко изучает именно с этой стороны язык литературных произведений. Разумеется, это возвращение к изучению языка художественных произведений как его первоисточника не повторяет ни формалистов двадцатых годов, ни новейших специалистов-литературоведов Запада, таких, как, например, Фосслер и Кайзер. В настоящее время обращение к этому сюжету исходит из представлений о языке как общественном явлении и из социальных функций его различных стилей. Ряд работ в этой области создан В. В. Виноградовым. В то же время на этой же почве проявил себя структуральный подход к языку: он привел к стремлению построить теорию поэтической речи, то есть специфического языка художественной литературы, на структуральной основе. В тех же случаях, когда исследование языка литературы соединяется с изучением самого творческого процесса и обуславливающими его сферами психологии и идеологии, литературоведение подходит к границам семиотики.

С такими тенденциями наше литературоведение вступило во второе пятидесятилетие нашей Октябрьской истории.



В. ШКЛОВСКИЙ

★

ИДТИ К МИЛЛИОНАМ

И на торцовой стене дома на улице Горького, над тем домом, где второй выход из метро «Площадь Маяковского», метровыми буквами написано: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком» (К. Маркс).

Бронзовый Маяковский, если бы повернул голову, смог бы прочесть эту надпись, вероятно, ему знакомую и дорогую, потому что он обращался в своих стихах к народу, к улице.

Мы говорим слово «литературоведение», говорим слово «письменность», но сейчас для того, чтобы обращаться к народу, для того, чтобы его информировать об искусстве, существует радио, телевидение и кино. Существуют они уже давно, но наше литературоведение для этих больших, самых массовых способов информации не делает почти ничего. Не пишет, не говорит по радио или говорит редко, мало показывает об этом по телевидению и невнятно говорит в кино.

Литературоведение должно было бы сейчас обращаться не к литературоведам же, а к большому народным массам. Миллионы людей смотрят кино, все слушают радио, и очень много народу смотрит телевидение.

Каждый день в нашей стране по телевидению идет несколько программ, приблизительно эти программы занимают тридцать два часа в сутки. Количество программ будет увеличено. Телевизионная программа чрезвычайно емка: эту информацию смотрят ребята, которые еще не читают, взрослые, когда они возвращаются домой, и старики всех возрастов.

Радио и телевидение сейчас — наиболее широкий способ информировать человека

Люди, которые выступают по телевидению, такие, как И. Андроников, как А. Каплер или как В. Шнейдеров, председатель клуба кинопутешественников, — известны буквально всем.

Теперь поговорим о размерах информации по телевидению.

Чтение одной страницы занимает две минуты, в час можно прочесть тридцать страниц, в тридцать два часа — около тысячи страниц.

А радио говорит непрерывно. Есть дома, в которых радио не выключают.

Таким образом, если исключить из этого показ спорта, повторные передачи, каждый день новые средства информации несут нагрузку, равную объему ежемесячного журнала.

Между тем и в Союзе писателей, и в Союзе кинематографистов про радио и телевидение говорят недостаточно. О телевидении написано очень мало. Кажется, что ни один литературовед еще не заинтересовался тем, что в наши дни снова стих воспринимается больше слухом, чем зрением; слово стало опять звучащим, произносимым.

Мы не можем отменить телевизор.

Мы не можем не обращать на него внимания, потому что душа обыкновенного человека, того человека, из которого можно вырастить гения, сейчас находится во власти телевидения.

Тут ничего нельзя сделать. Так кирпич вытеснил камень в постройке, ибо оказался более демократичным, так книга вытеснила рукопись.

Конечно, здесь вытеснения не произойдет, и телевидение не отменит ни театра, ни книги. Ведь это только в технике новое достижение уничтожает созданное прежде — и

то чаще не уничтожает, а лишь сужает сферу его применения. (Я даже надеюсь со временем опять увидеть — хотя бы в пригороде — лошадей, потому что город просто давится от автомобилей. Впрочем, это может быть только тоска по очень милым и много послужившим человеку животным.)

Понимая роль телевидения, мы должны овладеть телевизором в интересах зрителя, а для этого наше литературоведение должно понять, проанализировать особенности телевизионного мышления, научить работать для него.

Сейчас мы наполняем телевидение многосерийными приключенческими вещами.

Многосерийность — это не беда, наоборот, после той сжатости в час двадцать минут или три часа, к которым нас приучила кинематография, после недоговоренности кинематографа мы можем по телевизору говорить с человеком изо дня в день.

Беда в другом. Наши телевизионные приключенческие фильмы порой представляют собой ухудшенные подобию старых газетных романов-фельетонов с продолжением.

Это плохие потомки Дюма.

Это боковые наследники сыщиковских романов.

П. А. Бляхин был очень талантливым человеком, участником революции, человеком из народа, знающим зрителя; его опыт надо продолжать, но не ухудшать.

Нельзя бесконечно повторять «Красных дьяволят».

Время другое, небо другое, задача другая.

Человек хочет наслаждаться искусством, для этого он должен стать художественно образованным — повторим еще раз слова Маркса. А для этого наше литературоведение, наше искусствоведение вообще должны использовать все новейшие средства информации и — главное — осмыслить их особенности.

Мы сейчас издаем — по завету Горького — всех классиков всех времен. Очень большие тиражи. Я не знаю, понятен ли сейчас Стерн для 300 тысяч читателей, не будут ли они присылать недоуменные вопросы в издательство. (Впрочем, это вопрос риторический: они уже присылают.)

Значит, массового читателя надо готовить к восприятию классики.

Очень важно соединить настоящее литературоведение и телевизор.

«Робинзон Крузо», «Дон Кихот», романы Горького, романы Толстого, романы Досто-

евского могут передаваться по телевидению, должны инсценироваться для кино.

Как?

Кино глубоко отличается от литературы.

Законы литературного произведения не могут быть перенесены непосредственно на кинематографическое произведение. В литературе мы видим слова, а слово передает только общее. Это общее, данное в одном слове, мы уточняем другими словами. Это борьба за частное выражение — основа литературного искусства. Мы создаем конкретность, которая становится новой общностью.

В кинематографе и телевидении мы видим и слышим как бы живого человека, видим конкретное и от конкретного идем к общему. Нам не нужны образы в том смысле, в каком это слово употребляется в поэзии. Метафора, метонимия, синекдоха — эти нужные искусству, не всегда правильно понимаемые понятия — в кино не существуют. В кино мы видим достоверность происшедшего, а широкую значимость происшедшего, его связь с общими человеческими понятиями, так хорошо закрепленные в языке, в традиции поколений, мы не сразу ощущаем.

Наше кино неоднократно обращалось к Толстому.

Толстой, начиная писать «Анну Каренину», знал, что она умрет, даже знал точно, что Анна погибнет под колесами поезда. Но почему именно она погибнет? В чем ее вина, и в чем вина общества перед ней, и что делать — он не знал. Чем больше он писал, тем больше нравилась ему его виноватая героиня, тем больше он углублял ее характер. И он знал, что рядом с Анной Карениной Китти мелка, как он увидал это глазами Левина.

Мы снимаем картину, и в картине показывается, что Анна Каренина ушла от мужа и погубила себя, а Долли простила изменившему мужу и сохранила семью.

А то, что Левин мечтал о смерти, а то, что сам Левин считал себя виноватым перед людьми, — это мы снимать не умеем.

Мир — Россия, в которой все перевернулось и никак не может уложиться, тот мир, который открыл Толстым и о котором писал Достоевский в «Дневниках писателя», тот мир, в котором изменились все отношения, — мы не показываем. Мы берем только событийную часть произведений, то есть рассказываем происшествия, даем как бы газетную хронику, хорошо сыгранную.

В «Воскресении» Толстого дело не в том, что дворянин, князь, богач соблазнил девушку, она стала проституткой, а богатый человек захотел ее спасти и предложил ей даже замужество. Не в этом содержание «Воскресения». Так понимал «Воскресение» Чертков, а не Толстой; для Толстого Катюша — свет, а остальные — тьма. Она фонарь, внесенный в мир, она показывает незаконность старого мира, его преступность. Люди, которые окружают Нехлюдова, оцениваются автором романа — Толстым — как проститутки. Катюша, и только она, воскресает, становится спутницей революционеров и показывает высокий пример любви, не принимая жертву Нехлюдова.

Достоевский на телевидении, в кино — особая тема.

Идет юбилейный год Достоевского. Идет по всему миру.

Как мы должны показывать этого писателя?

Думаю, что именно здесь крайне важна научная подготовка, серьезное прочтение гениальных текстов.

Нельзя довольствоваться простым иллюстрированием знаменитых сцен знаменитых романов, а это случается, к сожалению, не редко.

Случается и другое. Достоевский говорил о себе, что он занимательность ставит не ниже художественности. Существуют талантливые картины, которые, однако, сокращают романы Достоевского от всего, что не есть занимательность. Это тоже не Достоевский: ведь не только событийная часть произведения выражает замысел писателя.

Недавно мы видели хорошую картину Л. Кулиджанова «Преступление и наказание», снятую по сценарию Н. Фигуровского и Л. Кулиджанова.

Лента начинается с того, что мы видим, как под аркадами Петербургского университета стая городских гонится за загнанным преступником — бедным студентом. Он выбегает к Неве, бросается с моста, навстречу ему взлетают голуби. Потом великий актер Смоктуновский играет Порфирия. Он обличает Раскольникова в преступлении. Делает он это превосходно. Все интонации его убедительны, они уничтожают преступника.

Но у Достоевского несколько иное отношение к герою — у него Порфирий относится к Раскольникову как к старшему, как ошибающемуся великому человеку. Про себя Порфирий говорит: «Кто я? Я покон-

ченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кой-что и знающий, но уж совершенно поконченный».

И далее: «А вы — другая статья: вам бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдет, ничего не будет). Ну что же, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть, вам-то с вашим-то сердцем? Что же, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем».

Раскольников — могучий человек, и роман Достоевского построен не на том, как было раскрыто преступление, а на желании понять, почему люди совершают преступление и что такое преступление.

Недаром такой человек, как Эйнштейн говорил, что в его жизни самым крупным событием было чтение Достоевского.

Мы должны увидеть на экране мысли гения, должны увидеть на экране великие сомнения человечества.

Достоевский писал во время великого перелома человеческого сознания, писал во время революционной ситуации, которая не разрешилась в революцию.

Почему Раскольников убивает старуху топором? Ведь топор неудобно нести, в руках нельзя, и он его подвешивает под пальто. И вкладывает в петлю лезвие топора. Но у топора лезвие широкое. Вынуть топор трудно, и спрятать его опять-таки трудно. Почему же такое странное орудие убийства? Случайно ли оно выбрано и что тогда, в то время, было связано с мыслью о топоре?

К топору призывали тогдашние революционеры. О топорах писали в прокламациях. О топоре писал Герцену Николай Гаврилович Чернышевский. «К топору зовите Русь» — он подчеркивал эти слова и подписал под письмом: «С глубоким к Вам уважением Русский человек».

Конечно, Раскольников не революционер. Топор он взял напрасно и, заблудившись в попытках понять мир, совершил топором преступление — в знак того, что он не согласен смиренно жить. В этом преступлении сказалась негодность террора, неверность лозунга и в то же время сказалося и негодование человека. А про топор, про его значение и через много лет Достоевский не забыл. В «Братьях Карамазовых» об этом же разговаривает с чертом Иван Карамазов.

Черт — это бред Карамазова, это сам Карамазов, это его сомнения.

Черт имеет вид джентльмена. Он явился к Ивану после того, когда Смердяков убил старика Карамазова.

Черт этот бывает в высшем обществе, в том обществе, в котором в то время бывал и встречался с самим Победоносцевым Федор Достоевский. Черт рассказывает о том, как далеко ему лететь и как морозно во Вселенной. Там «150 градусов ниже нуля!».

«Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор.

— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович».

Бред продолжается.

Иван Федорович спрашивает: что станется там с топором?

«Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг земли, не знаю зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят вхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все».

Топор летает вокруг мира Достоевского. Тот топор, о котором писал Чернышевский. Топор революции.

Мысль о революции и о революционной ситуации, которая не прошла и не пройдет, об испуганном буржуа присутствует в сознании всех героев Достоевского. Это делает его романы современными.

Перед нашим сегодняшним литературоведением — множество задач, множество проблем. Но я сознательно выбрал этот аспект.

У нас самые большие в мире тиражи книг, но это сотни тысяч читателей в лучшем случае, а телевизор — это миллионы слушателей и зрителей. Телевизор может работать с продолжениями. Он не должен торопиться, он может договаривать. Мы — литературоведы, критики, писатели — должны через телевизор говорить с человеком на его квартире об искусстве, и говорить не спеша, не навязываясь и приобщая его к тому, что считалось уделом избранных.

Мы должны научить человека наслаждаться подлинным искусством — и тогда все, спекулятивно рассчитанное на не слишком грамотного читателя и зрителя, всякие поделки и подделки сами собой отомрут.

Искусства без восприятия не существует, а значит, подготовка, художественное образование миллионов, тех, кто будет воспринимать искусство, — одна из насущнейших задач нашей науки. Я не оговорился: именно науки. Она не должна прятаться в книги для немногих, если хочет служить общему делу.



ВЛАДИМИР ОГНЕВ

★

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

Литературное обозрение

В 1814 году в журнале «Сын отечества» появилось едва ли не первое в русской журналистике обозрение художественной словесности. Позднее Виссарион Белинский указывал на одну характерную особенность этого выступления: «Замечательно, что, признавая бедность некоторых разрядов своего обозрения, автор, как успеху русской литературы, радуется тому, что в течение 1814 года вышло в Петербурге и Москве только по одному роману (оба переведены с немецкого) да две исторические повести!..» Другими словами, состав переводной беллетристики был равен доле отечественной. Белинский приводил тогда еще одну деталь: книги о кругосветных путешествиях Крузенштерна и Лисянского, изданные на русском, немецком и английском языках в период с 1809 по 1812 год, разошлись у нас едва лишь по двести экземпляров каждого, в то время как в Германии вышло три издания путешествия Крузенштерна, а в Лондоне продана в две недели половина экземпляров книги Лисянского. Это была «характеристическая черта нашей литературы, или, лучше сказать, нашей публики», — поправляется Белинский. И какой зато гордостью проникнута его констатация в 1847 году: «...переводные романы и повести уже не заслоняют собою оригинальных; напротив, общий вкус публики отдает последним решительное предпочтение, так что помещать в журналах преимущественно переводные романы и повести заставляет журналистов только одна крайность, то есть недостаток в оригинальных произведениях этого рода. И такое направление вкуса публики становится заметнее и определеннее год от году». Русская литература в середине прошлого века, когда писались эти слова, набирала

силу, выходила на арену европейской культуры, и великий наш критик радостно отмечал знаменательные перемены...

Если мы обратимся сегодня к этой проблеме соотношения переводной и оригинальной литературы, то прежде всего не найдем, на мой взгляд, даже намека на соперничество: то, что волнует умы и чувства нашего читателя, то и пользуется спросом в первую очередь. И уж, разумеется, отнюдь не «недостаток оригинальных произведений» диктует издателям потребность в переводной литературе.

Из гигантского потока переводной литературы я выделяю в этом обозрении только литературу четырех социалистических стран Европы — произведения прозаиков, поэтов, критиков Болгарии, Венгрии, Польши, Югославии, книги разных жанров, ставшие доступными мне, заинтересованному их читателю, по долгу любви и профессионального интереса одновременно. Это рассказ о прочитанном и виденном во время зарубежных поездок, попытка как-то, в меру сил, субъективным взглядом окинуть объективную картину соседнего литературного, их проблематику, которая, на взгляд автора этих строк, во многом перекликается с нашими жизненными и литературными задачами.

Искусство социалистических стран, имея ряд специфических особенностей национального своеобразия, особых традиций, различий культурного развития, тем не менее обладает и целым рядом общих характерных черт, определяющихся общностью идеологии, новыми, социалистическими отношениями между людьми, между человеком и обществом.

В изучении этих родовых качеств литературы братских стран очень важно знание не

деклараций и заявлений, а реальной литературной ситуации. Как развивается критика, теория, проза, поэзия, в каком соотношении находятся проблемы жизни с проблемами искусства, какие тенденции знаменуют сегодня развитие отдельных жанров, что нового появилось в литературах социалистических стран в области содержания, форм, стилей, течений? Мы должны не опасаться этой сложности, должны идти ей навстречу, изучать реальный опыт, учиться анализировать его непредвзято, с учетом особых путей движения к общей цели.

Советская литература вступила в такой период развития, когда ее не пугает сложность задач, она не ищет легких путей, не выпрямляет, не упрощает явлений жизни. Но она и не забывает главной своей задачи — борьбы за нового человека, свободного от пут всяческого рабства. Социалистическая литература — не просто термин, это — указание ее особого качества. Самые отвлекающие и, что греха таить, примелькавшиеся иногда категории обрастают плотью, когда мы сами вынуждены защищать наши идеалы, а не перепоручать это другим.

Недавно я вернулся из длительной командировки в Югославию, где в октябре проходила традиционная международная встреча писателей. В этом году совещание писателей двадцати четырех стран мира проходило под девизом «Гуманизм — агония или возрождение?». Сознаюсь, вначале и мне, и ряду других представителей социалистических стран показался смешным этот девиз. О какой «агонии» гуманизма может идти речь в среде писателей, само положение которых в обществе определяется активной и твердой позицией защиты гуманизма, духовных ценностей человеческого общежития? Если в мире существует такая альтернатива, то художники должны «подать в отставку». Кому нужны разговоры могильщиков между собой? Или нас собрали, чтобы бить в набат, трубить тревогу?

На встрече все стало на свои места. Правда, целая группа западных интеллигентов, некоторые югославские товарищи выступили с крайне пессимистическими рефератами. Общий их смысл сводился к тому, что гуманизм — одна из изживающих себя прекраснотушных иллюзий, миф, религия атеистов, которая мешает видеть мир и человека такими, каковы они есть на самом деле. Многие доводы против лжи, лицемерия, против использования идеалов гуманизма в корыстных целях были сами по себе справедливы.

Но как же заблуждаются, как разоружают нас те интеллектуалы, что в испуге перед сложностью века пасуют и перед античеловеческим! На самом же деле ясно, что гуманизм жив и будет жить, пока на земле есть понятия любви, свободы и справедливости, пока есть вера в человека и знание о человеке, пока личность чувствует себя не песчинкой в конгломерате сил природы и враждебного ему общества, а частью человеческого общежития, направленного к счастью всех и одного. Мне как участнику прений пришлось полемизировать с некоторыми выступлениями делегатов Англии, Италии, Югославии и на примерах не только литературных утверждать идеалы активного служения писателя целям и принципам гуманизма. Но Белградская встреча 1970 года — отдельная серьезная тема. Я вспомнил здесь о ней для того, чтобы понятнее стала общая, главная направленность, побудительная причина моего обозрения.

Читая произведения ваших друзей, мы утверждаемся в неодолимости сил гуманизма, в защите его идеалов художественным словом. Литература социалистического общества служит человеку активно. Она становится все более зрелой. Ее формы воздействия — нравственного, духовного, эстетического — все совершеннее и значительнее. Ее стилевое, жанровое разнообразие подтверждает богатство и полнокровие идеала.

Об этом же свидетельствовали выступления участников осенней встречи редакторов журналов социалистических стран в Москве. Совещание было весьма представительным. Теоретические взгляды выступавших, практический курс руководимых ими журналов красноречиво подтверждали благотворность самых тесных культурных контактов. Профессор Г. Цанев, К. Калчев, П. Данчев, Е. Каранфилов (Болгария), Е. Лисовский (Польша), И. Шимон (Венгрия) и другие литераторы братских стран подчеркивали, как важно знать и понимать друг друга, как ценен взаимный опыт передовых литератур мира. В этом обзоре читатель еще раз встретится с некоторыми из упомянутых здесь имен. Ефрем Каранфилов, Иштван Шимон, например, и в своей «личной» творческой практике, как критик и поэт, «подтверждают» положения своих выступлений на совещании: первый — как тонкий исследователь русской классики, второй — как переводчик советской поэзии... Это ли не лучшее проявление программы дружбы культур? Буду говорить я и о пуб-

ликациях журналов «Литературна мисъл», «Позия», «Пламык» и др. Пока же хочу отметить только, что сам факт совещания редакторов литературных журналов социалистических стран — очень важная, знаменательная веха на пути процесса взаимопонимания братских литератур.

ИЗМЕНЕНИЕ ЖАНРА

Среди произведений крупного жанра в прозе Болгарии последнего времени наибольшее впечатление оставил роман Благы Димитровой «Страшный суд». Тот, кто знает произведения Благы Димитровой — ее стихи, сценарии, прозу, — знает и то, что главным в ее даровании всегда было страстное преодоление препятствий на пути духовного становления личности и сила бескомпромиссности моральных оценок. Внешне сдержанные стихи Димитровой внутренне страстны. В «Путешествии к самой себе», в «Отклонении» — романах эссенстского плана — автор верен своим пристрастиям и граждански острому анализу действительности. Болгарская критика отмечала уже своеобразие формы романов Димитровой, у которой основным и во многом условным стержнем сюжета чаще всего является путевой очерк, а мысли и наблюдения, накопленные писательницей, даются читателю «не непосредственно в их временных и пространственных границах, а как пережитое, относительно документальное в своей общности» — так писал болгарский критик Яко Молхов в статье «Проза Благы Димитровой». Однако мне представляется не совсем верным отнесение жанра последнего романа «Страшный суд» только к эссенстской литературе с ослабленным сюжетом.

«Страшный суд» — история путешествия автора во Вьетнам, удочерения девочки по имени Ха (река, ручеек), история понимания мотивов многих поступков человека и человечества в XX веке. Писательница затрагивает едва ли не все большие проблемы нашего века. Читаешь фрагмент за фрагментом — и в тебе нарастает ощущение страха перед войной, но в то же время понимание, что страх — это первое, что мы должны преодолеть сегодня в мире. История Ха со всеми трудностями попыток ее удочерить наполнена страстными раздумьями о категориях более универсальных. Ведут наше читательское внимание и несколько лирических тем, выраженных к тому же

симфонически. Это темы доверия, человеческого единства, совести...

Здесь, на мой взгляд, случай рождения новой формы романа, новый, может быть, именно в болгарской прозе, так как близкие образцы существуют в литературе русской и западноевропейской. Уже в «Путешествии к себе» намечался этот жанр. И если в «Отклонении» Б. Димитрова была ближе к традиционному пониманию формы романа (рождение, развитие и развязка любви), то в «Страшном суде» мы видим синтез лиризма, «монологизма» авторской идеи и условного сюжета «путешествия». Автор строит роман как цепь ассоциативных новелл или высказываний, раскрывая афоризм, лежащий в начале фрагмента: «Дети учат взрослых справедливости...», «Небо — забвение, а земля — память...» Обычно в стихах роли меняются: афоризм венчает мысль, вытекающую из образного развития, идеи. Он может быть, а может и не быть — подразумеваться как итог общего впечатления. Здесь же, в романе, афоризм — пружина, тезис, заданный задолго до сюжетного обоснования. Но он «выстрадан» переживаниями аналогичного рода и всегда как бы «напряжен» для нового наполнения. Иногда афоризм — заглавие для следующего эссе. Но во всех случаях его функция определяется одним заданием: афоризм — итог опыта человека, начинающего понимать всеобщие связи явлений в нашем сложном и, казалось бы, нелогичном мире поступков. В этом высветлении связей и есть логика сюжета. Новая ли это традиция романа? Новая форма никогда не приходит сразу. И — не рвет с традицией. В «Страшном суде» есть ощущение расплаты (Блок бы сказал — «возмездия»), есть яростное — по Достоевскому — отстаивание морали гуманизма. Судьба маленькой Ха — по контрасту масштабов с судьбой мира — обостряет наше человеческое соучастие к страдающей, но не униженной человечности. Стиль Димитровой энергичен, местами патетичен и всегда искренен. В живом голосе автора — голос материнства и любви, борьбы и надежды.

Изменение жанра — проблема не только индивидуальных усилий автора. Мне кажется, сейчас в болгарской литературе намечается общая линия изменения жанра. Я ощущаю эту тенденцию и в поэзии К. Павлова, и в повестях Ивайло Петрова «Перед тем, как мне родиться», Г. Мишева «Матриархат», и в оригинальной мемуарной книжке Доры Габе «Я, мама и вселенная»,

и в талантливой раскованности жанра критической статьи Ефрема Каранфилова о «Моцарте и Сальери» в его книге «Художники. Герои и характеры» (1967) — статьи, непосредственно соединяющей литературоведческий анализ пушкинского шедевра с актуальной проблемой творческой личности, ее прав и обязанностей.

Процесс изменения жанров не однозначен. Никак не претендуя на его объяснение в рамках обозрения, хочу только сказать, что, как правило, именно с размывания границ традиционных жанров начинается новое качество искусства. Очевидно, в болгарской литературе идут поиски серьезные и знаменательные... Может быть, особенно нагляден этот процесс в области идеологического и философского наполнения такого «легкого» жанра, как детектив.

Роман Богомила Райнова «Господин Никто» значительно отступает от известных канонов. Любителям жанра детектива я хочу посоветовать прочитать эту книгу: читается она с неослабевающим интересом. Тем же, кому название может показаться слишком интригующим, кто не читает подобного рода книг, я тоже хочу сказать: погодите с выводами, не торопитесь, прочитайте «Господина Никто», не пожалее.

Кто же он, этот таинственный герой?

Послушаем его самого: «Все это немного неприятно, особенно до тех пор, пока не свыкаешься с мыслью, что иначе и быть не может. У каждой живой твари свои условия жизни. Карпу не дано разгуливать по саду — ему всю жизнь приходится мокнуть в болоте. А вот мне не разрешается жить, как всем прочим людям, только и всего. В то время как другие, шагая по улице, разглядывают витрины или женские ножки, мне приходится смотреть за тем, кто идет впереди меня, кто позади, и соображать, случайно идет или не случайно. Многие люди сперва говорят, а потом уже обдумывают сказанное, мне приходится заранее взвешивать каждое свое слово. Любой и каждый может вообразить себе, что у него есть личная жизнь, мне же доверена горькая истина, что у меня нет личной жизни. Самое смешное, что, хотя меня ни на минуту не оставляют одного, я все время испытываю разъедающее чувство одиночества. Вероятно, нечто подобное испытывает циркач на трапезии в тот момент, когда он готовится совершить сальто-мортале над головами двух тысяч человек».

Вот какие мысли приходят в голову на-

шему герою. Здесь и начинается «нарушение» жанра. Обычно читатель сразу же сочувствует герою, опасается за него или, наоборот, ненавидит его и желает, чтобы тот поскорее попал в ловушку. Положение нашего читателя сложнее...

Мы встречаемся с господином Никто в застенках греческой хунты. Зовут его Эмиль Бобев. У него хотят вырвать признание, что он агент коммунистической Болгарии. Однако герой ничем не выдает себя. Одинаково предположительно читатель может принимать его и за противника коммунистов и за коммуниста. Американский шпион Дуглас берет Бобева на работу. Уставший, измученный Бобев не в восторге от этого, но выбора нет. В разговоре с Дугласом несколько определеннее вырисовывается лицо господина Никто, как он называет сам себя, горько усмехаясь.

Бобев — человек сдержанный, скрытный, он не суетится, не спешит трусливо принять любые условия. Он практичен. И его программа, как он сам признается, скорее «негативная». «Идеи? Политика? С меня достаточно моих личных дел. Пускай каждый поступает так, как считает нужным. Это лучшая политическая программа».

Господин Никто старается не думать вслух. И в его мысли мы проникаем лишь постольку, поскольку эти мысли неопасны для него, то есть истинное лицо героя, ведающего повествование, закрыто для читателя. Этот прием позволяет писателю держать нас в полном напряжении без привлечения других остродействующих эффектов.

Но они есть, эти эффекты. Только у Райнова они одновременно служат реалистическими мотивировками, которые с равным успехом могли бы послужить и в психологической повести.

Тут чувствуются хорошие традиции. Собственно говоря, в каждом произведении литературы, будь то и не детектив, заложены все, или почти все, возможности напряженного сюжета. Богомил Райнов идет по пути возвращения утраченного достоинства одному из наиболее древних жанров — роману приключений. Когда-то Стерн, Филдинг, а потом Диккенс показали в этом смысле высокие образцы. Да простит мне читатель это литературоведческое отступление, но я хочу сказать еще два слова о роли «осерьезнивания» жанра детектива.

Дело в том, что Богомил Райнов, как писатель высокой культуры и гражданской

активности, не мог не понять той роли, какая сегодня отведена «массовой культуре» во всем мире. Борьба идей, тотальная идеологическая война идет на необыкновенно широком фронте.

Жанр современного детектива и в наших условиях не может быть только средством для гимнастики мозга; «шахматная задача» должна быть «насыщена судьбами и характеристиками», как удачно сказал болгарский критик Боян Ничев по этому поводу. Читатель детектива должен прийти к определенному выводу — нравственному и идейному.

Образ упоенного технической стороной борьбы агента-детектива скорее вреден, чем полезен, так как такой герой содействует воспитанию сильного человека, которому все позволено, который умеет стрелять первым, человека ловкого, неразборчивого в средствах. Такой герой далек от гуманных идеалов революции. Духовная, нравственная сила, глубоко осмысленный долг, решимость на крайние жертвы во имя высокочеловеческого дела — вот в нашем понимании суть подвига героя невидимого фронта.

...Мы оставили господина Никто в момент его переговоров с американской разведкой. Встреча с Франсуаз в одном из баров Афин переворачивает судьбу героя. Его стремление попасть в Париж удовлетворено ценою... нового поручения. Он бежит с помощью Франсуаз, которая, как читатель догадывается, вовсе не случайно и не от большой любви оказалась на его пути.

Но Бобев действительно любит Франсуаз. И мы присутствуем при крайне интересной в психологическом и моральном отношении дуэли между двумя сильными и красивыми соперниками, которым не безразлична их связь.

Линия любовных отношений Бобева и Франсуаз только на первый взгляд повторяет типичную для шпионского романа любовь-дуэль супермена и женщины-вамп, согласившейся к нему врагом. Главная нота в «Господине Никто» — нота горького сожаления Бобева о невозможности быть естественным и простым, отдаться полноте чувств. Хитрость, расчет на каждом шагу сопутствуют Франсуаз. Бобев вынужден отвечать ей тем же. Но для Франсуаз это привычный, почти автоматический путь к цели шпионажа. В Бобеве нет-нет да и прорвется чувство. Тема эта представляется мне одной из наиболее интересных. Она перерастает в философский мотив красоты и безобразия жизни.

Пейзаж у Райнова сдержан, скуп: ведь изложение поручено человеку-загадке, которому все время надо следить если не за другими, то за собой, и за собой в первую очередь. «Оливковые деревца серебрятся, будто выгорели от солнца. Листва апельсиновых деревьев, густая и темная, за ними почти черной стеной стоят кипарисы. Рай окружен густым лесом, чтобы ты не имел никакого представления об окружающей местности». Это на вилле-тюрьме, где Бобева американцы обучают шпионажу. Природа дана здесь функционально, как средство отрыва от жизни, как маскировка. А чувства героя напряжены, они восприимчивы к другим факторам окружающего мира: «Иза стены кипарисов доносится рокот автомобиля, который останавливается где-то поблизости. Звенит звонок калитки, и вот уже за моей спиной в холле слышатся топотливые твердые шаги. Оборачиваюсь...» Красота мира не закрыта для Бобева. Он только вынужден не замечать ничего, что прямо не работает на его цель...

Всюду его подстерегает опасность, окружает тоска, люди оборачиваются только внешней стороной, маской — не лицом. Веры в окружающих у него быть не может. Да и ему платят тем же.

Во Франции Бобев твердит, что бежал с родины. Ему на это говорят, что предавший раз предст и дважды. И он молчит, зная, что такая формула не поддается опровержению. У господина Никто нет корней, нет привязанностей. Но для презрения к герою, вполне понятного при данной, известной нам ситуации, у читателя все еще нет оснований. Может быть, этот сдержанный, умный, холодный человек вовсе не циник? Тогда что толкнуло Бобева на побег? Но кто же он такой, этот господин Никто? Он променял родину на вечный страх, он бежит от американской разведки, которая грозит его устранить, так как он уже много знает, и соглашается на постыдную роль шпиона в пользу новой родины, Франции, на одинокое прозябание в комнате, опутанной тонкими проводами подслушивающих аппаратов, при полном недоверии эмигрантов, знающих о его связях с французами, и французов, подозревающих Бобева в двойной игре.

До сих пор в господине Никто, Бобеве, мы видели только таинственную личность, остро ощущающую свою изолированность от общества. Мы не знаем причин одиночества Бобева, но уже почувствовали страшный вакуум, испытываемый человеком,

которого не держат с жизнью естественные связи. Виною одиночества могут быть разные обстоятельства, как бы говорит нам Райнов, но, анализируя такие обстоятельства, художник вскрывает глубинные связи между современным человеком и средой, художественными средствами борется за такие ценности, как родина, народ, его единство.

Так жанр детектива перерастает в исследование человека и общества, в психологически точное художественное обобщение «человека Никто». В анализе любви Бобева и Франсуаз, анализе одиночества и ностальгии того же Бобева вновь и вновь возникает глубокая и щемящая нота тоски по жизни, свободной от всяческой грязи, тема противостоит естественности для человека лжи, насилия, жестокости.

И вот настало время для сенсации...

Дорога на юг Франции. Бобев мчится на машине в Марсель, чтобы попасть на борт болгарского парохода. В его памяти возникают воспоминания, и это позволяет нам наконец понять человека Никто. Бобев (настоящая его фамилия Боев) — болгарский разведчик.

Детство героя романа было тяжелым, вырос он сиротой, и родина для него была не только землей, где он родился, а единственной матерью, которая научила его суровому счастью жить для других.

И оказывается, быть героем в обществе, основанном на доверии к человеку, на идеях братства и взаимоподдержки, вовсе не признак какого-то необыкновенного возвышения личности над массой других, средних людей, а просто это значит больше других, самоотверженнее других, последовательнее других любить свою родину, быть готовым, если это нужно родине, к одиночеству, подозрениям, проклятиям, забвению.

Боев ни разу не разрядил свой пистолет. Автор не грешит против правды, не пытается убедить нас, что коммунист-разведчик — ангел с белыми крыльями. Просто так случилось. А возможно, в этом несколько излишний нажим автора: ему хотелось, очевидно, подчеркнуть, что и бескровно можно выиграть тайную войну — борьбой воли, нервов, ума, морали...

Тот, кто читал другой переведенный у нас роман Богомила Райнова — «Дороги в никуда», не может не обнаружить некоторого родства между героями двух романов. И там и тут в центре повествования стоит человек одного психического типа, одной

категории духовного опыта — зрелый, скептический, сдержанный, много переживший, мизантропического склада, но волевой, упрямо преодолевающий препятствия. В романе «Дороги в никуда» это ученый Александров, до конца жизни остающийся верным своим убеждениям и принципам. И Александров и Боев — герои мыслящие и одновременно действующие.

Такой тип творческого отношения к жизни свойствен самому Богомилу Райнову.

Сын крупного болгарского искусствоведа, воспитывавшийся в Париже, много живший за границей, Райнов уже в раннем творчестве, еще до революции 9 сентября 1944 года, сначала в стихах, а затем и в прозе резко и бескомпромиссно рвет с прекрасодушным и красивыми иллюзиями буржуазных принципов морали, он хочет писать о жизни такой, какая она есть, писать резко и беспощадно. Уже в первом сборнике стихов Богомила Райнова были такие строки: «Если хочешь ты отклик найти, не сюсюкай, руби, пусть стреляет твой стих». «Не в синих зрачках, а в синюющих блузах бригадников» хочет он видеть поэзию. Юному поэту оказался близок Маяковский, его эстетика кажущейся грубости, за которой скрывалась действительность во имя нежности.

Цикл приключенческих романов Райнова — «Господин Никто», «Что может быть лучше плохой погоды», «Инспектор и ночь» — в этом отношении особенно показателен. Сам по себе «мажорный» жанр победного прославления героя невидимого фронта под пером Райнова окрашивается в тона тонкой ироничности, грустноватого юмора, а главное, ставит героя в положения предельно реалистические, достоверные, полные глубокого социального, а порой и философского смысла. Дуэль характеров перерастает в его романах в спор отношений к жизни. Это не только спор идеологий, но и проверка на прочность и истинность этики. При всем этом Райнов никогда не забывает конечной цели общественного идеала, в самых жестоких, вынужденно жестоких ситуациях, где, казалось бы, нет места для проявления гуманности, где торжествует железная логика силы, осторожности, хитрости и обмана, он дает нам понять, что временная необходимость жестких мер никак не является идеальным средством для всех времен и всех положений. Он ни на минуту не забывает — и это главное — идеала гармоничного человека и гармоничного общества.

Можно смело сказать, что Богомил Райнов создал вполне оригинальный жанр приключенческого романа с детективным сюжетом. Свое, райновское в этом жанре — анализ состояния человека, поставленного в силу особых обстоятельств в положение необычное. Разведчик социалистической страны не может не чувствовать с особой остротой противоречивости такой ситуации. Общество учило его прямоте, честности, благородству, готовности прийти на помощь по первому зову... А нелегальное существование в лагере потенциального противника вынуждает его вступать порою в противоречие с общепринятой моралью.

Да, разведчик действует в интересах справедливого общества, передового строя. Но это общее объяснение поступков героя для вдумчивого читателя уже, пожалуй, недостаточно. И поэтому каждая попытка проникнуть в психологию героя детектива, раскрыть движущие причины не только поступков, но и душевного состояния всячески приветствуется читателем и зрителем. Вспомним, например, что успех кинофильма «Мертвый сезон» во многом определил тот факт, что герой фильма, советский разведчик, в талантливом исполнении Д. Баниониса показан во всей сложности переживаний, как человек, делающий отнюдь не легкое, не простое, отнюдь «не приятное во всех отношениях» дело.

Если в сочинениях Флеминга, создателя образа Джеймса Бонда, признанных «бестселлерах» западного шпионского романа, фантастика может как-то затухать идеологическую направленность, то большинство продукции этого жанра, получившего повсеместное распространение на Западе, опасно именно своей определенной направленностью, проповедью войны, вражды, насилия как средства решения идеологических вопросов.

«Господин Нико» — один из наиболее заметных романов детективного жанра в социалистической литературе, прямо противостоящих человеконенавистнической и аморальной литературе лжи, рядящейся в пестрые и заманчивые одежды приключенческого сюжета.

О «ЗЕМЛЕ» И «КУЛЬТУРЕ»

Мало сказать, что Дюла Ийеш — крупнейший поэт Венгрии. Он — национальная гордость, фигура бесспорная в смысле авто-

ритета, любовь к нему повсеместна и трогательна.

Так случилось, что знакомство советского читателя с выдающимся европейским поэтом одного ранга с признанными национальными поэтами других стран начинается только сейчас, с выходом на русском языке первой книги избранных стихов «Рукопожатия». Автор этих строк был вместе с Агнесой Кун титульным редактором сборника, поэтому я хочу говорить не столько о книге, о которой, очевидно, будет писать наша критика, сколько о самом поэте.

В «Литературной газете» от 12 августа 1970 года я уже рассказывал о Дюле Ийеше — человеке и художнике. А через четыре дня, 16 августа, в органе ЦК ВСРП «Непсабадшаг» появился отклик на мою статью, где, между прочим, говорилось, что в статье приводятся и «некоторые факты, неизвестные широким кругам венгерских читателей», что проза Ийеша еще ждет своего перевода на русский (я познакомился с ней через болгарские и польские переводы). Поскольку в «Литературной газете» опубликована была только часть моей работы о Ийеше, я решил включить в обзор целиком главу, написанную о венгерском классике еще в прошлом году, по возвращении из Венгрии, чтобы развернуть некоторые положения, из-за недостатка газетной «площади» не нашедшие себе места на страницах «Литературной газеты».

...17 декабря 1967 года. Буда. Машина долго петляет по крутым зеленым улочкам. А вот и серый каменный дом. Скромный дом среди роскошных особняков старого времени, которые на каждом шагу привлекают внимание. У калитки стоит крепкий мужчина в рабочей куртке, с лицом добродушного мастерового. Вот он, Дюла Ийеш! В доме нас встречает жена поэта, «пани» Флора, — пани потому, что она оказывается славянкой, и я называю ее на польский манер. В маленьком кабинете тесно от книг и людей — пользуясь нечастой возможностью увидеть любимого поэта (Ийеш, как правило, ведет уединенный образ жизни), со мной «увязались» несколько веселых венгров. Но вот автографы получены, кабинет пустеет, остается писатель Ласло Весель — друг юности Ийеша, старик с лицом Вольтера и несравненным чувством юмора, — переводчик и я. Проглянуло солнце, и в окнах даже голые ветки сада кажутся веселыми. Дюла Ийеш сидит в глубоком кресле и разливает деревенскую водку. У него шнро-

кие руки, крепкие плечи и манера вести беседу с крестьянской неторопливостью и лукавой иносказательностью. Но вот ему что-то кричат из соседней комнаты, видимо спрашивают,—голос девичий и еще один, мужской,—Ийеш быстро отвечает по-французски, Ласло подмигивает мне, я его понял. Мне становится весело: чары рассеиваются, «крестьянин» с хитрецей сметливого крепкого хозяина вновь становится литературным мэтром, другом Тцара, Арагона, Бретона и Элюара... И самое смешное, что смеется Дюла Ийеш — от него ничего не ускользнуло.

...Да, национальное и общечеловеческое всегда остается важной проблемой для него. Но, впрочем, может быть, это и никакая не проблема. Важно условиться о смысле, какой мы вкладываем в эти слова. Чем больше он говорит, тем яснее для меня, что нет двух Ийешей — крестьянина и рафинированного интеллигента. Есть один Ийеш — народный поэт в самом полном смысле этого слова. Есть нерастрченное чувство первородства, принадлежности к народным истокам, ненаигранный, естественный демократизм, могучий и неколебимый. И есть громадная культура, упорное нежелание принять моду за прогресс, «крестьянский сюрреализм» за синтез общеевропейского и венгерского путей в поэзии. Есть разумное отталкивание от чуждых форм, даже если они являют новое слово во французском, скажем, искусстве. А такую опасность он видит у некоторых молодых. Но в равной мере непримлем для него хуторской провинциализм, тупое самоуважение невежд, гордящихся незнанием мировой культуры. Ийеш хорошо знает, что лишь нация, живущая исторической жизнью, подымает своих художников на тот уровень, который гарантирует национальному престижу европейской и мировой культуры. Поэтому в выражении духа своего народа видит он естественный путь поэзии. Его интересует наша поэзия, молодые. Слушает он серьезно, внимательно. Многие проблемы находит общими.

Ийеш был в России в 1934 году, на Первом съезде советских писателей. Это в первый раз. В последний — в 1967-м. Он полюбил нашу родину. Им написана публицистическая книга о России, еще в тридцатые годы. Она и сегодня показательна для понимания той роли, какую играла советская новь в те годы для западной интеллигенции. А что, если бы ее переиздать? Хотя

бы фрагменты из нее? Разговор заходит о венгерской поэзии. Я вспоминаю «Петефи», книгу блистательную. Ее Ийеш написал давно. Я читал ее в переводе на болгарский. Дюла Ийеш достает с полки несколько своих книг: в мои руки переходит чешское издание «Петефи», болгарский перевод «Народа хуторов», польские издания Ийеша. «Народ хуторов», или, как его переводят болгары, «Народ пусты» (степи), книга социологическая и до известной степени автобиографическая. Это история мадьярского крестьянства. Не прочитав ее, нельзя понять Дюлу Ийеша, его корни.

Пока Дюла Ийеш надписывает книги, я стараюсь представить, каким был этот человек тогда, на Ребюде, 9, во Франции, в эмиграции двадцатых годов. Его день был каторжным днем. Так, наверное, трудился только Бальзак. Ийеш вставал в пять утра и садился за книги, как крестьянин, выходя на поле, становится за плуг. За три года Ийеш пласт за пластом отваливал залежи богатой почвы западной культуры — история, философия, литература. Поэзию Ийеш узнавал, переводя. Трудно даже представить, сколько «кизмов» им было проштудировано и отвергнуто. Он в отличие от многих знал то, что отвергает. И — почему отвергает. Начал изучение французской поэзии с рыцарской, средневековой, а заканчивал в живых беседах и спорах с Бретоном и Элюаром. Друзья вспоминают: они боялись, что молодой мадьяр надорвется от непосильной работы — ведь жил он трудно, бедно. Но широкая кость оказалась крепкой.

Приходилось читать, что первые стихи Ийеш напечатал в 1927 году. Это не так. В 1923 году в журналах со странными названиями «Повешенный человек» и «Клин» уже были стихи Ийеша. В Париже, на венгерском языке. И в США — примерно в те же годы — в венгерских коммунистических и социал-демократических газетах. В Париже Ийеш начал роман о жизни венгерской эмиграции. Через двадцать лет из этих набросков вырастает книга «Гунны в Париже».

Интересный факт: живя во Франции, Ийеш увлекается стихами В. Маяковского. Мало кто знает, вероятно, что он ряд своих стихов подписывал именем Маяковского. В 1923 году Ласло Веселы, прочитав «Левый марш», решил, что и это стихи его друга Дюлы. И позже очень огорчился, что это не так...

После возвращения в Венгрию Дюла Ийеш в трудных условиях продолжает помогать коммунистическому подполью, а в 1927 году даже участвует в весьма опасной для него акции: он отдает на время свой паспорт для одного из коммунистических лидеров, а тот не раз переезжает с ним границу.

...Дюла Ийеш передал мне книги, и мы подошли к окну. За ним под горой могуче изгибался Дунай. И я вспомнил, что поэт сказал, когда я осматривал кабинет: «А у меня здесь Дунай...» — и показал на окно. Дунай был «его Дунаем». И все в Венгрии казалось «его Венгрией». Когда-то Аттила Йожеф на свой лад переиначил «Песнь Песней»: «Волосы твои сбегают черной густой волной, как деготь благоуханный... груди твои, о любимая, — как корзины русских хлебов...» Это была крестьянская Библия. Но тот же Йожеф писал в 1936 году, когда в Германии уже были у власти фашисты, а в Испании начался контрреволюционный мятеж Франко: «Не так уж просто, знаю, признать свою тьму былых времен». Ведь в «тьме» своей истории можно было столкнуться не только с Дьёрдем Дожей, вождем крестьянского восстания 1514 года, но и с душителем этого восстания Вербёци, который велел содрать с Дожи кожу. Долг перед историей передовые художники всегда видят в различии «своего» и «не своего» не только по национальному признаку.

Как я ни пытался провести какие-то исторические параллели между венгерским урбанистски-западническим журналом «Запад» и русскими «западниками» XIX века, между венгерским «Ответом» и русскими «славянофилами» — аналогии оказывались весьма приблизительными: ведь иной была не только эпоха — иными были национальные традиции. И все-таки «Запад» и «Ответ» имели главные отличия все по той же линии противопоставления «своего» и «не своего». Есть какая-то закономерность, что левое крыло и сторонников «национальной» ориентации, и апологетов «общего гуманизма» находило в лице Дюлы Ийеша союзника, чего никак нельзя сказать о правых представителях этих направлений. Ийеш сотрудничал в «Западе», после смерти Михая Бабица стал редактором «Венгерской звезды» (преемницы «Запада»), но с 1946 года редактировал «Ответ». Менялось время, менялось содержание понятия «народничество».

Но неизменным, решающим критерием для Ийеша оставался демократизм, понимание интересов народа. Поэту пришлось жить при Гембеши и Хорти. В его тактике — гражданской и эстетической — нашли применение и символика, и иносказательность, и уход от прямоты поэтического разговора. Но при этом сердцевина древа его поэзии оставалась целой и здоровой. Мастер культуры, он ненавидел фашизм, и этому голосу протеста вторили и давние, прочные голоса — они шли из батрацкого детства, от сопротивления насилию богачей, спеси графских претензий на власть, дворушничеству и угодливости рабов, выбивающихся в люди. «Пуста (в значении хутор, выселки. — В. О.) похожа на знойное болото, — писал Дюла Ийеш, — и тот, кто выходит из него, неминуемо зябнет, потому что не может акклиматизироваться в высоком мире». Так может сказать только человек коренной связи с землей, его породившей. Но в этих словах я вижу и признание державшей, вяжущей силы старого. Недаром в поэзии Ийеша сильны оба начала — органичность и демократизм, с одной стороны, и стремление к смелому познанию противоречий, приятие чужого полезного опыта.

Вообще ему, Ийешу, кажется, что противоречие между так называемым «новаторским» направлением в поэзии и глубиной постижения народного духа — мнимое. Он всегда думал только о выражении сокровенного, а современным делало его время, в какое он живет. Экспериментов в поэзии он не то чтобы не любит, а попросту не замечает, пока они не стали формой наилучшего проявления мысли стиха. Мне показалось, что Ийешу понравились стихи Твардовского — я прочитал их ему, — где он говорит, что никому, даже Льву Толстому, не может перепоручить сказать о том, что знает сам и только сам. Ведь у Ийеша есть стихи, где он сравнивает себя с разрушенным бастионом.

Плакать не надо, а дайте немного покоя,
Может быть, снова воздвигнусь самим я
собой!

«Нет бога, чтобы нас карал, и вовсе нету бога, — говорит он в другом стихотворении. — Пускай обрушится беда — мы стоим неплохо!»

В стихотворениях «Барток», «Стеклянный мир» есть прекрасное ощущение со звучаия людских сердец, человечности и

братства. «Рукопожатия» — русское издание его стихов недаром носит название одного из примечательных стихотворений.

Мудростью, спокойствием, но и холодом веет от его последней книги прозы. «На лодке Харона (Приметы старости)» называется она. Но зато как молодо-прекрасны его произведения о далекой юности! Русский читатель может убедиться в этом, раскрыв хотя бы книгу его стихов на поэме «Юность». Какие-то места отзвуком долголетнего возвращения к забытой любви перекликаются для меня с «Анной Снегиной». А читая поэму «Слово о героях», то ее место, где крестьяне весело и дружно лунной ночью крадут всем селом графское сено, я вспомнил запись Блока в дневнике — о комете Галлея, которую, встав пораньше, он не увидел. Зато увидел Блок, как крестьянин крал его, «господскую» солому, чтоб согреть голодных детей. Какая сила страстного стыда, толстовской разоблачительной ярости, правдоискательства и совестливости в этой записи поэта! Позор своего класса художник ощущает как свой позор. Дюла Ийеш был с теми, кто «крал» господское сено, зная, что делают они дело божеское, справедливое, хотя никто из них не читал Прудона и не мог апеллировать к его крылатым словам, что «собственность — это кража». Но и русский дворянин и венгерский батрак были поэты. И этого было достаточно, чтобы определить свое место в этом споре нужды с несправедливостью.

...Тепло простились мы с Дюлой Ийешем в маленьких темных сенях. Сырой ветер дул с реки. Садилась в машину и смотрели через стекло на провожающих хозяев.

А вечером я говорил с Иштваном Шимон, одним из интереснейших поэтов, моим ровесником.

— Я узнал поэзию вообще через Ийеша. Стихи эти были зеркалом моей жизни. Я увидел себя, свою деревню. Это было при Хорти. Я ходил в гимназию, где все было реакционно, условно. С одной стороны — были стихи Ийеша, с другой — официальная правда. Я мог измерить правду, так как опыт вел меня к Ийешу. Стал бы я поэтом, если бы не попробовал пойти по пути Ийеша? Вряд ли. Но все было так похоже у него на самую жизнь мою, что я осмелел и стал писать как умел о том, что я знал. Нас было много, «народников». Пришла новая жизнь, иным стало крестьянство. История нам помогла. Нужно было создавать и новую форму поэзии. Но Дюла

Ийеш оставался для нас как пример. Может быть, и нет непосредственной связи Ийеша с молодыми, но хорошо, что он есть. Есть человеческая связь.

Я напомнил Шимону, что критик Иштван Кирай считает Ийеша «самым ценным явлением венгерской поэзии» после Йожефа и Радноти. И что из него вышли такие разные поэты, как он, Шимон, Ласло Беньямин, Михай Вац, что они многим, во всяком случае, обязаны мэтру. Шимон утвердительно кивнул головой.

Он считает, что широта Ийеша, значительность его фигуры в венгерской поэзии определена тем обстоятельством, что он символизирует направление, которое подняло крестьянскую поэзию на европейский уровень. В середине пятидесятых годов, когда расширилось наше культурное общение с миром, намечается, по мнению Шимона, и нивелировка стиля «под модернизм». И здесь авторитет Ийеша был важен для защиты национальной формы. Через его поэзию венгерская традиция продолжает жить на уровне общеевропейской поэзии, считает Шимон. Ийеш — наш критерий национального поэта, который никогда не был и не мог быть националистом, его демократизм живой и правдивый. В драмах и эссе он показал реальную историю Венгрии, без иллюзий, полную противоречий.

...У Антала Гидаша и Агнесы Кун я был дважды. Последний раз мы говорили и об Ийеше. Гидаш долго жил у нас, видя Венгрию в мечтах. Теперь он видит ее реальной, сегодняшней. Любит ее какой-то болезненно-нервной любовью, как человек, которого надолго разлучали с любимой. Он пишет грустные, но мужественные стихи о возрасте — своем и века. Мне очень понравилось стихотворение, которое мне перевела в подстрочнике Агнеса:

«Под штурмом этих вопросов балдею совсем. — Как у вас с сердцем, с почками, с печенью, легкими, нервами, руками, ногами? — И только наиточнейше о наиглавнейшем забывают: а как у вас с миром?» («В амбулатории»).

Я понял, что отношения с миром для Ийеша, скажем, и для Гидаша волею судеб давно строились по-разному. Они дружат, но трудно найти двух поэтов, более далеких друг другу по эстетике, принципам творчества. Особенно интересно, как Гидаш видит Ийеша. Гидаш, как Аттила Йожеф, шел от городской окраины, Ийеш — от де-

ревни. Впрочем, это не совсем точно. В русской традиции проблема деревни, крестьянства занимает большое, а порою и основное место в литературе. В Венгрии до Дюлы Ййеша, можно сказать, деревня не входила в литературу с переднего входа. Ни Бержени, ни даже Петефи не дали портрета мадьярского крестьянина. Далек от этого был и Ади. Дюла Ййеш поэмами, «Народом хуторов», стихами и драмами в полном смысле открыл венгерского крестьянина, бедного, бесправного батрака, революционного пария «пусты». Его произведения имеют реальный пейзаж, реальный быт, конкретные приметы времени и места. Язык поэзии Ййеша крепок и разговорен, но в нем, говорят специалисты, нет никакого сюсюканья под «простонародность», это современный язык, которому под силу и абстрактные понятия, и сочная, выразительная деталь.

В стране, находившейся под игом Габсбургов и турков, поэзия всегда была общественной, сказал мне Гидаш, поэт открытого гражданского темперамента. Я думаю, что и Дюла Ййеш, по-своему, разумеется, мог бы сказать это. Стихи его воинственны той внутренней завербованностью гуманиста и патриота, которая не дает писателю-реалисту уклониться от боя за человека.

Дюла Ййеш открыто и радостно славит трудового человека, распрямившего плечи. Его гражданственность — в защите своего героя от всего, что ему сегодня угрожает.

Где эти кипы прокламаций, куда умчались,
улетели
из молодых моих горячих
жестиколирующих рук...

Это не сознание бессилия, это — гордое воспоминание о революционной юности.

Но таким же горячим, сильным и неуступчивым остается он и сейчас, в свои шестьдесят восемь лет.

КРИТИКА И КРИТИКИ

В польской критике, особенно литературоведении, есть глубокие и самобытные дарования. Чего стоят, скажем, работы Казимежа Выки. Это целая эпоха в науке о литературе. Я очень ценю также работы профессора Стефана Жулкевского, серьезнейшие научные труды которого опираются на социологический анализ, фундаментальное

знание общей истории. Его работа «О культуре народной Польши» (1964), как и предыдущая книга «Предсказания и воспоминания» (1963), посвящена выяснению типа культуры, созданной в результате социальной революции. Глубина и всесторонность анализа, обращение к современнейшим методам исследования (в конце книги «О культуре народной Польши» приложено сорок девять статистических таблиц по интересующим автора проблемам) позволяют отнести труды Ст. Жулкевского к наиболее существенным работам марксистской критики и за пределами Польши. Жулкевского интересуют проблемы генезиса социалистической культуры, массовой культуры, борьбы стилей в новом, социалистическом искусстве, спор о философии отчуждения и свободе творчества. В орбите его внимания — огромный фактический материал, в том числе современной культуры европейского Запада, стран социалистического лагеря. Исследователь — глубокий знаток русской культуры. В позиции Ст. Жулкевского меня подкупает несуетность, принципиальность ученого, широта концепции, точность выводов. Это оптимистическая концепция. Спор Жулкевского с Гароди направлен на защиту истинной широты реализма. Польский ученый верит в будущее социалистического искусства, в поступательное движение эстетического идеала. Но главным для него остается критерий гуманизма, борьбы за душу человека в современном мире, а не самодовлеющий эстетизм, как сказать, «фатальное новаторство». Вероятно, издание избранных работ Ст. Жулкевского, имеющих общеметодологический характер, обогатило бы наше представление о том, как развивается новая, социалистическая культура, каковы ее доминирующие черты.

Хотелось бы обратить внимание и на книгу «Опыт и мифы» (1964) Рышарда Матушевского, одного из ведущих критиков польской поэзии. В его обзорах знание поэзии опирается на историчность, уверенные и широкие концепции движения общественной и духовной мысли.

Другой тип индивидуальности — у Ежи Квятковского, критика более молодого поколения. Он талантливый эссеист, тонко чувствующий самый нерв поэзии. В ранних его работах, на мой взгляд, наряду с безусловной чуткостью к материи стиха была некоторая изощренность. В книге «Наброски к портретам» (1960) ощутима еще замк-

нутость, стремление ограничить анализ внутрিলитературными параллелями и ассоциациями. Знаток западной поэзии, Квятковский порой преувеличивает влияние школ, направлений, известных имен, тех или иных узколитературных образований. Так, трудно согласиться с тем пониманием «западничества» Ярослава Ивашкевича, которое дает критик, отсылая нас то к Полю Валери, то к Клоделю, а то и к Теофилю Готье. Квятковский говорил много верного о «сенсуализме» Ивашкевича, о его «классичности», но подчеркивая, что Ивашкевич — «поэт культуры», он нечетко определял самое культуру. От его понимания культуры веяло холодом. Поэтом олимпийцем предстал перед нами и поэт. Единственно, в чем билась жилка живой жизни, оказывалось сенсуализмом — краска, запах, цвет, музыка. «Очарованный Украиной западник» — такая формула грешила против истины, против фактов биографии и логики творчества Ивашкевича. «Западничество» художника было иного корня. В нем, на мой взгляд, имелось два основных момента. Ивашкевич по традиции воспитания, по взглядам был сторонником преемственности культуры, и старая, европейская культура с ее идеалами разума и гуманизма в его глазах не могла не олицетворять сами эти высокие идеалы. Но в беседе с журналистами еженедельника «Вспулчесьность» (1970, № 11) Ярослав Ивашкевич говорил также: «Литература непрерывно вдохновляет народ, готовит почву для новых идей — я зову это «лучением почвы», — осваивает новые концепции. Мне, например, западные идеи Жеромского казались в свое время чудачествами. Я не понимал, что, собственно, значит во втором томе «Красоты жизни» слово «Померн», зачем он вдруг вытаскивает это море. «Ветер с моря» стал началом эпохи. Так писатель показал народу, совершенно отошедшему от моря, что здесь путь, о котором следует думать». Здесь мы имеем второе слагаемое проблемы «западничества».

Патриот Польши, Ивашкевич оставался «очарованным Украиной» славянином, прежде других чувств преданным чувству национальной судьбы своей родины. В поэзии Ивашкевича славянская душа, конечно, неотделима от традиций «западничества», но не только Платон, Кант и Лессинг были его духовными учителями, как иногда получается у Квятковского. И «Возвращение на Запад» оказывалось — по воле истории, ко-

нечно, но и не без участия «лучителей почвы» — совсем не рафинированным участием в пире избранных на парнасе парижской богемы, а возвращением народа польского на земли отцов. Главного нельзя забывать: «Литература составляет единое целое, — говорит Ивашкевич, — и ее общественную роль нельзя переоценить. Это высокое назначение языка и литературы родилось и укрепилось после разделов Польши, когда они были единственным связующим звеном в разрезанном на три части государстве и народе».

Возвращаясь к Квятковскому, следует сказать, что талант критика, его способность понимать артистизм того же Ивашкевича — качества несомненные. И с каждой новой работой чувство истории, чувство контекста времени обогащает метод польского критика.

Из книг последнего времени следует отметить посвященную русской литературе работу Рэне Сливовского «От Тургенева до Чехова» (1970), представляющую собой монографию о драматургии русских классиков XIX века и о постановках пьес на польской сцене. Капитальная эта работа ждет подробного разбора специалистов русского театра, она насыщена богатыми архивными изысканиями. Рэне Сливовский — профессор Варшавского университета, он давно занимается нашей литературой. Его перу принадлежат книги о Чехове, о советской прозе пятидесятых годов. Кстати говоря, мы в большом долгу перед польскими исследователями нашей литературы. Остались почти незамеченными такие яркие и талантливые книги, как «Мальвы на Кавказе» (1969) Вацлава Кубацкого — своеобразный литературный дневник путешествия по советским кавказским республикам и одновременно исследование польско-кавказских культурных связей, или его же очерки о пребывании Мишкевича в Крыму, где дан широкий фон и русской литературы той эпохи. Надо, чтобы не проходили мимо внимания нашей критики работы о Пушкине, Маяковском, Щедрина, Есенине, которые выходили у наших друзей. В них есть и спорные мысли, но есть и очень много ценного.

Трезвый, аналитичный взгляд на современную польскую поэзию, ее поиски, заблуждения находим в книге «Поэзия сегодня» (1964) Артура Мендзыжецкого, известного поэта среднего поколения. Сборник статей интересен для нас и тем, что в нем ставятся

и вопросы, занимающие умы повсеместно: культура и цивилизация, роль интеллекта в процессе творчества, «революционирующая» литература роль кино, возвращение к произносимому слову в поэзии. Знаток и переводчик французской поэзии, Мендзыжецкий разбирает стихи Сен-Джон Перса, сборник Аполлинера «Зверинец», цикл Арагона «Эльза». Перу поэта принадлежит содержательный анализ поэзии итальянского классика современности Квазимодо.

Особое внимание привлекает книга Юлии Гартвиг «Аполлинер» (1968). В Польше она пользуется заслуженным успехом. Ее читаешь с удовольствием. Это очень хорошая проза. Жизнь Гийома Аполлинера (в этом году исполняется девяносто лет со дня его рождения) — крупнейшего французского поэта XX века, в жилах которого текла славянская кровь, — рассказана с такой степенью достоверности, что кажется, ты познакомился с ним сам и знаешь все его черты характера, слабости и причуды. Гийом-человек раскрывается нам полно. А художник? Ведь это, пожалуй, главное? Манера повествования Гартвиг оригинальна. Кажется, она просто решила повести нас в парижские кафе и подслушать разговоры завсегдатаев, подробнейшим образом обсудить меню, анекдоты, сплетни, выяснить отношения людей и в быте найти толчки к симпатиям, антипатиям, капризным модам, поведению... Париж — равноправный герой романа. Его художественная жизнь — салоны художников, мансарды, жизнь улицы, старые дома, их история, ночная жизнь города, лихорадочная, полная контрастов, — мы читали и не читали о таком Париже. В рассказе Гартвиг по-новому предстает и богема. Она выписана реалистически, во всей ее пестрой сложности и противоречивости. В этом быте много от позы, рекламы: Жарри, пьющий абсент с красными чернилами, зеленые волосы Бодлера, Сандра, ломающий стулья во время чтения стихов на эстраде, Поль Пуаре, законодатель мод («Я одевал весь Париж»)... Старая, как мир, тема моралистов всех времен: суета людских сердец. Но кто были эти люди? Что стояло за их плечами в прошлом? Аполлинер — гувернер, банковский клерк, редактор делового бюллетеня «Справочник рантье»; Брак — сын ремесленника; Вламник — сын «чрева Парижа», выросший в его миазмах, хорошо владевший жаргоном грузчиков; Дюфи — ученик в бакалейной лавке... И черты гения скво-

зили сквозь богемную накипь: Пикассо жил в мансарде, где ночью замерзала вода, но отказывался печатать рисунки в бульварном журнальчике, где щедро платили, весело бросал в печь наброски, которые ему не нравились (чтоб согреться!).

Юлия Гартвиг не идеализирует героев своего романа, она хочет их понять. Вот почему она может и любоваться ими, прощать слабости ради величия их подвига перед искусством, но может и иронически комментировать их позерство. Ее глаз по-женски цепок и беспощаден, но перо знает твердую мужскую линию. Один штрих: жена Гийома выбрала в жизни «хороший тон и сказку» — и в контексте жизни и характера Аполлинера ясна трещина, причина трагедии: нельзя ведь сочетать в одном характере две столь противоречащие друг другу черты — фантазию и расчет... Париж «Блюшиного рынка», букинисты — кажется, мы знали этот Париж. Но у Гартвиг он особенный. Она заставила нас порыться в книжном «развале» так подробно, как никто до нее, она объяснила разницу между разными категориями букинистов и покупателей, тщательно рассмотрела одежду каждого персонажа и по-женски оценила, где и когда он купил ее... Шутливо, но и серьезно она поведала нам о «пустяковых событиях», которые, однако, «входят в историю и приобретают вес свидетельств». Потому, например, что Аполлинер, может быть, и не знал бы так досконально Париж, если бы не вел кочующего, неупорядоченного образа жизни из-за долгих и трудных отношений с матерью, а потом с женой. Потому, что в «Облачном призраке» мы встречаемся с уличными акробатами, которых, кстати, рисовал и Пикассо, и эти акробаты, оказывается, такая же примечательная подробность парижских улиц начала века, как русская шарманка. Много в поэзии Аполлинера становится понятным, когда прочитаешь книгу Гартвиг. И многое — в жизни русского искусства той поры. Вот знаменитый балет Дягилева, покоряющий парижскую публику музыкой Стравинского и Прокофьева. Россия пришла как открытие. Но вот постепенно балет Дягилева вводит французские мотивы — музыку пишут Дебюсси, Пулен, Сати. На сцену вторгается кубистская живопись. Что в балете Дягилева остается «русским», а что «французским»?

Многие страницы книги показывают закономерности и случайности миграции сю-

жетов, форм, их рождения. Мало кто знал, наверное, что распространенная всюду на Западе манера печатать стихи без пунктуации пошла фактически от лени Аполлинера, который, просматривая корректуру «Алкоголей», обнаружил большое количество опечаток, главным образом в пунктуации, и махнул на них рукой: печатайте вообще без запятых и точек! Гартвиг пишет об этом с улыбкой — «говорят», — но как это похоже на истину!

Атмосфера мистики и «рока» была в воздухе эпохи. Нетрудно сопоставить игры русской символистской интеллигенции с увлечением, скажем, Жакоба гаданием на кофейной гуще или со специализацией Блэза Сандра на чернокнижье, знахарстве, процессах ведьм. Через малое, как бы «лишнее», «случайное» исследователь открывает большое. Из быта и частных судеб прорастает история, воздух эпохи, колорит места и времени отзывается в искусстве. Известна ирония историков литературы по поводу страстного желания Аполлинера стать французским подданным, мечты поэта о розетке Почетного легиона, но надо знать, что на то были объективные причины: Франция переживала период «патриотической» экзальтации. Вспомним позорное «дело Дрейфуса». Обыватели имели большую силу, мещанство в эти годы трвило иностранцев. Париж был городом художников-иностранцев больше, чем мы предполагаем. Кроме Пикассо и Аполлинера, можно назвать Модильяни, Шагала, Маркуса, Хуана Грисса, Сутина, Гертруду Стайн, скульптора Бранкузи и других.

Ценность книги Юлии Гартвиг в том, что она тонко различает новаторство и жульничество, творчество и игру честолюбий, — иными словами, понимает истинное в искусстве. Очень хорошо написан портрет Пикассо, верно подчеркивается, что Пикассо и Аполлинер начали с прочного знания старого искусства. Их бунт — «бунт против чрезмерной любви» к традиции, мешающей видеть жизнь и движение времени, но никак не бунт против преемственности.

Несколько слов хочется сказать о польском журнале «Поэзия», который начал издаваться в 1967 году. Его теоретический и художественный уровень, внимание к процессам зарубежной поэзии заслуживают всяческой похвалы. Он публикует действительно талантливые произведения, много места уделяет истории отечественной поэзии, не чуждается творческих споров, печатает

переводы крупнейших деятелей иностранной культуры, ежемесячно рецензирует книги о поэзии в своей стране и за рубежом. Хорошо, профессионально ведет раздел «В Советском Союзе» критик Анджей Дравич. Такой тип специального журнала, о котором мы давно мечтаем, очень помогает развитию поэзии Польши, ее теоретической мысли. Журнал «Поэзия» иллюстрируется. Часто это «сквозное» тематическое оформление, рисунки одного художника. Так, в № 8 за 1970 год напечатана серия художницы Барбары Гавдзик-Гжозовской, а в конце номера под рубрикой «Заметки об авторах» дается оригинальный стихотворный комментарий к ее работам поэта Тадеуша Ружвиача. Долгие годы в Польше фактически существовал только один литературный журнал — «Творчество» (под редакцией Я. Ивашкевича), да еще один журнал драматургии и теории драмы «Диалог». Теперь поэты получили свой орган печати.

ЭХО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

...Ну, вот мы вернулись и к Югославии. Вернулись потому, что начал я рассказ о Белградской встрече писателей со странной повесткой дня: «Гуманизм — агония или возрождение?» Я проехал по местам партизанских боев в Словении. Я встречался с людьми, прятавшими партизан — югославских, русских, итальянских, — лечивших их раны, с самими партизанами, их командирами и комиссарами, с художниками, которые рисовали своих товарищей в землянках и лесах, рисовали себя, свою юность, свои надежды. И вот — рассказы некоторых писателей, оттеняющие, контрастирующие, вспоминающие и раздумывающие над проблемами человека и общества, войны и ее последствий, героизма и трусости...

У одного из югославских писателей, Антуана Шоляна, есть интересное рассуждение о связи писательской биографии и творчества. Он говорит, что биография художника подобна роману. Помимо воли, рассказывая о себе, он отбирает факты, оставляя ненужное как материал для сплетен и пересудов обывателей. Настоящая биография — это произведения писателя, его духовная жизнь.

Мне кажется отнюдь не случайным, что это говорит югославский писатель. Первое, что бросается в глаза, когда читаешь юго-

славские рассказы последних лет¹, — плотная, я бы даже сказал, предельно тесная связь писательской и человеческой биографий. Разделить их трудно потому, что в подавляющем большинстве случаев писателями сделала авторов отечественная, партизанская война против фашизма. А те, кто и до войны писал книги, с полным правом могут сказать, что после войны в их творчестве наступил новый этап. Война с немецко-итальянскими оккупантами была главным рубежом в духовной жизни всех поколений. Жизнь — полная героизма, самоотвержения, нечеловеческих трудностей, мужания, становления характера под дулами карателей, отрешения от эгоизма рядом с трупами близких, на глазах заносимых снегом в ущельях Боснии, Хорватии, Черногории...

Почитайте биографические сведения: порой кажется, что они просто повторяют друг друга — так много в них общего. Можно нарисовать типическую жизнь без имени, и почти каждый узнает в ней себя. Вот о каком «романе» жизни тут идет речь!

...Детство начинается с ощущения «вкуса несправедливости», мать стирает рубахи боснийских рабочих, пропитанные кровавым потом, мальчики собираются после школы и, косясь на стены австрийского жандармского поста, идут в лес собирать желуди. Они играют в сербов и турков, а любимая их песня — «Дождик начинается, Австрия кончается...». Все повторяется. И вот один из мальчиков неудачно покушается на гестаповца, другой бежит в горы к партизанам, третий попадает в лапы к четникам... Умирает от ран отец... Мальчик ищет свою убитую мать, о которой ему рассказывали, что она родила его на Козаре... Человек прячется в стволе прогнившего дерева и, задыхаясь от удущья, слышит голоса карателей... Тифозные бойцы бредут через последний и еще и еще последний перевал... Бежавший из концлагеря работает под чужим именем на шахте...

Это не вымышленные факты. Но часть их вошла в рассказы, а часть осталась в биографиях Павле Зидара, Радована Зоговича, Антоние Исаковича, Нусрета Идризовича, Михайла Лалича...

И поэтому пусть не удивляется читатель, что здесь так сильна трагическая основа: война и эхо войны надолго остаются в юго-

славском искусстве. И на произведениях другой темы, в рассказах, посвященных современным проблемам жизни, незримо лежит ответ той поры, той меры вещей.

Главный ракурс современного рассказа в Югославии — морально-нравственный. Писателей интересует внутренняя сущность персонажа, связь его внешней и духовной жизни. Большое место занимают проблемы «вечные» в их исторически-конкретном проявлении. Например, такие, как жизнь и смерть.

Антоние Исакович вспоминает, как в детстве он впервые увидел смерть крестьянина в поезде. Покачивался вагон, шел поезд, а человек застывал, и кто-то уже зажег свечу... «Надо что-то сделать, не отдавать», — думал мальчик. В рассказе Исаковича партизан прячется от погони в ствол дерева. Силе жизни, борьбе человека с обстоятельствами противоестественными посвящен этот рассказ. Но и — анализу противоречий живой природы: здоровые деревья равнодушно смотрели на погону карателей за партизаном, спасло же его гнилое дупло... В рассказе довольно тонко и ненавязчиво проводится мысль о случайности и закономерности смерти, о нравственной неподатливости ей, сопротивлении личности смерти. В рассказе Жики Лазича «Прелюдия к смерти охотника» мы снова встретимся со звенящей тонко и едва заметно мелодией рока. Человек теряет духовную связь с сыном, давно потерял ее с женой. Одиночество человека психологически верно прослеживается как умирание. Как добровольная сдача позиций жизни. По-иному, но касаются темы смерти Нусрет Идризович («Сын гор»), Бранко Пендовский («Балкон»).

В рассказе Момчила Миланкова «В сетях вечерних сумерек» остро звучит тема моральной ответственности. Мнимая смерть девочки, которая могла бы оказаться настоящей из-за равнодушия и цепенящей расслабленности одинокого человека, становится фактором, а точнее — залогом морального возрождения героя рассказа. У Радована Зоговича тема выбора пути, нравственного сопротивления насилию решается гордой отчужденностью детей от своего богатого сверстника, который не брезгая берет хлеб из рук оккупанта. Сильный, кинематографически отчетливый рассказ написал Бранимир Шчепанович. Итальянский комендант через много лет возвращается в горный городок, где он любил девушку, но где он убивал и унижал достоинство ее сороди-

¹ В обозренье включены рассказы, написанные в 1961—1970 годах и публиковавшиеся на сербскохорватском, словенском и македонском языках.

чей. Суд совести страшен особенно потому, что брат девушки оставляет жизнь бывшему фашистскому коменданту, ныне приехавшему сюда туристом («Перед истиной»). У Слободана Новака речь идет тоже о туристе. Старуха сдает комнату богатому немцу, в котором она узнает убийцу своего сына-партизана. Прекрасно написана сцена, когда старуха дрожащими руками снимает со стены портрет сына, чтобы не... спугнуть квартиранта, а затем, пугаясь сама себя, своего нечеловеческого поступка, уходит из дому. Возвратясь, она находит крупную банкноту под портретом сына и впервые не знает, что ей делать с деньгами. Мне кажется, что С. Новак глубоко и бесощадно заглянул в человеческую душу, очень серьезно поставил вопрос перед совестью человека: выдерживает ли она еще одно испытание — временем.

Так в постановке моральных проблем сталкивается вечная тема жизни и смерти с темой выбора пути, с волевым «опровержением» страха. Герой рассказа «Сын гор» на празднике победы продолжает искать своих родителей. Он заходит далеко в лес, где еще лежат необранные трупы. Но маленький мальчик давно не боится мертвых, он родился среди них, там, на Козаре. Это бесстрашие — страшно. Тяжелый осадок оставляет рассказ. Но разве не сама действительность натолкнула писателя на такой сюжет?

Писатель из Скопле Димитар Солев остро чувствует эхо войны, разрушений, гибели близких и потому, что новая Македония родилась всего лишь четверть века назад, и потому, что землетрясение сровняло с землей то, что было восстановлено его сородичами после войны. Разрыв нового со старым в этих условиях ощутим ярче и непосредственней. Он воспринимается в некотором роде как разрыв времен. Поиски нового ведутся как будто на голом месте, от нуля. Опыт поколения, сравнительно молодого, кажется опытом стариков среди нового, совсем юного.

Но гораздо чаще мы встречаемся с попытками писателей найти линии связи, единства, непосредственной моральной преемственности нынешних поколений и того драгоценного наследия, которое оставили им бойцы против фашизма. «Последняя высота» Михайла Лалича написана с эпическим пафосом. Переход партизан, холодных, голодных, измученных тифом, под постоянной бомбежкой врага, — это не восшествие на Голгофу,

это героическое взятие последней высоты, символическая победа духа! Лейтмотив: сквозь отчаянье, бред, мираж — надежда на духовное братство, на помощь товарища, на то единство нации, класса, идеи, которое не должно, не может иссякнуть. И пока оно живет, люди непобедимы, легендарно непобедимы! Идея рассказа — сигнал тревоги, поиски единства, которое, видимо, писателю гуманист не ощущает в обществе в полной мере, но которое хочет видеть с упрямой надеждой бойца. Вспоминаю известные мне факты биографии Лалича: ранняя смерть матери, потом отца — от ран, полученных в первую мировую, воспитание у мачехи, подполье, пытки в подвалах гестапо, допросы четников, концлагерь в Салониках, бегство к греческим партизанам... Да, это биография крепкого духом человека, знающего цену верности, дружбы, плеча товарища, тепла доброго слова. Писатель более молодой, Иван Сламниг, в небольшой зарисовке «День рождения» сделал попытку показать, как естественно для людей хотя бы временное ощущение своей причастности радости и болям другого человека.

Читатель найдет и ряд рассказов, более непосредственно раскрывающих некоторые реальные процессы югославского общества, художественно отразившиеся в сюжетах критического в основном направления. Это или откровенная сатира на бюрократическое усердие, граничащее с обманом друг друга и общества в целом («Дорога» Эриха Коша), или едкое, гротескное осмеяние чиновничества и трусости («Красный автобус» Мето Йовановского), или психологически заостренная портретная зарисовка измелчания и двоедушия жалкого и нечистоплотного человека («Душно!» Ристо Трифковича), или грустная констатация отрыва некоторых высоких, но абстрактных принципов от живых судеб людей, которые безуспешно пытаются апеллировать к законам общежития, нормам общества («Неправильный треугольник» Марьяна Колара) или ищут спасения и совета в религии («Молитва о спасении» Живко Чинго).

Два последних рассказа фабульно сходны между собой. Они построены как исповедь героя перед председателем общины в первом случае и секретарем парторганизации — во втором. У Марьяна Колара речь идет о совсем непонятном для председателя общины деле. Пришел человек и долго и подробно рассказывает о своей сестре, некрасивой женщине, обделенной счастьем,

которая родила ребенка без «законного» мужа, но ребенок умер. Она больше не верит в жизнь, она несчастна. Что может сказать председатель? Ему тягостен этот разговор, он думает о том, что скоро совещание, а этот странный посетитель, в общем-то, теряет и свое время даром, и отнимает у него драгоценное время. Ведь практически посетитель сам не знает, о том ему нужно от председателя: зарядил одно — «она несчастна». Председатель не знает такой графы помощи — «счастье». Рассказ «Молитва о спасении» написан в сказовой манере, под явным влиянием Бабеля, которого очень любят в Югославии. Муж просит бога взять поскорее больную жену, о том же просит и сама жена. У них много детей, и жена обуза всем. Старый партизан, очень скромный человек и отважный, безотказный солдат, рассказывает партийному секретарю, тоже бывшему партизану, откуда у него иконки, о которых донесли родственники и которые лежат сейчас на столе парткома как вещественные доказательства. Смешно и грустно читать «Молитву о спасении». Искренность этого загнанного жизнью человека трогает и партийного руководителя, он явно смущен, ему жаль старого друга. На войне все было проще — таков, при самом различном подходе к трактовке сегодняшних проблем, вывод многих произведений.

И — на войне такое было невозможно. Вот готовится торжественная церемония по случаю сдачи/ в эксплуатацию горной дороги, которая сдана... лишь частично. Но никто ведь не поедет по ней сейчас. Будет банкет, речи, митинги, и начальство уедет себе в центр, а там будет видно, может, и достроим дорогу. И церемония происходит, и говорятся речи, и разрезается ленточка... («Дорога» Эриха Коша). Вот старый холостяк с любимой собачкой, этакий «Умберто Д.» на югославский манер, бойкотирует кафе и магазины, куда запрещается вход с собачкой, а затем и вообще все, что ограничивает права человека и говорит, в сущности, о недоверии к нему, — ах, эти плакаты и вывески о том, что нельзя, запрещено, возбраняется, не рекомендуется и т. п. Притча «Сто правил, сто запретов» написана Смиляном Розманом веселым и легким пером, в полуфантастической манере.

Гражданская активность писателей-реалистов заставляет их обращаться к теме детства. Эта тема повернута и в прошлое, помогает раскрывать внутренние процессы современности, и обращена в будущее. Можно

даже сказать, что здесь наиболее явное скрещение времен. Глазами ребенка естественно увидеть мир в его первозданности, очищенным от лжи и напластований комплексов, отягощающих взрослое сознание. В далеком детстве художник видит истоки и начала сложных процессов настоящего. Наконец, будущее строится для детей, и надо, чтобы мы сегодня не забывали о возмездии, которым всегда оборачивается легкомысленная, короткая историческая память современников.

Вы читаете о детях у Зидара, Зоговича, Идризовича, Михайловича, Пендовского, Солева, Чопича. Я думаю, что для этого есть веские причины. Общество, литература, его выражающая, находится в становлении важных духовных институтов, пробуют новые пути, спорят и опровергают найденное. «Отцы и дети» — проблема вечная, но бывают периоды, когда к ней приковано особенное внимание.

Дети и война, дети и наследие войны. Прежде всего волнует это. «Мальчик» Павле Зидара и «Лилика» Драгослава Михайловича в этом отношении имеют одну и ту же временную основу. Тяжелая, гнетущая атмосфера сккупации, экономические проблемы, нравственное разъединение, психологические комплексы взрослых — все это накладывает болезненный отпечаток на души детей, с одной стороны, стихийно подражающих близким, а с другой стороны, рано открывающих для себя взрослый мир переживаний, не всегда доступный им и трудный для неокрепшего сознания. Мальчик Дрея пишет письмо на фронт сыну своей соседки, он знает, что цензуре нужно обманывать, и, чтобы письмо не задержали, под диктовку подмигивающей ему старухи крупно выводит в конце послания: «Хайль Гитлер!» (это у старой соседки звучит как «айда, Гитлер»). Мальчик живет в мире красивых фантазий, его мир очень отличается от окружения тягостного страха, подозрений. Интересно, что Дрея решил найти своего бога, слушая вечерние беседы отца с дядюшкой Йожей, который был то ли впрямь адвентистом и политиком одновременно, то ли лукаво прятал политические взгляды за изречениями Старого и Нового завета. Дрея видит в Йоже бога бедных, пророка добрых истин. Мальчик хочет быть его апостолом: «О, Йожа Пимпков, спаситель наш, на Еребицах еси, да буду я по воле твоей апостолом Петром. Знаю я, что под посконной рубахой у тебя рана, пронзенное за нас

сердце». Правда, Дрею несколько смущает привычка козопаса Йожи Пимпкова ковырять в носу, но детская вера берет и этот рубеж: наверное, Йожа делает это нарочно, думает мальчик, ведь он не хочет выделяться среди нас, простых смертных..

Одинокой и всеми покинутой чувствует себя и маленькая девочка в рассказе Драгослава Михайловича «Лилика». Так произносит ее имя немой мальчик-сосед, единственная душа, которая близка девочке, единственный ее защитник, которому она готова ответить даже любовью, такой, какая встает перед ней каждый день, грубая, непонятная, непосильная ее детскому сознанию. Ее мать — тоже по-своему жертва войны. Любой ценой, даже ценой протivoестественного отказа от дочери, хочет она завоевать место под солнцем «нормальной» жизни — с «законным» мужем, которого она любит. «Лилика» — кровоточащий рассказ. Он требует мужества и от читателя, — мужества, увидев жестокою правду жизни, не отвернуться от нее, а дослушать до конца, принять ее в свою душу, понять, что «пронзенное за нас сердце» в конечном счете есть у многих жертв жизни, потому что мы, все мы, так называемое общество, всегда ответственны за раны ближних, даже если нам кажется, что они нанесены не по нашей вине. Особенно же это касается искалеченных судеб детей. Анализ правды, как бы жестока она ни была, — удел реализма гуманистического, нравственного.

В семье героя Бранко Пендовского («Балкон») отчужденность отца, непонимание им детей, возможно, могли бы привести к той ситуации, которая сложилась в жизни героев Жики Лазича («Прелюдия к смерти охотника»), — глухая стена непонимания, холодное равнодушие к чужой душе, даже если это душа самого близкого тебе человека. Разные писатели по-разному подходят к теме. У Пендовского раскол семьи происходит на почве разного отношения к патристическому долгу: старший сын ушел в партизаны, отец — шкурник, трус. У Лазича — свой, далекий от открыто общественного ракурса подход к проблеме одиночества. Но оба рассказа интересны и показательны, оба раскрывают какие-то грани общественного сознания, мира души современного человека, проблемы семьи.

В рассказе Антуана Шоляна «Цыганочку кто ищет?», написанном мастерски, в особой, символической, манере письма, где явь и грезы причудливо сплетаются, реальные

картины действительной улицы, города постепенно превращаются в фантазмагорию, в болезненный миф о бегстве человека от оупляющей автоматизации жизни, — в этом рассказе есть сцена расправы над беззащитным человеком — так бьют человека хулиганы на любой улице любого города мира. Но главное в этой сцене — в том же чувстве личной ответственности. Оно волнует многих писателей, которые не могут, не хотят примириться с «атомизацией» общества, с чисто потребительским отношением к жизни цивилизованного мещанства XX века, охотно принимающего любую регламентацию в укладе жизни, лишь бы она не вступала в противоречие с привычным удобством, которое ценится превыше всего. Главный персонаж рассказа, психика которого не выдерживает этого фальшивого, протivoестественного окружения, отнюдь не борец. Он бежит в мир грез, который для него символически воплощается в заостренном до гротеска образе нищей цыганочки. Жизнь с ней герой предпочитает своей прежней жизни среди «добропорядочных» людей, спокойно взирающих на то, как бьют человека.

Из прозы самого последнего времени хотелось бы отметить рассказы черногорца Сретена Асановича — емкие, короткие миниатюры, мужественные, в полном смысле слова «мужские» произведения, навеянные событиями войны, — а также превосходные новеллы Мето Йовановского, македонского писателя, острого, ироничного, внимательного к живым процессам действительности.

Художественное своеобразие югославских рассказчиков видно отчетливо. Чаще всего это лирический рассказ, где речь ведется от первого лица. Обращает внимание пристальность, с которой рассматривается внутреннее состояние героя. Общим мне представляется прочная демократическая основа творчества, что выражается во всей системе художественных средств, прежде всего в языке. По большей части это язык современной литературы, не чуждающийся просторечия, разговорный язык разных социальных слоев и лексических пластов речи. В ряде произведений (Шолян, Лазич, Исакович, Миланков) сделана попытка проникнуть в подсознание, проследить ход психических процессов, опосредованную связь с внешним, материально детерминированным миром. Отчетлива тенденция к объективности повествования, которая исключает заметное читателю явное вмешательство автора. Интересно сочетание

лирической напряженности повествования, как будто требующей и предполагающей «личный» характер позиции автора, с остраненностью его самого как носителя тенденции. Это можно проиллюстрировать на рассказах «Душно!», «Сто правил, сто запретов», «Прелюдия к смерти охотника» и др.

Все это я говорю с целью разобраться в некоторых аспектах новой прозы. Новой, готов признать это, для нашего читателя. Очень может быть, что на фоне современной югославской литературы эта «объективная» линия письма не так отчетливо разнится от других направлений, как это имеет место в нашем восприятии. У каждой национальной литературы свои традиции, свои пути эволюции.

В конце хочется остановиться на маленьком рассказе Бранко Чопича «Мой поход за месяцем», который мне представляется большой удачей этого писателя. Мальчик и дедушка, большого практического ума человек, сидят ночью у костра. Дед выпил с другим стариком, шорником. Светит месяц. Ребенок затаил дыхание: месяц «выбирается из редких деревьев, что на берегу ручья, сияющий, близкий, — дотянуться можно...». Говорят, его можно зацепить граблями? А может, это сам мальчуган додумался, только взял он однажды в лунную ночь и пошел с дедом Петраком, шорником, доставать граблями месяц... На горе были уже, вот-вот дотянутся, но месяц удрал от них на другую гору. Дед кричал им от далекого костра, чтоб бросили глупости, но Петрак, бродяга и фантазер, не вернулся, повел мальчика сквозь таинственную ночь. И концовка рассказа полна прекрасной, трогательной за душу поэзии возможностей человека, несытости его души, грустью понимания, что нельзя пронести каждому через всю жизнь эту загадочную красоту открытия себя и мира. «Так мы стоим посреди полной лунного света ночи, над неизвестными местами, лицом к лицу с величавым, негреющим заревом, и от него немного страшно и тоскливо, но рядом со мной этот смелый, бодрый духом скиталец, который все хочет и все может, а внизу, в долине, меня ждет другой, добрый и милый старик, который хотя бы будет грустить и помнить обо мне, если я потеряюсь, идя за месяцем».

Те, кто все может и все хочет, передают эстафету новому поколению, но и те, кто остается у теплых костров памяти, уставшие и трезвые, не очень, может быть, и нужные новым поколениям, участвуют в передаче духовного опыта хотя бы тем, что «будут грустить и помнить» о тех, кто ушел дальше них, потому что в осуществившихся мечтах молодости есть и их неосуществленная мечта...

Читая подобные произведения, обогащенный и просветленный, как бы подымаешься к чистому воздуху вершин, оставляя позади суровые и тяжелые воспоминания о крови, жестокости и слабости мира, вновь повторяя его напряженную борьбу за дорогу на этот высокий перевал. И видишь, что впереди и рядом идут смелые, героические люди, готовые подать руку и поддержать тебя на крутизне, люди, для которых эхо совместной антифашистской борьбы отзывается надеждой на то, что высокий перевал окажется «последним» на пути к счастью.

* * *

В пределе моего внимания оказались вещи разномасштабные и, вполне возможно, не самые характерные для той или иной литературы — что делать, обзор ограничен прочитанным мною за последнее время, запавшим в мою, поневоле избирательную, память, но, кто знает, быть может, в этой капелке читательского мнения отразится и более широкая картина и эти рекомендации окажут скромную пользу и тем, кто читает, и тем, кто издает. Отчасти я руководствовался еще и таким соображением: часть произведений уже переводится или издается — пусть мой комментарий поможет читателю ориентироваться в круге новых для него имен и произведений. Взяв впоследствии в руки книгу, о которой он узнал впервые из этого обозрения, читатель сможет сопоставить свое впечатление от прочитанного с тем, какое сложилось у него после ознакомительных рекомендаций обозревателя. И, разумеется, едва ли не главная цель моей работы — элементарная потребность нашей критики начать обобщение текущего процесса взаимовлияний советской литературы и литератур братских стран. Надо ли говорить, как это важно.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БОРИС ЯРАНЦЕВ

★

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Во втором номере «Нового мира» за прошлый год был опубликован очерк Елизаветы Драбкиной «Сестра», посвященный Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаровой. Повествование об интересной и духовно богатой жизни вызвало много мыслей — и прежде всего мыслей, связанных с литературной Ленинианой, к которой сама Анна Ильинична относилась исключительно заинтересованно и взыскательно. Старшей сестре Ульяновых принадлежат бесценные историко-документальные работы, воссоздающие образы братьев — Александра Ульянова и Владимира Ильича. Достаточно напомнить, что ее «Воспоминания об Ильиче» и «Детские и школьные годы Ильича» выдержали десятки и десятки изданий и сохраняют свое обаяние и по сей день.

Говоря о воссоздании Анной Ильиничной образа Александра Ульянова, автор очерка «Сестра» справедливо отмечает: «Высшим своим долгом она почитала сделать все, чтоб разобраться до конца в деле 1 марта 1887 года, — деле, которое такие знатоки русских политических процессов, как Гернет и Щеголев, считали одним из самых засекреченных в истории российского судопроизводства, — а вместе с этим увековечить в памяти потомков образ брата и его односельцев».

Нравственное влияние старшего брата, этого выдающегося деятеля позднего народничества, отчетливо сказалось на формировании личности Владимира Ильича, его революционных взглядов. Вот почему А. И. Ульянова-Елизарова с такой серьезностью относилась к книгам, рисующим деятельность Александра Ульянова, изображающим личность этого замечательного революционера. Именно поэтому она подвергла такой резкой критике «Повесть о старшем брате» С. Спасского, где действующими лицами были Митя и Боря Лукьяновы, имевшие своими прототипами ее братьев. Об этой критике нам сегодня напомнил очерк Е. Драбкиной «Сестра».

Данная повесть С. Спасского испытания временем не выдержала. И тем не менее совершенно права Е. Драбкина — стоило вспомнить об этом давнем произведении. Оно стало поучительной страницей нашей художественной Ленинианы, — разве в некоторых современных произведениях, в кинофильмах, в пьесах мы не встречаемся с теми же самыми недостатками и просчетами, о которых в свое время вела разговор А. И. Ульянова-Елизарова?

Нужно помнить, что тогда, когда эта повесть публиковалась (в конце двадцатых годов), литературная Лениниана делала только первые свои шаги. Писатели, видевшие или знавшие живого Ильича, пытались воссоздать образ Ленина главным образом через преломление в сознании своих героев таких понятий, как победа революции, мир, земля крестьянам. «Отношение к Ленину становится важнейшим средством раскрытия существенных сторон народного миропонимания»¹. Именно такое «видение» образа вождя характерно для известных произведений двадцатых годов — «Брønнепоезда 14-69» Вс. Иванова, «Перегоня» Л. Сейфуллиной, «Письма к Ильичу» П. ЗамоЙского, «Нахаленка» М. Шолохова.

Но тогда же появились и первые, еще очень робкие попытки ввести в произведение непосредственно образ живого Ленина: А. Аросев «Недавние дни» и «Сенские

¹ В. Баранов. Правда образа — правда истории. «Вопросы литературы», 1970, № 1, стр. 15.

берега», Н. Алексеев «Явь», Л. Никулин «Адъютанты господ бога», М. Борецкая «На переломе» и другие. Произведения эти вошли в историю литературы, но отнюдь не в долготелный круг чтения широкого читателя. Авторы их шли по целине, далеко не всегда их художественная смелость была подкреплена талантом, глубоким изучением материала. Такова была и повесть С. Спасского.

Уже самое название ее говорило о том, что писателю хотелось рассказать не только об Александре, но и о гимназисте Володе, о домашней среде, в которой выросли братья, ибо это была «Повесть о старшем брате», а не, скажем, «Повесть о старшем сыне».

Поэт, только пробовавший силы в прозе, Сергей Дмитриевич Спасский тогда был еще молодым литератором. Чрезвычайно смело взявшись за произведение об одном из сложных, трагических этапов русского революционного движения, обратившись к проблемам, связанным с идейным формированием молодого Володи Ульянова, автор в качестве фактической основы использовал воспоминания и документы сборника «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 года», составленного Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой.

Что же мы видим в повести? Вместо изображения того, как формируется характер героя в конкретных исторических обстоятельствах, вместо рассказа о живом и естественном взаимодействии подростка с окружающим его обществом здесь представлено словно совершающееся в герметически закрытой колбе самопроизвольное рождение и вызревание революционных взглядов. «Параллельность» развития характера героя и окружающей его жизни с самого начала порождает у читателя неверие в данный характер. Обедняется история революционного движения восьмидесятых годов, сами мотивы революционных поступков и деяний героев.

Вот пример: вдруг на студенческой вечеринке Митя Лукьянов предлагает полузнакомому приятелю Шевелеву ни мало ни много... покушение на царя!

Почему именно покушение? Видимо, потому, что прямо перед этим был у Мити такой разговор с Шевелевым:

«— Я говорю, что же дальше? Ведь этак и вправду запьешь. Ну, кружочки, ну, рефератики. Вы вот ведете кружок.— Лицо его прыгало над самым плечом Мити. Морщинки сбились и вдруг исчезли.— А может, теперь и не ведете? Нельзя и сунуться на окраины. А ежели даже и сунешься к рабочим, то не сегодня, так завтра сцапают. Ведь сцапают же наверно. А?»

— Должно быть, сцапают.— Митя хотел отодвинуться, но голова Шевелева качнулась за ним. Он дышал Мите в ухо.

— Ага.— Пальцы его завладели Митиным локтем.

— А ведь агитация дело си-сте-ма-тическое,— высвистнул он.— Дело десятилетний. Конечно, рабочий класс победит, но это когда? А может, и не победит, ежели мы сложим ручки. Ведь вытопчут все...»

Не надо быть историком рабочего движения, чтобы обнаружить в этом диалоге массу несуразностей, которые не могли иметь место в разговоре двух революционеров. Где и когда, например, а г и т а ц и я была для русских революционеров «делом десятилетний»?! Всего за десять — двенадцать лет до описываемого времени ломали копыя бакунисты и лавристы прежде всего по вопросу: а г и т и р о в а т ь народ на стихийную крестьянскую революцию или вести п р о п а г а н д у в народе? Да и дело с рабочими кружками в Петербурге в то время обстояло намного сложнее, и студенты-революционеры о б с у ж д а л и это, а не пробалтывали мимоходом...

Случайность, необоснованность поступков героев повести, слишком вольная интерпретация исторических фактов вели автора к полной оторванности революционных поступков героев от живой, подлинно существовавшей практики революционного движения. Отрыв этот, бросавшийся в глаза читателю, видимо, немало мучил и автора. Не отсюда ли возникает в повести ложный психологизм, как бы призванный восполнить собой отсутствие конкретной связи поступков героев с реальными жизненными обстоятельствами восьмидесятых годов?

Перемещаются в повести исторические акценты, рождается образ главного героя, принципиально отличный от своего прототипа. Известно, что трагизм исторического Александра Ульянова был прежде всего в том, что революционер избрал путь героиче-

ский, но историей уже дискредитированный. Сам Ульянов чувствовал это, понимал необходимость иных путей, но не знал их. И единственное, что смягчало трагизм — поддержка товарищей, революционная среда молодых студентов. Однако у Спасского получается все как раз наоборот: вместо показа исторического трагизма революционера-террориста на передний план он выдвигает трагизм одиночества героя. Ни Поворухин, ни Шевелев, подробнее других показанные в повести, ни безымянные «чернявый студент», «приземистый сибиряк» и «светлоглазый кубанец» (реальные — В. Д. Генералов, В. С. Осипанов, П. И. Андреюшкин, казненные в Шлиссельбургской крепости вместе с Ульяновым и Шевыревым) практически ни для автора, ни для главного героя никакого человеческого интереса не представляют... Между тем воспоминания современников рисуют довольно широкий круг революционной молодежи, связанной с подготовкой покушения!

Духовная изоляция Мити, молчаливого схимника,— это еще одна немаловажная причина возникновения в повести лжепсихологизма, настойчиво вытесняющего реальные жизненные связи исторического героя.

Вот одна из сцен, весьма характерная.

...Метальщики на месте и ждут царя, который должен подъехать к Казанскому собору. В эти-то минуты возникает внутренний монолог-диалог Мити с царем. «Митя пытался представить себе того человека. Странная мысль — человек. Удивительно, но человек. Одутловатый, с желтым припухлым лицом, с отеками под глазами. Тяжелый, лысеющий лоб, пегие, щеткой отдавленные назад волосы, рыжеватая борода. Митя до сих пор и не думал, что он намерен убить человека. Он увидел того с поражающей ясностью. Казалось, стены дворца стали прозрачными. Нет окон, статуй, штандарта. Нет расстояния между ними. Каких-нибудь два шага. Митя видит мятую кожу щек, мешковатый мундир, наполненный рыхлым телом, дряблые морщинки, расходящиеся от глаз.

— Вот он какой,— с удивлением думает Митя.

— Я должен убить тебя,— говорит он негромко и медленно.

Маленькие голубоватые глаза вдруг проясняются от страха. Человек растерянно шарит по столу толстыми пальцами. Митя боится, что тот не дослышит, и пытается изложить свои мысли возможно короче.

— Я ничего не имею против тебя. Я вижу тебя в первый раз. Я не знаю, счастлив ты или несчастлив, каковы твои чувства, мне неизвестны твои привычки. Да... охота,— вдруг вспоминается Мите.— Вот, вот, это я слышал, ты любишь охотиться. Человек успокоился. Он даже кивнул головой.

— А я никогда не охотился. У меня... Нет, нет, это глупо. Зачем говорить о себе,— одергивает сам себя Митя. И тут же понимает, что договариваться нелепо. Человек в кресле, стол, кусок кабинета стремительно отъезжают назад.

— И вот я убью тебя. Или... может быть, ты... меня.

Последние слова Митя кричит в пространство, неожиданно выросшее между ними. И между ними непроницаемая, лепная громада дворца. Между ними невидимые, но непреклонные законы действительности, поставившие их на разных концах вселенной, но друг против друга».

Здесь весьма точно сказались и ложная психологизация, и «беллетристическая» сущность повести.

Вместо богатого внутреннего мира ученого-революционера Александра Ульянова, вместо всей трудности подготовки покушения, сложности и противоречивости отношений реальных революционеров — беллетристические красоты, непонимание диалектики развития революционного движения в столь сложную для России эпоху. Волею автора здесь противопоставлены не самодержец и революционер, а два человека, живущих, имеющих естественное право на жизнь. Они ведь не знают ничего друг о друге («Я ничего не имею против тебя... Я не знаю, счастлив ты или несчастлив, каковы твои чувства, мне неизвестны твои привычки. Да... охота...»), но один из них вышел убивать другого!

Однако и современники революционера, и потомки отлично знали, за что поднимали руку на Александра III Ульянов и его товарищи! Почему же палаческая сущность царя начисто ушла из книги? Ее нет — вот и становится возможным нелепейший

разговор с царем. Созданный для «психологического углубления» образа Мити, подобный «монолог» невольно оправдывает тех, кто обезоружил заговорщиков. К сожалению — и это уже точно соответствовало концепции автора, — в повести абсолютно обойден молчанием суд над революционерами, суд, где эти люди прямо и во всеуслышание сказали о своем революционном кредо.

Эти недостатки повести имели и еще одно важнейшее следствие — они сказались и на образе брата младшего. Серьезное различие во взглядах на развитие революционного движения в России, существовавшее между братьями Ульяновыми, нисколько не отрицало глубочайшего нравственного влияния старшего брата на брата младшего. Именно это нравственное влияние во многом формировало и интеллект юного Володи. Быть «как Саша» для юного Володи Ульянова было жизненным принципом! Однако такой Митя, как в повести, не мог стать примером для формирования взглядов Бори Лукьянова. Нравственный план воздействия старшего брата на младшего (удивительно серьезно и глубоко показано это в воспоминаниях Ульяновой-Елизаровой) фактически уходит из повести. Два небольших отрывка, посвященных младшему брату, точнее — восприятию младшим братом поведения брата старшего, отчетливо иллюстрируют это. Не считая сцены детской «игры в лошадки», мы встречаемся с Борей Лукьяновым уже на последней странице:

«Дом опустел. Мать в отъезде, сестра и Митя в тюрьме. Боря решал задачу. Крепкие пальцы схватывали костяные шейки коней, по диагоналям ломились слоны, верная башня ладьи поддерживала наступление. Митя вошел и стал рядом. «Сюда», — сказал он, называя обозначение клетки. Митя — старший. Митя все знает. Боря коснулся пешки. Круглоголовые стголки вытянулись острым клином. Казалось, фигуры движутся сами. Угловата поступь коней, центр под косым прицелом слонов. Площадь шахмат стала огромной. Бронированная ладья подхватила Борю. Он стоял на ее массивном фундаменте. Он говорил, сильно выкинув руку. Ладья грузно катилась вперед.

Боря очнулся. Мити не было. Сон мгновенно исчез из сознания. Лампа начинала коптить. По стеклу вытянулась бархатно-черная полоска.

— Надо учиться, — почему-то подумал Боря. — Надо спать, — сказал он, подкручивая фитиль».

«Торжество» орнаментальной прозы здесь особенно безвкусно: «бронированная ладья», на которой стоит Боря, «сильно выкинув руку»... Нарочитость, неорганичность образов шахматных фигур для пророческого «видения будущего» Бори... Говорить же об исторической логике отрывка, в котором Митя указывает путь Боре («Митя — старший, Митя все знает»), и младший брат, послушный старшему, вскоре оказывается на «бронированной ладье»... Нет, об исторической логике лучше уж и не говорить...

Повесть неопытного прозаика невольно обернулась обеднением образов реальных революционеров, упрощением сложного периода революционного движения.

Это упрощение и это обеднение особенно отчетливо видны на фоне исторических материалов — «Воспоминаний об Александре Ильиче Ульянове» Ульяновой-Елизаровой, воспоминаний современников и свидетелей событий, документов следствия и судопроизводства, связанных с процессом над революционерами. Все это содержалось в сборнике «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 года».

Повесть С. Спасского вызвала справедливое возмущение А. И. Ульяновой-Елизаровой. Свое открытое письмо, обращенное к журналу «Новый мир» и опубликованное 1 марта 1930 года «Комсомольской правдой», она назвала «Против плагиата, литературной выдумки и вранья». Ульянова-Елизарова обвиняла автора повести не только в плагиате (когда «целые страницы разговоров списаны с книги»), но и в том, что образ главного героя повести «оказывается не только совершенно далеким от действительности, но даже искаженным».

Понятно, что смысл этого письма не ограничивался критикой повести молодого литератора. Автор ставил важный вопрос о самих принципах обращения литератора к образу Ленина. О невозможности и непозволительности использования исторических документов и воспоминаний о Ленине (или иных вождях и героях революционного движения) для бездумных, легковесных и беспомощных монтажей или беллетристических поделок. Обращение к историческому документу неизбежно в работе литератора над историко-революционной, как и вообще над всякой исторической темой, но литератор

обязан быть верен духу документа! При обращении к воспоминаниям он не имеет права «перекраивать и извращать мысли» автора воспоминаний!

Позволю себе в связи с этим еще раз вернуться непосредственно к повести С. Спасского. Вот сцена, которая у С. Спасского, казалось бы, дана максимально приближенно к воспоминаниям А. И. Ульяновой-Елизаровой: последнее, предсмертное свидание Мити с матерью.

Читаем у А. Ульяновой:

«На одном из свиданий он сказал:

— Я хотел убить человека,— значит, и меня могут убить.

После суда, в доме предварительного заключения, убитая горем мать долго убеждала и просила его подать прошение о помиловании.

— Не могу я сделать этого после всего, что я признал на суде,— ответил Саша,— ведь это было бы неискренно».

Читаем у С. Спасского:

«Мать... осторожно натягивает слабую ниточку надежды:

— А что если ты напишешь на высочайшее имя?»

Митя встряхивает головой, и ниточка лопнула.

Он говорит и ей, и себе. Он ставит слова во весь рост перед собственной совестью. От легкого удивления он переходит к уверенности.— Но это же бесполезно. Согласись, мама. И потом... Как же это выходит? Я хотел убить человека, значит, и меня могут убить».

Как похожи и как между тем внутренне различны эти две сцены при максимальной, казалось бы, точности и слов и деталей! На просьбу матери «подать прошение о помиловании» Александр отвечает: «Не могу я сделать этого после всего, что я признал на суде, ведь это было бы неискренно». Митя же у С. Спасского на ту же просьбу матери дает ответ, который прямо вытекает из мысленного разговора Мити с царем: «Но это же бесполезно. Согласись, мама. И потом... Как же это выходит? Я хотел убить человека, значит, и меня могут убить».

Так свершается подмена. Революционер Александр Ульянов не может это сделать из принципа. Не для того брал на себя вину других товарищей, чтобы прошением о помиловании перечеркнуть последние свои революционные действия на суде, фактически отказаться от веры в свою правоту! А что же Митя? Герой С. Спасского прежде всего не верит в доброту царя, который должен был бы отказаться от мести своей человеку, поднявшему на него руку! Мотив — собственной смертью доказать свои революционные принципы — начисто уходит из повести. Вот что происходит при переходе от «легкого удивления» к «уверенности»! И сколько подобных примеров можно отыскать в повести С. Спасского...

Пафосом письма А. И. Ульяновой-Елизаровой было требование бережного и уважительного обращения с историческим документом. Здесь произвол литератора может не только исказить документ, но и дать принципиально иную, в корне неверную оценку исторических событий и их участников, что и произошло в повести С. Спасского, в которой, как пишет А. И. Ульянова-Елизарова, появилось «неуважение к памяти обоих братьев,— как старшего, так и младшего,— такое некритическое обращение с их именами, с событиями их жизни...».

В своем письме А. И. Ульянова-Елизарова подчеркивала принципиальное, исключительно важное для настоящего художественного произведения положение: «Следует быть до большой степени в уровень с образами, которые рисуешь, понимать стремления, быть в курсе тех общественных идей, на основе которых разворачивались происшествия, развивались характеры, которые берешься изображать». Эти слова в тексте были специально выделены, они были центральными. Это были требования идейного, морального, наконец творческого порядка ко всем литераторам, бравшимся за историко-революционную тематику, тем более — за ленинскую тему. Требования, которые не только не устарели в наши дни, но лишь углубились, стали еще определеннее, еще четче.

Открытое письмо в «Комсомольской правде» было тяжелым ударом и для журнала «Новый мир», и для автора «Повести о старшем брате». Но оно оставляло некоторое поле для творческого спора. И редколлегия «Нового мира» очень подробно отве-

тила А. И. Ульяновой-Елизаровой, разобрав в ответе этом (подписанном В. Соловьевым, Вяч. Полонским, Ал. Малышкиным; А. В. Луначарский в это время был в отъезде, он прислал телеграмму: «С основными мыслями ответа согласен. Луначарский») вопросы, связанные с плагиатом, литературной выдумкой. Обращаясь к истории русской литературы, и прежде всего к толстовской «Войне и миру», редакция говорила о необходимости художественного домысла в произведении. Но в то же время говорила и о необходимости обращения к документам и воспоминаниям, о воспроизведении фактов действительной жизни в максимальном приближении их к исторической правде, ибо проникновение в историческую суть явлений в художественном произведении без широкого использования материалов современников невозможно. Подобные заимствования, объясняла редколлегия журнала, не есть «плагиат», а есть особенность исторических романов и повестей, в которых автор не обязан ссылаться на конкретные исторические документы и воспоминания,— «так о в обычай»¹...

Защищаясь по вопросам второстепенным (о плагиате и т. д.), редакция журнала, однако, не могла не согласиться с А. И. Ульяновой-Елизаровой в главном: да, автор повести «выполнил свою задачу слабо... облик получился выдуманный... фигура «не заражает»...». Редакция приняла основной тезис письма А. И. Ульяновой-Елизаровой, подчеркивающий огромную ответственность художника, который берется писать о революционном движении в России, о роли в нем таких великих людей, как братья Ульяновы. Практически редакция согласилась и с тем важным положением письма, что творческая беспомощность автора с неизбежностью приводит к умалению, известному снижению образов героев-революционеров.

Это был серьезный урок для редакции журнала. Нужно иметь в виду, что именно в те времена журнал публиковал на своих страницах такие произведения, как «Жизнь Клим Самгина» Горького, «Восемнадцатый год» и «Петр Первый» А. Толстого, «Соги» Л. Леонова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Севастополь» А. Малышкина, рассказы А. Платонова. Почему же в этом ряду — не совершенная повесть С. Спасского? Да потому, что журнал «позволил себе» скидку «на тему», на образ главного героя (вернее, его прообраз). Тут — корни невольного снижения требовательности редакции к произведению! Но жизнь лишней раз подтвердила неоправданность какой-либо скидки «на тему». Обращение к историко-революционной — тем более ленинской — теме неизменно предполагает идейную, гражданскую и творческую зрелость художника.

Что касается Сергея Спасского, то письмо А. И. Ульяновой-Елизаровой стало памятным уроком для молодого прозаика. Последующие повести и романы Сергея Спасского («Парад осужденных», «Новогодняя ночь», «Первый день», «Перед порогом», «Два романа») свидетельствовали о том, что писатель стал относиться к себе и своему творчеству с неизмеримо большей требовательностью. Последние же «Два романа» говорят о том, что перед нами уже серьезный и зрелый прозаик, умеющий ставить и решать в художественном произведении важные жизненные вопросы. Жаль, конечно, что Елизавета Драбкина, не познакомившись со всем творчеством покойного Сергея Спасского, столь резко отозвалась о нем вообще, создав впечатление у читателя, будто у этого литератора, прошедшего тяжелый жизненный путь, заслужившего уважение и товарищей и читателей, только и было за душой что первая неудачная повесть! Тут можно больше сказать: как раз всем своим последующим творчеством Сергей Дмитриевич Спасский доказал, как серьезно он воспринял критику первой повести, как эта критика помогла ему во всей его творческой жизни! Можно критиковать первую неудачную повесть молодого литератора, но к памяти серьезного и интересного писателя надо относиться уважительно...

Вернемся, однако, к письму А. И. Ульяновой-Елизаровой. Оно было не только критикой С. Спасского, но и всех тех литераторов, которые занимались «перепечатками, монтажом и т. п., черпанием из чужих источников», не вживаясь глубоко в историко-революционную, ленинскую тему. Письмо лишней раз заставляло подумать, сколь серьезные примеры бережного отношения к образу Ленина дают воспоминания и очерки старых большевиков. Как чутки, как скрупулезно точны в каждой детали, свя-

¹ «Новый мир», 1930, № 4, стр. 201.

занной с жизнью и деятельностью Владимира Ильича, эти люди! (Начало такой работы было положено знаменитым документальным очерком Максима Горького.) Соратники и современники Ленина собирали самые яркие факты, самые интересные слова и выражения, наиболее характерные для него, чтобы образ его явился перед новым читателем глубоким и объемным, очищенным от ненужных и несущественных случайностей. Недаром воспоминания так много дают каждому, и рядовому читателю и литератору, кто хочет ближе узнать живого — думающего и действующего Ленина!

Мы вспомнили сегодня давнюю историю с повестью С. Спасского не случайно. Поучительная страница литературной Ленинианы и дискуссия, развернувшаяся вокруг нее,—все это не потеряло своего значения и по сей день. Ибо и сегодня вопросы, о которых говорилось в те годы, актуальны, особенно задача резкого повышения художественного уровня произведений, посвященных жизни и деятельности Ленина.

Закончился 1970 год, столь важный для творческой работы над ленинской темой. Уже сейчас, до полного подробного анализа, сделанного в этот год, можно сказать, что юбилей выявил многое, он еще яснее показал всю сложность работы современного литератора над ленинской темой, открыл новые возможности расширения и углубления темы, новые подходы к историко-революционной теме вообще, к героическому характеру в частности.

Ленинский юбилей еще более приблизил нас к Ленину, к его произведениям. Выступления литературной критики выявили новые аспекты подхода к оценке литературной Ленинианы, обосновали самую методичку этого подхода.

Необходим серьезный разбор всего сделанного. Это важнейшая и неотложная задача нашей литературной критики и литературоведения. В этом плане давняя история с повестью Спасского может представить совершенно определенный интерес. Ошибки и просчеты «Повести о старшем брате» кладут свой отсвет и на иные самые современные произведения, где глубокое изучение исторических документов подменяется беллетристическим домыслом автора, где реальные исторические связи героев оборачиваются псевдопсихологическими «изысками». Чего греха ганть, в связи с юбилеем к ленинской теме потянулось немало слабых, неподготовленных рук. Но малокультурный, неопытный, творчески несостоятельный человек никогда не сможет сказать нового, важного слова в ленинской теме, он только опошлит ее! Образы эти слишком высоки, и сто раз надо проверить себя литератору, прежде чем браться за их художественное воплощение. Случайная удача здесь невозможна — она попросту не предусмотрена жизнью. А неудачи в конечном счете сводятся к тому, о чем в свое время остро и нелюбезно говорила А. И. Ульянова-Елизарова: «Следует быть до большой степени в уровень с образами, которые рисуешь, понимать стремления, быть в курсе тех общественных идей, на основе которых разворачивались происшествия, развивались характеры...»

Мы еще раз повторяем эти слова, ибо они ключевые для подхода к ленинской теме. В соблюдении этих требований — залог подлинной творческой удачи.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Марк Соболь. Путь поэта.— **Владимир Соловьев.** Проза Петрова-Водкина.—
И. Крамов. Землетрясение.— **Д. Лихачев.** Современное об античном театре.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Казимирчук. Социализм, демократия, идеология.— **Б. Козенно.** ФБР —
против Америки.— **В. Парин.** Кибернетика для всех.— **В. Буганов.** Новый
труд о русских летописях.— **Г. Бананурский.** Христологическая проблема и
факты истории.— **Эр. Ханпира.** Приобщение к научному знанию.

Литература и искусство

ПУТЬ ПОЭТА

Мargarita Алигер. Стихотворения и поэмы. В 2-х томах. Том I. 288 стр.
Том II. 312 стр. М. «Художественная литература». 1970.

Живут на белом свете поэты. Как говорится, хорошие и разные. Живут и повседневно работают. Из множества стихотворцев, зафиксированных в справочнике Союза писателей, есть несколько тебе близких. Ты читаешь их стихи — от журнала к журналу, от книги к книге. И наконец в некий час перед тобой итоговый одно- или двухтомник. Раскрывать его всегда страшно: как давние, когда-то любимые стихи будут восприниматься сегодня?

...Два томика в переплете серого цвета. Строгого, защитно-солдатского, с четкими черными литерами — имя и фамилия автора. Никаких завитушек и орнаментов, даже портрета нет. Margarita Алигер верна себе.

И вот я переворачиваю твердую обложку и читаю первое стихотворение — тридцатипятилетней давности:

Осени спокойное начало.
Август месяц,
красный лист во рву.
Коротко и твердо простучало
яблоко, упавшее в траву...

И вот через рубеж тридцати пяти прогремевших лет, через эпоху, вместившую в себя и труднейшие подступы к сороковым

годам, и Великую Отечественную, и те горести и восторги, которыми так щедро было «напихано» (термин М. А. Светлова) послевоенное время, — сквозь все это до меня, читателя, донесся не изменившийся, не задубевший на семи ветрах голос поэта.

Первое стихотворение, даже первая строчка — всегда камертон. Именно оно — или она — определяет тональность. Дальше вы уже будете, независимо от вашего желания, слушать музыку и воспринимать самую суть стиха в предложенном вам изначально настрое.

Я приступаю к чтению исповеди поэта, его повести о жизни с уважением и нежностью.

«Пусть ее был прям, как может быть прямой линия, проведенная без помощи линейки, на глаз, трепетной рукой...» — сказано в предисловии к двухтомнику Margarita Алигер. Да простит мне Павел Григорьевич Антокольский запоздалую поправку — я вычеркиваю слово «был»: пусть ее прям...

Жизнь, как бы она ни была прекрасна, неизбежно несет в себе трагедию: «Ничего не кончается в мире. Ничего. Только каждый из нас». Как бы весело мы ни шагали по жизни, на обочинах остаются памятни-

ки, холмики, пирамидки со звездочками. Прожитые нами годы не поскупились на утраты: был и огонь противника, и работа на износ. Потери не согнули нам плечи — только сделали нас ответственнее за свои дела и строчки.

К бедам можно относиться по-разному. В тяжелейшие минуты жизни неунывающий Василий Теркин как заклинание повторяет: «Перетерпим. Перетрем». Комсомолец Михаила Светлова напевает: «В чем же дело, товарищ, в чем дело? Ты пойдешь отомсти за меня!» У Маргариты Алигер интонация другая. Она говорит о трагедии как о трагедии. Трезво, иногда, на мой взгляд, чересчур рассудочно. Она чем-то похожа на того бывалого солдата, что четко знает меру и цену опасности — он идет выполнять задание, не строя иллюзий.

Так с самого начала — с поэмы «Год рождения».

Мы привыкли: сначала тчхо,
а потом, как пойдет, пойдет...
За стеною начнет портниха,
за рекой пулемет начнет.
...Ходит голод по городишку:
станьте в очередь с котелком.
И двоюродного братишку
называют большевиком.
И увозят его в больницу.
И тебе отвечают:

«Так»...

Но поэт еще очень молод в ту пору, еще, говоря о неминуемости смерти, наивно восклицает: «Мы хотим, чтобы было иначе!» Мысль о трагедийности бытия здесь занятно сплавлена с ожиданием огромной и настоящей любви, и заканчивается поэма сентенцией, изложенной в форме почти прозаической: «Для меня невозможно счастье, если я не могу разделить это счастье с другом».

Кстати, тема разделенного с людьми счастья станет потом одной из главных в творчестве Алигер. Счастье, которым владеешь не ты один, а вместе с любимым, с друзьями, с народом, с человечеством, есть первейшее условие преодоления трагедии. Именно таким путем в середине сороковых годов Маргарита Алигер придет к встрече с Зоей — девочкой, отдавшей жизнь во имя всенародного счастья.

Через два года после «Года рождения» написана «Зима этого года», поэма о смерти. Боюсь, говоря об этой поэме, бестактности спокойных, оценочных фраз. Ведь только что в ней женщина поведала мне о гибели своего первого ребенка. «...Если все

должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста?» — в исступлении спрашивал Иван Карамазов. Склоняю голову перед подвигом поэта, женщины и матери, силой своей скорби укрепившей во мне и моих ровесниках так пригодившееся потом солдатское мужество!

«Два исхода впереди» предлагает поэт. Первый — жить, неся в себе тяжесть немислимого горя. «Второй исход — совсем не жить», —

А если жить, то жить, любя
не это горе, не себя,
а пыль и ветер всех дорог,
суровый гомон всех тревог,
и небо в солнце и в грозе,
и всех проверенных друзей.
Дышать бы радостями их,
быть очень нужной в их кругу.
Проверь же крепость сил своих.
Подумай, сможешь ли.

— Смогу.

Многие из поэтов поставили бы после этого «смогу» восклицательный знак. Маргарита Алигер вообще избегает восклицаний — ее утверждения обдуманно и почти деловито. И одновременно незыблемы — как присяга.

Под поэмой «Зима этого года» дата: 1938.

Не прошло и трех лет, как началась Великая Отечественная война и слова Маяковского о равенстве штыка и пера вдруг перестали быть метафорой, обрели реальный и грозный смысл.

А что делать поэту — женщине, жене, матери? Что делать, если в тяжкую зиму сорок первого только-только «начинает говорить и бегать счастье и бессмертие мое»? Сегодня, перечитывая стихи Маргариты Алигер, созданные в то время, я с особой остротой ощущаю, как трудно, как невыносимо было поэту в эвакуации «в далеком камском городке». О каком разделенном с людьми счастье можно сейчас говорить? «Горе чужое, как быть мне с тобою? Где мне местечко найти для тебя?»

Спасет упрямая вера; в декабре сорок первого произносятся — по-моему, впервые — два слова: «день победы». Теперь для нас это привычная формулировка, теперь это праздник, всесоюзный выходной, день тостов и воспоминаний. Тогда мы говорили «победа», еще не видя за этим конкретного дня. Но я уже говорил о четкости мышления Маргариты Алигер — сказав в начале стихотворения: «Я верю в победу» (опять-таки без восклицательного знака), она про-

сто должна была в конце произнести это короткое слово: день.

Идет война. 1942 годом помечены стихи «Чужое горе» и «Музыка». Стихи о беде, постигшей незнакомых людей, и о своей личной утрате. Я и сегодня ощущаю горестную пронзительность «Музыки»; может быть, «Чужое горе» написано с меньшей остротой переживания, но они об одном и том же и грани меж ними нет.

В мае—сентябре сорок второго написана поэма «Зоя».

Вряд ли нужно что-либо добавлять к тому, что уже сказано нашей критикой об этой поэме.

Наверное, «Зоя» — лучшее или по крайней мере самое масштабное произведение Алигер. Как говорится, золотой фонд, а точнее, не боясь высокого слова, наша советская классика. Но порой мы впадаем в крайность, все свое внимание сосредоточивая на какой-то одной вещи поэта. Это, во-первых, несправедливо, а во-вторых, обидно для автора. Светлов в таких случаях говаривал: «Зовите меня Гренада-да-Винчи».

Почти тридцать лет назад я в минуту затишья читал своим однополчанам отрывки из этой поэмы.

Сейчас перечитал ее снова. И прежнее волнение охватило меня, и опять перед глазами возникло то неповторимое время, и не памятник на Минском шоссе представился мне, а живая моя ровесница, до сегодня идущая на подвиг, «не отступая ни разу, на почти обугленных ногах».

Поэт гражданского мужества и правдивости, Маргарита Алигер осталась верной себе, подготавливая к печати двухтомник, и не вычеркнула из поэмы ни единого слова. Зоя Космодемьянская, умирая, произносит именно то, что сказала на самом деле. А ведь нам приходилось читать статьи и даже воспоминания, где вдруг оказывалось, что вместо «Сталин на посту» героиня говорила уже нечто иное.

«Я писала в поэме обо всем, чем жили мы, когда воевали с немецким фашизмом, обо всем, что было для нас в те годы важно... я не считаю себя вправе корректировать ее (поэму.— М. С.) теперь с высоты своей сегодняшней умудренности».

Принцип «тут ни убавить, ни прибавить—так это было на земле» сохранен в основном и для сегодняшней публикации другой поэмы тех лет — «Твоя победа».

Но под ней стоит тройная дата: «1944—1945—1969».

У меня сейчас нет возможности сравнивать варианты. Скажу лишь об ощущении: мне кажется, что поэма понесла какие-то потери. Хаотичная по своей сути, написанная как нервная исповедь, как монолог, выплеснувшийся на едином дыхании, сейчас она приобрела некую организованность, она более «выстроена». А я — читатель — менее взволнован.

А может быть, просто вмешалось время, погасившее какие-то некогда яркие краски поэмы?

За «Твою победу» Маргариту Алигер много и довольно дружно ругали. Доставалось ей и за некоторые иные стихи и строчки.

В те годы было написано:

Люди мне ошибок не прощают.
Что же, я учусь держать ответ.
Легкой жизни мне не обещают
телеграммы утренних газет.

Думается, время доказало, что поэт был более прав, чем его критик.

Еще мне кажется, что «ссора» поэта и критики — или ее части — чем-то напоминает поругавшихся между собой персонажей стихотворения «Двое»:

Они не знают, как они счастливы.
И слава богу! Ни к чему им знать.
Подумать только! — рядом, оба живы,
и можно все исправить и понять...

Известно, что мощью человеческого голоса, как его ни напрягай, нельзя перекрыть ни пушки, ни фанфары. Но умолкают орудия, и фанфаристы уходят на пенсию. А задушевный и мудрый человеческий голос продолжает звучать.

Движение времени — трудная штука. Для поэтов особенно, даже для классиков: «Лета к суровой прозе клонят». Не избежала этого и Маргарита Алигер:

Все не то, не к тому, не туда,
приблизительней, глуше, бледней.
Я себе в утешенье не лгу,
задыхаясь в упреке глухом.
Больше знаю и больше могу,
чем сказать удастся стихом.

Стало быть, стихи побоку? Расстаться с ними как с грехами и ошибками молодости и перейти к достойному солидных людей жанру обстоятельной прозы?

Что же, в последний год мы познакомились и с этой работой Алигер, с дневниками ее поездок, где зримо и, я бы сказал, заду-

шевно рассказано о чужих странах и живущих там людях. Но в цитируемом выше стихотворении поэт обратился к самому себе даже не с призывом, а с приказом: «Не сдавайся, не смей, не забудь, как ты был и силен и богат».

И — не забыл, не сдался, выполнил приказ. Тому свидетельством все стихотворения и маленькие поэмы второго тома.

Удивительно расширилась география: от Сивцева-Вражка и Староконюшенного, «перелюбов юности моей», до Калькутты, Кордильер, Хиросимы. Стихотворения называются «На Ангаре», «На Байкале», а через сотни страниц — «Нюрнберг» или «В Гайдпарке». Но все дело в том, что параллели и меридианы земного шара пересекает советский человек, советский поэт. А какой он — рассказывают строки:

...Человек — свободная держава,
человек — республика труда,
в птичьем гаме, в шуме лесосплава
сеет хлеб и строит города.
...Он живет, испытывая счастье

быть всегда на страже и в борьбе
и беречь чергу Советской власти
перво-наперво в самом себе.

В таком отрывочном цитировании может показаться, что здесь больше риторики, чем поэтичности. Но вчитайтесь в последнюю строчку — и вы увидите, что здесь программа, установка на жизнь, на свое поведение в ней. Этой программе поэт верен от первой до последней строки.

Исследователь или критик должен был бы обстоятельно проанализировать весь двухтомник. Я этого не умею: то, что я пишу, есть не рецензия, а отклик.

Маяковский, говоря о ком-то из зарубежных художников, определил его достоинства примерно так: «Талантливый. Твердый. Меняющийся». Очень любопытная формулировка: твердый — и именно потому меняющийся. Стоящий на своем и вместе со временем идущий вперед.

По-моему, сказано вполне приложимо и к Маргарите Алигер.

Марк СОБОЛЬ.

★

ПРОЗА ПЕТРОВА-ВОДКИНА

К. Петров-Водкин. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Рисунки автора. Л. «Искусство». 1970. 631 стр.

История знает немало примеров, когда художник откладывал в сторону кисть или резец и брался за перо, чтобы рассказать о своей жизни и о своем искусстве: достаточно вспомнить Бенвенуто Челлини, или Делакруа, или наши отечественные примеры — Репина, Нестерова, Головина, Бенуа, Қонашевича, Кузьмина... Проза К. С. Петрова-Водкина — все же особый случай. Дело в том, что автор «Купания красного коня» и «Смерти комиссара», один из прославленных русских художников, в юности мечтал стать писателем, и не только мечтал: в ЦГАЛИ хранятся рукописи около двадцати его пьес, нескольких повестей, множества рассказов, путевых очерков, воспоминаний, произведений для детей, стихов. И даже дебютировал в русской культуре Петров-Водкин сначала как писатель и только спустя несколько лет — как живописец (в 1905 году передвижной театр Гайдебурова поставил пьесу Петрова-Водкина «Жертвенные», и рецензент газеты «Слово» уже тогда писал о литературном даровании молодого драматурга).

Сам Петров-Водкин относился к своим

ранним литературным опытам критически, и не без основания — по его пьесам, в частности, можно судить не только о литературной одаренности, но еще и о подражательности, заемности его раннего литературного творчества, в них очевидные следы различных влияний — от Метерлинка до Дмитрия Мережковского и Леонида Андреева.

Петрова-Водкина называли «подающим большие надежды драматургом». Вспоминая об этом эпитете спустя тридцать лет, он с усмешкой добавлял: «К счастью, я этих надежд не оправдал». В десятые и двадцатые годы он полностью отдался живописи, и здесь его блестящие удачи несомненны: «Купание красного коня», оба варианта картины «Мать», «Девушки на Волге», «Полдень», натюрморты, «1918 год в Петрограде», «После боя», «Смерть комиссара» — замечательные произведения русского и советского искусства.

В конце двадцатых годов Петров-Водкин тяжело заболел и вынужден был оставить занятия живописью. Он жил в это время в Детском Селе под Ленинградом; квартира его находилась в Пушкинском лицее. Здесь

же жили писатели В. Шишков и А. Толстой, литературовед Р. Иванов-Разумник, композиторы Ю. Шапорин и Г. Попов. В. Шишков устраивал у себя литературные «пятницы», на которые приезжали из Ленинграда О. Форш, К. Федин, М. Пришвин, Б. Эйхенбаум, И. Соколов-Микитов. Стали устраивать литературные вечера и у Алексея Толстого — по средам. Завсегдатаем литературных вечеров становится Петров-Водкин, который, судя по многочисленным воспоминаниям о нем, был замечательным собеседником, увлекательным рассказчиком, а его самобытные, оригинальные и часто спорные взгляды на жизнь и искусство привлекали участников литературных «сред» и «пятниц». Впоследствии Петров-Водкин объясняет свое обращение к литературе болезнью и невозможностью интенсивно заниматься живописью, а также советами Толстого, Федина и Шишкова. Но прав, я думаю, Ю. Русаков, который в своем предисловии к рецензируемой книге пишет: «Подлинной причиной появления автобиографических книг Петрова-Водкина была, без сомнения, его давняя и никогда не угасавшая привязанность к литературному труду, интерес к художественному самовыражению посредством слова».

К прозе Петров-Водкин возвращается спустя двадцать пять лет после своего литературного дебюта — уже иным человеком, в иное время, с иным багажом за плечами. Он задумывает автобиографическую трилогию, и первая его повесть «Хлыновск» — о детстве. Ю. Тынянов в отзыве на рукопись Петрова-Водкина писал: «Мемуары значительного художника сами по себе могли бы быть интересны. Но это в столь же малой мере «мемуары», как, например, «Детство» Горького. Литературные качества книги высокие. Она представляет собой целый ряд очерков, рассказцев, описаний, объединенных в целое «детством» автора». Сам Петров-Водкин также затруднялся определить привычными литературными терминами свою книгу и потому дал ей подзаголовок «Моя повесть» (который, кстати, по моему, напрасно снят составителем рецензируемого издания).

Жанр «Хлыновска» действительно смешанный, не сугубо мемуарный. Это рассказ об уездном городке, каких в России было множество (поэтому и меняет Петров-Водкин название родного своего городка Хвалынска на Хлыновск), о захолустном убожестве, бесперспективности и подавленно-

сти жизни людей в провинции и о мальчишеской мечте вырваться на волю из этого ограниченного мирка в нормальный, большой мир, о котором герой «Хлыновска» смутно догадывался. Повесть Петрова-Водкина — это мозаика, составленная из жанрово различных повествований: историко-топографических, краеведческих изысканий, местных легенд, фольклорных наблюдений, детских воспоминаний, выдуманных новелл. Скреплены они не только сюжетно — детством героя, но и стилистически — особым, повышенным восприятием жизни у ее автора.

Фабульная канва в повести почти отсутствует, вместо нее напряженное внимание читателя поддерживается своеобразным лирическим, глубоко личным повествованием. А как раз чисто фабульные «рассказцы», вставленные в угоду литературным правилам в повесть, кажутся надуманными, мелодраматичными. Как прозаик Петров-Водкин обретает силу именно тогда, когда отступает от литературных канонов и следует своему необычному, красочному и в какой-то мере порою произвольному воображению.

Вообще самое привлекательное в «Хлыновске» — это именно внелитературная стихия, иначе говоря — личные наблюдения Петрова-Водкина, интересные и объективно, и самим характером их восприятия. Это относится, например, к главе «Космические впечатления», где такие явления, как затмение солнца или звездпад, вызванный пролетом остатков кометы Бирлы, фантастически увязаны и с детским страхом, и с сектантской нервной чувствительностью, со всем жизненным строем невежественного захолустья, для которого планетарные явления — прежде всего небесные знамения. Я приведу здесь описание звездпада:

«Как только наступила ночь, спокойного, с застывшими на местах светлячками купола не было и следа. Небо резалось, пересекалось струйками звезд. Они катились, падали к горизонту.

Небо двигалось, оно казалось катящейся полусферой, способной вот-вот раздавить город, а струйки огня зажгут и испепелят землю.

Когда, утомленный до головокружения, перевел я глаза на строения, деревья и фигуры людей, я испытал поразившую меня вещь: строения и люди вращались вместе с почвой, улывающей из-под моих ног... Мир катился, бежал из-под купола неба...

Неуютно и страшновато моему телу, а вместе с тем бурная радость от окружающей мировой оживленности охватывает меня.

...По мере наблюдения в меня входила какая-то согласованность с окружающим, я, подобно матросу в бурю, начинал учитывать каждым мускулом качку этого мирового корабля, и бывшая где-то в грудной ямке кровь казалась пульсирующей по-иному, перестроившись в новую ритмику самозащиты...»

Стиль Петрова-Водкина — приподнятый, торжественный, часто усложненный и даже переутяжеленный образами, сравнениями и ассоциациями. В его прозе много местных волжских выражений (помоха, слави, ухвостье, калда и т. д.), профессиональных слов живописца (левкас, вермильон, санкирить, движки, травчатый, доличник и т. д.); конечно, в какой-то мере они затрудняют чтение, но, с другой стороны, дают словно бы новый, своеобразный ракурс в нашем познании мира.

Петров-Водкин описывает жизнь как бы с двойной точки зрения, объемно: как волжанин, взгляды которого сформировались под влиянием устойчивых крестьянских представлений о мире, и как живописец — с яркой, многокрасочной палитрой словесных приемов. Это относится не только к стилистике его прозы, но и ко всему его мироощущению. Несмотря на то, что автобиографический герой «Хлыновска» — мальчик из очень бедной семьи, которому пришлось самому пробиваться в люди, испытать, что называется, на своем горбу все тяготы и лишения, — несмотря на это, вспоминая о своем детстве, Петров-Водкин дает картины, окрашенные радостью, лиризмом и счастьем.

В «Хлыновске» только одна, последняя глава, посвященная страшной истории холерного бунта на Волге, написана в мрачных тонах. Остальные девятнадцать глав — это ликующий, восторженный гимн родной земле, Волге, семье, труду, людям, отдыху, природе.

Нет возможности много цитировать в строгих границах рецензии, поэтому сошлюсь только на предпоследнюю главу «Хлыновска», в которой Петров-Водкин с каким-то почти благоговением описывает Волгу в разные времена года, и особенно хорошо «августовское» описание, когда по Волге плывут яблоки, пестрят и блестят зеленкой и красным — «видать, лодку или дощаник опрокинуло».

«В это время все запахи стираются одним: идите в горы, поезжайте на остров, — всюду не покидает вас аромат сотен тысяч пудов перевозимых, переносимых, укрывших обе наши базарные площади, яблок. Люди не садовых мест не знают этого запаха в такой мере, потому что яблоко, хоть на час попавшее в подвал или погреб, теряет этот девственный запах, равно и вкус, и плотность, свойственные фрукту, не составшемуся с воздухом. На этом ведь и основаны местные курсы лечения фруктами, хранящими в себе полностью запасы солнца и воздуха данной страны.

Яблочный запах гуляет по всей Волге до низов и верховий. Он проникает в клетушки вагонов, борется там с гарью угля и нефти... Август — это во всех ртах яблоки».

Конечно, «Хлыновск» — самостоятельное прозаическое произведение, но насколько оно выигрывает, когда его рассматриваешь в совокупности с живописным творчеством Петрова-Водкина. Взять хотя бы те же яблоки — прозаическое описание словно бы подтверждается зримо живописными натюрмортами Петрова-Водкина с изображенным в них знаменитым хвалынским анисом бархатным. И еще очевиднее эта связь с замечательной картиной Петрова-Водкина «Полдень. Лето», в которой одновременно изображены основные фазы жизни человека на земле — рождение, материнство, любовь, труд, отдых, старость и смерть. И все эти жанровые сюжеты объединены одним среднерусским деревенским пейзажем, а на переднем плане, в центре полотна, в резком увеличении изображена яблоневая ветвь со спелыми, налитыми хвалынскими яблоками.

Следующая книга задуманной Петровым-Водкиным трилогии — «Пространство Эвклида» — еще более связана с его живописью и посвящена главным образом тому, как он стал художником. В этой книге нет цельности и единства «Хлыновска», она носит более разбросанный, «рваный» характер, ее главы — это словно бы лоскутки различных, часто мало связанных между собой воспоминаний, впечатлений и размышлений, но сами по себе эти «лоскутки» — почти всегда яркие, остроумны и интересны. Собственно говоря, если попытаться выделить в «Пространстве Эвклида» главные литературные жанры, то это прежде всего путевой очерк с искусствоведческим уклоном (Германия и Италия); чисто

мемуарные главы о петербургском училище Штиглица и московском училище живописи, зодчества и ваяния, о Репине, Серове, Щукине, Сарьяне, Павле Кузнецове, Борисове-Мусатове и других, с которыми Петрову-Водкину привелось в девятисотые годы встречаться, а с некоторыми и дружить; теоретические, профессиональные главы о натюрморте, портрете, цвете, живой натуре; наконец, вставленные словно бы для оживления повествования приключенческие куски, написанные с известным привкусом литературности. Снова получилась та же вещь: неудача постигла Петрова-Водкина именно на тех страницах его книги, которые написаны со специальным расчетом угодить читателю и заинтересовать его. Таково, например, описание любви героя повести к Леле или его итальянские приключения с контрабандистами. Горький в статье «О прозе» иронически пересказывает как раз один из итальянских сюжетов «Пространства Эвклида»: «Прекрасная Анжелика, конечно, влюбилась в Козьму Петрова-Водкина, как это всегда бывало в плохоньких «романах приключений», авторы которых избирали местом действия Италию сороковых—пятидесятих годов XIX столетия».

Петров-Водкин обладал оригинальным самостоятельным мышлением — некоторые его идеи крайне интересны, другие кажутся парадоксальными, а то и просто неверными. Художники В. Конашевич и Б. Кустодиев рассказывают о своих постоянных несогласиях в спорах с Петровым-Водкиным, но неизменно добавляют о том, что он был блестящим, увлекательным собеседником. Естественно, что в «Пространстве Эвклида», книге об искусстве и художниках, о собственном понимании Петровым-Водкиным самых различных вопросов — от эстетических до космических, — много спорного, слишком субъективного, чтобы делать из этого всеобщий вывод (а Петров-Водкин часто его делал). И тем не менее «Пространство Эвклида» производит необычайное, сильное впечатление — именно как художественное произведение, страстное, глубоко личное. Объективный же и познавательный смысл этой книги в том, что она

достоверно знакомит читателей с реальной жизнью и художественной атмосферой рубежа столетий.

В книгу, помимо двух автобиографических повестей, составитель ввел и путевые заметки художника о Самаркандии, написанные ранее и стилистически оторванные от автобиографического цикла. Задуманную трилогию Петров-Водкин завершить не успел, но для третьей книги написал ряд заготовок, которые в переиздании автобиографического цикла, вероятно, были бы более уместны, чем самаркандские заметки.

Проза Петрова-Водкина, при всем ее своеобразии, — характерное явление литературы конца двадцатых годов. Безусловно влияние на Петрова-Водкина прозы Андрея Белого, особенно его романа «Петербург», есть множество любопытных совпадений с прозой Ольги Форш, Вячеслава Шишкова, Андрея Плагонина, Константина Вагинова. Впрочем, ассоциации и сравнения здесь могут возникнуть самые различные: М. В. Нестеров, прочитав «Хлыновск», вспомнил «Семейную хронику» С. Т. Аксакова. Кстати, Нестеров, человек иного художественного лагеря, чем Петров-Водкин, высоко оценил его прозу.

Но дело не в тех или иных оценках. Дело в том несомненном интересе, который вызвали книги Петрова-Водкина при их появлении сорок лет назад и при теперешнем отличном и во многих отношениях улучшенном их переиздании, когда Ю. Русаковым был заново выверен весь рукописный текст книги, исправлены различные ошибки, составлены так необходимый к подобной прозе научный комментарий и именной указатель.

Проза Петрова-Водкина тесно связана и с тем временем, которому она посвящена, и с тем, когда она написана. Но ум, талант и наблюдательность художника и писателя делают ее необычайно интересной для современного читателя — и как мемуарное свидетельство очевидца, и как настоящее художественное произведение.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Ленинград.



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Лазарь Карелин. Землетрясение. Роман. М. «Советский писатель». 1969. 230 стр.

Читая «Землетрясение», видишь азиатский, прокаленный солнцем город, с давним уютом закрытых дворишков, с резкой светотенью дня и освежающими глухими ночами, когда ветер дует с гор и журчит невдалеке вода. В книге почти нет обстоятельных городских пейзажей, а чувствуешь этот ушедший трагически Ашхабад, поражающий воображение молодого москвича древней восточной сказкой своих мечетей, фонтанов, улиц — всем, что, сплетаясь, тревожит ожиданием чего-то небывалого, неожиданного, как и вся эта неразгаданная жизнь вокруг. Не сразу поймешь, как сложился этот образ, накапливаясь незаметно, к детали деталь, но он возникает и остается щемящей болью — образ погибшего в одиннадцать ночных секунд города, написанный с чувством любви и неостывшего воспоминания.

О самом ашхабадском землетрясении — кажется, вообще впервые изображенном в нашей литературе — сказано в романе мало. Это скорее эпилог, где развязаны все узлы, чем само повествование. И все же роман не случайно получил свое название. Стихийное бедствие — кризисная ситуация, которая помогает прояснить важные для автора мысли.

Некоторая приподнятость ритмов прозы в эпилоге должна помочь понять состояние человека, выбитого из налаженной жизненной колеи. Рутинная повседневность — тоже стихия, властно формирующая на свой лад. Выбитый из нее человек способен легче преодолеть инерцию сложившихся представлений и готовых ответов, понять скрытое под оболочкой привычного быта. Нечто подобное и случается с двадцатисемилетним героем романа Леонидом Галем.

Катастрофа, которая, казалось бы, обесценивает саму жизнь слепой и беспощадной игрой случая, заставляет яснее увидеть истинные ценности бытия: в озарении последних секунд, равнодушно смешавших виноватого с правым и праведника со злодеем, вдруг предстают жизненные итоги — то, чего человек стоил, что он сделал, какую память оставил о себе. И это заставляет тех, кто остался жив, с особенно острым чувством оглянуться на себя.

Этот эпилог оставляет Леонида Галю наедине с тревожными мыслями. «Нельзя писать, чуть прикасаясь к жизни, выдумыва-

вая всякие историйки. Вот она — жизнь! Ну-ка попробуй напиши об этом!» Так пытается он выразить бередящую память о погибших друзьях и смутное неудовлетворение собою. Читатель не знает, о чем и что писал Галь, да дело, в сущности, не в этом, поскольку роман не о писателе. Приятный молодой человек, немного тщеславный, чуть позер, но, в общем, славный малый, с каким мы знакомимся в начале книги, испытывает острую потребность изменить свою жизнь. И даже действительно меняет. И этот микроскопический сдвиг, который фиксирует сейсмограф искусства, — предвестие других, серьезных перемен, составивших впоследствии целую эпоху нашей жизни.

Действие романа связано в основном с жизнью ашхабадской киностудии.

На студии снимают фильм — заведомо плохой, «кляква в сахаре», как говорит о нем Галь, начальник сценарного отдела студии. Фильм фальшивый, что сознают все, кто работает над ним. Сценарий принят и утверждён — значит, надо снимать. Надо снимать колхозный праздник — той — в туркменском ауле, столь невероятный в эти скудные послевоенные годы, что статисты, приглашенные на съемку, поживают и как-то даже грустят при виде сотворенного помрежами изобилия. Все сделано по ремарке сценария: «И грянул той, веселый, щедрый колхозный той!» Правда, сценаристу кажется, что он хотел совсем другого — не этого фанерного великолепия. Хотел просто радости, улыбок, музыки: ведь за плечами победа. «Да нет, нет у меня ничего этого в сценарии», — тихо мучается и терзается сценарист, глядя на павильон. Но съемка идет, идут «полезные метры», и он не хватая оператора за руку, не бросается к режиссеру объясняться, а растворяется где-то в коридорах студии, где будет, наверное, жаловаться в углах, искать сочувствия и первно курить, признавая в душе, что дело сделано и все равно ничего не поправишь. И его наверняка пожалеют: ведь не он первый, не он последний, московский сценарист Вася Дудин.

Глядя на съемку, Галь вспоминает другой праздник — уже настоящий — в ауле, куда выезжал недавно с хроникерами снимать сюжет для киножурнала.

«Из котла накладывали всем какую-то серую затируху. Люди получали свою порцию и быстро отходили, на ходу начиная есть... Колхоз был беден, колхоз только еще оправлялся после войны, в нем мало было мужчин, не видно было коней, бродили облезлые верблюды. И это их цвет, цвет свалевшихся верблюжьих горбов, побеждавая все прочие, стоял перед глазами».

Хроникеры растерялись, начали было собирать всех перед сельсоветом, усаживать поживописнее, наставлять на ковры посуду, развешивать плакаты — и бросили. Стыдно стало. И сняли как есть.

Тогда сняли жизнь — не чета этой убогой павильонной сказке. А в первомайский киножурнал сюжет, снятый в ауле, не попал. Не нашлось места — рядом с парадом физкультурников, ансамблем дутуристов, танцующими джигитами и шелкоткацкой фабрикой. Праздник в ауле, «где хорошего только и было, что улыбающиеся весне люди», как-то легко выпал из этой панорамы безоблачного веселья. Никто не замолвил за него слова. И Галь смалодушничал, промолчал. «А надо было возражать, — думал он сейчас. — Надо было спасти этот эпизод, подобрать ему достойных соседей, пусть и не таких нарядных и радостных, но таких же правдивых».

Смутное беспокойство точит по временам Галя, хотя в серьезность этого чувства он как будто не очень верит. «Опомнись! Опомнись! Так нельзя жить!» Эта укоризна, впрочем, не пробуждает в нем энергии действия или каких-то ясно осознанных стремлений. Он понимает — что-то неладно, вот хотя бы история с киножурналом, но на этих едких мыслях долго не задерживается, прежде всего по непривычке к ним.

Он сам говорит о себе — «младший лейтенант», человек в начале пути, в первом офицерском звании. Очень ясно показано, чем мила этому человеку жизнь, — а она так мила, так ощущается любовно. «В городе было хорошо. Дышалось хорошо». Наверное, оттого и хорошо так в этом солнечном тихом мире, что за плечами война и голодное студенчество. А вот сейчас и положение достойное, и легкий таборный быт, и друзья-киношники, всегда готовые поделиться деньгами, едой, одеждой. И любовные передраги, пожалуй, даже и драма — безответное чувство, но и это тоже сюда же, к хорошему: что за жизнь без любви.

Психологическая достоверность образа тут особенно важна: Галь в центре повествования, его глазами мы видим мир. Это глаза приветливой молодости, снисходительной к человеческим слабостям и полной интереса ко всем хитросплетениям окружающей жизни. Где-то эта доброжелательность сливается со схожим чувством автора, правда, иным в своих истоках. Люди написаны в романе с неприкрытой приязнью, к которой примешана и печаль: ведь большинство их не переживет ночи землетрясения. И хочется хоть чем-то, если это возможно, возместить страшную несправедливость судьбы, и Л. Карелин добр, покладист и снисходителен — и к маленькой Марьям, увлеченно играющей в любовную игру, и к Сергею Денисову, простодушно попадающему в расставленные ею сети, и к милому увальню, отставленному любовнику Володе Птицыну, которому не удастся спасти Марьям, но удастся погибнуть вместе с нею. Писатель как будто не замечает безвкусицы в Марьям, как не замечают этого ни Денисов, ни Галь, ни Птицын. Им нравится — со всем своим актерством и слегка приторной женственностью — это теплое и не слишком избалованное жизнью существо.

Эта покладистость не всегда оправдана, и есть грань, за которой она мешает писателю полнее выявить духовную жизнь своих героев.

В книге все немного слишком функционально, слишком пригнано к основным сюжетным целям, и оттого остается впечатлительное недосказанности, торопливости. Так написан директор студии Сергей Денисов — в нем чувствуется и ум, и искренность, и самоослепление, и надрыв, но все это дано беглыми, не очень убедительными штрихами. Писатель отступает перед трудной художественной задачей показать душевную драму сложного человека.

Досадная скоропись — как раз там, где нужна полная отобюрокраченность всех средств, — вообще заметна в романе. Найденная правда времени — достоинство книги — теряет из-за этого в силе художественного воздействия. Автор порой невнимателен к слову, и появляются такие строки: «...начались те самые одиннадцать секунд, когда земля шесть секунд металась из стороны в сторону, как взбесившаяся львица в клетке, а пять секунд умирала все ногами, будто взбесившаяся слониха». Случай-

ными, небрежными словами снижен образ стихийного бедствия, столь важный для понимания романа.

Не злодеи, не заведомые халтурщики снимают фильм. Марьям, не умеющая сыграть роль, потому что образ туркменской девушки фальшив в сценарии, и режиссер, работавший когда-то с Пудовкиным, а сейчас мучительно старающийся взбодрить мертворожденный замысел, и оператор, выписанный из Ташкента, мастак по ракурсам,— все хотят настоящего дела, стоящей, честной работы. И они, сжав зубы, бьются — может быть, монтаж вытянет, ахалтекинские скакуны, снятые с самых выгодных точек, выручат, природа прикроет.

И когда оператор Клыч пытается отказаться от участия в съемках фильма: «Это не про нас. И вообще ни про кого»,— Денисов с самым искренним пафосом говорит ему: «Слушайте, если началась атака, пусть даже по-глупому, из-за дурацкой, никому не нужной высоты, солдат не смеет стоять в стороне. А вы солдат, Клыч. И я очень рассчитываю на вас. Этой картины необходим человек, знающий, что к чему, ну, что ли, по-родственному».

И Галь тоже подбрасывает словечко институтскому товарищу: «Ты вгиковец, а вгиковцы — все за одного и один за всех». И Клыч отступает перед этим напором. «Ягши,— сказал он.— Пусть никто не скажет потом, что Клыч сгоял в стороне».

Это одна из ключевых сцен. Клыч беспомощен перед софистикой доводов Денисова и оплатится за это душевной раной. Придет мучительное сознание, что сделал то, чего не должен был делать, и никто не виновен в твоей ошибке больше тебя самого. А пока Клыч мечется. Где достойный и честный выход, в чем правда и правда? В том ли, чтобы послушаться своей совести? Но Клыч не верит в свое моральное право на отказ. И он послушается Денисова и Галя.

Тот же Денисов короткое время спустя признает в разговоре с Галем: «Это не работа, то, что мы снимаем. Это не занятие для взрослого человека... А годы идут, годы идут. Подумайте, Леня, ведь мы тут с вами жизнь кладем. Мозг, сердце. На что?»

Да, нельзя отдавать молодость, надежды, мечты, знания, талант, наконец, этой пикетной и лживой ленте — Денисов

прав. Но все идет своим чередом, машина запущена — с участием тех же Денисова и Галя,— и никто на студии не может ее остановить. «Писали, строили, собирали на стол — все было терпимо,— говорит Галь.— Зажили в кадре люди — и все стало невмоготу». Все-таки не слишком невмоготу, потому что дальше этих сетований — и только сетований — дело пока что не идет.

В конечном итоге ничто не сможет заслонить того факта, что эти люди, как бы ни было им тяжело или совестно, повинны в тяжком грехе против искусства. А поскольку искусство порождает определенную атмосферу, влияет на жизнь, то и вина, значение которой герои романа еще не в состоянии до конца уразуметь, поистине велика. Сплетение всех этих обстоятельств и дает ощущение драматизма всего происходящего.

Законченная лента ашхабадской студии оправдывает опасения тех, кто над нею работал. Когда ее будут нещадно ругать на обсуждении, Денисов скажет с неожиданной смелостью: «Фильм можно и вообще запретить, но все не так просто. Надо понять, и следующий будет таким же. К этому идет». Но когда случится нечто непредвиденное и лента неожиданно получит высокое признание, будет названа «солнечным фильмом» и представлена к Сталинской премии, Денисов станет собирать жатву успеха, впрочем, не забывая об истинной ему цене. «И хочется погордиться, и стыдно».

Галь в разговоре с Денисовым с угрюмой искренностью объяснит происходящее:

«— Плывим, как щепки в потоке... Иных на берег выбрасывает, иным везет — плывут дальше.

— Нам повезло. Разве нет?

— Повезло.

— Ну и поплывем дальше».

Грустный разговор. Плыть дальше — заниматься хлопотами в связи с представлением фильма к премии, принимать поздравления, чувствуя несообразность всего этого... Нет, Денисов далеко не безмятежен, он страдает, но он же и будет действовать применительно к обстоятельствам. «А куда денешься?.. Впряглись и тянем. Кино».

Галю труднее принять этот неожиданный финал — может быть, потому, что он ближе Денисова к искусству, к размышлениям о его судьбе. Но и он примет. И только

когда совсем необыденное сотрясет душу, погибнет город и вместе с ним погибнут друзья — Марьям, Клыч, Птицын, умрет Денисов, — что-то случится с Галем, что-то переменится в нем.

Короткий разговор заканчивает роман, и тут кульминация всего замысла, сюда тянутся нити от первых страниц, от «Опомнись! Опомнись! Так нельзя жить!». Обычный, деловой, без лишнего слов разговор, в котором Галю предлагают заказать для студии «масштабную ленту», — подошла бы биография какого-нибудь выдающегося поэта, лучше из местных. Страдания, руины, стойкость Ашхабада и — «масштабная лента» о классике. Можно, конечно, согласиться и плыть дальше, и тогда — снова «солнечный фильм», что-то очень далекое от того, чем дышишь и живешь.

Но потому и невозможно согласиться, что пережитое только что на разбитых улицах города осталось резкой зарубкой в памяти и в душе.

В финале сопоставлены слепой, омрачающий разум страх Денисова, толкнувший его в критическую минуту от Марьям, вон из дома, и отчетливо ясный поступок Птицына. Смятение и бегство Денисова — последний штрих в портрете этого человека, привыкшего слишком часто уступать обстоятельствам. Его ужасное бегство — наказание за грех слабодушия.

Тот момент, когда Володя Птицын, разбуженный страшным, непонятым гулом, кидается не в сторону от падающего дома, а в дверной проем, в комнату, где спит Марьям, — нравственная вершина в книге. Вершиной становится свободный выбор доброго, немного нелепого Птицына, прожившего свои последние минуты с великодушным истинным мужеством. И этот его порыв приобретает значение нравственной

истины для тех, кому суждено будет пережить этот миг.

В сознании нравственной высоты человек черпает волю к сопротивлению. Просыпаясь по утрам в развалинах, люди умываются, готовят еду, строят новые стены, и оператор Фролов, тот, что снял весною бедный колхозный праздник в ауле, уже снимает в назидание будущему эту упрямую, неистребимую жизнь. «Смелый город. Смелые люди». И отсюда тоже потянется ниточка к последнему разговору, в котором Галь откажется заказывать «масштабную ленту». Течение романа ведет к необходимому действию. Поступок ставит точку в развитии сюжета. И бросает свет на предыдущие страницы. Значит, участие в создании «солнечного фильма» — не фатальная неизбежность, надо только дорастить до понимания этого.

Хорошо почувствовать себя пусть мельчайшей частицей, но тоже причастной смелой, великодушной, мужественной жизни, что пробивается сквозь беду и горе, как зеленый росток пробивает асфальт. Таково настроение последних страниц романа. Галь уходит со студии, писатель расстается со своим героем на пороге его неведомой, новой жизни. В героях книги еще много неустоявшегося, смутного, но их духовная жизнь устремлена к тем переменам, которыми будет отмечена для нашего общества середина пятидесятих годов. Недовлетворенность Сергея Денисова или Леонида Галя, их сомнения и тревоги — свидетельство важных процессов, идущих в те годы в жизненной толще, признак изменений, назревавших исподволь. «Землетрясение» помогает понять насущность и неизбежность этих перемен.

И. КРАМОВ.



СОВРЕМЕННОЕ ОБ АНТИЧНОМ ТЕАТРЕ

Д. П. Каллистов. *Античный театр*. Л. «Искусство». 1970. 176 стр.

Театр — это искусство, которое живет как бы пульсируя: то давая большие вспышки, то замирая и даже прерываясь. Есть культуры и эпохи, которые вовсе не знают театра, и есть периоды в жизни культур, когда театр занимает ведущее место в интеллектуальной жизни. Театр особенно

крепко связан с общественной жизнью, с социальным укладом своей эпохи, чутко реагирует на все изменения в общественных настроениях. Вот почему так важно изучать исторические условия театральных подъемов и зарождения театра. Театр больше, чем любое другое искусство, нуждается в исто-

рическом изучении. Он требует широкого взгляда историка культуры.

Именно поэтому книга о театре видного специалиста по античной истории Д. П. Каллистова читается с неослабным интересом. Она современна в самом благородном смысле этого слова. Она приглашает к размышлениям и будит споры, подсказывает мысли и может помочь современным театральным работникам не только в постановке античных драм и комедий...

Это книга не об античных драматургах, не о трагедиях и комедиях, хотя им уделено достаточное внимание, а именно о театре. В ней много говорится об организации античного театра, об устройстве театральных зданий, о постановках спектаклей, об общественной роли театра, о зрителях и их реакции на представления.

Театр объясняет драматургию. Исследователь подходит к трагедиям Софокла и Еврипида, к комедиям Аристофана и Менандра, следя за ними не только по тексту их пьес, но и учитывая всю театральную атмосферу греческого города (римскому театру, представлявшему собой закат античного драматического искусства, в книге уделено меньше внимания).

Именно такой подход позволил автору решить основной вопрос, который не может не интересовать каждого, занимающегося театром: что же это за эпохи, когда рождается и блещит театральное искусство?

Театр развивается в условиях демократии, и его основная интеллектуальная стихия — стихия этическая.

Греческая культура в отличие от культур Финикии, Египта, Вавилона развивается в обстановке демократии, когда в создание культуры были втянуты широкие слои свободного населения. «В сложившихся условиях... — пишет автор, — театральная сцена приобретает значение трибуны для наиболее широкого распространения новых мыслей, освещения наиболее актуальных этических, политических и социальных проблем, волновавших умы современников». «В трагедиях... ежегодно ставившихся в дни праздников Диониса и в его честь на афинской сцене перед многими тысячами зрителей, моральная проблема была главной, основной. В последующие эпохи исторической жизни человечества нормы индивидуальной и общественной нравственности в виде готовых, не подлежащих обсуждению догм христианской, мусульманской, буддийской религии ниспосылались верующим сверху.

В Афинах и других греческих городах такого рода вопросы выносились на суд собравшихся в театре граждан. От них всецело зависело — принять ли моральные воззрения, выдвинутые в той или иной трагедии, или признать их несостоятельными». Моральная сторона происходившего на сцене волновала зрителей больше всего, и именно здесь, в театре, выковывалась мораль общества.

В огромной литературе об античном театре вопрос о его происхождении, безусловно, занимает центральное место. От решения этого вопроса зависят в той или иной степени и все остальные взгляды на историю античного театра, на его сущность и эстетическую ценность. Между тем расхождения в освещении проблемы возникновения античного театра весьма существенны. Не будем сейчас вникать в эти существенности. Ограничимся тем, что пишет Д. Каллистов.

Никто не отрицает связи происхождения театра с религиозными культами. Она очевидна, хотя и понимается исследователями по-разному. В книге Д. Каллистова предпринята попытка выдвинуть новое объяснение этой связи. Сильная сторона нового объяснения в том, что оно опирается на твердо установленные факты античной истории культуры и особенно на факты истории античной религии. И одновременно, и это главное, оно полностью согласуется с тем, что пишет Аристотель в основном источнике по истории античного театра — в своей «Поэтике».

Д. Каллистов показывает, почему официальные культы олимпийских божеств — Зевса и Аполлона — не вылились в форму драматических состязаний, а народные культы хтонических божеств — Диониса и Деметры, — долгое время не входивших в официальный пантеон, напротив, привели к образованию драмы.

Характерным признаком театра классического времени была подлинная его народность. Прежняя официальная религия Зевса и Аполлона, построенная на последовательно проведенном принципе антропоморфизма, была не способна решать моральные проблемы. Напротив, именно народная религия Диониса и Деметры могла удовлетворить живущую в каждом обществе потребность в создании своего морального кодекса.

Театр был тем огромным народным собранием, где демос, бурно реагируя на все,

что происходило на сцене, создавал новые моральные принципы.

Благодаря театру, опиравшемуся на народные культы, моральные нормы древней Греции выливались не в ниспосылаемые сверху догматы, а творились самими людьми — на сцене театра и на скамьях зрителей во время грандиозных, общенародных представлений.

Д. Каллистов вскрывает, казалось бы, частные, но отнюдь не мелкие обстоятельства в особых свойствах культов Диониса и Деметры, способствовавших превращению их в драматические состязания. Этим культуам хтонических, чтимых народом божеств была, оказывается, присуща та эмоциональная контрастность, которая, если следовать «Поэтике» Аристотеля, представляла собой один из основных принципов античной драматургии классического периода (лежащую в основе трагедии «перипетию» Аристотель определяет как «перемену событий к противоположному»). Именно эта мысль Д. Каллистова, подробно и последовательно развитая им в книге, придает оригинальность всей его концепции возникновения античного театра.

Связь с культовыми традициями объясняет характерную для античного театра приверженность к сугубо условным формам сценического воплощения. Отход от этих традиций и от связанной с ними театральной условности в силу ряда исторических причин привел театр и драматургию к деградации в эллинистическое и римское время.

Из всего изложенного ясно, почему исторически благоприятные для возникновения театра условия могли сложиться только после перехода исторического преобладания от родовой аристократии к демосу, когда бытовавшие в народе культы могли превратиться в общегражданские и государственные.

«Первые же крупные победы афинского демоса в его борьбе с родовой аристократией, — пишет Д. Каллистов, — были ознаменованы и рождением театра... Исторические судьбы афинской демократии и театра и в дальнейшем оказались органически связанными. Расцвет демократического строя в Афинах был временем и высочайшего творческого подъема афинской драматургии и театра. Когда же для демократии наступили тяжелые времена, этот период оказался кризисным и для театра. Вместе вышли они на историческую арену, вместе достигли наивысшего подъема и вместе вступили в полосу упадка».

Концепция Д. Каллистова, подчеркивающая связь театра с демократией, с формированием народных моральных кодексов, способна объяснить не только периоды подъема театра в последующее время, но и периоды его упадка — как, например, в средневековье.

Книга Д. Каллистова соединяет доступность и живость изложения, широкую познавательность со строгой подчиненностью всех элементов книги определенной исторической концепции.

Д. ЛИХАЧЕВ,
академик.

★

Политика и наука

СОЦИАЛИЗМ, ДЕМОКРАТИЯ, ИДЕОЛОГИЯ

Д. А. Керимов, Е. М. Чехарин. Социалистическая демократия и современная идеологическая борьба. М. «Юридическая литература», 1970. 256 стр.

О проблемах демократии и общества, общества и личности все чаще думают и спорят тысячи людей самых разных профессий, политических и религиозных убеждений.

Американский социолог Д. Рисмен в своей книге «Одинокая толпа» признает, что в массовом обществе, то есть обществе западного образца, тезис о свободе и равенстве верен лишь отчасти — люди теряют свою свободу и независимость. А его коллега

У. Корнхаузер добавляет: «массовое общество формирует самоотчужденные индивиды», личность является жертвой системы, ибо «принимает то, что предлагают манипуляторы средств массового развлечения и массовой пропаганды».

Итак, идеологи западного мира вынуждены признать, что существует разлад между личностью и обществом, что буржуазная демократия не создает условий для гармонического развития человека. Это заставляя-

ет философов, юристов, политиков искать выход из тупика. По большей части их рецепты сводятся к «микрореформам», не выходящим за пределы прежней социальной системы. Те же, кто мыслит более широко, приходят либо к пессимистическим выводам (противоречия личности и общества неразрешимы), либо вынуждены признать, что проблемы демократии не могут быть решены без существенных социальных изменений. Так, например, американский социолог Э. Фромм, весьма далекий от марксизма, признает, что «идеи социализма — наиболее значительная попытка найти ответ на все несчастья капитализма».

С этим трудно не согласиться. Социалистический строй действительно устраняет коренные противоречия, присущие буржуазному обществу. Столь же важно и то, что социализм создает наиболее благоприятные условия для развития демократических принципов и институтов. Однако сам процесс демократизации общества выдвигает целый ряд сложных и актуальных вопросов, которые могут быть решены только с позиций марксистско-ленинского учения.

Именно в этой связи представляет интерес работа Д. А. Керимова и Е. М. Чехарина «Социалистическая демократия и современная идеологическая борьба».

Авторы творчески подошли к освещению проблемы демократии. В сферу своего исследования они включили такие важные и сложные проблемы, как соотношение социализма, диктатуры и демократии, науки и идеологии, демократии и механизма управления социальными процессами, взаимоотношение общества, законности и свободы личности с принципами политической организации общества.

Несомненные достоинства книги определяются и тем, что она написана по новейшим источникам, в ней широко использованы данные философских, социологических, экономических и юридических исследований, партийные документы и нормативные акты. Авторы показывают значение ленинского теоретического наследия в обосновании и разработке всей суммы вопросов социалистической демократии, анализируют главные направления современной идеологической борьбы, убедительно критикуют новейшие концепции оппортунизма и ревизионизма.

Это последнее обстоятельство надо оценить особо. Почти в каждой крупной капиталистической стране имеются специальные институты по так называемой «советологии»

и изучению стран социалистического содружества. Десятки зарубежных радиостанций permanently, круглосуточно ведут войну в эфире против идеологии социализма. Курсы лекций и семинары по идеологии марксизма (точнее, антимарксизма), по вопросам советского законодательства, судебной системы проводятся в двенадцати крупнейших правовых школах Америки. Издаваемый в США антимарксистский журнал «Проблемы коммунизма» распространяется на восьмидесяти языках. При НАТО в течение многих лет функционирует комитет, руководящий антикоммунистической пропагандой и проводящий с этой целью многочисленные международные конференции, встречи, симпозиумы, щедро финансирующийся изданием антисоветской литературы.

Проблемы демократии находятся в центре современной идеологической борьбы. Буржуазные идеологи в своих рассуждениях исходят из надуманного тезиса о несовместимости самих понятий «демократия» и «диктатура» вообще, «диктатура пролетариата» и демократия — главным образом. Разумеется, в рассуждениях на эту тему полностью отсутствует конкретный анализ социально-экономического и собственно политического содержания явлений.

Авторы многочисленных антимарксистских работ чаще всего исходят из разделения всех государств на две большие группы: демократические и тоталитарные (то есть такие, в которых насилие — определяющий признак политической системы). Все социалистические страны эти авторы безоговорочно относят к государствам тоталитарным — естественно, вывод построен вовсе не на глубоком изучении истинного положения дела, а, мягко выражаясь, на «неточных» рассуждениях. Приняв такое «допущение», остальную часть концепции достроить уже нетрудно. «Тоталитаризм» и демократия — понятия противоположные, а раз социалистический строй «по самой природе своей тоталитарный», то, следовательно, социализм и демократия — антиподы. Ярким примером подобных «логических построений» может служить работа профессора Пенсильванского университета Г. Спайро и Б. Барбера «Концепция «тоталитаризма» как основа американской контридеологии в условиях холодной войны».

Авторы отнюдь не склонны скрывать, как и в каких целях создавалась концепция «тоталитаризма»: ее изобретение было продиктовано стремлением противодействовать все

возрастающей притягательной силе коммунистических идей. Своими разглагольствованиями о насилии авторы хотят запугать американских обывателей, являющихся крайними индивидуалистами, которые испытывают инстинктивный страх перед принципами и идеями коллективизма, классовой борьбы и классовой солидарности. И наконец, как откровенно признаются Спайро и Барбер: «Концепция тоталитаризма использовалась для того, чтобы всецело оправдать американское вмешательство во имя контридеологии (под лозунгом «свободы») и одновременно для осуждения всех мер, предпринимаемых коммунистами и квалифицируемыми в качестве противоправных».

Д. А. Керимов и Е. М. Чехарин, анализируя концепцию тоталитаризма, справедливо отмечают, что идеологи западного мира используют ее не только для того, чтобы в ложном свете представить положение дел в странах социализма, не только в целях дезинформации. Насквозь фальшивые построения нередко оказываются «хорошим подспорьем» и в практических делах, особенно в периоды острейших обострений классовых противоречий. Именно эта концепция, например, «сработала» в мае—июне 1968 года во Франции, когда реакции удалось припугнуть «средние слои» угрозой «тоталитарного коммунизма».

Авторы книги рассматривают не только взгляды откровенных противников коммунизма, но и «теории» современных оппортунистов. Они показывают различия этих позиций и в то же время их сходство — крайности смыкаются. Так, например, идея «полной», «чистой» демократии, активно проповедуемая современными ревизионистами, в принципе отрицает совместимость социализма и демократии. Недаром ее сторонники считают, что «авторитарный» социализм должен сбиться с буржуазной демократией и превратиться в так называемый «демократический социализм».

В свое время В. И. Ленин квалифицировал этот лозунг как «чудовищную теоретическую путаницу», как «полное отречение от марксизма»¹.

История удостоверила точность ленинского диагноза. Чехословацкие события показали, к чему приводит осуществление этого лозунга на практике — к расшатыванию идеологической основы социализма, к деформации его политической и экономической

структуры, к отравлению масс ядом национализма, к созданию контрреволюционных организаций. Этот лозунг является лишь ловушкой, которую реакция использует для того, чтобы разложить социалистическое государство, парализовать общественную активность, осуществить заговор против революции.

Нетрудно видеть, что, несмотря на различие исходных позиций, антикоммунистическая теория «тоталитаризма» и реформистская доктрина «демократического социализма» в конечном счете образуют единую антимарксистскую идеологическую платформу.

Д. А. Керимов и Е. М. Чехарин проводят в книге мысль, что вопрос о демократии нельзя считать лишь составной частью проблемы государства, политической власти. Демократия охватывает политическую систему общества в целом, распространяется и проникает во все сферы общественной жизни: в экономику, культуру, науку, искусство, литературу.

Рассмотрев эти аспекты поставленной проблемы, авторы делают вывод: демократия — это не только форма организации власти, государственного управления и государственного устройства, но и определенный принцип, метод, режим жизни и функционирования определенной социально-политической системы, то есть всей совокупности государственных и общественных организаций, существующих и действующих в каждой классовой социально-экономической формации.

Разумеется, основной и главной силой в реализации политики господствующего класса является государство. Но оно не единственное политическое учреждение. В условиях социалистического общества действует широкая сеть разнообразных общественных организаций, которые взаимодействуют с государством в решении коренных социальных проблем. Авторы убедительно доказывают, что процесс развития социалистической демократии отнюдь не сводится к механической замене одних органов другими, например, государственных — общественными. Напротив, этот процесс идет путем постепенного преобразования всей системы политической организации общества. Развитие социалистической демократии связано с предоставлением отдельным гражданам и объединениям трудящихся широких прав и свобод, созданием условий для их реального осуществления, с вовлечением масс в активную социально-политическую деятельность,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 240.

а равным образом с совершенствованием механизма управления обществом. В книге особое внимание уделено раскрытию роли Коммунистической партии в развитии демократии. При этом авторы отмечают, что наряду с другими факторами эта ведущая роль партии обусловлена демократическим характером ее построения и деятельности.

Как уже отмечалось, одним из самых острых вопросов современной идеологической и политической борьбы является вопрос о соотношении диктатуры, демократии и государства.

Современные буржуазные идеологи и ревизионисты особенным нападкам подвергают вывод марксистско-ленинской теории об исторической неизбежности и необходимости диктатуры пролетариата при переходе от капитализма к социализму. Отвергая диктатуру пролетариата как общую закономерность социалистического строительства, ревизионисты твердят о «национально-ограниченном» опыте советского общества, о различных «моделях социализма», о постепенном «завоевании полномочий» на пути достижения социализма.

Авторы обстоятельно раскрывают теоретическую и практическую несостоятельность таких «революционных реформистов», как Ж. Мартинэ, Э. Дебре, В. Жоаннес и другие. Они отмечают, что сейчас наряду с лобовыми атаками на марксизм буржуазная идеология прибегает к тактике троянского коня, пытаясь подорвать социализм изнутри, выступая под лозунгами радикальных, «левых» идей, под «почти марксистским» флагом. Это новая тактика буржуазной идеологии, тонкая и коварная. Главная цель подобных псевдотеорий состоит в том, чтобы доказать, что сейчас происходит процесс сближения, конвергенции противоположных общественно-политических и экономических систем, что классовые различия с развитием научно-технической революции стираются.

В книге приводится любопытный факт. Сразу же после того, как мир отметил пятидесятилетие Великой Октябрьской революции, издатели «Французского журнала политических наук», в числе которых известные буржуазные политологи Р. Арон, М. Дюверже, Ж. Ведель и другие, выпустили специальный номер. Его материалы должны были дать ответ на вопрос: «Революционное ли государство СССР?» Журнал преподносит концепцию, в соответствии с которой политическая организация советского общества, хотя она и порождена революцией,

представляет собою лишь один из вариантов политической системы «современного индустриального общества». Это доказывается с помощью следующих двух общих посылок: а) «все политические системы либо олигархичны, либо элитарны»; б) «социальная структура Советского Союза сходна с той, которая существует в других современных обществах». В чем же это сходство? Оно, оказывается, состоит в том, что власть находится в руках политической и технократической элиты. Это одна из самых модных современных западных концепций общественного развития. В ее основе лежит утверждение, что капиталист-собственник перестал быть необходимым для нормального функционирования производства. В нашедшей книге Д. Бэрнхема «Революция менеджеров» утверждалось, что «собственность означает контроль; если нет контроля, то нет и собственности. Если собственность и контроль отделены в действительности, то собственность переходит в руки «контроля» и изолированная собственность теряет смысл».

Цель такого утверждения — убедить трудящихся в том, что частной собственности как основы капиталистического производства фактически уже нет, что управление производством перешло в руки менеджеров, касты избранных администраторов, которые и являются устроителями всеобщего благополучия. Это в сфере промышленности. А в политической сфере управление переходит к элите — особому виду «нового класса людей, существование которого не превышает жизни двух поколений». Отсюда следует вывод: общество управляется не собственниками, а группой граждан, выдвинувшихся сугубо «демократическим» путем благодаря знаниям и способностям. По мнению сторонников теории элиты, Советский Союз стремится сформировать «меритократию» (то есть продвижение лиц в соответствии с их заслугами), как и любая другая политическая система современности.

Авторы книги «Социалистическая демократия и современная идеологическая борьба» обстоятельно рассматривают эти теории и убедительно доказывают их несостоятельность.

Попытки представить общность форм, задач и перспектив политической организации социалистического и буржуазного общества проводятся прежде всего для того, чтобы завуалировать процессы монополизации и бюрократизации власти капитала, дальней-

шего сужения ее социальной базы. Отвлекая внимание от этих явлений, буржуазные идеологи предлагают всевозможные «позитивные реформы», направленные на «смягчение», «демократизацию» социализма. Д. А. Керимов и Е. М. Чехарин показывают, в чем вред подобных теорий конвергенции, почему необходимо раскрыть их несостоятельность.

Проблема демократии и технократии отнюдь не снимается в социалистическом обществе, но решается она с принципиально иных позиций, чем в буржуазном. Социалистическая концепция исходит из принципа сочетания непосредственной демократии (то есть прямого участия широчайших слоев народа в решении многих важных вопросов жизни общества) с представительной демократией (выделение специальной категории профессиональных работников управления). В общем, эта проблема связана с решением вопроса о соотношении государственных и общественных форм демократии (стр. 91). Развивая эти положения, авторы книги отмечают, что задача науки состоит в обнаружении более точных показателей, уровней, параметров социально-психологического порядка, которые наряду с общими принципами управления и на их основе позволяли бы последовательно осуществлять подбор и расстановку кадров на более глубокой научной основе (стр. 189).

В книге содержатся интересные положения о процессе укрепления социалистического государства. Авторы показывают, что это процесс многоплановый. Он включает в себя развитие демократии, усиление научной обоснованности решений и мероприятий государства, постоянное совершенствование структуры, форм и методов деятельности системы государственного управления, повышение активности членов общества.

Надо отметить новизну в подходе авторов к решению вопроса о перспективах развития общенародного государства. Социалистическое строительство — это длительный, многосторонний и сложный процесс. Нельзя считать, что социалистическое преобразование государственности и демократии произойдет в короткий срок и приведет к изменениям лишь в области надстройки. Авторы отмечают, что задачи коммунистического преобразования в сфере экономической, социальной и политической связаны в один узел. Высокоразвитое социалистическое общество характеризуется полным соответствием демократических институтов и уч-

реждений с их социально-экономической основой. Поэтому хотя общенародное государство и представляет новый шаг в развитии общественного самоуправления, однако на этом пути предстоит еще решить сложнейшие задачи коммунистического преобразования во всех сферах социальной действительности.

Социалистическая демократия неразрывно связана с наукой. Ни одно общество так не нуждалось в научной теории, как социалистическое. Ни один общественный строй так не поощрял развитие науки, как это делает социализм.

Авторам удалось обосновать и весьма важное положение: анализ социального процесса превращения науки в непосредственную производительную силу свидетельствует отнюдь не о том, что этот процесс определяется внутренне присущим науке саморазвитием, а является продуктом и выражением общественных возможностей современного производства.

Превращение науки в непосредственную производительную силу, утверждают авторы, относится не только к естественному знанию и техническим наукам, но и в меньшей степени к науке об обществе (см. стр. 172). В доказательство этого авторы приводят соображения о том, как важно выявлять социальные условия и последствия внедрения в промышленное производство достижений естественных и технических наук. При этом сами социальные условия развиваются по законам, изучаемым естественными науками. Но именно эти науки не только изучают, но и освещают пути преобразования социальной действительности, условия для свободного развития духовной жизни общества, в том числе и для естественнонаучного творчества. В этой связи в книге обстоятельно рассматриваются пути дальнейшего развития и проблематика таких общественных наук, как история, философия, политическая экономия, юриспруденция, наука управления. Авторы подчеркивают огромное значение исследований поискового характера для успешного развития науки, фундаментальных изысканий.

Успешное развитие социалистической демократии определяется действием таких факторов, как научно обоснованное управление социальными и экономическими процессами, эффективное социальное планирование. Авторы этому вопросу уделяют много внимания, подробно останавливаясь на задачах, целях и методике социального пла-

нирования, приводят весьма интересные результаты, полученные в ходе осуществления планов социального развития на ряде крупнейших предприятий страны. Они приводят свой вариант модели социального планирования, цель которого — служить дальнейшему совершенствованию социалистической демократии.

В современных условиях проблемы соотношения и взаимодействия общества и человека, демократии, свободы личности и законности едва ли не самые острые.

Демократия является бытием свободы, и потому вне демократии не может существовать свобода. Поэтому достигнутый общественный уровень демократизма определяет и степень свободы этого общества и его членов. С другой стороны, свобода является активным стимулом развития демократии, постоянного и систематического ее приспособления к нуждам развивающегося общества. Надо сказать, что анализ и раскрытие этих положений относятся едва ли не к лучшим страницам книги Д. А. Керимова и Е. М. Чехарина. Авторам удалось точно, лаконично показать и суть проблемы, и пути ее решения.

Авторы, несомненно, правы, подчеркивая ошибочность традиционного толкования известной формулы Ф. Энгельса о свободе как познанной необходимости. Свобода — это не только и не столько познанное состояние человечества и личности, но практическое

действие, преобразование общественных отношений и самой личности. Отсюда вытекает важность разработки таких проблем, как социальная активность личности, проблема выбора, роль и значение интереса как стимула развития и ряд других.

Характерную особенность социалистической демократии составляет не только провозглашение прав и свобод граждан, но и реальное обеспечение их системой экономических, политических и юридических гарантий. На обширном материале в книге показывается органическая связь между демократией и законностью, роль законности в создании прочного правового порядка в искоренении правонарушений и преступности, в укреплении государства и общественных организаций.

Работа Д. А. Керимова и Е. М. Чехарина охватывает обширный круг действительно животрепещущих социальных проблем. Понятно, что не все они подвергнуты в равной степени исчерпывающему рассмотрению. Но эту задачу авторы и не ставили перед собой. Опираясь на ленинское теоретическое наследие, на ранее опубликованные специальные марксистские исследования, они внесли свой вклад в разработку теории и практики социалистической демократии, в разоблачение современных реакционных идеологических течений.

В. КАЗИМИРЧУК.

★

ФБР — ПРОТИВ АМЕРИКИ

П. В. Костин. ФБР — портрет во весь рост. М. «Мысль». 1970. 232 стр.

Нелегкое это дело — писать о том, что читатель «в общем» знает. Например, об американском Федеральном бюро расследования (ФБР). Козни этого «недреманного ока» империалистической реакции весьма часто попадают в поле зрения корреспондентов газет, радио, телевидения.

Однако автор книги «ФБР — портрет во весь рост» П. Костин рассматривает деятельность ФБР именно в ракурсе наименее известном: история создания и возвышения бюро в системе прочих карательных органов США. Автор использует широкий круг источников и литературы, впервые приводит интересные документы, найденные в архивах США. Книга снабжена богатым научным аппаратом, может быть даже несколько пере-

груженным примечаниями, что способно отпугнуть иного неопытного читателя.

Своеобразие «героев» определило и набор красок, которые применяет автор. Главные из них — ирония и сарказм — позволяют создать убедительные портреты сотрудников бюро, постно-скромного шефа ФБР, его осведомителей, его почитателей из числа американцев с «туго набитым кошельком, сытой добродетелью и платежеспособной моралью».

Но П. Костин понимает, что «иронией ФБР не проймешь», равно как упреками или гневной бранью. Он выдвигает против этого карательного органа неопровержимый обвинительный акт.

Основываясь на фактах, автор рисует мно-

гоплановый портрет ФБР, со многими связями бюро и их переплетениями.

Как было уже отмечено, основная тема книги — история создания и возвышения ФБР, но вместе с тем — история той зловещей метаморфозы, которая произошла с Соединенными Штатами Америки — страной, где некогда буржуазная свобода была «самая полная» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 192) и где ныне федеральное бюро выступает как символ возникающего на наших глазах тотального полицейского государства.

Важное место в книге уделено деятельности ФБР, направленной против рабочего класса и всего американского народа. Автор этап за этапом — от не вполне законного рождения бюро в начале XX века и до наших дней — прослеживает внутреннее развитие ФБР, анализирует, как, какими приемами и средствами добились его руководители нынешнего положения этого органа, контролирующего всех и вся и в то же время фактически вышедшего из-под всякого контроля.

П. Костин показывает, как увеличиваются масштабы деятельности ФБР. От невинных «младенческих забав» — слежки за горсткой строптивых конгрессменов — до «массовой инвентаризации опасных граждан». От примитивных провокаций с таинственными взрывами бомб (почему-то разносящими в куски вместо намеченной жертвы незадачливого бомбометчика) до провокаций, возведенных на уровень искусства — с применением электроники и всех прочих новейших достижений науки и техники. От содействия в казни Сакко и Ванцетти до организации казни супругов Розенберг. От жалкой функции «противоуголовного агентства» до роли всемогущей политической полиции, которую боятся даже президенты.

Автор справедливо отмечает, что возвышение ФБР лишь в малой степени определено служебным рвением Гувера и его сотрудников на поприще борьбы с преступностью. Напротив, П. Костин демонстрирует (хотя и мимоходом) бессилие ФБР в самых, казалось, неожиданных случаях. Взрыв преступности в двадцатые годы, волна бутлегерства — ФБР ничего поделать не может. Небывалый рост преступности в США в наше время, особенно преступности организованной, преступности-бизнеса, — ФБР снова бессильно. «Джентльмены» из бюро «не могут» уберечь от покушений видных деятелей, сенаторов и даже президента страны.

В книге подчеркивается, что ФБР поднялось на высоту, не снившуюся его основателям, прежде всего в качестве органа, который вынохивает и преследует крамолу политическую, революционные и прогрессивные настроения и выступления, то есть охраняет классовые интересы буржуазии. Борьба против коммунистического, рабочего, негритянского, антивоенного, молодежного движений — вот основное амплуа бюро. Здесь оно необычайно деятельно, активно, предприимчиво, энергично. 197 миллионов досье на американцев, миллионы отпечатков пальцев — разве это не доказательство ревностной службы?

П. Костин обращает внимание на важный, но малоизвестный аспект деятельности ФБР, так сказать, теоретико-пропагандистский. Уже давно шеф бюро Э. Гувер сочиняет учебники по «коммунизму» и «антикоммунистической обороне». Уже давно бюро всеми путями и средствами просвещает на этот счет миллионы американцев. Уже давно ФБР специализируется на раздувании в стране шовинистского, националистического угара, на создании удушливой атмосферы массовой антикоммунистической истерии. И чем гуще этот угар, чем острее, злобнее истерия, тем больших «успехов» (а вместе с ними и больших ассигнований) добивается ФБР.

Теоретико-пропагандистские упражнения Гувера и прочих не блещут ни глубиной, ни оригинальностью. Они примитивны и широко известны. Вся их немудреная суть сводится к простейшей схеме: «Во всем виноваты марксисты, негры и интеллигенты. Единственный спаситель — ФБР и м-р Гувер». Но схема эта в определенных ситуациях безотказно действует на известные круги. В книге в связи с этим затронут злободневный вопрос — о питательной среде, которая вскармливает и поддерживает радетелей «сверхбдительности» и «сверхпатриотизма». Это большая масса американских обывателей, людей не богатых, но зажиточных, обитающих в ухоженных, чистеньких, благопристойных пригородах больших промышленных центров, в бесчисленных городках и городишках провинциальной Америки. Эта масса, подчеркивает П. Костин, мелкобуржуазная по составу и психологии, находится в «состоянии напряжения и раздражения». Она боится войны и мира, студентов и уголовников, инфляции и кризиса. Она жаждет «закона и порядка». В этой среде раздуваются всеобщая подозрительность, нетер-

пимость, политическая истерия. Распространенные в кругах обывателей настроения, взгляды и предрассудки — вот опора культа сверхпатриотизма, база для движений «ультра» и почва для процветания ФБР. Там, в этой среде, одобряются его приемы и цели, там в героях ходят осведомители и провокаторы, сыщики и предатели.

Работа П. Костина вскрывает разветвленные и тщательно маскируемые взаимоотношения ФБР и всего или почти всего государственного аппарата США, их полное взаимодействие и единство в борьбе с рабочим и демократическим движением. С ФБР сотрудничают — и давно — военное и судебное ведомство, местные и центральные власти, конгресс и его комитеты и комиссии, в числе коих и пресловутая КРААД (Комиссия расследования антиамериканской деятельности), различные министерства и прочие органы. Даже ЦРУ, кляня надоедливую конкурента, работает с ним «в паре». Даже министерство труда, созданное некогда либералами и состоятельными «друзьями труда» для защиты интересов рабочего люда, объединилось с ФБР, как об этом свидетельствуют приводимые П. Костиным архивные документы, в общем гонении на прогрессивное рабочее движение.

Конгрессмены и сенаторы, министры и президенты, республиканская и демократическая партии — все они прибегают к услугам ФБР, заботятся о ФБР, защищают ФБР и, следовательно, становятся, хотя они того или нет, соучастниками всех интриг и преступлений бюро против американского народа.

Понятен и естествен союз ищек ФБР с фашистским движением маккартистов. Менее естествен, но тоже понятен союз ФБР и реакционных профсоюзных вождей. В книге содержится немало фактов о трогательном единстве действий м-ра Гувера и некоторых лидеров профсоюзов.

Все, что боится революционного, передового, свежего, чистого — самой жизни, старается опереться на ФБР. Так возникает в книге уже групповой портрет американской империалистической причины, где ФБР — лишь центральный персонаж.

Через всю книгу красной нитью проходит мысль о том, что зловещее разрастание яз-

вы — политического насилия, политического сыска, символом которых предстает ФБР, — есть для США знамение времени. Когда-то американская буржуазия, молодая, революционная, не боялась свободы и демократии, в своем, разумеется, понимании. «Где бы ни вспыхнула революция, вы везде найдете американцев», — говорил в начале XIX века архиреакционер князь Меттерних. Теперь, в эпоху империализма, американская буржуазия стала сама оплотом реакции. «На место борьбы поднимающегося вверх национально-освобождающегося капитала против феодализма, — писал В. И. Ленин, — стала борьба реакционнейшего, отжившего и пережившего себя, финансового капитала, идущего вниз, к упадку, — против новых сил... Буржуазия из поднимающегося передового класса стала опускающимся, упадочным, внутренне-мертвым, реакционным. Поднимающимся — в широком историческом масштабе — стал совсем иной класс» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 145—146).

Перед лицом этого поднимающегося класса, перед лицом мирового освободительного движения американская буржуазия испытывает страх и ненависть. Карьера ФБР наглядно показывает, какими методами готов бороться господствующий класс Соединенных Штатов против всего передового и прогрессивного.

Америка — не нацистская Германия, ФБР — еще не гестапо. Но факты, приведенные в книге П. Костина, говорят, что есть сильная тенденция к достижению этого «идеала». Есть группы людей, которые стремятся к нему. Жизнь, каждый день дописывающая портрет ФБР, избирает все более мрачные и густые краски. Тень тотального политического террора нависает над Америкой.

В то же время книга П. Костина не создает в целом пессимистического настроения. Да, ФБР как политическая полиция трудится изо всех сил — ему есть с кем бороться. Но есть и кому бороться с ФБР, со всей государственной системой США, со всеми силами и строем, порождающим эту систему, — бороться за мир, демократию и счастье Америки.

Б. КОЗЕНКО.

Саратов.

КИБЕРНЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ

Виктор Пекелис. Кибернетическая смесь. М. «Знание». 1970. 240 стр.

За двадцать лет существования кибернетики как науки о ней написано очень много — учебники, монографии, специальные работы и популярные книги. Появление каждой новой работы на эту тему теперь и не сразу заметишь.

Недавно издательство «Знание» выпустило книгу «Кибернетическая смесь». Автор ее В. Пекелис попытался написать в условиях изобилия кибернетической литературы оригинальную книгу о кибернетике для всех.

Книга состоит из пятидесяти глав — совершенно отдельных, на первый взгляд не связанных между собой. Каждая глава — это небольшой очерк, или новелла, или репортаж, или просто заметка, статья. Это действительно смесь. А смесь, как известно и как пишет об этом автор, коллекция без естественного упорядочивающего отношения. Смесь в некотором роде подобна мозаичной картине, собранной из многоцветья — из разных деталей, разных не только по цвету, но и по форме, и даже по фактуре.

Действительно, в книге есть все: серьезная статья и анекдот, случай из жизни и математическая задача, курьезный факт и философский этюд, фельетон и новелла, фантастический рассказ и интервью. Не случайно автор дал подзаголовок к книге: «Впечатления, находки, случаи, заметки, размышления, рассказанное и увиденное — пятьдесят поводов для разговора о кибернетике».

Но, читая книгу, постепенно улавливаешь внутреннюю связь повествования и видишь тот цемент, которым скреплен весь материал. Автор так об этом пишет: «Нужен строгий отбор по законам литературного произведения, чтобы читатель этой смеси видел не только единую книгу, но и почувствовал ее философскую направленность, определил актуальные проблемы науки».

Все в книге подчинено одной идее, заключенной в словах создателя кибернетики Норберта Винера: «Отдайте же человеку человеческое, а вычислительной машине — машинное».

Хотел бы здесь заметить, как важно именно сегодня, когда успехи кибернетики во всех областях науки и техники значительны, не забывать отдавать человеку человеческое, в то же время стремясь всюду, где можно, перекладывать на машину машинное. Только таким путем мы не нарушим

баланса, того равновесия, без которого немислимо сегодня, а главное, в будущем гармоничное развитие нашего общества.

Именно этот «водораздел» стремился провести автор «Кибернетической смеси». В ней под одним углом зрения охватывается очень много вопросов: и из истории кибернетики, и о ее будущем, о кибернетических поисках криминалистов, об электронном шпионаже, о человеке — киборге, о предвидениях и предсказаниях, о телепатии и теории игр.

Прочитав книгу, человек как бы посвящается в кибернетические таинства и узнает, может ли дьявол вести игру с богом, впервые услышит о растениях-шизофрениках, познакомится с идеей предсказывания победы в футбольном матче, инженер, техник может поразмыслить над тем, «Убьет ли кибернетика изобретательство?» и «Так ли легко нажимать кнопки...». (Я привожу здесь названия глав книги.)

Автор разбирает с кибернетических позиций интересующие буквально всех проблемы: как долго мы будем жить, можно ли «капитально» отремонтировать человека, будут ли оживлять людей, создадут ли единый язык для людей и машин. Улыбку читателя вызовут главы «Просчеты счетных машин», «История одной мистификации» (о машинах-поэтах), «Лошадь по имени Чарли» (о машинах-переводчиках). Автор касается даже такого вопроса: можно ли доверить электронной машине секрет отношения супругов.

Книгу заключает фельетон о страданиях человека, посмеявшего спорить с машиной, и рассказ о том, как ошибка электронной машины «отправила» человека на электрический стул.

Вопросов поднято много. Поэтому автор не мог осветить их с должной глубиной, вернее, с необходимой глубиной. Но, думаю, судя по характеру книги, В. Пекелис и не ставил перед собой такой задачи.

А каков же характер этой книги, какова ее задача?

В первой небольшой главе — она является как бы предисловием — автор пишет: «Прошло то время, когда кибернетика означала для некоторых все, а для большинства — ничего. Сегодня людей занимает вопрос о границах возможностей новой науки. Показать эти возможности — главное для автора книги о кибернетике».

Как физиолог и медик должен заметить, что глава «С разных точек зрения...» хотя и содержит фразу: «Врач будет лечить, а все будут ему — помогать. Врач останется врачом, медицина — медициной», но в этой главе машиноматематический дух еще обгоняет действительность. Не так быстро и не в такой степени пока еще кибернетизируется медицина.

Вероятно, специалисты других наук тоже смогут подметить в книге элементы нарушения автором равновесия между «машинным» и «человеческим» — каждый в своей области знания.

Трудно сегодня в полной мере и с должной точностью отмерить всюду «машинное» и «человеческое», но сам факт подхода к такой проблеме в книге публицистической можно только приветствовать.

«Кибернетическая смесь» написана к своего рода юбилею — двадцатилетию кибернетики. Поэтому, естественно, автор пользуется и некоторыми приемами историчности в освещении многих кибернетических проблем.

Причем кредо этой историчности довольно определенно сформулировано в главе «Не вдруг, не сразу»: «Прошло двадцать лет. Страсти улеглись, кибернетику принимают трезво, без «левых» и «правых» уклонов и перестали обвинять во всех смертных грехах, в истории ее возникновения четче различимо то, чего не замечали ранее в буре полемики».

К сожалению, В. Пекелису с большей четкостью удалось различить этапы становления и развития всего, что касается техники — я имею в виду кибернетическую технику, — и в меньшей степени удался исторический разрез самой кибернетики как науки.

Беспокойный калейдоскоп тем, событий, фактов, парадоксов вызывает подчас улыбку, но отнюдь не бросает тень на подлинную науку. Приятно отметить, что появилась хорошая книга, в которой наука — предмет серьезного и в то же время увлекательного разговора.

В. ПАРИН,
академик.



НОВЫЙ ТРУД О РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ

А. Н. Насонов. История русского летописания. М. «Наука». 1969. 553 стр.

Автор «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин, по словам Пушкина, «есть первый наш историк и последний летописец», чьи «нравственные размышления своею иноческою простотою дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи». Сам Пушкин, как никто, тонко чувствовавший и понимавший «простодушную наготу летописи», при работе над «Борисом Годуновым» наряду с произведениями Шекспира и «Историей» Карамзина обращался к летописям, в которых он «старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени». А в знаменитом образе Пимена Пушкина, по его же словам, пленили черты, свойственные старым летописям: «простодушие, умильтельная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое...»

Летописные сюжеты и образы неоднократно использовали русские писатели и поэты, художники и композиторы. Лермонтов обработал текст Никоновской летописи, приведенный у Карамзина, и создал поэму «Последний сын вольности». В ней поэт описывает жизнь новгородских славян в IX веке, их восстание во главе с неуграши-

мым Вадимом против варяжского князя Рюрика.

Русские и украинские летописи изучал Гоголь. Давая отзыв на драму С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова» о событиях начала XVI века, он говорил: «Я бы на его месте так и впился в русские летописи и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. Он может много извлечь оттуда прекрасных предметов».

Конечно, суждения классиков русской литературы о летописях и летописцах подчас не соответствовали действительности, поскольку они отражали тогдашний уровень исторических знаний. Пушкинскому Пимену, составляющему летопись, «добру и злу внимая равнодушно», на самом деле были свойственны политические страсти и мирские интересы. Но не об этом речь. Пушкин, как и многие до и после него, высоко ценил летописи как памятники не только русской историографии, но и произведения русской литературы. Характерно, что, задумав написать очерк истории русской литературы и статью о русских песнях, поэт среди других источников намечал изучение летописей. Популярность их среди русских писателей

была чрезвычайно велика. Многие припадали к ним как к неисчерпаемому роднику старинного языка, живого, образного и емкого. А Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» использует даже их форму для сатирического изображения современных ему самодержавно-бюрократических порядков.

Огромное значение русских летописей как памятников отечественной истории, литературы и, без преувеличения, памятников мировой культуры было осознано давно. Их издание и изучение в нашей стране началось с XVIII века. Целые поколения ученых использовали их в своих трудах или посвящали им специальные исследования. Среди них сподвижник Петра I В. Н. Татищев и русский энциклопедист XVIII века М. В. Ломоносов, знаменитые историки Соловьев и Ключевский и многие другие. Но больше всех для изучения летописей сделал великий русский ученый А. А. Шахматов. Он ввел в круг исследования большое количество новых летописных текстов, разработал новые методы их изучения — летописную текстологию и, наконец, нарисовал картину развития русского летописания с XI по XVI век. После него в грандиозную схему русского летописания, им разработанную, вносились дополнения и уточнения, но в своей основе она до сих пор сохранила свое значение.

В годы Советской власти летописям посвятили свои труды многие выдающиеся ученые. В первую очередь нужно назвать ученика Шахматова проф. М. Д. Приселкова, которому принадлежит систематический обзор по этой теме. Д. С. Лихачев в ряде книг рассмотрел многие вопросы истории русского летописания, показал, что памятники эти были не только энциклопедией исторических знаний средневековья, но и средством политического воспитания общества, фактором национального самосознания. Этому виду средневековой русской литературы, как и всей русской культуре вообще, свойствен дух историзма.

Исследования советских ученых не только уточнили и углубили выводы Шахматова, но и охватили проблемы, которые им не рассматривались или были изучены недостаточно, например псковское, тверское, сибирское летописание. Кроме того, раздвинулись хронологические рамки изучения проблемы. С одной стороны, предприняты попытки отнести начало русского летописания к началу XI или даже концу X века, с дру-

гой — все более усиливается внимание к позднему летописанию конца XVI — начала XVIII века. Всем этим вопросам посвящены исследования М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова, А. Н. Насонова, Л. В. Черепнина и других ученых.

Среди трудов, посвященных этой проблеме, выдающееся место заняли работы крупнейшего исследователя ныне покойного Арсения Николаевича Насонова, человека удивительного, сочетавшего в себе застенчивую мягкость, редкую доброту с твердостью научных убеждений. Его научное наследие поражает не большим количеством работ, а другим, более важным — все они, будь то книги «Монголы и Русь» (1940), «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства» (1951), издания текстов новгородских и псковских летописей, статьи о тверских и псковских летописях, описания старинных рукописей, поражают читателей научной добросовестностью, честностью и непримиримостью к научным поделкам и поверхностным суждениям. Он был рыцарем науки, посвятившим ей всю свою жизнь без остатка, занятым только ею, патриотом своей Родины. В последние годы на страницах печати все чаще поднимаются вопросы этики, нравственного облика советского ученого; в связи с этим нельзя не вспомнить обаятельный и благородный облик Арсения Николаевича Насонова.

Самым сильным его увлечением как ученого-историка на протяжении всей творческой жизни было русское летописание. Многие годы он отдал поискам новых рукописей. Результат его работы поразителен: до него было известно до двухсот таких рукописей, после него — в пять раз больше! По-новому осветил он в своих исследованиях летописание Пскова и Твери.

Во введении к своей книге автор высказывает некоторые общие соображения, отчетливо характеризующие облик ученого: «Исследование я понимаю как устремление к отысканию научной истины, т. е. познание объективного, реального процесса. Обойтись без догадок и предположений нельзя, но всякое исследование будет тем совершеннее, чем меньше в нем догадок и чем больше твердо обоснованных выводов». Исследователь, который внес большой вклад в изучение летописей, разыскание их текстов, в полной мере отдает себе отчет в том, что в летописеведении еще очень многое нужно сделать: «Громадный летописный

материал остается еще в значительной мере неизученным. Впереди предстоит большая исследовательская работа».

В первой главе автор, опираясь на выводы А. А. Шахматова и других ученых, говорит о летописании XI века — Начальном своде второй половины девяностых годов, Древнейшем своде семидесятих годов, составленных в Киево-Печерском монастыре — колыбели русского летописания. Эти своды не сохранились, но нашли свое отражение в более поздних. Их реконструкция явилась величайшей научной заслугой Шахматова. А. Н. Насонов, разбирая мнения ученых о киевском летописании XI века, настойчиво подчеркивает мысль о необходимости сочетания и взаимопроникновения «формального» (текстологического) и «идеологического» анализа этого памятника. Исследование некоторых древнейших записей позволяет автору вслед за Черепнинным, Рыбаковым, Тихомировым выдвинуть вопрос о возможности их ведения до составления указанных выше сводов. Эти записи начали вести в киевской Десятинной церкви уже, вероятно, в конце X века, затем в Вышгороде, недалеко от Киева, в Киево-Печерском монастыре. Первый же летописный свод был составлен при Ярославе Мудром.

После уже упоминавшихся сводов семидесятих и девяностых годов XI века в начале следующего столетия в том же Киево-Печерском монастыре появляется знаменитая Повесть временных лет монаха Нестора. Это был, по Насонову, первый памятник, в котором с полной ясностью и отчетливостью утверждалось и осмысливалось понятие Руси в широком значении, как совокупности разных (а не только южнорусских) восточноевропейских групп и племен. Она пропагандировала идею восточноевропейской общности, политической и этнической. Княжеская власть в лице Владимира Мономаха прекрасно понимала огромное идейное, политическое значение этого произведения — под ее влиянием вскоре, в 1116 и 1118 годах, появились новые редакции, обработки Повести временных лет. К одной из них имел непосредственное отношение игумен Михайловского Выдубицкого монастыря, семейного монастыря отца Владимира Мономаха, к другой — сын последнего Мстислав. Именно под княжеским влиянием в Повесть временных лет включили понятие о Руси как разновид-

ности варяжского народа, а легенда о варягах, будто бы основавших Русское государство, на долгие столетия пустила корни в сознание многих потомков.

Повесть временных лет в записях с древнейших времен до 1093 года использовала текст Начального свода, текст же с 1094 по 1110 год является киево-печерской летописью, в ней описываются южнорусские события, но на общерусском фоне. Этот выдающийся памятник получил такую известность и популярность, что его положили в основу всего последующего летописания — позднейшие летописные своды, как правило, начинаются именно с Повести временных лет.

А. Н. Насонов, много занимавшийся изучением процесса сложения древнерусского государства, пишет: «...я был поражен тем, насколько совпадают этапы этого процесса с главнейшими этапами древнерусского летописания...»

Татаро-монгольский погром середины XIII века, установление иноземного ига на Руси, дальнейшее феодальное дробление русских земель затормозили развитие русской культуры, в том числе и летописное дело. Но прервать его они, конечно, не могли. Развитие Подолья и Киевщины, Черниговщины и Смоленщины, захваченных Литвой, пошло особым путем; там появились свои, так называемые западнорусские, летописи. В северо-восточных землях уже с XIII—XIV веков начинается ведение летописных записей, сначала в Твери и Пскове, затем в Москве и Нижнем Новгороде. Продолжали их составлять в Новгороде Великом и Ростове.

Ослабление татаро-монгольского ига в XIV веке и его свержение в конце следующего столетия сопровождалось подъемом национального самосознания во всех областях духовной жизни народа. Живопись Андрея Рублева и Феофана Грека, соборы и крепости, памятники литературы, грандиозные летописные своды той поры достаточно ясно говорят о мощном подъеме культуры. В ряде городов создаются летописные своды, общерусские по своему характеру, — в Москве, Новгороде, Твери, Смоленске. Особое значение приобретает московское летописание с его митрополичьей и великокняжеской линиями, которые часто перекрещиваются. Уже в начале XV века появляется первый митрополичий свод — Троицкая летопись. Единственный ее экземпляр, написанный на пергамене, сгорел в пожар 1812 года. Честь реконструкции принадлежит ученику

Шахматова — М. Д. Приселкову. Затем своды появляются в 1423, 1441, 1456, 1471 (1472), 1479 годах, причем два последних — в связи с походами московского великого князя Ивана III на Новгород и присоединением последнего. А. Н. Насонов детально исследует состав, источники грандиозного свода 1479 года. Выясняется, что общим источником этого свода и так называемой Ермолинской летописи (ее название отразило влияние на ее составление В. Д. Ермолина — автора известной скульптуры конца XV века, изображавшей Георгия Победоносца на коне) был общерусский свод, составленный между 1464 и 1472 годами; в нем обильно использован киевский источник, последний местами отличается от Ипатьевской летописи.

А. Н. Насонов проделал огромную работу по отысканию, сравнительному изучению летописей этой поры. Он установил существование ряда летописных сводов. Они составлялись в конце XVI века в связи с утверждением патриаршества в России (1589 г.), в начале XVII века при патриархе Гермогене, в 1652 году — при Никоне. Несколько летописных сводов изготовили по поручению Петра I, который среди многих других дел был озабочен и составлением большой русской истории с описанием славных дел его правления. Все эти «новые данные», — как говорит сам А. Н. Насонов, и с ним нельзя не согласиться, — позволяют внести существенную поправку в наши представления, то есть в суждения об упадке, угасании летописного дела.

Как мы могли убедиться, автор рассмотрел ряд вопросов истории русского летописания на всем протяжении его существования. Конечно, в его очерках и исследованиях не все равноценно и закончено. В одних случаях он вносит свои коррективы к уже сложившимся в науке взглядам (особенно это касается ранних этапов летописания), в других — существенно дополняет наши представления, анализирует новые открытые им летописи XV—XVI веков, в третьих — намечает пути дальнейших исследований (в изучении сводов конца XVI — начала XVIII века, которые он обнаружил, но не успел детально изучить текстологически).

Но если брать в целом эту исключительно трудную проблему отечественной истории, которую А. Н. Насонов глубоко и увлеченно, без всякой аффектации и ученой претенциозности изучал до конца своих дней, можно сказать, что его последняя книга вносит большой вклад в летописеведение, призывает к дальнейшим поискам, к труду, непрерывному и самозабвенному. В конце исследования, где обычно помещается заключение, читатель сможет прочитать только его начало и примечание редакции: «В рукописи А. Н. Насонова этот раздел остался незаконченным». Ученый совершивший подвиг в науке, которую он считал делом всей жизни, не успел дописать конец своей замечательной книги. Перо выпало из рук...

В. БУГАНОВ.

★

ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ФАКТЫ ИСТОРИИ

И. А. Кры в е л е в. Что знает история об Иисусе Христе? М. «Советская Россия». 1969. 301 стр.

За девятнадцать столетий существования литература, посвященная христологической проблематике, накопилась в таком количестве, что ее сравнение с необозримым морем не будет чрезмерно гиперболическим. Характерная особенность ее: пестрота в оценке нравственной значимости личности христианского бога, разноречивость в подходе к самой проблеме его существования. От безоговорочного признания его историчности и нравственного совершенства до полного отрицания того и другого — таков диапазон мнений об Иисусе Христе.

Не претендуя на исчерпывающую полноту изложения, автор приводит ряд вариантов образа Христа, одни из которых конструи-

руют этот образ как воплощение идеала нравственного совершенства (Л. Н. Толстой), другие — как поборника внутренней свободы (Ф. М. Достоевский), третьи — как революционера-бунтаря (А. Введенский, К. Каутский) и, наконец, как миф астрального происхождения (Г. Винклер, А. Древис, А. Немоевский и другие). Подчеркивая односторонность подобных трактовок, автор справедливо отмечает, что все они построены на абсолютизации одних черт образа христианского бога и замалчивании или объявлении несущественными других черт, несмотря на то, что и первые и вторые изложены на страницах Нового завета.

— Существовал ли в действительности

человек, который мог называться Иисусом и с которым было связано становление христианской религии? — задается автор вопросом. — Если существовал, то какие исторические факты подтверждают это?

Правильные ответы на эти вопросы, независимо от того, будут ли они положительными или отрицательными, чрезвычайно важны для атеистической работы с верующими, приученными церковью воспринимать образ Иисуса как образ богочеловека; и в том и в другом случае эта церковная интерпретация образа Христа должна терпеть в глазах верующего значительный урон. В этом плане автор книги справедливо отмечает, что «земное бытие человека, в которого воплотилось на несколько десятилетий лицо божественной Троицы, его смерть и воскресение, — признание этих фактов составляет основу догматической системы христианства. Без исторического Иисуса нет христианской религии».

Отмечая практическую значимость решения христологической проблемы для атеистической работы, необходимо помнить, что с точки зрения марксистского атеизма сама по себе она не является мировоззренческой; признать или не признать исторического Иисуса — это значит лишь установить конкретно-историческую, фактологическую сторону вопроса, не внося никаких изменений в сферу отношений христианской религии и атеизма. Ведь то, что атеизм признает факт исторического существования Будды или Магомета, отношения к буддизму и исламу не меняет: все эти религии, как и другие на земном шаре, являются не чем иным, как извращенным, фантастическим отражением реальных условий человеческого существования и в процессе своего становления были связаны со множеством религиозных проповедников, большая часть которых впоследствии была забыта.

В итоге своего исследования проблемы исторического существования Христа-человека автор приходит к выводу: нынешнее состояние христологической литературы свидетельствует, что история ничего достоверного о личности Христа не знает. Эта литература, практически необозримая, говорит лишь о том, «как люди в разные времена представляли себе Иисуса Христа, притом не в те времена, когда он предположительно существовал, а в позднейшие».

В действительности Христос представляет собой синкретический, то есть возникший на основе различных религиозных представле-

ний дохристианского периода, мифический образ бога-избавителя, мессии. В основе этого сплава религиозных представлений лежал иудейский мессианизм, одним из вариантов которого первоначально и была легенда о Христе и связанный с нею культ.

Религия в наше время находится в состоянии глубокого кризиса. На фоне общественного и научно-технического прогресса она полностью выявила свою несостоятельность, и в этом плане даже в глазах верующего человека образ христианского бога не может не выглядеть весьма проблематичным. Именно поэтому в современной теологии возникло направление, присвоившее себе странное название «христианского атеизма». Это направление, ведущее свое начало от немецкого лютеранского священника Дитриха Бонхёффера и получившее довольно широкое распространение в Европе и США (Д. Робинсон в Англии, В. Гамильтон, Т. Альтицер, Г. Кокс в США и другие), восприняло ницшеанский тезис — «бог умер». Провозглашая смерть христианского бога и считая поэтому традиционно церковное понятие «бог» «пустым понятием», христианские атеисты утверждают, что в наш секуляризованный век это понятие должно быть наполнено политическим содержанием, которое вытекает из конфронтации с наиболее жгучими проблемами современности. Сущность этой «смены вех», по мнению Бонхёффера, должна заключаться в том, чтобы «найти нерелигиозную интерпретацию евангелия для светского человека» нашего времени. Смысл позиции теологов христианского атеизма заключается, очевидно, в том, чтобы путем отказа от церковной концепции личного бога представить христианство системой неуязвимых нравственных ценностей, призванных сыграть мессианскую роль в жизни современного общества.

Кризис веры породил в христианском богословии и другую крайность: многие духовные иерархии все в большей мере пытаются навязать верующим отказ от рационального подхода к церковным источникам и религиозной вере в целом, призывают их безоговорочно принять все нелепицы библии и поверить в их истинность. Религиозная вера провозглашается выше разума, а последний лишается всякой компетентности в делах веры. Утверждение иррационализма в вопросах веры многие современные церковники рассматривают как единственный способ сохранения христианского вероучения в целом и учения об Иисусе-богочеловеке

в частности. Эти попытки консервации традиционных христианских представлений хорошо показаны в книге И. Кривелева на примере таких направлений в христианской религии, как протестантизм и католицизм.

К достоинствам рассматриваемой книги следует отнести и ее литературные качества, в частности: публицистичность изложения и полемическую остроту, достигаемую не только сталкиванием различных точек зрения, но и введением в ткань повествования фигуры

Оппонента, который своими спорами с автором помогает превратить многие страницы книги в оживленную дискуссию, захватывающую читателя и превращающую его в активного участника борьбы мнений.

В книге И. Кривелева обобщены и рассмотрены многие наиболее значительные источники, относящиеся к христологической проблеме.

Г. БАКАНУРСКИЙ,
кандидат философских наук.

★

ПРИБОЩЕНИЕ К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ

Книга о русском языке. М. «Знание». 1969. 222 стр.

Эта книга написана коллективом высококвалифицированных лингвистов¹. Она не учебник и не обычная научно-популярная книга о языке. «Ее можно скорее, — пишут авторы, — назвать пособием в самом широком смысле этого слова. «Книга о русском языке»... должна помочь взрослому читателю, практически владеющему устной и письменной русской литературной речью, но не являющемуся специалистом-лингвистом, теоретически осмыслить свой язык...» Жанр, в котором она написана, можно определить как жанр научно-популярного пособия.

Американский инженер-химик и известный лингвист Б. Уорф верно заметил: «Ученые-языковеды уже давно осознали, что способность бегло говорить на каком-либо языке еще совсем не означает лингвистического знания этого языка, т. е. понимания его основных особенностей, его системы и происходящих в ней регулярных процессов. Точно так же способность хорошо играть на бильярде не подразумевает и не требует знания законов механики, действующих на бильярдном столе»². К сожалению, этого не осознает большинство лингвистов. С развитием языкознания необходимый порог компетентности для суждений о языке становится все выше и выше. И это еще более усложняет работу популяризатора. Авторы «Книги о русском языке» прекрасно знают о капитальной

трудности, которая лежит не в сфере изложения материала, а вне его, в сфере читательского восприятия. Они констатируют: «Когда математик, химик, биолог излагает основы своей науки, он встречает у читателя (неспециалиста в этой области знания) значительно больше доверия, чем лингвист. Излагаемые этими учеными научные положения и факты не наталкиваются большей частью на имеющиеся в сознании читателя собственные представления, поскольку с этими фактами он обычно незнаком, они лежат как бы вне его... Лингвисту, чтобы составить у читателя правильное представление о языке, приходится подчас преодолевать сопротивление уже сложившихся языковых представлений, которые нередко бывают односторонними и недостаточными или просто неверными».

В книге четыре части. Первая посвящена современному русскому литературному языку и состоит из нескольких разделов. В разделе фонетики и орфографии рассказывает о звуках и буквах, о фонеме, об основном принципе русской орфографии и некоторых сложных орфографических вопросах. Здесь же дан бой самому элементарному, самому распространенному и стойкому предрассудку обыденного массового языкового сознания — смешению звука и буквы, точнее, отождествлению: буква и есть звук. «Магия буквы». Отсюда уже рукой подать до отождествления орфографии с языком...

Следующий раздел посвящен лексике. Здесь освещается явление многозначности слова, повествуется о словах-оценках, словах разговорных и книжных и т. д. Раздел, отведенный словообразованию, знакомит

¹ Доктор филологических наук И. С. Ильинская, кандидаты филологических наук Л. Н. Булатова, В. П. Григорьев, Н. А. Еськова, В. А. Ицкович, А. В. Калинин, В. В. Лопатин, Т. Г. Строганова.

² Б. Уорф. Наука и языкознание. «Новое в лингвистике», вып. I. М. 1960, стр. 173.

читателя со средствами словообразования и способами его, учит историческому подходу, различению живого и мертвого в словообразовании, внимательному отношению к самым, казалось бы, простым и лежащим на поверхности фактам. Автор (В. В. Лопатин) первым в нашей научно-популярной литературе знакомит читателя-неспециалиста с понятием «окказиональные слова». Школьное употребление термина «неологизм» неточно. Новые слова (неологизмы) — это слова, принятые языком. Окказиональные же слова языком не приняты, поэтому они в речи не воспроизводятся (как старые и новые слова), а создаются.

В разделе, посвященном морфологии, не опускаясь до упрощенчества и в то же время доступно, читателя знакомят с понятиями, которые даже в специальных работах порой четко не разграничивают: морфологические классы и части речи, синтаксические и несинтаксические категории, категория и ее значение и т. д.

Последняя часть отведена художественной речи — области, в которой язык встречается с искусством, где он поставлен на службу искусству. Книга в какой-то мере вводит читателя в проблематику сложного вопроса о природе художественной речи. При этом внимательный читатель почувствует, что и литературные споры последнего десятилетия нашли здесь свое отражение,

Каждый раздел завершается вопросами для самопроверки и задачам (ответы на задачи — в конце книги). Книга снабжена обширным списком рекомендуемой литературы.

Отмечу лишь некоторые из неточностей и недостатков.

Вряд ли точно утверждение: «В языкознании термин метафора понимается шире, чем в литературоведении» (стр. 36). Литературоведы не хуже языковедов понимают разницу между стертой (бывшей) метафорой и живой: стертые их просто не интересуют. На стр. 60 утверждается, что если «какой-нибудь суффикс образует слова разных частей речи или разных типов склонения, то это уже не один, а несколько разных суффиксов». Во-первых, это не очень точно сказано: один суффикс оказывается не одним. Во-вторых, вряд ли это так при образовании существительных разных типов склонения: озерко и тетрадка — разве здесь разные (омонимичные) суффиксы?

Не стану продолжать перечень подобных неточностей. Будем надеяться, что уже через несколько лет возникнет потребность во втором издании этого пособия и все неточности и смысловые шероховатости (вроде: «Переселялись отдельными селами и даже (?) семьями») будут устранены.

Эр. ХАНПИРА,
кандидат филологических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. У светлых истоков. Л. «Советский писатель». 1969. 328 стр.

И. С. Соколов-Микитов, один из старейших советских писателей, вошел в литературу в первой половине двадцатых годов серией рассказов о тогдашней деревне. Рассказы быстро привлекли к себе внимание критики, отметившей и их реалистическую строгость и ясность, и большое изобразительное мастерство, и богатый русский язык. Восхищал в рассказах и любовно выписанный пейзаж.

Позднее, в тридцатых—пятидесятых годах, Соколов-Микитов проявил себя как писатель-путешественник, автор ряда отличных художественных очерков, являющихся подлинной панорамой родной Советской страны.

Всем этим, однако, не исчерпывается его творчество: в него входят и рассказы на морально-этические темы, и великолепная, к сожалению, незаконченная повесть «Детство», и глубоко социальная повесть «Чижикова лавра», посвященная горестному быту так называемых перемещенных лиц после первой мировой войны (в Англии).

В последние годы, подводя творческие итоги, писатель отдался стихии воспоминаний как источнику художественного обогащения, повторяя в той или иной степени опыт С. Т. Аксакова, создавшего на основе таких же воспоминаний книгу «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», органически сочетающую художественность и научность.

Сочетание научности и художественности — свойство, присущее Аксакову, Пришвину, Богданову, Кайгородову и прочим природолюбам-натуралистам, — пронизывает и рецензируемую книгу И. Соколова-Микитова. В ней воплощено многое из того, чем одарила писателя его долготелая жизнь в природе — наблюдения над причудливым бытом нашей фауны (раздел «Звуки земли»), потаённая жизнь флоры («Русский лес»), те или иные волнующие и увлекательные картины охоты («Рассказы старого охотника»), записи о памятных скитаниях «на краю земли» («Из таймырского дневника» и «У синего моря»).

В «Рассказах старого охотника», написанных с особой словесной выразительностью, писатель воссоздает живое очарование охоты по самой разнообразной дичи и

в то же время «осаживает» и «обуздывает» себя: «В долгой жизни я очень много охотился. Охота сближала меня с природой, и это было моим самым высоким счастьем... Близко к старости, как многие настоящие охотники, я перестал брать в руки ружье...»

Здесь писатель перекликается с Л. Н. Толстым, оставившим столь любимую им охоту в начале восьмидесятых годов, и с тем же Аксаковым, писавшим (в «Записках»), что «в зрелом возрасте охота становится уже непонятной». Она заменяется у многих знаменитых и рядовых охотников тем чувством, которое Пришвин определил как родственное отношение к животным. В его основе лежит осознание необходимости всяческой охраны фауны — одного из наших замечательных природных сокровищ.

Книгу хорошо дополняют заметки «Из записной книжки», представляющие по существу маленькие изящные новеллы, где особенно ярко сказывается и наблюдательность писателя, и его трогательная любовь к природе как отблеск глубокой любви к людям. «Никогда, никогда не должно быть праздным сердце, — это самый тяжкий порок. Полнота сердца — любви, внимания к людям, к природе — первое условие жизни, право на жизнь...»

Несколько особняком, как бы выпадая из плана книги, стоят очерки «На своей земле» («Карачаровские записки»). Жалеть об этом, впрочем, не приходится: очерки с большой живописностью показывают современный деревенский быт в сопоставлении и сплетении прошлого и настоящего.

«У светлых истоков» — художественная книга, включающая в себя, как уже указано, элементы научности и являющаяся по этому образцом «познавательной прозы»

Ник. Смирнов.

★

И. АДАБАШЕВ. Мировые загадки сегодня. М. Политиздат. 1969. 320 стр.

На рубеже XIX и XX веков вышла в свет книга известного немецкого ученого биолога-дарвиниста Эрнста Геккеля «Мировые загадки». Книга эта стремительно разошлась по всему миру невиданным для того времени тиражами, была переведена на многие языки. В. И. Ленин высоко оценил работу Э. Геккеля, отметив, что эта «популярная

книжечка сделалась орудием классовой борьбы». Написанная с материалистических позиций, она вызвала яростные атаки реакционеров, представителей идеалистической философии, церковников.

«Весело смотреть,— писал Ленин,— как у этих высохших на мертвой схоластике мумий,— может быть, первый раз в жизни — загораются глаза и розовеют щеки от тех пощечин, которых надавал им Эрнст Геккель».

Своей книгой Геккель как бы отвечал на «семь мировых загадок», которые выдвинул в своей речи в 1880 году на заседании Берлинской Академии наук крупный немецкий физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон. Труднейшими проблемами он считал: 1) сущность материи и силы энергии, 2) происхождение движения, 3) возникновение жизни, 4) целесообразность в природе, 5) возникновение простейших ощущений в сознании, 6) разумное мышление и происхождение тесно связанного с ним языка, 7) вопрос о свободе воли.

Слов нет, проблемы эти чрезвычайно сложны. Более того, они до конца не решены и по сие время. С момента выхода книги Геккеля прошло семьдесят лет. И вот у писателя-популяризатора И. Адабашева возникла интересная мысль ответить на эти вопросы на уровне современных научных знаний.

Мысль, безусловно, смелая, сопряженная с немалыми трудностями.

Дело в том, что за прошедшие десятилетия наука накопила монбланы новых фактов и гипотез. Достаточно назвать теорию относительности Эйнштейна, совершившую переворот в представлениях о пространстве, времени, движении и веществе, квантовую механику, величайшие открытия в области физики, химии, математики, биологии. Человечество за это время вступило в космическую эру, созданы многочисленные новые научные дисциплины, такие, как кибернетика, бионика и другие.

Приблизились ли человечество к разгадке тех труднейших проблем, о которых говорил в своей памятной речи Эмиль Дюбуа-Реймон? Многочисленными фактами и примерами автор книги показывает, что пытливая мысль ученых все глубже проникает в тайны мироздания, приближая тот час, когда многие мировые загадки будут разгаданы. Марксистско-ленинское положение о познаваемости мира подтверждается крупнейшими научными открытиями, которые были совершены за последние годы.

Взяты, к примеру, такую величайшую «мировую загадку», как происхождение жизни. Хотя это и кажется на первый взгляд парадоксальным, однако в течение десятилетий ученые с опаской подходили к решению этой проблемы. Советский академик А. И. Опарин писал, что в «биологической литературе 20-х и 30-х годов нашего века к проблеме происхождения жизни сложилось весьма отрицательное отношение, как к вопросу, на который не стоит тратить времени серьезному исследователю». Лишь за последние десять — пятнадцать лет отно-

шение ученых к проблеме коренным образом изменилось. Как правильно замечает автор, «мы можем с законной гордостью сказать: сдвиги произошли в первую очередь под воздействием советских ученых».

Замечательные открытия советских и зарубежных биологов и генетиков значительно приблизили нас к разгадке тайны происхождения жизни. Но самые важные открытия еще впереди. По общему прогнозу крупнейших ученых мира, в следующем, XXI веке будут созданы сперва синтетические растения, затем животные. Причем уже до 2000 года люди окончательно расшифруют код наследственности и начнут искусственно создавать новые виды животного мира. Ученые полностью познают устройство белка и клетки, а также создадут общую теорию элементарных частиц и общепринятую теорию происхождения Земли и Солнечной системы. Разработка последней ожидается к 1980 году.

Книга И. Адабашева насыщена большим и многообразным познавательным материалом. Автор широко привлекает факты из различных научных дисциплин. С интересом познакомится читатель с современными достижениями физиологов, астрономов, математиков, с проблемой завоевания и освоения человеком космоса, с последними исследованиями психологов, кибернетиков.

Естественно, что в книге, охватывающей многие важные научные проблемы, не все равноценно. Излишне категоричным представляется утверждение автора, что с «60-х годов XX века наметилась четкая тенденция стирания границ между психологией и физиологией». Известно, какой огромный вклад внесли в изучение психологии такие ученые-физиологи, как Сеченов, Павлов и другие. Однако материалистическая психология отнюдь не сводит все весьма сложные и не до конца изученные проблемы психологии к одной лишь физиологии. Психика человека не только физиологически, но и социально обусловлена. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют последние исследования советских ученых в таких стремительно развивающихся дисциплинах, как социальная, педагогическая, инженерная психология.

Написанная темпераментно, в остропублицистической манере, с последовательных материалистических позиций, книга И. Адабашева займет, несомненно, свое достойное место в нашей обширной и бурно растущей научно-популярной литературе. Автор сумел живо и убедительно доказать, что в природе нет таких «мировых загадок», которые не мог бы разгадать вооруженный наукой могучий человеческий разум.

О. Димин.

★

АЛЕКСАНДР КРОН. Вечная проблема. Очерки. М. «Советский писатель». 1969. 296 стр.

В последние десятилетия мемуарная литература приобрела у читателя необычайную популярность и вызывает, пожалуй, не меньший интерес, чем художественная.

Это объясняется, видимо, тем богатством событий, впечатлений и переживаний, которые выпали на долю почти всякого активного современника, свидетеля и участника великих исторических сдвигов нашей эпохи.

Пьесы Александра Крона «Глубокая разведка», «Офицер флота», «Второе дыхание» и другие обладают редким долголетием и вновь и вновь ставятся нашими театрами. Роман «Дом и корабль» показал многогранность дарования писателя. Теперь он написал воспоминания. Работы, вошедшие в его книгу «Вечная проблема», автор называл очерками.

Первый раздел посвящен детским впечатлениям и началу творческой работы А. Крона, второй — его морской службе в годы минувшей войны на Балтике и на Тихом океане, третий раздел — несколько портретов писателей и деятелей, которых А. Крон знал, уважал, любил: поэта, штурмана подводной лодки лейтенанта Алексея Лебедева, одного из старейшин советской прозы и драматургии Всеволода Иванова, критика Виктора Гольцева, режиссера Ф. Н. Каверина, актера Михаила Астангова.

Интерес очерков-воспоминаний А. Крона заключен не только в сообщении любопытных, ценных для истории нашей культуры фактов, но и главным образом в их осмыслении, в размышлениях о виденном и пережитом. Рассказ о детстве связан, например, с мыслями писателя о воспитании, о том, как формируется личность. «Воспитывает ребенка решительно все, что его окружает: родители, родственники, соседи и знакомые, дом, в котором он живет, улица, по которой он ходит, вещи, которые он видит, и слова, которые он слышит, не говоря уже о школе, отряде, книгах, радио и телевидении, спектаклях и кинофильмах».

Это общее и бесспорное положение оживает в воспоминаниях о том, что определило характер и образ мыслей, круг понятий самого автора, как жили его родные, кто были его товарищи, что из его школьных лет врезалось в память. Оживает и атмосфера ушедших лет, тогдашние поиски, споры, эксперименты в школе-колонии при биостанции, в Мастерской Педагогического театра, Союз революционных драматургов, история первой поставленной в театре пьесы А. Крона «Винтовка № 492116» и т. д.

Одна из важнейших, определяющих черт неторопливого повествования А. Крона — сочетание реалистической трезвости с внутренним романтическим жаром. Другое, что хотелось бы отметить, я был назван — умение думать. Там, где ленивая и поверхностная мысль остановилась бы на привычном шаблоне, работающая мысль автора открывает путем наблюдений и размышлений нечто новое, лежащее в глубине явлений. А. Крон видит дальше обычного, как хороший шахматист, мастер, видит дальше игрока третьего разряда. Таковы, например, его размышления о том, что такое подвиг.

В рассказе о годах войны, о блокаде Ленинграда и о борьбе Балтийского флота с гитлеровскими морскими и сухопутными

силами писатель положил в основу несколько выдержек из своих тогдашних дневников. Записей немного, но они поразительно выпукло и осязательно рисуют обстановку, в которой жил Ленинград, балтийские моряки, писатели и корреспонденты-фронтвики. Такие выдержки заменяют длинные многостраничные описания, порою встречающиеся у иных беллетристов.

Из литературных портретов особо выделяется очерк о Всеволоде Иванове, быть может, и потому, что уж очень благодарным предметом изображения явилась эта оригинальнейшая, необычайная личность. «Большой писатель не только автор книг. Он еще и друг, советчик, судья, заступник, нравственный образец. Нельзя быть большим писателем и маленьким человеком». Таким был Всеволод Иванов.

И еще. Мы привыкли слышать и читать, что литератор всей душой принадлежит литературе, драматург — театру и что искусство владеет ими целиком. Но Александр Крон мыслит себя по-иному. «Я был профессиональным драматургом и не был кадровым моряком. Говорят, что тот, кто вдохнул запах кулисы, отравлен на всю жизнь. За последние годы я разлюбил театр. А запах корабля волнует меня по-прежнему, как двадцать лет назад». Может быть, поэтому лучшие очерки в книге посвящены военным морякам.

Ф. Левин.

★

ИРИНА МАЛЯРОВА. Свидания. Третья книга стихов. Лениздат. 1970. 151 стр.

Когда берешь в руки книжку малознакомого тебе поэта, то всегда пытаешься выделить в ней главное, определяющее. Главное в «Свиданиях» Ирины Малайровой — свободное, неподдельное дыхание поэта, человеческое тепло, которое ощущается в каждой ее строке.

Ирина Малайрова представляет то направление в нашей поэзии, которое в читательской среде условно именуется «ленинградской школой». Сдержанность, отсутствие какой бы то ни было аффектации, так часто маскирующей у неопытных поэтов внутреннюю пустоту, последовательный лиризм как «камерного», так и гражданского переживания — все эти черты «ленинградской поэтики» отчетливо проступают в ее стихах.

Отсюда естественные и столь характерные для современного молодого поэта обращения к «старым мастерам», к учителям:

У старых мастеров учась, не устаю.
Влечет меня к себе глубь вечного колодца.
Никак моя душа досыта не насытится,
Забрасываю вновь скрипучую бадью.

И. Малайрова переживает сейчас тот благодатный и благодарный «час ученичества» (по выражению Цветаевой), который так много дает поэту. Ее влекут к себе размышления о гражданских и поэтических святынях русского народа. Именно поэтому так удались Ирине Малайровой циклы «В пушкинских местах» и «Памяти Ахматовой».

Лучшие стихи сборника позволяют верить в поэтические возможности И. Маляровой. Но существует опасность, что «час ученичества» затянется и приведет к литературной вторичности. Как-никак, а «Свидания» — третий поэтический сборник автора. Уже сейчас режет слух наивная назидательность отдельных стихов, настораживают чужие интонации, порабощающие иногда поэтессу. Такие строчки, например, как:

Ни у кого не спрошено
Имя — как нож из ножен.
Сколько имен ношено?
Столько, сколько положено,—

точас воскрешают в памяти мелодику и образную систему Марины Цветаевой. И это не единственный случай.

Всеялея надежду то, что Ирина Малярова все-таки освобождается от «демосфенова проклятья косноязычья» и, обогащаясь опытом предшественников, ищет свои слова.

Ростов-на-Дону.

С. Чупринин.

★

Н. Н. ЖУКОВ. *Счастье творчества. М. «Молодая гвардия». 1970. 192 стр.*

Паустовский однажды сказал, что писателю «нужно умение не смотреть, а видеть и не слушать, а услышать».

Этим умением, без которого немислимо не только литературное, но и всякое творчество, богато наделен народный художник СССР Н. Жуков. В его поле зрения не одна лишь фактура, форма, цвет предмета, пейзажа, лица. Глаз художника постигает внутренний смысл явления, его многочисленные связи с миром.

Но тот, кто хочет понять путь движения мысли художника, проникнуть в его творческую лабораторию, с интересом познакомится с книгой Н. Жукова «Счастье творчества».

Она родилась из записных книжек, постоянных спутников и помощников в работе. Жанр ее определить трудно — в книгу включены и вполне законченные новеллы, и эссе, и отдельные заметки, фиксирующие мимолетное, но очень важное наблюдение.

Однако эти столь разные фрагменты соединены общей темой. Автор говорит о проблеме художественного творчества, о неудачах и радостях, с которыми встречается художник в своей работе, о постижении секретов мастерства.

Повествование органично включает в себя житейские эпизоды, невыдуманные истории, забавные случаи. Все они помогают развитию главной мысли.

Мысли художника о назначении искусства, о реализме, о художественной тематике конкретизируются в рассказах о работе над темами: «В. И. Ленин», «Дети», «Великая Отечественная война».

А свидетельство Н. Жукова о работе над иллюстрациями к книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» изобилует интересными наблюдениями и соображениями о том, каковы вообще должны быть книжные иллюстрации, каковы их природа и назначение.

Жуков — художник требовательный и принципиальный. Он противник нарочитого лженоваторства, надуманных манер, искусственной новизны. Но Н. Жуков столь же непримирим и к художесному, однолинейному (от сих до сих) истолкованию реализма. Настоящее искусство многопланово, многогранно, сложно, как сама жизнь. Оно должно способствовать пониманию, осмыслению, открытию ранее непознанного, оно должно не только воспитывать чувства, но и пробуждать мысль. Подобный подход к художественному творчеству соответствует высоким требованиям современности. Об этом интересно и искренне размышляет Н. Жуков: «Задача художника не в том, чтобы списывать жизнь, а уметь находить то, что в переложении на язык твоего творчества будет пробуждать в зрителе чувства удивления, открытия. Настоящее искусство делает зрителя более наблюдательным в жизни, пытливым, умным, вызывает в нем инициативу поиска, активность действия...»

Книга написана в стиле дружеской беседы — искренней, доверительной и непринужденной. Художник делится опытом и наблюдениями, улыбается, негодует, иронизирует... И при этом показывает нам свои графические и акварельные работы — портреты, пейзажи, натюрморты. Многие работы Н. Жукова, включенные в книгу, становятся неотъемлемой и необходимой частью рассказа о лаборатории художника.

З. Ясман.

★

Д. УРНОВ. *Как возникла «Страна чудес». М. «Книга». 1969. 80 стр.*

«Приключения Алисы в Стране чудес» — книга достаточно известная, даже знаменитая. Сказать то же самое о ее авторе мы не можем. Льюис Кэрролл как личность, как явление английской национальной культуры почти не известен у нас. Между тем понять автора часто означает прояснить себе и его творение.

Книга Д. Урнова о Кэрролле начинается с парадоксального утверждения в духе самого Кэрролла: странно, «Приключения Алисы» — всемирно прославленная книга, а «Страна чудес» с ее обитателями известна нам очень приблизительно. Парадокс? Верно, но, как и водится, раскрывающий спрятанную суть мысли. Дело в том, что «Алиса путешествует по всему земному шару, а дух книги остается дома — в Англии».

Как постигнуть этот дух «Алисы»? Возможно ли это? Видимо, возможно, если только читать «Алису» не просто как детскую книгу, а как «исповедь человека незаурядного», «совершенного англичанина» по образу жизни и образу мышления, глубокого ученого, любящего побеседовать с самим собой...

Вот этот «разговор автора с самим собой», который им ведется «с типичной английской оговорочностью», и интересует Д. Урнова. «Все остальные смысловые пласты в «Приключениях Алисы», — пишет

он,— давно уже выступили на поверхность, прояснились и себя исчерпали. Долгую жизнь, вечно движение сквозь время сообщает «Приключениям Алисы» только этот глубинный ток, неисчерпаемый, как всякая национальная природа».

Медлительно текла жизнь автора «Алисы». Даже непонятно как-то получается. С одной стороны, строгий математик Доджсон, с другой — озорной парадоксалист Льюис Кэрролл: и все это один и тот же человек? Как ни странно, но так оно и есть.

Медлительно и неторопливо наблюдал писатель устоявшийся, чопорный быт. Но глаз у него было устроен так, что ему удалось «уловить абсурдность самых обыденных примелькавшихся вещей».

Чопорность и рождала эту любовь к абсурду как свою противоположность. И эти два свойства именно в таком, казалось бы, невероятном сочетании сызначала были присущи английскому гению. «Абсурд» как прием, как жанр существовал в народной поэзии, «абсурд» был веками узаконенным способом детского мышления — в сказках, загадках, во всяких выдумках. Так что характер Кэрролла словно сконцентрировал в себе одну из ярчайших особенностей английского характера в целом.

И еще существенная деталь для понимания Кэрролла и его книги. Это его аудитория, для которой первоначально и предназначались «Приключения Алисы». Сказать об этом необходимо, потому что «психологический механизм книги далек от детскости. Странно даже думать, что некоторые эпизоды преподносятся детям. Стало быть, то были особенные дети». Какие же? «Они росли в близости ко взрослым и, сохраняя непосредственность восприятия, получали для своего подвижного ума пищу недетски острого содержания». К такому ребенку обращаются не поучая, не сюсюкая, а как к равноправной личности. Именно поэтому недетские порой парадоксы Кэрролла смогли облечься в форму детской сказки. Отсюда следует, что для настоящего усвоения «Алисы» необходим определенный уровень культуры.

Вернемся, однако, к парадоксу, с которого исследователь начал свою книгу. Только повернем его. И получится: трудно постигнуть дух «Алисы», тем не менее она всемирно знаменита. Значит, есть в ней некоторый общезначимый для всего мира смысл. Но прядется это общинтересное как раз в своеобразии писателя, сумевшего так тонко и полно выразить своеобразие духа своего народа. Понять смысл этой общезначимой своеобразности и помогает книга Д. Урнова.

В. Кантор.

★

ТУР ХЕЙЕРДАЛ. Приключения одной теории. Л. Гидрометеиздат. 1969. 308 стр.

Все помнят беспримерное плавание Тура Хейердала по просторам Тихого океана на бальсовом плоту «Кон-Тики» в 1947 го-

ду; многие читали его книгу «Аку-Аку» и видели одноименный кинофильм о раскопках на острове Пасхи в Тихом океане; у всех свежо воспоминание о плавании папирусной лодки «Ра» через Атлантический океан; все знают о повторном плавании лодки «Ра-2» по тому же маршруту. И у большинства современников могло сложиться представление, что Тур Хейердал — это лишь один из известнейших путешественников нашего беспокойного XX века. Однако он в большей мере серьезный исследователь-этнограф, а его сенсационные путешествия являются лишь методом доказательства правильности выдвигаемых им теорий, в частности теории о первоначальном заселении Полинезии выходцами с Американского материка. Изложению и обоснованию этой теории и служит рассматриваемая книга.

Книга представляет собой сборник статей Т. Хейердала, опубликованных в свое время в малодоступных изданиях, которые были собраны воедино и изданы на немецком языке известным этнологом К. Йеттмаром. Весь сборник был назван «Индийцы и азиаты в Тихом океане», но в русском издании название оригинала было опущено и заменено подзаголовком.

Книга «Приключения одной теории» открывается речью Т. Хейердала, произнесенной им в Королевском географическом обществе в Лондоне в 1964 году на церемонии вручения ему медали Общества. В ней он кратко охарактеризовал результаты своей деятельности, которая протекала в сложных условиях, тормозивших и стимулировавших ее одновременно. «Противодействия, возражения, а иногда и поражения,— сказал он,— необходимы, чтобы идти к научной истине, расширять пределы человеческого познания». Все последующие главы являются доказательствами выдвинутой им теории о заселении островов Тихого океана с востока, то есть из Южной Америки. Статьи Т. Хейердала написаны настолько доходчиво и, главное, просто, что его теория принимает облик очевидности. Отсутствии нарочитой наукообразности и надуманности выделяет и выгодно отличает работы Т. Хейердала от работ многих современных ему этнографов, археологов и историков.

Почти каждая из статей Т. Хейердала появлялась после того, как ему ставилось очередное препятствие со стороны его оппонентов; в их числе были сначала все, затем объективные факты стали постепенно признаваться его противниками, а теперь лишь немногие упрямы все еще не хотят признавать свои прежние позиции неверными. Так, когда Т. Хейердал выступил с гипотезой о возможности заселения Полинезии из Америки, ему возразили, что переселения людей через океан невозможны; в 1947 году для доказательства этой гипотезы им был поставлен «острый опыт» — триумф «Кон-Тики» стал его результатом. Скептики возразили, что плавание на бальсовых плотках были возможны, но... только вдоль западных берегов Аме-

рики; факты для опровержения взглядов этих скептиков дали археологические раскопки на Галапагосских островах, организованные по инициативе Т. Хейердала, — они открыли следы заселения этих островов аборигенами Америки. Скептики продолжали кампанию недоверия, подкрепляя ее ссылками на то, что все культурные растения Полинезии или происходят из Азии, или были перенесены через Тихий океан из Америки либо стихийно, либо человеком, но одноактно. Т. Хейердал провел блестящее исследование по геоботанике бассейна Тихого океана и доказал, что все основные культурные растения Полинезии имеют своих диких предков только в Южной Америке, что эти растения не смогли бы распространиться через огромные водные пространства без помощи человека. Не называя имени нашего соотечественника, академика Н. И. Вавилова, которому принадлежит первенство в выдвижении и разработке основ геоботаники и установление первоначальных очагов формообразования культурных растений, Т. Хейердал своими исследованиями показал, что теория Н. И. Вавилова правильна не только для Евразийского материка, на материалах которого она собственно и возникла, но правильна и во всемирном масштабе.

Так, шаг за шагом, доказывал Т. Хейердал правильность своей теории и опровергал возражения оппонентов; в конце концов его теория приобрела не только сторонников, но и защитников и даже последователей.

Приключения теории Тура Хейердала окончились благополучно; кроме многочисленных сторонников во многих странах, она завоевала право на независимое существование, право на то, чтобы считаться приближающейся к научной истине и отражающей ее. И широкие круги читателей должны быть благодарны инициаторам выпуска этой книги в нашей стране, поскольку она дает возможность прикоснуться к одной из волнующих проблем современной этнологии, которая до сих пор была известна лишь небольшому кругу специалистов.

И. Хлопин.

★

ЖЕРМЕНА ДЕ СТАЛЬ. Коринна или Италия. Издание подготовила М. Н. Черневич. М. «Наука». 1969. 440 стр.

Судьба книг имеет свою логику, и законы ее нередко жестоки.

Романом Жермены де Сталь «Коринна» (1807) в свое время, по словам Стендаля, зачитывалась «вся Европа». Не одно поколение читателей — современников Стендаля и Байрона, Пушкина и декабристов строем и образом своих мыслей и чувств, нравственными идеалами и представлениями во многом обязано и автору «Коринны». А спустя каких-нибудь два десятилетия этот недавно еще столь знаменитый роман выпал из круга чтения, вытесненный другими, блистательными произведениями литературы, и в памяти потомков остался лишь своим названием.

И вот теперь, более чем через сто пятьдесят лет, ему вновь предстоит обрести своего читателя.

Возможно, современный читатель «Коринны» поначалу встретит ее с чувством некоторого снисхождения. В самом деле, роман, где объясняются длинными тирадами, где падают без чувств и даже умирают от любви, сегодня трудно воспринимать всерьез. Чересчур длинными покажутся, наверное, и страницы, где с обстоятельностью старых путеводителей описываются прогулки влюбленных по Риму. Как наивны еще попытки «сварить» композиционными швами чувства героев с их ощущением внешнего мира, который в зависимости от настроения освещается для них разными красками. Все это бесконечно далеко еще до «диалектики души», и не только до знаменитого дуба в «Войне и мире», но даже до описания чувств, которые испытал юный Фабрицио, герой стендалевской «Пармской обители», после первого боя...

Но это чисто внешнее впечатление быстро уступает место другому. Читателя, искушенного всеми тонкостями психологического анализа, захватывает не только обезоруживающая искренность, с какой рассказывает о любви двух людей, но и не потерявшие своей остроты наблюдения над превращениями жизни и судеб, мысли, в которых угадываются «формулы» сюжетов многих будущих романов и повестей.

В человеческой жизни Жермена де Сталь увидела одну из таких коллизий, где строгий максимализм общепринятых оценок неожиданно обобщается в конкретной ситуации жестокостью к живому человеку, и схема поведения, выверенная опытом других, не спасает человека с чуткой совестью от необходимости искать свой выход, свое решение, страдать и мучиться, подчас мучая и заставляя страдать других. В один клубок сплелись для героев «Коринны», испытавших редкое по силе и цельности чувство, самые противоречивые обстоятельства: обязанность перед памятью об умершем — и голос живой жизни; сковывающие человека предрассудки — и ощущение полной раскрепощенности, которое испытали они, полюбив друг друга. Счастье этих двух людей разбивается не только о внутреннюю раздвоенность Освальда, его неумение отдаться до конца сердечному порыву; не только о представлениях среды, к которой он принадлежит и с которой вынужден считаться, но и о невозможности найти в данном случае такое решение, при котором для всех героев драма их жизни могла бы иметь «хороший конец». Не случайно поэтому и фраза, которой заканчивает Жермена де Сталь свой роман: «Я не хочу ни порицать, ни оправдывать...»

Литература много раз потом обращалась к подобным ситуациям. На смену многословно и патетике «Коринны» пришла психологическая изощренность реалистических романов. Но, несмотря на все «длинноты и повторения», мы начинаем понимать, что влекло так когда-то к «Коринне» и обыкновенных читателей, проливавших над ней

слезы, и такие выдающиеся умы, как Стендаль или Пушкин. «Отсветы» «Коринны» мы ощутим в целом ряде произведений мировой литературы, затмивших позднее славу Жермены де Сталь: ведь в основание той эстетической среды, которая подготовила появление и Стендаля, и Бальзака, и русский реализм XIX века, один из первых кирпичей был заложен автором «Коринны». И тоненькая нить, которая тянется от этого во многом еще несовершенного романа к вершинам литературы, оказывается живой и удивительно прочной.

Своим сегодняшним «воскрешением» «Коринна» во многом обязана переводу М. Н. Черневич, сделанному с большим изяществом и тактом. Ей же принадлежит интересная статья о судьбе Жермены де Сталь и тщательный историко-литературный комментарий.

И. Гитович.

★

Ю. Г. КУДРЯВЦЕВ. Бунт или религия (О мировоззрении Ф. М. Достоевского). Издательство МГУ. 1969. 170 стр.

Не редкостью, к счастью, стали в отечественной критике основательные анализы наследия Ф. М. Достоевского, однако в большинстве случаев исследованию подвергалась художественная система великого писателя, иначе говоря — его поэтика. Вспомним хотя бы замечательную книгу М. М. Бахтина.

Облик же Достоевского-философа изучен меньше и, главное, хуже. В отличие от работ литературоведческого характера труды, посвященные непосредственно мировоззрению писателя, до последнего времени отмечены были нежеланием или неумением авторов отбросить отжившие схемы и предубежденностью.

В общем, новые работы в этой области должны были появиться, и они появились. Одна из них — книга Ю. Кудрявцева «Бунт или религия». В задачу автора входило, говоря его словами, «проанализировать отношение Достоевского к одной из центральных проблем его времени — проблеме «личность и общество».

Проблема эта разделила судьбу всего философского наследия писателя, то есть практически досталась на откуп разнообразным мыслителям-идеалистам, начиная с современников Достоевского и кончая нынешними буржуазными учеными.

Знаменательно, что Ю. Кудрявцев не отмахнулся от рассуждений и выводов своих идейных противников с легкостью, присущей некоторым из его предшественников. Напротив, именно глубокое изучение всего созданного представителями идеалистической критики позволяет автору успешно полемизировать с ними, оперируя доказательствами, а не декларациями. Конечно, в одной (к тому же далеко не объемистой) книге невозможна обстоятельная полемика со всеми оппонентами. Автор поступил разумно, выбрав одного, зато незаурядного противника — Н. А. Бердяева. Анализ бер-

дяевских построений, суть которых сводится к тому, что проблема «личность и общество» трагически неразрешима, принадлежит к лучшим страницам книги Ю. Кудрявцева и служит отличным подспорьем для собственных авторских размышлений.

Проблема «личность и общество», как всякая проблема у Достоевского, не может быть выделена, так сказать, в чистом виде. Рассматривать ее необходимо в одновременном сопряжении с десятком других «проклятых» вопросов, которые придают прозе Достоевского мучительную вселенскую глубину. Этой метод и выбран автором книги «Бунт или религия». Нигде не забывает Ю. Кудрявцев о специфике исследуемого писателя. Его доводы строятся не на выхваченных цитатах, а непременно на проникновении в духовный мир писателя.

Именно такой объективный подход к выбранной теме обусловил убедительный вывод автора о вере Достоевского в «возможность построения гармонического общества, где интересы личности будут совпадать с интересами общества».

Претензий к автору можно предъявить не много. К примеру, смущает уверенность Ю. Кудрявцева в том, что автором печально известного «Катехизиса революционера» явился М. А. Бакунин. Последние разыскания историков это опровергают.

Со времени создания своих шедевров — более века — Достоевский в центре идеологических схваток. Его именем освящались и освящаются многочисленные теории (порой противоположные духу писателя). В свете этого книга Ю. Кудрявцева представляется заметным вкладом в советское достоевеведение.

Ал. Осповат.

★

Ю. ФЕДОСЮК. Что означает Ваша фамилия? М. «Детская литература». 1969. 80 стр.

До сих пор имя Ю. Федосюка связывалось с книгами по истории нашей столицы. Новая работа показывает автора с другой, не менее интересной стороны. Антропониmia (учение об именах и фамилиях человека) прямо приближается к нам, становится увлекательной и интересной.

В конце приведен «Перечень фамилий, толкуемых в книге». И фамилий в нем — около тысячи! От самых обычных до Баскакова и Фрязинова, Амфитеатрова и Угарова, Гонобоблева и Чивилихина.

Но фамилии занимают автора не с точки зрения сложности или анекдотичности их возникновения. Интересно рассказано юному читателю, как фамилии отвечают на многие вопросы истории страны, ее географии и экономики, социальных отношений наших предков и т. д. Правда, автор сам оговаривается: «Всякая категоричность в толковании фамилий рискованна... Всякая фамилия, как и всякая семья, конкретна, и история ее происхождения сугубо индивидуальна» — и тут же приводит не одно тому подтверждение. Книга дает только наиболее вероятное толкование.

Но дело не только в толкованиях. Ю. Федосюк сумел поднять и такие важные вопросы, как возникновение фамилий вообще, роль властей и церкви в создании фамилий, зависимость возникновения фамилии от внешности и характера человека, от занятий или образа жизни предка, и также обыденно конкретные: почему так много Озеровых, Громовых, Огневых, Ветровых, Болотовых и Рошинных, а Рекиных, Молниных, Небогих, Водиных, Буриных, Лёсовых и Луговых — почти нет.

«Антропонимия в какой-то степени напоминает археологию: по раскрытому имени, так же как по найденному в земле предмету, можно узнать о людях, некогда населявших эти края, об их происхождении, занятиях, верованиях, культуре, быте, вкусах».

С большим интересом узнает читатель десятки интересных фактов. Например, почему у Пушкина была фамилия «Пушкин», а не «Моршинин»? Оказывается, Александр Сергеевич вполне мог носить и такую фамилию. Откуда появились фамилии Сухово-Кобылин, Херасков, Тютчев, Карамзин, Гаршин?

Рассказал автор и о других важных вещах — о смене фамилий (особенно в двадцатые—тридцатые годы) и о будущем русских фамилий. Соединение научной достоверности с увлекательностью изложения весьма характерно для книжки, а потому ее с удовольствием и пользой для себя прочтет и юный читатель, и его родители.

В заключение нельзя не сказать об оформителе книжки — художнике Г. Ковенчуке: тонкий юмор его рисунков отлично передает колорит книги.

Б. Борисов.

★

Ю. КРАСОВСКАЯ. Сказители Печоры. М. «Советский композитор». 1969. 58 стр.

Эпическая традиция в современном фольклоре почти полностью исчезла. Тем важнее собрать весь материал, связанный с былинами (или, точнее, старинами, как их называют в народе), с певцами-исполнителями, с той средой, в которой жили и передавались из поколения в поколение сказы, доносящие до нас живое дыхание древней Руси. В этом плане было сделано немало, достаточно вспомнить хотя бы двухтомные «Былины Севера» А. М. Астаховой, изданные перед Великой Отечественной войной.

И все же выход в свет небольшой книжки Ю. Красовской не может пройти незамеченным. Сама серия «Народные певцы и музыканты» определяет задачу — в первую очередь рассказать о певцах-старинщиках, рассказать просто и занимательно, но в то же время дать достаточно подробный анализ музыкальной стороны былин, которая, как правило, оставалась в тени у большинства исследователей.

Уже с первых страниц читателя увлекает точно замеченное причудливое сочетание вчерашнего и сегодняшнего на печорской земле: кино, радио — и сарафаны старинно-

го покроя в быту, старообрядческие кресты — и самолеты, которыми в один день можно добраться от Усть-Цильмы до Москвы. «Прежно-то время Москва далече была... А нынь старухи-мухи — и ти полетают в Москву: близко стала, вишь, матушка...» — говорят устьцильмы. В живой, увлекательный рассказ естественно вплетаются и печорский пейзаж, и характерный печорский говор. Кажется, что временами ты сам слышишь его. Жаль только, что книжка лишена иллюстраций, если не считать портретов сказителей. Тем, кто не бывал в этих краях, важно было бы увидеть и величественную ширь Печоры, и крестьянские дома — «хоромы», и, конечно, «народное действо» — горку, «которую до сих пор «водят» чуть не в полсела в белые ночи, накануне сенокоса».

Но самое трудное — написать об исполнителях. Биографии этих людей лишены внешних событий, они легко умещаются в несколько строк: всю жизнь трудился, охотился... И тем не менее автору удалось избежать однообразия: через манеру держаться, рассуждения, любимые словечки-присказки вы начинаете постигать характер этих замечательных стариков, войти в их быт и — что особенно важно — внимательно следить за исполнением, голосом, интонацией, подмечать все ее особенности. В результате убедительно звучит вывод о том, что в прошлом «процессу исполнения былины придавалось не только эстетическое, но также этическое, идейно-воспитательное, гражданское значение». В свете этой мысли становится понятным, почему автор так тщательно рассказывает о всех подробностях, связанных с исполнением, — это те крупницы, которые помогают читателю представить подлинное место и роль эпоса в былые времена. В то же время анализ музыкальной стороны исполнения и нотные примеры представляются неотъемлемой частью всего повествования.

Жаль, правда, что столь удачное соединение этой специально музыковедческой стороны и непосредственных впечатлений мы находим не на всех страницах очерка. Так, представляется чем-то чужеродным краткое изложение содержания былин на страницах 30—33. Заинтересовавшийся читатель легко нашел бы сами тексты по «Указателю источников». Стоило ли перелагать скороговоркой поэтические произведения?

И второе, раз уж речь зашла о недостатках. Автор с самого начала ограничил себя, строго идя по стопам исследователя-фольклориста Д. М. Балашова, бывшего на Печоре несколько ранее. Конечно, самостоятельный поиск не дал бы тех результатов, но более широкий охват района, возможность сравнения былинной и песенной традиций исполнения, несомненно, обогатили бы эту увлекательную книжку.

Ю. Красовская ездила на Печору в составе экспедиции Всесоюзного дома звукозаписи «Мелодия». В заключение хотелось бы пожелать, чтобы «Сказители Печоры» были специально переизданы как приложение к грампластинкам с подлинными фоль-

клорными записями, пластинкам, которые давно ждут не только фольклористы, но и все любители русской народной поэзии.

Ленинград.

М. Мильчик.

★

А. Б. САЛТЫКОВ. Самое близкое искусство. М. «Просвещение». 1969. 295 стр.

С небольшого портрета смотрят умные, приветливо улыбающиеся глаза. Таков и был Александр Борисович Салтыков, ученый и организатор, искусствовед и историк, учитель многих научных работников и мастеров-художников, человек большого и доброго ума.

В молодости он занимался проблемами, как будто бы очень далекими от нашей теперешней жизни: древней русской историей. Ему принадлежит, например, попытка установить точную дату знаменитого похода на половцев князя Игоря Северского. Но с годами А. Салтыков все больше своих сил отдавал искусствоведению, а из широкого круга искусств он выбрал для своих работ искусство прикладное, в частности керамику. И здесь А. Салтыков проявил себя не только как выдающийся знаток и талантливый собиратель старой керамики, но и как убежденный пропагандист нового направления в современном керамическом искусстве. Он написал монографию об истории гжельского керамического производства и работал с мастерами Гжели, помогая создавать новую, современную продукцию. А. Салтыков был одним из первых, кто подошел к народному прикладному искусству не как любитель-меченат, а как ученый, желавший создать для этого, по мнению некоторых, угасающего искусства прочную научную основу.

В книге, вышедшей уже через десять лет после смерти автора, собрано двенадцать его работ, шесть из которых публикуются впервые.

Что такое декоративность, в чем заключается народность искусства? — спрашивает А. Салтыков и отвечает, что декоративность — это прямая связь художественной вещи с жизнью, благодаря которой простой бытовой предмет превращается в произведение искусства, что народность — это передаваемая из поколения в поколение традиция, непрерывная, как нить, идущая от мастера к мастеру, от деда к внуку (статья «О специфике и народности декоративного искусства»).

А. Салтыков считает, что прикладному искусству в высокой степени свойствен не только орнамент, но и образ, однако чрезмерная «образность» бытовых вещей (например, кувшинов в виде человеческой фигуры или кружек в виде головы) снижает их художественную ценность («Проблема образа в прикладном искусстве»).

Завершается первый (если можно так выразиться, общетеоретический) раздел книги статьей «Использование народных традиций в развитии советского прикладного искусства».

Второй раздел посвящен столь любимой автором керамике. Здесь и теоретические исследования («Керамическое искусство», «Об искусстве фарфора», «Методика определения памятников керамического искусства»), и очерки о выдающихся мастерах-керамистах. Настоящим украшением книги является статья об особенностях монументальной керамической живописи Врубеля, содержащая тонкий и увлекательный анализ шедевров керамики, созданных этим замечательным художником. Интересен очерк о народном мастере из гжельских гончаров — Г. В. Монахове. Статья «Современные керамические материалы», написанная давно, не потеряла интереса и до сих пор благодаря глубине и точности сжатой характеристики.

Книга, снабженная кратким предисловием академика Б. А. Рыбакова, любовно оформлена и могла бы еще более выиграть, если бы не низкое качество многих (в особенности цветных) иллюстраций. Например, знаменитый камин работы Врубеля «Микула Селянинович и Вольга» воспроизведен настолько плохо, что подчас можно лишь догадываться, на какие особенности композиции и выразительных средств художника указывает А. Салтыков. Дымковская игрушка «Индюк» вышла и плоской и бледной, она никак не иллюстрирует положения автора о развитии декоративности в творчестве дымковских мастеров.

Число подобных примеров можно бы увеличить, но не в этих досадных неполадках издательской техники суть. Составитель ее Т. Салтыкова и издательство «Просвещение» сделали большое, полезное дело, дав широким кругам читателей, специалистов и, что, пожалуй, еще важнее, неспециалистов возможность познакомиться с мыслями А. Салтыкова «о самом близком искусстве».

М. Рабинович.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Три источника и три составных части марксизма.—Карл Маркс. 64 стр. Цена 8 к.

А. Гончаров. Подъем культуры села — дело партийное. 120 стр. Цена 19 к.

В. Долгий. Книга о счастливом человеке. Повесть о Н. Баумане. 448 стр. Цена 79 к.

Е. Драбкина. А. И. Ульянова-Елизарова. 143 стр. Цена 17 к.

Л. Иванов. Расправляются крылья (Повести о делах и людях партии). 96 стр. Цена 16 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Наглядное пособие. В 4-х вып. Вып. I. 1883 г.— февраль 1917 г. 175 стр. Цена 1 р. 33 к.

А. Иткина. Революционер, трибун, дипломат. Страницы жизни А. М. Коллонтай. 287 стр. Цена 48 к.

А. Малыш. Ф. Энгельс и пролетарская политэкономия. 159 стр. Цена 27 к.

Б. Могилевский. Призвание инженера Красина. 128 стр. Цена 18 к.

Г. Нагаев. Казнен неопознанным... Повесть о Степане Халтурине. 368 стр. Цена 66 к.

Партгруппорг села. Записная книжка. 1971. 191 стр. Цена 18 к.

М. Суслов. Под знаменем Великого Октября — к победе коммунизма. 32 стр. Цена 3 к.

Энгельс-теоретик. 455 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Э. Аленик. Анастасия. Повесть. 326 стр. Цена 55 к.

А. Ананьев. Межа. Роман. 392 стр. Цена 68 к.

П. Бровка. Когда сливаются реки. Роман. Перевод с белорусского Н. Грибачева. 357 стр. Цена 64 к.

В. Днепров. Литература и нравственный опыт человека. Размышления о современной зарубежной литературе. 424 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Зуев. Через сердце. Повести и рассказы. 512 стр. Цена 1 р.

Э. Крустен. Безумная ласточка. Повести и рассказы. Перевод с эстонского. 296 стр. Цена 57 к.

Н. Тихонов. Времена и дороги. Стихи. 1967—1969 г. 103 стр. Цена 38 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Адельгейм. Микола Бажан. Очерк творчества. 183 стр. Цена 42 к.

К. Гамсун. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с норвежского. Предисловие В. Сучкова. Том 1. Голод. Роман.— Мистерия. 484 стр. Цена 1 р. Том 2. Пац Викторья. Под осенней звездой. Странник играет под сурдинку. Рассказы. 494 стр. Цена 98 к.

Е. Краснощеница. «Обломов» И. А. Гончарова. 94 стр. Цена 21 к.

К. Мечиев. Огонь очага. Стихи. Перевод с балкарского С. Липкина. Вступительная статья К. Кулиева. 134 стр. Цена 11 к.

М. Рыльский. Розы и виноград.—Далекие небосклоны. Стихи. Перевод с украинского. Под общей редакцией А. Дейча. 149 стр. Цена 70 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Абылкасимова. Белый след. Стихи. Перевод с киргизского. Предисловие Ч. Айтматова. 96 стр. Цена 24 к.

Библиотека современной фантастики. Том 19. Нефантасты в фантастике. Рассказы и повести советских писателей. 414 стр. Цена 83 к.

Шилка. Проза и поэзия. Сборник литературных произведений членов болгаро-советского Клуба молодой творческой интеллигенции. 352 стр. Цена 1 р. 65 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Внуков. Наша восемнадцатая осень. Повесть. 151 стр. Цена 37 к.

В. Железников. Голубая Катя. Рассказ. 16 стр. Цена 11 к.

Л. Кассиль и Г. Томин. У нас в Москве. Фотоочерк о столице. 118 стр. Цена 1 р. 9 к.

С. Михалков. Детям. Стихи. 167 стр. Цена 2 р. 69 к.

Б. Никольский. Мужское воспитание. Повести и рассказы. 119 стр. Цена 29 к.

Л. Уварова. Теперь или никогда? Приключенческая повесть. 176 стр. Цена 41 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника. Часть 2. 446 стр. Цена 1 р. 4 к.

А. Жукова. Дедушка. Рассказы. 96 стр. Цена 15 к.

В. Парфенов. Добро для добрых. Роман. 224 стр. Цена 50 к.

Счастье созидания. Очерки. Составитель В. Разумневич. 240 стр. Цена 82 к.

Г. Шушканов. В лесах Волыни. Записки партизана. 190 стр. Цена 31 к.

М. Юрасова. Если ты хочешь жить. Повесть. 191 стр. Цена 44 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

С. Алмазов. Сила доброго слова. 144 стр. Цена 21 к.

Л. Будяк. Новиков в Москве и Подмосковье. 128 стр. Цена 27 к.

Герои труда — калининцы. Сборник рассказов, очерков и статей о Героях Социалистического Труда Калининской области. 380 стр. Цена 84 к.

Б. Королев. Как и зачем «улучшают» социализм. 112 стр. Цена 12 к.

По ленинскому пути. Материалы Ленинских чтений и теоретической конференции, проведенных в Москве. 544 стр. Цена 1 р. 15 к.

«ИСКУССТВО»

Г. Земпер. Практическая эстетика. Перевод с немецкого. 320 стр. Цена 1 р. 16 к.

Леопольд Антонович Сулержицкий. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. Составитель, редактор, автор вступительной статьи и комментариев Е. Полякова. 707 стр. Цена 3 р. 22 к.

Н. Хрулев. За школьным занавесом. Записки педагога. 111 стр. Цена 33 к.

«ПРОГРЕСС»

Х. Бос. Размещение хозяйства. Перевод с английского В. А. Маша. 158 стр. Цена 44 к.

М. Галлени. Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления. Перевод с итальянского Е. А. Бродского. 224 стр. Цена 76 к.

Р. Крайтон. Тайна Санта-Виттории. Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Т. Озерской. 414 стр. Цена 1 р. 31 к.

«МЫСЛЬ»

В. И. Ленин о научных основах руководства социалистическим обществом. 400 стр. Цена 1 р. 45 к.

И. Бич. К сердцу Африки. Перевод с датского. 157 стр. Цена 61 к.

А. Бурачас. Теория спроса (Макроанализ). 248 стр. Цена 81 к.

В. Дадайн. Экономические законы социализма и оптимальные решения. 326 стр. Цена 1 р. 24 к.

М. Иовчук. Ленинизм, философские традиции и современность. 334 стр. Цена 1 р. 38 к.

М. Коптев и М. Очнов. Империализм и развивающиеся страны. 229 стр. Цена 89 к.

С. Левидова. Маркс в германской революции 1848—1849 годов. 375 стр. Цена 1 р. 51 к.

А. Никонов. От Аму-Дарьи до Гиндукуша. 143 стр. Цена 43 к.

А. Оноронов. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. 414 стр. Цена 1 р. 58 к.

Побежденные вершины. 1965—1967. Сборник советского альпинизма. 355 стр. Цена 77 к.

Политическая экономия. Капиталистический способ производства. 432 стр. Цена 70 к.

Религия в планах антикоммунизма. Сборник статей. 222 стр. Цена 66 к.

«ЭКОНОМИКА»

И. Панюшкин, А. Кусов и И. Дроздов. Практика внедрения оргатехники. 48 стр. Цена 12 к.

С. Процеров. Задачи и функции планового отдела. 52 стр. Цена 13 к.

В. Райцин. Математические методы и модели планирования уровня жизни. 272 стр. Цена 58 к.

В. Фединин. Взаимосвязь материальных и моральных стимулов к труду. 44 стр. Цена 12 к.

«НАУКА»

Вопросы эффективности общественного производства. Сборник статей. 327 стр. Цена 1 р. 17 к.

А. Воробьева. Хозяйственный расчет и эффективность основных фондов. 320 стр. Цена 1 р. 21 к.

История советской многонациональной литературы. В 6-ти томах. Том 3. 631 стр. Цена 3 р. 47 к.

З. Лапина. Политическая борьба в средневековом Китае (40—70 гг. XI в.). 307 стр. Цена 1 р. 14 к.

Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. 382 стр. Цена 1 р. 80 к.

Методологические проблемы взаимосвязи и взаимодействия наук. Сборник статей. 348 стр. Цена 1 р. 38 к.

Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. 432 стр. Цена 2 р.

Э. По. Полное собрание рассказов. Перевод с английского. 799 стр. Цена 3 р. 50 к.

Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии. Сборник статей. 248 стр. Цена 1 р. 11 к.

Тайные общества в старом Китае. Сборник статей. 205 стр. Цена 75 к.

С. Фукс. Легенды и сказки Гондваны. Перевод с английского. 112 стр. Цена 29 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Григорян. Постоянные комиссии местных Советов. 72 стр. Цена 11 к.

Земельный кодекс РСФСР. 80 стр. Цена 12 к.

К. Сладков. Организация и проведение выборов районных (городских) народных судов. 80 стр. Цена 10 к.

Хозяйственное право. 448 стр. Цена 95 к.

Ф. Энгельс о государстве и праве. 248 стр. Цена 1 р. 3 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ю. Арбат. Светлый Север. Рассказы и очерки о русском Севере, его людях и его народном искусстве. Предисловие В. Солоухина. Вологда. Северо-Западное книжное издательство. 287 стр. Цена 42 к.

Д. Гранин. Неожиданное утро. Очерки. Лениздат. 342 стр. Цена 62 к.

И. Дворкин. Одна долгая ночь. Роман. Лениздат. 263 стр. Цена 38 к.

А. Дунаевский. И опять иду по следу... Документальные повести. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 287 стр. Цена 59 к.

К проблеме образа героя в зарубежной литературе. Сборник статей. Рига. «Зинатне». 132 стр. Цена 62 к.

Т. Кузовлева. Голос. Стихи. Алма-Ата. «Жазушы». 94 стр. Цена 34 к.

О. Лутс. Весна. Картинки из школьной жизни. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 398 стр. Цена 67 к.

О. Накно. Из бессарабской старины. Очерки и рассказы. Кишинев. «Картя молдовеняскэ». 295 стр. Цена 41 к.

Р. Ованесян. Чудесный садовник. Лирические стихи. Перевод с армянского. Ереван. «Айастан». 117 стр. Цена 15 к.

Г. Поспелов. Проблемы литературного стиля. Издательство Московского университета. 330 стр. Цена 1 р. 31 к.

Л. Успенский. Записки старого петербуржца. Лениздат. 412 стр. Цена 1 р. 56 к.

А. Шогенцуков. Назову твоим именем. Повесть. Перевод с кабардинского М. Дальневой и Н. Атарова. Нальчик. «Эльбрус». 182 стр. Цена 42 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов,**
В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин,
О. П. Смирнов (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин.**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/XI 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 14/I 1971 г.
 А 05709. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.).
 Зак. 4013. Тираж 178 000 экз.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.
 Заказ № 135.

Цена 70 коп.

70636